

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1964

10



1964

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 10

Октябрь, 1964 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
<i>К 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова</i>	
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — Из пламя и света рожденное слово	3
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Встречи с Лермонтовым	6
Т. БОРИСОВ — Заботы и радости Тимофея Лунина (Страницы из жизни одного колхоза)	9
САЙФИ КУДАШ — Три стихотворения. Перевел с башкирского Александр Глезер	58
ЖАН-ПОЛЬ САРТР — Слова. Перевели с французского Ю. Яхнина и Л. Зонина	60
НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА — Новые стихи	109
ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ — Сосна, Последнего тумана ключья..., стихи	111
Ю КРЕЛИН — Семь дней в неделю (Записки хирурга)	112
ПУБЛИЦИСТИКА	
Я. ТАВРОВ — На сибирских просторах	146
Л БЕЗЫМЕНСКИЙ — Перевоплощения Мартина Бормана	161
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	
Цецилия Кин — Вопросы анкеты и вопросы жизни	183
ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ АРХИВОВ	192
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО	207
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. ВИНОГРАДОВ — Философский роман Лермонтова	210
В. КАВЕРИН — Юрий Тынянов (К 70-летию с дня рождения)	232

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	248
Л. Долгополов. На переломе лет.— В. Жданов. В поисках нового.— Ф. Светов. За кулисами цирка.— Л. Лившиц. Условие обязательное.— В. Гоффеншефер. Хорошее — только совершенствовать! — М. Злобина. Воспитание чувств.	
<i>Политика и наука</i>	264
Д. Щербаков. Десять лет, которые потрясли Волгу.— Ю. Капусто. Письма с войны.— И. Иноземцев. Идеи, поиски, решения...— В. Азерников. Информация из первых рук.	
КОРОТКО О КНИГАХ	273
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	283
ОТ РЕДАКЦИИ	285

К 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

★

ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО

«...Подростки, юноши и девушки России склонились над книгой поэта, зачитанной еще их отцами и матерями, они растут, мужают, радуются и льют слезы над этой книгой. И пока звучит на земле русский язык, останется бессмертной эта книга и ее судьба, и будет нестись из края в край вселенной, долетит оно и до звезд — и з п л а м я и с в е т а р о ж д е н н о е с л о в о!»

Так кончается статья, написанная мною для юбилейного двухтомника Лермонтова в большой серии «Библиотеки поэта». Мне хотелось в этих словах выразить думы разных людей — писателей, литературоведов, критиков, историков — в разные эпохи русской жизни относительно юности, оборванной настолько рано, что и по сей день она остается в нашем представлении самой трагической и самой прекрасной загадкой русской культуры.

Каким же был он, этот гениальный юноша, в глазах современников, близких и далеких от него, друзей и врагов?

Передо мною лежит верстка книги. Когда этот номер «Нового мира» окажется в руках у читателя, книга, о которой идет речь, тоже выйдет в свет.

Книга эта прекрасна и мучительна, она объединена одним героем и в то же время на редкость пестра. В ней много пошлой лжи и еще больше высокой правды. Книга эта — сборник воспоминаний о Лермонтове его современников, друзей и недругов.

Впервые собран и сделан доступным широким читателям такой значительный и весомый в силу своей полноты материал. Сейчас, когда мы торжественно отмечаем полуторастолетие со дня рождения поэта, выход такого сборника — есть дело насущной необходимости и значение его невозможно переоценить. Оно чрезвычайно велико.

Заново, а то и впервые увидеть Лермонтова — живым, непринужденно действующим и говорящим в разные дни и часы, годы и возрасты его слишком короткой жизни, понять при этом, как верно отражался его образ в глазах у одних современников или современниц и как искажался в других глазах, почему и как были возможны эти разногласия и противоречивые впечатления — это большая работа и еще большая удача для нас, советских читателей. Каждый, кровно заинтересованный в судьбах нашей культуры, в ее прошлом и будущем, возьмет эту книгу не только с жадной любознательностью, но и ради своей любви к великому поэту, ради самого дорогого и заветного, что связано для него с этим именем, с этим бессмертием.

Вспоминает Лермонтова, как это ни странно, несравнимо большее число современников и современниц, чем Пушкина, Гоголя и многих дру-

гих. Странно потому, что Лермонтов прожил на свете гораздо меньше, чем Пушкин или Гоголь. Страшно коротка его жизнь — одна из самых коротких не только в русской поэзии, но и во всей мировой.

Вспоминают его разные люди. Те, что встретили его раза два-три, и то случайно, на том или другом перекрестке жизненного пути, — и те, которые дружили с ним в решающие годы его возмужания и развития. Вспоминают товарищи — однокашники по военной школе — и литераторы, встречавшиеся с ним по журнальным делам. Вспоминает светская женщина, хвалящаяся большим числом стихов, якобы посвященных Лермонтовым ей лично, и вспоминает шестнадцатилетняя его кузина, сама подарившая ему за день до роковой дуэли золотой обруч со своей взбалмошной головки. Вспоминает друг, страстно и бескорыстно преданный памяти погибшего, — и вспоминает тот самый Мартынов, который на лермонтовский выстрел, нарочно произведенный в сторону, ответил старательным прицелом в грудь и убил его наповал. Вспоминает Тургенев, видевший Лермонтова за полтора года до его гибели в светской гостиной и на балу и прочитавший на его лице «сумрачную и недобрую силу», — и вспоминает никогда не видевший его Дружинин, который собрал и тщательно записал самые сочувственные отзывы о Лермонтове его сослуживцев-офицеров, а эти офицеры свидетельствуют о доброте и сердечности поручика Тенгинского пехотного полка, о беззаветной воинской отваге разжалованного царем гвардейца. Вспоминают о том, как был некрасив этот низкорослый, широкоплечий и нескладный юнкер, как лихо и бесшабашно шалил он и дурачился в военной школе, — но вспоминают и о том, как неотразимо прекрасны были его черты, его большие, черные, блестящие глаза, устремленные в упор на внимательного собеседника, а также о том, как одушевленно говорил он о поэзии, о своем незаконченном труде, как мечтал о будущем, в котором ему было отказано...

И еще и еще — разное, противоречивое, может быть, более всего характеризующее самих авторов воспоминаний, — однако и там и тут, и в правде и во лжи — острейшее желание запечатлеть живой образ человека, навсегда запомнившегося, возможно, точнее и убедительнее для других.

О Лермонтове написано великое множество лирических и других стихов, прозаических повестей и коротких рассказов, пьес, предназначенных для театра. Еще больше исследований о нем — научных, полупоучных и псевдонаучных. Лермонтовиана огромна, но мозаична. В ней нет порядка, нет преемственности, которые издавна существуют в науке о Пушкине.

Сборник, о котором идет речь, вводит в науку о Лермонтове очень важный материал. Сборник будет настольной книгой для писателей и поэтов, да и не только для них одних! Эта книга станет необходимой и учителю русского языка в средней школе, и студенту гуманитарного вуза. Эта книга есть памятник, стоящий любой бронзы, стоящий любого музея с его рукописями и ценнейшими реликвиями.

Лермонтову не повезло при жизни. Не повезло и после гибели — в его бессмертии. Столетие со дня его рождения в 1914 году совпало с началом первой мировой войны, а столетие со дня гибели — с началом Отечественной. Вот почему всяческие итоги не были подведены в те годы должным образом: не воздвигнуты памятники, не собраны воедино, не показаны многочисленные материалы, связанные с его жизнью и с его творчеством.

На всех, кому дорога эта великая память, сегодня, когда отмечается всенародно третья, уже полуторавековая годовщина, лежит и тройной долг. Особенно он ясен в силу причин, о которых должно сказать ясно.

Совпадения, о которых уже сказано, сами по себе случайны. Однако они и знаменательны, потому что невольно связываются и перекликаются с бытующим издавна (к сожалению, не изжитым и по сей день) представлением о демонизме Лермонтова. А между тем такое представление о нем, унаследованное от буржуазных, символически настроенных критиков и историков, под стать тому карикатурному случаю, когда суеверный помещик-мракобес приказал иконописцу на картине, изображающей страшный суд, в деревенской церкви изобразить среди величайших грешников и Лермонтова.

Вот почему тройной долг, лежащий на всех, кому дорога эта национальная слава, заключается, между прочим, и в том, чтобы рассеять и развеять любой демонический сумрак, любой туман вокруг поэта, умевшего так горячо любить и так страстно ненавидеть. Только в любви и ненависти была его беда, стоившая ему жизни, и его победа, принесшая ему бессмертие!

Никакой сумрачной и недоброй силы не было у Лермонтова. Конечно, Тургенев чудесный и зоркий наблюдатель, однако не поверим Тургеневу на этот раз!

Шалости и проказы восемнадцатилетнего юнкера, как бы ни расписывал их со знанием дела любой современник, ухарь и солдафон,— лишены всякого значения рядом с воинской отвагой двадцатипятилетнего офицера, воина и патриота.

Точно так же лишены всякого значения неприличные слова в таких поэмах, как «Уланша» или «Петергофский праздник» (да и Лермонтовым ли они писаны?) — рядом с его грозным приговором палачам свободы, гения и славы.

Есть железный стих, облитый горечью и злостью, брошенный дерзко в глаза пустому обществу и животворивший всю гражданскую и героическую русскую лирику от Некрасова и Огарева вплоть до Блока и Маяковского.

Есть кремнистый путь, по которому шел одинокий человек и слушал, как звезда с звездой говорит. Есть Царь Познания и Свободы, герой, избранный этим человеком в спутники с пятнадцати лет,— Демон.

Есть острейшая наблюдательность по отношению к чужой, хотя по своему и близкой автору психологии, к изошренной диалектике Печорина. Есть проза, которая, видимо, сыграла одну из самых главных ролей в становлении и развитии русского реалистического романа.

Есть первая в русском репертуаре стихотворная реалистическая драма, в которой все современное драматургу общество с такой силой уподоблено мертвенному, грешному и пошлomu маскараду.

Здесь упомянуто очень немного. Между тем в памяти и воображении теснится такой длинный ряд лермонтовских образов, что при одном голом их перечислении автору не хватило бы дыхания, а читателю — терпения.

От себя же я хочу напоследок прибавить, что много на своем веку писал о Лермонтове, особенно много в преддверии этого юбилейного года, однако убежден, что и дальше буду писать о нем, что сказано еще не все, не достаточно...

«Лермонтовский клад стоит упорных трудов» — так писал шестьдесят лет тому назад Александр Блок. В течение этих исторически огромных десятилетий упорный труд, в сущности, никогда не прекращался. Лермонтовский клад наполовину вышел из подземельного сумрака, но упорный труд продолжается и сейчас, и конца ему не предвидится в будущем. Клад Лермонтова неисчерпаем.

Аркадий КУЛЕШОВ



ВСТРЕЧИ С ЛЕРМОНТОВЫМ

В начале 1940 года, к столетию со дня смерти М. Ю. Лермонтова, Белорусское государственное издательство приступило к работе по изданию избранных произведений поэта на белорусском языке. Предложили и мне, тогда еще молодому поэту, принять участие в трудном и ответственном деле. И хотя к этому времени в моем творческом активе числился перевод «Цыган» Пушкина, признаюсь, не без робости и трепета встретил я это заманчивое и почетное предложение. Когда же я узнал, что поэмы «Демон» и «Мцыри», отобранные для однотомника, уже отданы другим поэтам, а мне надо перевести все наиболее известные стихотворения Лермонтова, трепет мой и робость еще более возросли. Еще бы! Ведь стихотворения Лермонтова с детских лет почти все помнят наизусть, все они так не похожи одно на другое, каждое из них — свой отдельный эмоциональный мир, в который всякий раз надо будет заново вживаться. Зато сколько в них подлинного чувства, непокая, вечно молодой жажды жизни, какой это чистый, могучий и обогащающий родник!.. От предложения я не отказался, но окончательный ответ обещал дать через месяц. А сам тут же начал переводить для себя, вернее, пробовать силы — получится ли? Справлюсь ли я с этой задачей? Дело ведь не шутейное — мне предстояло в какой-то мере повторить путь поэта: волноваться его волнениями, жить, мыслить и чувствовать так, как он, предстояла трепетная встреча с самим Лермонтовым. И к тому же — не первая: до этого я уже дважды встречался с любимым поэтом.

Первая моя встреча была заочной. Она состоялась почти полвека назад, когда я не умел не только читать и писать — но даже ходить и говорить как следует не научился. То было время, о котором все люди, живущие на земле, имеют далекое и смутное представление и судят о нем главным образом по рассказам родных и знакомых. Так вот, если верить рассказам моих родителей, знал Лермонтова я буквально с колыбели, с того самого момента, когда среди прочих игрушек и забав внимание мое привлек домашний альбом. Это был альбом писателей — приложение к журналу «Пробуждение», который выписывали мои родители — сельские учителя. Хорошо, даже роскошно оформленный, он, можно сказать, познакомил меня с историей русской литературы в лицах. Скоро я безошибочно отличал Жуковского от Пушкина, Лермонтова от Некрасова, Тургенева от Толстого, Горького от Леонида Андреева. Особым моим вниманием, любовью и признанием пользовались Пушкин и Лермонтов, твердо вошедшие в мой колыбельный лексикон. Не потому, конечно, что я уже тогда предчувствовал нелегкую судьбу переводчика их произведений на белорусский язык. Но, как знать, не иной ли была бы моя будущая любовь и тяга к литературе без этого заочного знакомства.

И вот, когда я уже занимался во втором классе, научился читать и писать, и даже рифмовать и заносить зарифмованное в тайную тетрадку, — состоялась моя вторая по счету встреча с Лермонтовым. На сей раз свела нас и подружила живая, бурная, как горный поток, речь поэта — его «Мцыри». Не знаю, в какой мере я был бы пленен этой поэмой, если бы родился на Кавказе и меня в это время окружала бы родная природа, но здесь, в тени школьных акаций, далеко от экзотических для меня мест, я был охвачен каким-то непонятно-волшебным волнением, я весь пылал, как в жару — музыка и пламенный огонь стиха горячили мою кровь... Когда я дочитывал поэму, из глаз потоком лились слезы и я не в силах

был сдержатъ их. Судьба ли бездомнаго юноши, силой заключеннаго въ монастырь, красота ли мира и поэзии, открывшіяся мнѣ вдругъ, могучая природа горной страны, которую я уже горячо и на всю жизнь успелъ полюбить, или все это вместе взятое потрясло мое воображеніе. Буквы мелькали, мельтешили передъ глазами, и я никакъ не могъ дочитать до конца памятные строки:

Когда я стану умирать,
 и, вѣрь, тебѣ не долго ждать —
 Ты перенеси меня вели
 Въ наш сад, въ то место, гдѣ цвели
 Акацій бѣлыхъ два куста...
 Трава межъ ними такъ густа...

Былъ май. И надо мною тоже цвели бѣлыя акаціи, и мнѣ казалось, что я далеко-далеко отъ родныхъ мѣст, там, гдѣ:

...свѣжій воздухъ такъ душистъ,
 И такъ прозрачно золотистъ
 Играющій на солнцѣ листъ!
 Тамъ положить вели меня.
 Сіянемъ голубога дня
 Упьюся я въ послѣдній разъ.
 Оттуда виденъ и Кавказ!

Поэма дочитана, улеглось первое неповторимое волненіе... И гутъ, неожиданно для себя, съ полной отчетливостью и недетскою ответственностью я начинаю понимать, что я приобщился къ чему-то очень важному и существенному, что отныне судьба моя решена — я долженъ посвятить свою жизнь этому существенно важному, только ему.

Проходятъ годы, я пишу, печатаюсь, въ переводѣ на русскій языкъ выходитъ мой первый сборникъ «Дубрава», благосклонно встреченный все-союзной критикой. И все же написанное мною кажется слишкомъ праздничнымъ, умиротвореннымъ и благодушнымъ по тону. Какъ будто и найденъ свой ключъ, да только не ко всемъ дверямъ онъ подходитъ. Такъ ли ужъ хорошо, раскованно и празднично течетъ наша жизнь? А эти тучи на Западѣ, ужъ не предвѣщаютъ ли близкую бурю? Писать такъ, какъ писалось полгода — годъ назадъ, уже не хочется, а новое еще не выношено.

И здѣсь я снова, въ третій разъ, встречаюсь съ Лермонтовымъ. Переводы его стиховъ увлекли меня, а потомъ и захватили целиком. Я какъ бы впервые открывалъ для себя поэта. Вотъ гдѣ все полно бурь и движенія, тревогъ и страстей. А какая жажда жизни въ каждомъ словѣ, какъ все по-новому волнуетъ и какъ отчетливо звучатъ въ каждой строкѣ трагическіе вопросы современности, скрытые за праздничнымъ ея фасадомъ. Въ самомъ дѣлѣ, разве тысячи и тысячи моихъ сверстниковъ не теряли въ те непонятныя и тяжелыя годы своихъ родныхъ, друзей, знакомыхъ неизвѣстно почему, для чего и по чьимъ злымъ наветамъ? И разве не о нихъ думалось, когда я переводилъ:

Но онъ погибъ далеко отъ друзей...
 Миръ сердцу твоему, мой милый Саша!
 Покрытое землей чужихъ полей,
 Пусть тихо спитъ оно, какъ дружба наша
 Въ немомъ кладбищѣ памяти моеи!

Я переводилъ стихи, посвященные возвращенію изъ изгнанія. написанные болѣе ста лѣтъ назадъ, но почему же они такъ волновали, беспокоили, заставляли думать и страдать?

Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?
О, если так! Своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

Работая над переводами, я еще глубже вчитывался сердцем в эти и другие стихи, осовременивал их в сознании и в новом — белорусском — их выражении. Тогда же я обратил внимание на своеобразный ритм стихотворения «Дубовый листок оторвался от ветки родимой» и подумал: «А что, если эту строку удлинить на один слог?» И пометил в записной книжке:

Як ад роднай галінкі дубовы лісток адарваны...

Через год началась Отечественная война, а еще через год, когда полностью созрел замысел поэмы «Знамя бригады», я так и открыл ее этой строчкой. Ритм оказался удивительно подвижным, емким, заиграл новыми своими скрытыми возможностями, которые в полную меру обнаружались при столкновении с войной — жизнью, полной страданий и горя.

Переводы же стихотворений Лермонтова, сданные мною в печать в июне 1941 года, так и не увидели света. Они погибли в пламени войны, погибли бесследно. Впрочем, бесследно только для белорусского читателя, а не для меня. И здесь дело, конечно, не только в ритме «Знамени бригады», дело в том, что третья встреча с Лермонтовым, творческое общение с могучим и чистым родником его поэзии оказали плодотворное, непреходящее влияние на меня. Они открыли мне глаза на многое, вселили уверенность в собственных силах и во многом определили дальнейшее направление моей поэтической работы.



Т. БОРИСОВ

★

ЗАБОТЫ И РАДОСТИ ТИМОФЕЯ ЛУНИНА

Страницы из жизни одного колхоза

1

Выполняя полученное из района указание, Тимофей Тимофеевич Лунин быстро собрался в далекую дорогу, оставил за себя бригадира Михалкова и вместе с лежебокой Федором с пустыми колхозными бланками, захваченными на всякий случай, поехал в бесплацикартном вагоне на север искать лес для строительства скотного двора.

В морозный день приехали они в город, стоявший на берегу скованной льдом реки Вятки. В обкоме партии Тимофею Тимофеевичу сказали, что таких, как он, уже наехала тьма-тьмушая, и посоветовали отправляться дальше на север области, так как на юге лесозаготовки ведут государственные организации.

Утром Тимофей Тимофеевич с Федором сошли с поезда на неказистой станции. Поодаль торчали завейные снегом крыши деревеньки, а далее высился хмурый лес.

«Тут бы...» — подумал Лунин.

— Федор! Живей! — поторопил он того, задержавшегося у голого придорожного куста. — Лес гляди какой!

Запорошенная иглистым снежком стежка вела с дороги к добротному дому. Следом за Луниным один за другим торопились несколько мужчин с узелками в руках, попыхивали густым паром. Все столпились возле запертой двери с табличкой «Правление». Деревня еще спала. Приехавшие вместе с Луниным оказались покупателями леса из донских и харьковских колхозов. Вскоре из изб тоже стали выходить по-дорожному тепло одетые люди. Все они потянулись к правлению — и это были покупатели леса, приехавшие еще ночным поездом.

— Торги сейчас будут, — сказал один, видимо уже натеревший в торговых делах.

— Как же это понять? — поинтересовался Лунин.

— Явится председатель, назначит цену, кто больше даст, тому и продаст.

Это несколько обескуражило Тимофея Тимофеевича, но он решил не скупиться, лишь бы приобрести лес. Из дома, стоявшего на отшибе, вышел бородач в валенках, тулупе и мохнатой шапке. По тому, как он шел с развальцей, по его степенности Лунин решил, что это председатель колхоза. Председателя встретили возле правления занскивающими шутками, но он сурово и молча прошагал мимо, отомкнул дверь и вошел в правление. За ним толпой ввалились все покупатели, набили комнату и сени до отказа. Лунину не удалось протиснуться вперед, и он у двери тянулся на носках, чтобы увидеть бородача, усевшегося за стол. Тот

подтянул рукава, выхватил из ящика стола бумагу и глянул на людей цепким взглядом.

— К продаже два урочища, — пробасил он. — Одно — тыща двести кубов, другое — семьсот. Пиловочник на корню. Цена за куб пятьдесят рубликов. Кто больше?

Седой мужчина из толпы выкрикнул:

— Пятьдесят пять!

Его перебил другой:

— Шестьдесят!

Лунин, обернувшись к Федору, испуганно заморгал. Цена показалась ему непомерно высокой. Ведь самый лучший лес по государственной таксе отпускался на корню не дороже пятнадцати рублей.

— Семьдесят! — выкрикнул еще один.

Под носом бородача задвигались руки покупателей, подсовывавших ему блокноты с цифрами, а он равнодушно, мельком взглядывал в них. Тимофей Тимофеевич, не имевший опыта в торговых делах, растерялся. Двое приехавших с ночным поездом сидели сбоку стола и, храня улыбки на лицах, чего-то выжидали.

— За первую? — спросил бородач.

— Восемьдесят, — сказал мужчина, сидевший слева от стола.

— Твоя! — немедленно сказал бородач. — За вторую?

— Девяносто, — обронил сидевший справа.

— Конеч! Твоя. Задаток в кассу, с расчетом не задержать.

Люди отхлынули от стола, напором вытолкнули Тимофея Тимофеевича на крыльцо. Денег для задатка он не взял, а пустые бланки колхоза, как видел он, никто не показывал.

— Дальше на север, на север подавайтесь, — советовал бородач, выходя из правления.

— Мой сусид вже купив лес, — говорил мужчина в толпе огорченных мужичков. — С глазу на глаз до торга треба с председателем того.. И по снугу бревно не потянешь, як дорожку ни подмаслишь.

Лунин в испуге смотрел на него. Ему совестно было давать взятки, и поэтому он пришел к заключению, что лес не купит.

Спустя час он все же доехал с Федором на тормозной площадке товарного вагона до следующего полустанка. У семафора они спрыгнули на ходу. Тимофей Тимофеевич с облегчением вздохнул:

— Слава богу... никто не спрыгнул. Все поехали дальше.

За деревней над снежной белизной торчала грива дремучего ельника, укрытого пеленой морозной сизины. Председателем здешнего колхоза оказался молодой, красивый, интеллигентный на вид человек.

— Чувствую — за лесом, — с улыбкой произнес он, сидя за столом. — Садитесь, будем толковать.

— А есть? — со смутной надеждой спросил Лунин.

Тот подставил к столу два табурета, пригласил и Федора сесть, но Федор остался стоять у двери. Тимофей Тимофеевич присматривался к председателю, а тот, помаргивая, что-то соображал.

— Сколько?

— С тысячу...

— Дам. И по сходной цене, с полным моим содействием заготовите. Цена — пятьдесят рублей.

— Не сбавите ли? — стеснительно спросил Лунин, хотя уже считал себя счастливым, и немедленно добавил: — Ну, ладно, согласен. Значит, давайте договор, а мой, — оглянулся он на Федора, — останется задатком в деревне до приезда моих людей.

Председатель с улыбкой оглядел верзилу Федора, словно определял, сколько тот может за это время съесть, и сказал:

— Сначала решим об отоваривании леса.

— Как это понять? — спросил Лунин оторопело.

— Наши люди в деньгах не нуждаются, — пояснил председатель. — За лес дайте зерно, мясо, шкуры, а есть коровья линька — и линьку. Все возьмем по государственным ценам, а половину деньгами.

Условия были жестокие, и Тимофей Тимофеевич, сжавшись весь, выжидательно уперся взглядом в председателя.

— Не отчаивайтесь, — сказал тот. — Всюду так продают.

— У нас в колхозе... не запланировано, — тихо сказал Лунин.

— В вашем плане и заготовка леса не предусмотрена. Поезжайте и решите со своим народом. Лес буду держать ради нашего доброго знакомства.

Тимофей Тимофеевич, ожидая еще новых условий, обернулся к Федору и отослал его за дверь.

— Ну, а насчет... — стыдливо начал он, — вам лично?

— Ни-ни, — запротестовал тот, отгораживаясь рукой, и брезгливо pokrивился.

— Ну, спасибо, — с облегчением вздохнул Лунин. — Поеду. Думаю уговорить своих людей. Так вы уж, пожалуйста...

2

Вернулся Лунин в деревню с окрепшей уверенностью, что лес купил удачно. В вагоне ему жаловались на более обременительные условия, продиктованные бездушными председателями лесных колхозов. Ему оставалось убедить своих членов правления частично отоварить лес колхозной продукцией. Для Тимофея Тимофеевича важнее всего было строительство скотного двора.

Оставшийся за председателем бригадир Леонид Михалков — долговязый сумрачный силач — доложил Лунину о том, что приплод скота большой, что Дашу Золотову наградили и ей следует ехать в район, а оттуда в область на курсы кукурузоводов. Это были приятные вести, но Михалков не упустил доложить и о неприятных делах, которые всегда бывают: что в деревне случился пожар, сгорела мазанка Марии Худяковой, что в ту ночь, как назло, пожарную бочку распер лед.

— Где ж она живет? — спросил Лунин.

— У Даши Золотовой пока.

— Косяки не выдрали?

— Из огня вытаскивали. Обгорелые.

— Сгодятся на молотовища и черенки, — сказал Тимофей Тимофеевич. — Купить у нее, а заготовим лес — гуртом поможем ей слепить новую мазанку.

Затем Михалков сказал, что приехал районный санинспектор и велел все уличные колодцы укрыть крышками, а на журавли навесить общественные бады, и если этого не будет сделано, то он лично оштрафует председателя колхоза, что наведывались из милиции в связи с участвовавшими случаями самогоноварения в других деревнях и предложили выделить комнатуху для наезда оперуполномоченного.

— Заготовим лес — пристроим боковину к правлению, — сказал Лунин.

— Да! — вспомнил Михалков. — Дарья Лошакова родила тройню. Медсестра запретила переводить младенцев в сырую избу.

— Где ж она живет?

— В медпункте пока.

— До весны жить ей там. — И Лунин кивнул.

— Манную кашку негде варить, Тимофей Тимофеевич. Плиты-то нет.

— Сложить плиту, а заготовим лес — сразу поможем ей перестроить избу. Своим трудом она заслужила колхозной помощи.

Потом Михалков сказал, что Сергей — муж молочницы — открыто ухаживает за трактористкой из МТС. Для Тимофея Тимофеевича это явилось неожиданностью, он заморгал и тут же решил, что Сергея надо образумить, а жене его велел посоветовать меньше кормить мужа сметаной. Михалков рассказал и о двух предстоящих в деревне свадьбах: Тоня выходит в другой колхоз, а Дуся принимает к себе мужа из соседнего села. Лунин отнесся к этому известию с удовлетворением.

— Выходит так на так, — сказал он, радуясь, что колхоз не теряет человека.

Но как только Михалков подал ему бумагу от матери невесты Тони, Лунин скривился, словно понюхал тертый хрен. Та просила разрешить ей изготовить самогон для свадьбы «ввиду несостоятельности купить водку для всех гостей» и писала, что «без водки не свадьба, а похороны». Затрудняясь в решении этого дела, Тимофей Тимофеевич долго думал.

— Скажи ей, — наконец произнес он, — Лунин не может терпеть запах самогона в деревне. А там пускай сама...

— Думает? — с улыбкой кивнул Михалков. — Понял. — И он подал Лунину бумагу со штампом районной электростанции.

Из города писали о возможности обеспечить колхоз электроэнергией, но предупреждали, что всю работу по подводке ее от МТС обязан выполнить колхоз.

— Ну, наконец, — сказал Тимофей Тимофеевич с облегчением, а потом задумался: — Столбы... провод... — и загоревал.

— Не все, — буркнул Михалков, держа еще одну бумагу.

— Хватит. Оставь до ночи, а я к Якову Семеновичу...

Парторга Якова Семеновича Пенькова он застал переписывающим протокол начисто. Тот нехотя оторвался от бумаги и сказал как-то досадливо:

— Не хотел беспокоить тебя, Тимофей Тимофеевич. Знаю, дела... Ночью приехал?

— От станции на эмтээсовской огазии, а оттуда пешком, — ответил Лунин. Всем было известно, что езда на машинах председателю не по душе.

— Обузу на колхоз взял. Яков Семенович. Лес, можно сказать, купил, да половину надо отovarить зерном, скотом и...

— Не пойдет, — протянул тот. — Это незаконно, и люди своего согласия не дадут.

— Что же посоветуешь делать?

— Санкцию райкома партии получить. Бумажку.

— Может, ты съездишь? — просительно обратился Лунин. — А я буду готовить людей. Да и уйма другого: инструмент готовить, делать подсанки, коней перековать, с припасами обдумать.

— Я тонкостей дела не знаю, Тимофей Тимофеевич, — сказал Пеньков. — Да и вообще операция сомнительная.

— Другого выхода, Яков Семенович, нет, — убедительно произнес Лунин. — Собрание насчет Пленума ЦК провел?

— Общего не проводили, а на правлении с членами партии обсуждали. Сейчас пишу. — И Пеньков ткнул пальцем в бумагу.

— Отчего же? Мы же договорились. Секретарь обкома на совещании строго-настроено велел.

Пеньков выбросил локоть на стол и, поставив руку торчком с растопыренными пальцами, загнул один:

— Сентябрьский обсуждали? — И он загнул другой палец. — Февральский обсуждали?

— Так то ж было, Яков Семенович, в пятьдесят третьем году и в пятьдесят четвертом, — сказал Тимофей Тимофеевич, — а теперь пятьдесят пятый. Непременно проведем. А доклад... доклад, если тебе трудно, я сам сделаю.

Он натянул шапку на голову, посовал ее на макушке в ожидании, что Пеньков скажет еще что-нибудь, и молча вышел на улицу. С крыльца его дома окликнула Даша Золотова:

— Тимофей Тимофеевич! Совесть-то у тебя есть?!

Даша, красивая, чернобровая, крепко сбитая молодница-вдова, в пальто, сшитом в талию, с пушистым воротником, в аккуратных валеночках и в пуховой шали, энергично шагала к нему.

— Я, Тимофей Тимофеевич, несправедливость терпеть не могу. За труд других награду мне, да?! — возмущенно говорила она.

— Не шуми, Даша, — попросил Лунин. — Зайдем ко мне, а там и разоряйся. Эх, доброго молодца бы тебя успокоить... — сказал он, грустно покачав головой. — Зайдем.

Его жена, Людмила Михайловна, укладывавшая вещи мужу в дорожку, встретила их серьезным взглядом. Даша горячо убеждала Лунина, что ей совестно смотреть в глаза людям, получая награду за их труд. Тимофей Тимофеевич слушал ее молча, хмурился, а потом сказал сердито:

— Ты, Даша, не бузи. Не поедешь — знай, мне принесешь неприятность.

Раздосадованная Даша закинула конец шали на плечо и вышла из дома. Людмила Михайловна, чуть улыбнувшись, сказала:

— Тугая, как резина, а сдалась...

В морозный ясный полдень поехал Тимофей Тимофеевич с Дашей Золотовой в город на розвальнях, сидя рядом с ней на мешке, набитом сеном.

В городе, как всегда, Лунин поставил сани во дворе знакомого, оставил у него чемодан Даши, уезжавшей на учебу в Курск, и проводил ее до театра, где ей предстояло участвовать в совещании колхозных передовиков и получить награду.

— Ежели того... выступать придется, не хвали свой колхоз, — сказал он ей у двери театра.

Отсюда он направился в райком партии, в полутемном коридоре столкнулся со спешившим куда-то первым секретарем райкома Дубиловым.

— Золотову привез? — быстро спросил тот.

— Привез. У меня дельце, Игорь Михайлович.

— Если малое, зайдем.

Тимофей Тимофеевич молча подал ему пакет от Пенькова. Дубилов вскрыл его, читая протокол партийного собрания, скривил губы:

— А общего... колхозного?

— Завтра, Игорь Михайлович, проведем.

— Да ведь неделю тому назад должен был, — упрекнул Дубилов. — Ой, Лунин... Лунин...

Сказать, что секретарь парторганизации не выполнил его просьбу, Тимофей Тимофеевич не мог. И он молча последовал за Дубиловым до стола. Тот сел в кресло, а Лунин стоял перед ним с видом провинившегося школьника.

— Лунин... Лунин... — с кислой миной на лице произнес Дубилов, чуть покачивая головой, и вдруг, повернув к себе руку, взглянул на часы. Подняв глаза, он спросил: — Что у тебя?

— Игорь Михайлович, я почти купил лесосеку на севере, — начал

Тимофей Тимофеевич. — Тысячу кубометров. Да вот с расплатой... Половину деньгами, а половину колхозным добром.

— Ты хочешь получить мое благословение и заставить еще ладаном покадить вокруг этого дела? Так я понимаю? — спросил Дубилов.

— Хотел, Игорь Михайлович, посоветоваться...

— Товарищ Лунин, — внятно произнес Дубилов, — это все в твоей власти и колхоза. А лес ты должен иметь.

— Дозволено ли?

— Ты приехал законы узнавать у меня? — усмехнулся тот. — А Лисичкин из той же области телеграмму прислал мне: полторы тысячи кубометров леса есть! И знаю — придет верхом на бревнах. Да! Две новых машины тебе выделяется. Срочно оплатить.

— Ну, я понял, Игорь Михайлович, — протянул Лунин, хотя ему ничего не было понятно. — Насчет вагонов туда... в лес.

— Сделаю! Сейчас спешу на слет.

Дубилов стал шарить руками в ящике стола, а Лунин тихо удалился из кабинета. За дверью он услышал доносившийся из кабинета голос Дубилова, кричавшего в трубку телефона: «Спите! Спите! Даже Лунин в кармане держит лес!»

Из райкома Тимофей Тимофеевич направился в коопторг, упросил директора дать ему заимообразно сто столбов для линии передачи тока, твердо пообещав вернуть через полтора месяца, а затем у начальника станции договорился о вагонах для отправки людей, лошадей, бычков и продуктов на север. Дубилов, оказалось, уже звонил.

Утром Тимофей Тимофеевич, еще до получения правомочия на покупку леса, успел решить десятки вопросов, связанных с выездом бригады на лесозаготовку.

Лесорубами выделялись две трети здоровых мужчин, а остальные — бездетные женщины. В правление пришел Фаддей Сурин и сказал, что он поедет с женой, а детей будет доглядывать бабка. Тимофей Тимофеевич от радости привскочил на табурете: «Спасибо, Фаддей!» Вскоре к нему явилась медсестра и решительно запротестовала против посылки на тяжелую работу Феклуши и Марфуши по причине их двухмесячной беременности. Затем пришли два парня, заядлые спортсмены, осенью вернувшиеся из армии с дипломами разрядников в беге на стометровку, и уведомили Тимофея Тимофеевича, что они также рекордсмены-конькобежцы на дистанцию в пятьсот метров, и что на отборочном состязании в районе они на одну десятую секунды обошли всех и включены в состав команды для участия в соревнованиях на первенство республики, и что секретарь райкома комсомола лично вызывал их по данному вопросу. Лунину пришлось попросить Михалюва готовить четырех других. А тут еще, как назло, нарочная из МТС принесла бумагу от директора, уведомлявшего, что ввиду получения новой техники все колхозники, работавшие по договору у него, будут привлечены для наладки новых орудий и обучения работе на них ранее, чем обычно, и что их отправлять в лес нельзя, иначе будет сорвана подготовка к посевной. Видимо, кто-то уже сбегал в МТС и доложил. Вмешательство МТС окончательно разрушило план Лунина, и он стал заново комплектовать бригаду лесорубов.

Идя в кузню, он повстречал Игната, назначенного собрать инструмент для заготовки леса.

— Тимофей Тимофеевич, дело швах, — сказал Игнат. — Напильников всего три, а пилы тупые.

— Живей запрягай — и в город. Купить немедля! — приказал Лунин.

А на обратном пути от кузни его догнал Филипп, выделенный изготовить и собрать хозяйственную утварь для бригады.

— В чем жить в лесу? — спросил он.
— Шалаши сделаем... Из хвои. Как партизаны.
— А печки? В кладовой три листа кровельного железа, остальным с неделю как покрыли медпункт. С чего делать?
Тимофей Тимофеевич стоял как вкопанный.

— Игнат уехал?

— Уехал, — кивнул Филипп.

— Запрягай — и давай в город. Десять листов купи.

Спустя час в правление вошел Тихон, имевший поручение затюковать сено для погрузки в вагон на корм лошадям, сказал:

— Тимофей Тимофеевич, проволоки не хватит,

— Не хватит?! — с тревогой спросил Лунин,

— Может, половину спрессуем. Не более.

— Запрягай в город — раздобудь в «утильсырье».

Не в натуре Тимофея Тимофеевича было в такой спешке готовиться к серьезному делу. До обеда он просидел в правлении. Ему надо было еще подготовить доклад, и это его больше всего беспокоило, а люди все шли и шли к нему.

Он вызвал к себе Михалкова и, махнув рукой на ожидавших его у двери, сказал:

— Все... конца не будет. Я запрюсь дома и стану писать доклад, а ты тут... командуй.

По дороге домой он зашел к Пенькову и с порога обратился к нему:

— Яков Семенович, про электрику знаешь? Сто столбов коопторг дает взаймы, завтра наши привезут. Будешь...

— Кому как не мне, — сказал Пеньков. — Раз ты взялся доклад делать, то мне столбы ставить. Не беспокойся, Тимофей Тимофеевич, организую бригаду и сделаю!

— Ну, спасибо... — И Лунин ушел домой.

У себя за столом он строчил речь химическим карандашом на листах бумаги, поминутно заглядывая то в одну, то в другую газету, и порой в умственном напряжении потирал лоб ладонью. За окном смеркалось. Запертая дверь задергалась, послышался стук. Тимофей Тимофеевич сцарапал бахрому иней и наледь на стекле окошка, заглянул в продланый глазок. У крыльца стояли Пеньков и электротехник из машинно-тракторной станции. Хоть и недосуг было Лунину принять их, но он все же отворил дверь.

— Симошин, проездом через деревню, — сказал Пеньков, кивнув на парня в полушубке. — Перехватил его, обговорили о свете. С трансформатором, Тимофей Тимофеевич, надо решать.

Лунин пригласил войти. Электротехник уселся за стол, отодвинул в сторону листы доклада и стал вычислять мощность трансформатора. Тимофей Тимофеевич беспокойно поглядывал на ходики, в его голове блуждали мысли, относящиеся то к докладу, то к хозяйственным делам, и непонятный разговор техника вносил в них неразбериху. Пеньков сидел с постным лицом поодаль от стола, отчужденно и тоскливо смотрел на вороха бумаг.

— Ты короче, — попросил Лунин техника. — Дай бумажку что купить, и хоть трудно с деньгами, а купим.

И как только посетители ушли, он сейчас же снова принялся за доклад, писал дотемна, то и дело прислушиваясь к шагам людей, проходивших за окном на собрание. С работы вернулась Людмила Михайловна, сочувственно посмотрела на мужа, гнувшего себя за столом.

— Ну, кажется, все... — со вздохом облегчения произнес он.

Перед Тимофеем Тимофеевичем лежала дюжина листов, одни кося-

ком, другие веерообразно. Слева направо он собрал их, сшил ниткой в верхнем уголке и сказал:

— Идем, Люда. Народ, видать, собрался.

Окна правления отбрасывали на сугробы тусклые красноватые блики. В сенях толпились молодые, а в длинной комнате, освещенной стоявшей на столе керосиновой лампой, тесно сидели на скамьях по-зимнему одетые старики. Тимофей Тимофеевич с трудом пробрался к столу, собрание быстро избрало президиум, и тогда он со стеснением в груди подошел к фанерной трибуне, положил на нее доклад и стал читать его, полнотью полагаясь на текст.

Сначала он читал легко и выразительно, но потом бумага стала отсвечивать, буквы сделались слепыми, и Тимофей Тимофеевич, перебрав несколько слов подряд, потерял уверенность. Комкая фразы, он торопливо дочитал страницу, отбросил ее пальцем, но вместе с ней подцепил несколько листов, они повисли на сшивке, потянули за собой остальные листы, и весь доклад упал с трибуны. Тимофей Тимофеевич поднял его, стал листать, но уже забыл, на чем кончил. Вспоминать некогда было — люди пошумливали, — и он стал читать с середины выбранного наугад листа.

— Уже читал, Тимофей Тимофеевич! — выкрикнул не сдержанный на язык конюх Иван.

Тимофей Тимофеевич сконфузился, но продолжал читать.

— Да уже читал! — снова выкрикнул конюх.

Ноги председателя ослабли, он навалился грудью на трибуну и беспомощно глядел на сидящих в полутьме людей. Его взору представилась картина, которой он больше всего боялся. Он видел на лицах колхозников удивление и неодобрение. Тогда, не глядя на свои листки, он быстро заговорил:

— Товарищи... Пленум ЦК партии призывает нас дать больше мяса, молока и зерна. Это, как надо понимать, всенародная задача и чисто наша с вами. Народ наш должен быть здоровым, есть сытно, ну, а ежели того... на случай, ежели враг полезет, чтоб не пережить то, что мы пережили за войну. Решение Пленума ЦК мы выполним по своему колхозу, ежели удвоим поголовье скота, удвоим заготовку кормов, а для этого надо засучить рукава и еще дополнительно строить помещения для скота.

— Все ясно! — крикнул кто-то в углу.

Ободрившись, Тимофей Тимофеевич коротко рассказал об условиях, на которых можно купить лес.

— А как райком смотрит на это? — спросил Пеньков, сидевший у стены на табурете и все время сверливший Лунина своим ястребиным взглядом.

— Райком смотрит на часы, когда удвоим сдачу мяса. Стало быть, не запрещает.

После этого председатель собрания кузнец Демин поставил вопрос на голосование.

— Кто за? — спросил он.

В полумраке густо поднялись руки.

— Против?.. Не в счет, — сказал кузнец и на том закрыл собрание.

В товарном вагоне приехал Тимофей Тимофеевич со своими колхозниками на полустанок, где купил лес. Жгучий мороз осеребрил наружные поручни двери вагона. Тимофей Тимофеевич спрыгнул на снег. Сизая мгла укрывала островерхий ельник Сцеп вагонов с громоздким

грузом — с лошадьми, бычками, инвентарем и продуктами — загнали в тупик под разгрузку.

— Ай да лес! — одобрительно выкрикивали старички, разминаясь на снегу. — Отхватил кусочек, Тимофей Тимофеевич.

Женщины влезли на груженные сеном платформы, сбрасывали с них тюки, а мужчины, наспех устроив возле вагонов клетки из старых шпал, по настилу выводили на землю коней и бычков. Бодрое настроение людей передалось Тимофею Тимофеевичу, и он стал с усердием таскать на спине кули с зерном.

До вечера он передал лесному колхозу все причитавшееся ему за лес, отыскал Федора, спавшего на печи в избе старухи, и в голове санной вереницы направился в ельник. До ночи люди устроили в лесу табор на расчищенной от снега прогалине: соорудили из жердей и хвойных веток шалаши, конюшню и кухню. Уже под сводом ярко мерцавших звезд Тимофей Тимофеевич возле котла отведал густой суп. Давно не приходилось ему с таким аппетитом поест на ночь.

С утра люди принялись за дело: у высоченных елей неумолчно слышался перестук топоров, мягко шаркали пилы, с треском валились деревья.

День от дня мужчины, обретшие сноровку, налегали на работу: рубка наладилась к полному удовлетворению Тимофея Тимофеевича. Он тоже не гнушался топора и пилы, звал к себе в напарники Федора. Тело его словно обновилось, мышцы приобрели упругость. На лесосеке среди людей он пошучивал:

— Воздух! Хвойный, полезительный!

А перед сном в натопленном шалаше нет-нет да и вспомнит свою Людмилу Михайловну в чистой постели.

Съездив на станцию, он договорился с начальником о площадке для складирования леса перед погрузкой на платформы, и в тот же день вереница спаренных подсанков, нагруженных бревнами, потянулась из ельника.

Менее чем за месяц рубка леса была закончена, в ельнике утихло, а на станции люди накатали три огромных штабеля бревен. Залюбовавшись ими, Тимофей Тимофеевич подумал: «Счастье... И не снилось. Столько иметь леса!» И он пошел к начальнику станции заказать платформы. Тот, шустрый, с усиками, порылся в журнале и сказал:

— В плане на март вас нет.

— Это в каком плане? — с удивлением спросил Тимофей Тимофеевич.

— Заявку вы подавали?

— Нет.

— О! За полтора месяца надо подавать. Управление дороги рассмотрит, а там Москва утвердит... лимит вагонов.

— Да мне нельзя ждать, — сказал Лунин. — Колхозу надо животноводство поднимать, строить скотный двор.

— А куда вы везете?

— В Курскую область.

— Ого! — воскликнул начальник. — Это противопоточно.

— Как понять? — насторожился Лунин.

— Так бывает, что на юге государственные лесозаготовители, — довольно любезно сказал начальник, — а они везут лес на север, мимо нашей станции... в Архангельск. Встречную перевозку леса Москва решительно запретила.

— Что же мне делать? — едва выдавил из себя Тимофей Тимофеевич.

— Делайте, как другие. Поезжайте в областное управление лесозаготовок и попросите совершить с вами обменную операцию.

Тимофею Тимофеевичу ничего больше не оставалось, как уехать в город. Там его принял тучный начальник управления. С благосклонным вниманием выслушал просьбу и по телефону велел кому-то немедленно принять колхозный лес, а свой отгрузить в Курскую область. Утряска дела с конторщиками убедила Тимофея Тимофеевича в том, что колхоз скоро получит древесину. Спустя день он передал штабеля бревен приемщику от управления. Раздосадованные колхозники покачивали головами, но Лунин успокоил их, сказав с душевным упреком:

— А по-хозяйски будет, ежели бы мы стали возить в город молоко, а горожане нам сметану?

В сизую морозную рань бригада покидала насиженную вырубку с пнями, покрытыми пушистыми снежными шапками. Вереница запряженных розвальней, нагруженных остатками фуража, изломанными подсанками и инвентарем, выстроилась на дороге. Тимофей Тимофеевич прощально обходил место стоянки. В снегу торчала пара негодных волокуш без оглобелей, с погнутыми болтами.

— Федор! — крикнул он. — Погрузи волокуши. В деревне пригодятся, а болтики кузнец выпрямит. Да и подпорные шалашные жерди грузи. Все брать, у нас в деревне и палка дорога.

Федор, лениво слезая с саней, заворчал:

— Сюда вот сколько привезли... Шесть вагонов, а отсель... в три влезем. Лучших коней оставили.

Да, в веренице саней не доставало Зоркого и Милого, получивших увечья и сданных на мясокомбинат.

Как ни тяжело было Тимофею Тимофеевичу возвращаться в деревню с пустыми руками — без леса — и без двух коней, а все же он утешал себя: «Не один я в таком бедственном положении. И другие сдают лес и калечат коней».

В погожий, по-настоящему весенний день вернулся Лунин со своими людьми на станцию родного района. Снег на вершинных полях и дорогах вытаял, только в оврагах и среди кустистой поросли белела его залежь. Тимофей Тимофеевич попросил колхозников ускорить разгрузку вагонов, чтобы до наступления вечернего заморозка прибыть в деревню на санях по слякотной дороге, а сам направился в райком партии. Из-за угла навстречу ему выкатил открытый «газик». Рядом с шофером сидел Дубилов. По его знаку шофер затормозил возле Лунина.

— Закончили? С лесом? — бросил Дубилов.

Тимофей Тимофеевич доложил, как сложилось дело.

— Гм... — недовольно pokrивился Дубилов. — Журавля подержал и пустил? И Лисичкин приехал с бумагой за пазухой. Теревить надо. Понял? Теревить и теревить — наш век такой. Зайди в райком, напиши, сколько заготовлено. Обком сводку требует.

Он кивнул, машина помчалась по слякоти.

В темную ночь пришел Лунин по прихваченной морозцем дороге в деревню. Жена встретила его в веселом настроении, сказала, что он выглядит помолодевшим.

— Правда, чувствую себя плотнее, — удовлетворенно заметил Тимофей Тимофеевич и, потрясая перед собой туго сжатыми кулаками, подмигнул жене.

Его подмывало узнать о колхозных делах. Он заглянул в окошко. Изба Леонида Михалкова светилась. Людмила Михайловна сходилa за бригадиром. Тот с порога радостно заговорил:

— Доброе дело сделали, Тимофей Тимофеевич. Деревня, можно сказать, ликует. Сразу как получили твое письмо, народ потянулся в правление, как бывало в церковь. О делах узнать...— И, усевшись за стол, он начал рассказывать.

— С электрикой чего же? — спросил Лунин, с кислой миной глядя на керосиновую лампу.

— Столбы поставили, не хватает провода, арматуры... Опорос и отел большой. В помещениях теснище. Зоотехник приехал.

— Совсем?!

— Районом направлен. Человек положительный.

— Наконец-то,— сказал Тимофей Тимофеевич.— Это ж их с городов разгоняют. Машины получили?

— В деревне, под открытым небом. Пожарный надзор был, велел бензохранилище строить поодаль от деревни.

— Построим. Оно и лучше — запаха бензина не будет. Шоферов готовить из трактористов, а эмтэсу взамен дать девчат, пусть учат.

С час толковали они шепотком, чтобы не разбудить Людмилу Михайловну, спавшую за ситцевой занавеской.

Утром Тимофей Тимофеевич натошак пошел к скотному двору. В свинарнике под визг ненасытных боровов происходила раздача корма. В маточной секции в клетках похрюкивали поросята-сосуны, наперебой вцепляясь рыльцами в соски маток, сердито отталкивали друг друга, потерявшие сосок лезли на спины других. В секции молодняка в недопустимой скученности толкались подсвинки. Множить стадо в такой тесноте запрещалось правилами инструкции, а отсадить некуда. «Еще месяц—два — и они разопрут стены»,— подумал Тимофей Тимофеевич и вышел во двор. Перед ним мертвенно простиралась пустошь, будто самой природой созданная для строительства скотного двора. Тимофей Тимофеевич мысленно нарисовал все, что тут вскоре будет построено,— добротный поросятник, два свинарника, два коровника, кормокухня и водонапорная вышка — все под шиферной кровлей. Затем поглядел на старую водовозку и подумал: «Век свой доживаешь...» У косяка конюшенных дверей стоял конюх Иван.

— С приездом, Тимофей Тимофеевич! — крикнул он.— Зайди! Пегаша и Змейка ожеребились под утро. Погляди, красавцы!

Тимофей Тимофеевич вошел в конюшню. В углу за изгородкой на соломенной чистой подстилке лежали с поджатыми ногами два головастых игреневых — с короткими белыми гривками и хвостиками — жеребенка. Они большими глазами безразлично посмотрели на подошедших, моргнули.

— От лисчикиного рысака, Тимофей Тимофеевич,— сказал Иван.— Хороши, а? Что младенцы, Тимофей Тимофеевич.

— Хороши... И хоть рысаков нам не надо, а береги. Будешь подпускать к маткам, непременно мой руки с мылом.

— Назвать-то как, Тимофей Тимофеевич? Давай назовем Брильянт Первый и Брильянт Второй.

— Это же в честь чего? — с удивлением спросил председатель.

— Забыл? В честь того жеребца, что ээсовцы увели. Был один — стало два.

— Забыть не забыл, а так называть не будем,— сказал Тимофей Тимофеевич.— Хочется забыть, а тут все будет напоминать. Того,— кивнул он на жеребенка с отметиной на лбу,— назовем Лесок, а того... того Кукурузник.

— Совсем не конские имена!

— Так и назвать,— задумчиво произнес Тимофей Тимофеевич, и снова его мысли обратились к лесу.

Люди втихомолку осуждали передачу колхозного леса в чужие руки, кое-кто искоса поглядывал на Тимофея Тимофеевича, но вскоре недовольство улеглось.

В дни изменчивой погоды — с утра дул холодный ветер, а в полдень теплынь заставляла людей снимать фуфайки — колхозники старательно трудились на полях.

Клин под кукурузу хотя и малозаметный в просторе колхозных полей — рядом с ним простирались обширные клеверники, — а все же привлекал особое внимание Тимофея Тимофеевича. С пристрастием следил он за ходом предпосевных работ на нем и вынашивал план создать усиленное звено по уходу за кукурузой. Незадолго до ее посева с курсов вернулась Даша Золотова. Ей и решил Лунин доверить подопечный клин. Днем за обедом он сказал жене:

— Дашу на кукурузу. А тебе... Жаворонков, председатель райпотребсоюза, просит дать человека в сельпо. Малаше еще месяц ходить, а там родить.

— В сельпо не пойду, — произнесла жена.

— Куда же тебя поставить?

— На кукурузу, Тимоша. Стану с Дашей. Уже условились. Возьмем половину клина и свеклу до оврага. За лето выработаем годовую норму трудодней.

— А другую половину?

— Другую? Комсомольцам, — сказала жена.

— Дельно, Люда, дельно, — произнес Лунин, обрадованный идеей.

Придя в правление, Тимофей Тимофеевич попросил лежебоку Федора позвать к нему Андрея Заболоцкого — секретаря комсомольской организации. Его работой в колхозе и усердием в выполнении общественных обязанностей Тимофей Тимофеевич был доволен. Не нравилось ему только, что Андрей последнее время стал держать себя чуть высокомерно и больше внимания уделял политическим брошюрам, чем людям. Эту однобокость его Тимофей Тимофеевич объяснял влиянием Пенькова, вместе с которым комсомольский вожак, уединясь где-нибудь в тени под кустом, усердно штудировал теорию.

И вот Андрей появился перед ним в дверях правления — красивый, рослый, свежий, в расстегнутом полупальто и начищенных сапогах. Тимофей Тимофеевич пригласил его сесть и спросил:

— Комсомольцы изучали решение Пленума ЦК?

— Еще до общего колхозного собрания, — ответил Андрей.

— Очень хорошо. А что же решили?

— Одобрить, Тимофей Тимофеевич.

— Очень хорошо. А теперь я буду просить у тебя, у комсомольской организации помощи.

— В чем?

— Пленум, гляди, как ставит вопрос о кукурузе. Нынче сеем в три раза больше прошлогоднего. Стало быть, комсомолки в стороне не быть. Так, Андрей?

— От колхозного производства мои не увивают, — ответил тот.

— Добрая молодежь, знаю. Вот ее и на боевой участок — на кукурузу. Половину посева, Андрей, ежели комсомольцы выходят, а?

— А Яков Семенович знает? С ним согласовано?

— С тобой, Андрей, советуюсь.

— Мне все равно. С Яковым Семеновичем надо поговорить. Мне осенью в армию, Тимофей Тимофеевич.

— Знаю. А до осени кукурузу выходить. С Пеньковым я утрясу дело. А тебе, Андрей, подавать добрую команду от души.

— Будет ваша, Тимофей Тимофеевич, команда и Якова Семеновича — сделаем! — сказал Андрей.

При встрече с Луниным Пеньков поддержал идею создать комсомольское звено и сказал:

— Я, Тимофей Тимофеевич, сам укомплектую, с Михалковым. Оставь дело на моей совести.

В теплую рань, когда языки залегшего в низинках тумана потянулись к деревне, неся чуть слышимый запах унавоженных полей, и таяли на вершинках, Лунин вышел во двор дать корм кабану. Где-то далеко-далеко затарахтел трактор, с другой стороны с нарастающим гулом в деревню вкатил проезжий грузовик, возле дома Пенькова затормозил. Тимофей Тимофеевич увидел, как Пеньков и Андрей Заболоцкий с папками в руках вскочили в кузов машины и она покатила к городу. Под вечер они вернулись в деревню, Пеньков крупно шагал к председателю, стоявшему около кузни.

— В райкоме были,— сказал он в приподнятом настроении.

— С Дубиловым встречался?

— Нет. С инструктором обсудили. И с секретарем комсомола... о создании комсомольского звена на кукурузу. Одобрили.

«Стоило ли ездить?..» — с тоской подумал Тимофей Тимофеевич. Ему захотелось поговорить с Дашей Золотовой о ее учебе в Курске. Многие председатели колхозов тоже ездили на курсы и, вернувшись, увереннее чувствовали себя на разных совещаниях в райкоме. А его никуда не посылали. Он сам пытался познакомиться с научными взглядами на ведение сельского хозяйства, зимой по вечерам пробовал почитать книжки. Но многое в них ему было непонятно, и обычно, прочитав страничку, он клал книжку на полку.

Когда он пришел к Даше, она стояла у настенного зеркала, расчесывала густые длинные гладкие волосы. От нее пахло баней и духами. У Тимофея Тимофеевича защемило сердце. Он давно болел душой за Дашу. Потеряв мужа на фронте, она отвергла с десяток предложений на замужество, а когда он ругал ее за упрямство, дотрагивалась пальцем до своей высокой груди и говорила: «Нет, мой Троша живой... тут!» В деревне она была самым жадным книголюбом, когда бы ни ездила в город, возвращалась с купленной книгой, а то и с двумя. В ее задней комнате были подвешены на бечевках несколько полок. В поздние часы вечера Тимофей Тимофеевич часто видел ее в окошке сидящей за столом в свете придвинутой к себе лампы.

Быстро заплетая косу, Даша рассказывала об учебе.

— Кто же вам преподавал? — спросил Лунин.

— По разделам... Лекций было много: и по почвоведению, и растениеводству, и агрохимии, и вообще по химии, и механизации работ, и минеральным удобрениям, и математике, и политике.

— Ну и как же ты?

— Я? Новое для меня, Тимофей Тимофеевич, то, что не буду работать, как раньше, с завязанными глазами. Очень хорошие были лектора. А был и чудаковатый... — И она еле сдержала смех. — Вел химию... пожилой, волосы, как у священника, на голове замусоленная шляпа, штаны обтрепанные... профессор. Второпях вбежит в класс и непременно с опозданием. Сразу за мел, к доске, пишет, а сам на часы посматривает. А в общегитити все знали, все. Это он то с одного института, то с курсов других прибегал. Чуть звонок, а он уже шарахнулся к двери. Был случай: ждем его, дверь открыта, смотрим — прошмыгнул в другой класс. И там ждали опоздавшего инженера по механизации. Профессор к до-

ске и стал формулы писать. Заходит завуч, говорит: «Вам не здесь». А тот свое: «Разрешите уж здесь закончить». И смотрит на часы.

Хорошо поговорил Тимофей Тимофеевич с Дашей. Возвращаясь от нее, он думал: «А может, оттого книги непонятны, что спешат писать их, как этот профессор, о котором рассказывала Даша?»

5

Май на курских землях выдался теплым, ясная погода чередовалась с тихими, благодатными дождями. Два звена, как и было решено на партийно-комсомольском собрании, завершили посев кукурузы на щедро удобренных полях. Успешно прошел сев и остальных культур. Тимофей Тимофеевич в дни передышки, наступившей вслед за посевной, решил без промедления соединить проводом маячившие на улицах столбы и осветить деревню. В ближайших от города колхозах уже давно горели «лампочки Ильича». Однако выделенный лимит провода из «снаба» оказался недостаточным. Тимофей Тимофеевич обговорил дело с людьми и пошел на казавшуюся ему страшную расточительность — купить арматуру и куски провода на городской барахолке. В середине мая бригада доморощенных электромонтеров при участии Пенькова закончила навеску проводов и установку осветительных приборов в хозяйственных помещениях и домах. В субботний вечер, располагающий людей к отдыху, Пеньков при большом стечении колхозников у трансформаторной вышки возле скотного двора торжественно перевел рубильник в ящике на столбе и включил деревню. Со столбов и окошек брызнул свет. Люди ахнули и почти разом вскрикнули: «Свет!»

Май, за ним июнь прошли... Близилось страдное время.

В зеркале извилистой обрывистой речушки, отражавшей зелень прибрежных кустов ивняка, слышался переключив лягушек — единственные звуки, нарушавшие полнейшую тишину. От укосного поля, изрезанного длинными змейками наворошенных валков сена, во влажном воздухе веяло запахом поскохлой травы. И как хотелось Тимофею Тимофеевичу в час этой тишины и медвяного благоухания лечь на траву со спокойной душой за колхозные дела. Но на душе было беспокойно. Подходя к мостку, он ожидал выхода коровьего стада с кустистой низины-выпаса на греблю. И вот густым разномастным потоком коровы стали взбираться на греблю и лениво потянулись к скотному двору, за ними весело двигалось стадо подтелок, а на лугу в россыпи взбрыкивали телята.

Тимофей Тимофеевич думал о последнем разговоре с зоотехником. Тот настойчиво требовал отсадить телят и поросят в отдельные помещения. Да, это необходимо: скученность скота недопустима. Поголовье удвоилось, нужно срочно строить скотный двор, а леса все нет и нет.

Еще в конце мая Тимофей Тимофеевич послал письмо лесному управлению со слезной просьбой отгрузить колхозу древесину. С письмом этим пришлось изрядно помучиться. Бухгалтер Давид Львович, маленький шуплый человек в пенсне, приехавший из города с коленкорным облезлым портфелем, набитым бутербродами, в колхозе работал по совместительству. За два-три дня в неделю с колхозным счетоводом-девушкой он наводил полный ажур в учете, съедал все бутерброды и с пустым портфелем уезжал. Ему и поручено было составить письмо лесному управлению. Но Давид Львович написал, как казалось Лунину, слишком казенно и резко. Тимофей Тимофеевич чуть не всю ночь просидел, стараясь придать письму больше душевности, чтобы лесное начальство поняло, как остро нуждается колхоз в древесине. Но

вот уже прошел месяц, как письмо отправлено, а лесное управление все еще не отвечает.

Тимофей Тимофеевич перешел через горбатый мосток над речкой. Сбоку по прибрежной луговой тропке к нему подходил Пеньков с мешком травы на плече. Он еще издали крикнул:

— Ну где же твой лес, Тимофей Тимофеевич?

Свалив мешок на стежку, Пеньков сказал:

— А Лисичкин съездил и привез двадцать вагонов леса.

Как нарочно, на глаза Лунина попался лежавший сбоку стежки змеинный выползок — он почувствовал себя так, будто змея вползла ему в грудь.

— Съездил с двумя бидонами меда, — пробурчал он. — А я по правде, как коммунист получу.

До полуночи Тимофей Тимофеевича преследовал упрек Пенькова, и он не мог уснуть. Страшно взволнованный, он поднялся с постели, пошел на конюшню, запряг мерина и на заре взъехал на косогор перед лисичкиным колхозом. Его взору открылась беспорядочно заваленная кучами бревен площадь села. Тимофей Тимофеевич повернул к правлению, до восхода солнца дожидаясь Лисичкина у крыльца. Лисичкин в сером спортивном костюме, в начищенных хромовых сапогах появился из-за угла переулочка в окружении бригадиров. Увидев Лунина, он с напускной веселостью воскликнул:

— О! Ты какую радость привез мне?!

— Дела, товарищ Лисичкин, привели сами. Тяжелые дела...

Дав указания бригадирам, Лисичкин пригласил к себе Лунина в кабинет.

— Товарищ Лисичкин, — просительно заговорил Тимофей Тимофеевич, усевшись за стол против него, — тяжелая нужда и беда привела меня к тебе. Мне в долг малость леску. Для начала стройки. Мой придет — завезу в тот же день.

— Сколько?

— Хотя бы сто кубометров.

— Что ты! — вскрикнул Лисичкин в притворном испуге и, вдруг загрузив, сказал: — Видишь ли, у меня сделка. Много леса я отдаю тарной базе в обмен на шифер, стекло и алебастр. С удовольствием, Тимофей Тимофеевич, но сам пойми. — И он развел руками.

— Ну хоть бы сто бревен, отдать долг коопторгу.

— Убей, не могу. А твой?

— Молчат...

Сдерживая улыбку, Лисичкин долго смотрел на Лунина — не то стыдил, не то укорял.

Так и уехал Тимофей Тимофеевич с пустыми руками.

Спустя два дня его вызвали в райком партии. Дубилова не было, а инструктор сказал Лунину, что цель вызова — доложить о подготовке к уборочной и, в частности, о судьбе леса. Вдруг появился Дубилов, явно чем-то расстроенный. Помедлив, он протянул Лунину руку, но как-то слишком уж поспешил освободить ее, в чем Тимофей Тимофеевич увидел предзнаменование недоброго.

— Ясность с лесом есть у тебя, Лунин? — спросил Дубилов.

— Никакой... — откровенно ответил он.

— А у Лисичкина лес в колхозе! — сердито бросил Дубилов.

— Я писал, Игорь Михайлович, а ответа нету.

— Вот так у тебя все, — упрекнул тот. — Взятся за живое дело и похоронил. Благо еще парторганизация... Пеньков еще тянет, а так... — И Дубилов махнул рукой.

Лунин переступил с ноги на ногу, виновато произнес:

— Много помогают, тянут, можно сказать, все.

— Тянут?! — резко бросил Дубилов. — Вытаскивают из болота. В прошлом году Пеньков отгрохал тебе свинарник, нынче бросил на кукурузу комсомольцев, деревню осветил.

Больно задела Тимофея Тимофеевича эти несправедливые попреки, однако он счел лучшим смолчать. Его беспомощный вид и молчание еще больше рассердили секретаря.

— Лес выколачивай! — выкрикнул Дубилов. — В план райкома, — сказал он инструктору, — заслушать его при первой возможности. Все!

Немного потоптавшись, Тимофей Тимофеевич спросил в полной растерянности:

— А о подготовке, Игорь Михайлович, как?

— О какой?

— К уборке...

— В кабинете разглагольствовать?! Пустые разговоры, — махнув рукой, сказал Дубилов. — В поле слушать и оценивать будем. Неделю тому назад был на твоих полях, с комсомольцами... с Пеньковым толковал, а ты сидел в правлении. В поле душно, что ли? Зонтик бы взял да сидел бы хоть поблизости за сторожа.

И опять Тимофей Тимофеевич промолчал, так как могло случиться, что он действительно в тот час был в правлении. Ошеломленный тем, что Пеньков скрыл от него посещение колхоза секретарем райкома, Тимофей Тимофеевич тихо обошел Дубилова и удалился по коридору. «С таким поработай, а?» — донесся до него голос Дубилова.

Тимофей Тимофеевич брел по улице города, не замечая прохожих. Нет, он не осуждал Дубилова и эту встряску считал заслуженной. В самом деле, как должен был секретарь райкома партии отнестись к нему, не имевшему представления, где лес, когда колхоз получит его и получит ли? Не могла ли вся история с лесом вызвать в нем естественный прилив негодования? И не должен ли он быть в таких случаях беспощадным?

Тимофей Тимофеевич намеревался идти к своему мерину, стоявшему во дворе знакомого, как вдруг вспомнил о письме, полученном от директора коопторга с требованием немедленно вернуть сто столбов, взятых заимобразно для проводки тока к колхозу. Это была уже десятая бумага, полученная по этому делу. Девять бумаг со штампами свидетельствовали о возрастающем раздражении директора, а десятая, прилепнутая, кроме штампа, еще и печатью, подписана им настолько сердито, что росчерк продырявил бумагу. Теперь Лунин решил пойти в контору извиниться и пообещать вернуть столбы. И как только он отворил дверь кабинета директора, сидевший за столом толстячок с большой лысой головой, сделав круглые глаза и налившись краской, привскочил в порыве страшного гнева, тряся кулаками над головой, закричал:

— Столбы?! Столбы где?! Это бессовестно! Я... — и тут он обложил Лунина матом, — дал тебе бревна под честное слово. Где они? Гнать тебя в хвост и гриву?!

Ошарашенный Тимофей Тимофеевич, стоя у двери, попытался объяснить, но тот кричал:

— Мне в руки столбы! И только столбы!

Тимофей Тимофеевич, вспотев от стыда, ушел из конторы.

Ночь он провел без сна: ехал так тихо, что приехал только на рассвете, до зари просидел в избе у окошка в расстегнутой нательной рубашке, глядя в беспроглядную и беззвучную даль. Он чувствовал, что и жена не спит у себя за занавеской.

— Ты, Тимоша, сам виноват, — сказала она, поднявшись на заре готовить завтрак. — Бросай все и поезжай за лесом.

Ливень скрывал от Тимофея Тимофеевича город на Вятке, когда он подъехал к станции в бесплацикартном вагоне. В надежде тут же вытребовать лес, он, невзирая на дождь, зашлепал в потоках воды к управлению, в промокшем насквозь костюме явился в приемную начальника управления. Оказалось, что седоволосый грузный начальник, завладевший симпатией Лунина, снят с должности, а человек, составлявший договор, переведен в леспромхоз за сотни километров от города. Тимофея Тимофеевича принял новый начальник, тоже симпатичный на вид. Но он никак не мог понять существа дела и вызвал референта.

— Разберитесь внимательно с товарищем,— сказал он тому.— И доложите.

— Я писал,— заметил Лунин.

— Не волнуйтесь, сейчас разберутся.

Два часа искала девушка-контрщица письмо Лунина. В архиве, относящемся будто бы к периоду ревизии, наконец оно было найдено в пухлой папке «разные» с резолюцией нового начальника: «Сообщите товарищу — мы колхозы не обеспечиваем». Судя по его отметкам красным карандашом, он не дочитал письма. Три часа после этого протомился Тимофей Тимофеевич в приемной, сидя в ожидании вызова на стуле у двери. В кабинет поминутно вбегали и выбегали из него солидные люди с бумагами, из-за двери доносился крикливый разговор по телефону: «Транспорт восемь дробь три шестерки тысяча двести кубометров отправлен ночью. Вам хватит загрузить «Ланкашир», подготовлен кругляк погрузке на все водоизмещение «Адмирала Нельсона», «Эдинбург» обеспечим субботу». И за другой дверью напротив слышался подобный этому разговор. В тяжелом беспокойстве прождал Лунин приема до конца занятий, готовясь поговорить с начальником по душам. Секретарша убрала стол, порылась в ридикюле и, жирно намазав губы помадой, отворила дверь к начальнику с прощальным поклоном. Тимофей Тимофеевич заглянул из-за створки двери в кабинет.

— Что товарищу нужно?! — выкрикнул начальник, держа трубку телефона возле уха.

Лунин сказал:

— По поводу колхозного леса.

— А! Зайдите.— И начальник велел секретарше вызвать начальника отдела реализации, а Лунина любезно предложил сесть возле приставного стола.

Не менее часа сидел у него Тимофей Тимофеевич в ожидании, когда начальник наконец перестанет говорить по телефону, но тот, неотрывно держа трубку возле уха, то и дело обращал взор на зеленый цвет, появившийся в глазке на странном аппарате с рядками черных рычажков, стоявшем на столике сбоку кресла. Он то быстро откидывал рычажок, то тихо отводил его в каком-то страхе, а то и одновременно поворачивал по три рычажка и, судя по называемым фамилиям, разговаривал сразу с тремя. Все его требования относились к погрузкам леса от пяти до десяти тысяч кубометров. «Что колхозных тысяча... — подумал Лунин.— Вот так скажет в трубку, и колхоз получит. А сколько радости в деревне!»

Наконец начальник отнял трубку от уха и, устало отвалившись к спинке кресла, сказал:

— Вот видите, какая обстановка? Идет массовая погрузка на экспорт... в Архангельск. С подхода вагонов прямо в трюмы, а леса у нас на станциях с гулькин нос. За простой судов наша рабоче-крестьянская страна платит золотом.— Тут голос его приобрел особую выразитель-

ность, явно рассчитанную на простака.— Золотом. И кому? Ка-пи-тали-сту.— После чего он обернулся к аппарату, отклонил вбок рычажок и сказал в трубку:— Я же просил зайти относительно человека... Откуда вы?

— Из Курской...

В кабинет вошел толстячок с добрым лицом и веселенькими маленькими глазами.

— Что будем делать с ним?— спросил его начальник, кивнув на Тимофея Тимофеевича.

Толстячок развел руками.

— Лес непременно вернуть,— сказал начальник.— В плане перевозок на юг есть вагоны?

— Ни вагона.

— Дать заявку. Хорошо, товарищ,— успокоил Лунина начальник.— Мы отгрузим, рассчитаемся с колхозом.

Почувствовав к нему расположение, Тимофей Тимофеевич счел дальнейший разговор излишним, но все же заметил:

— Скот колхозный...

— Знаем! Знаем!— поспешно прервал его начальник и стал отмахиваться рукой так, будто колхозные дела ему доподлинно известны.— К сентябрю план вагонов будет утвержден.

— Не беспокойтесь,— вмешался толстячок, даря Лунина улыбкой.— Можете ехать спокойно, если до сентября... нет, до октября не получите, лично мне напишите.

— Ну, спасибо,— произнес Тимофей Тимофеевич и, почтительно кивнув обоим, поднялся.

Выходя из кабинета, он подумал: «Забот-то у людей— хоть отбавляй!». Свое дело он считал улаженным.

7

На станции своего района Тимофей Тимофеевич немного потоптался в раздумье на разогретом солнцем асфальте: идти или не идти к Дубилову с докладом о лесе? И решил, что не надо,— побоялся сердитой встречи. От станции отъезжали попутные ему грузовики, но Лунин уприси подвезти его кучера пролетки маслозавода, стоявшего на полпути от города до колхоза.

Солнце было уже на закате, когда он добрался до земель своего колхоза. Хлеба порадовали его: золотился густой ячмень, колосистая рожь отливала прожелтью, за ней раздольно стлалось поле свеклы, сплошь укрытое сочной ботвой.

Возле конюшни резвились игреневые жеребята. Конюх Иван, увидев подходившего к деревне председателя, выкрикнул:

— Жеребятки — загляденье, Тимофей Тимофеевич! Эх, как в сани запрегаем! Донесут тебя до города за минуты!

Лунин прежде всего пошел к Пенькову — отчитаться перед ним за поездку как член партии. Пенькова дома не оказалось. Дочь его Нюра выкатывала белье на столе.

— Чего же ты, Нюра, вальком. А утюг? —спросил он.

— Сломался, дядя Тимоша. Вы кумекаете?

— В электрике ничего... Темная тайна для меня,— грустя, сказал он.— Отец где?

— В гостях с мамой.

Тимофей Тимофеевич собрался уходить, переступил уже порог одной ногой, но, взявшись за косяк, оглянулся. Нюра, задержав валец на

катке, провожала его каким-то тоскливым взглядом. Он почувствовал недоброе, спросил:

— Что, Нюра?

— Да ничего...— И она смутилась.

— У тебя какая беда? Скажи.

Тимофей Тимофеевич вернулся, присел на лавку. Нюра, вскинув на него вопросительно-настороженные глаза, говорила:

— Дядя Тимоша, а если вы не будете председателем колхоза, кем вы будете? Работать в поле станете?

— Откуда это у тебя?

— Я слышала. У нас секретарь райкома был.

Потрясенный ее словами, он опустил глаза и сказал:

— Ну что же... Был так был... Скажи отцу, что я приехал,— и устало поднялся.

В мути, наполнившей его голову, были только две ясные мысли: райком собирается отстранить его от должности; с точки зрения райкома, подходящей заменой его мог быть только Пеньков. Тимофей Тимофеевич готов был с облегчением сложить с себя председательские обязанности, если бы их передали серьезному человеку, знающему сельское хозяйство. Но он душой и разумом отвергал Пенькова, не постигшего глубины колхозных дел и не пользовавшегося уважением большинства колхозников. На собраниях они хлопали в ладоши, когда тот выступал с речью, а на улице и дома заглазно называли его: «Сухарь».

Подойдя к дому, Тимофей Тимофеевич потянул узелок бечевки, торчавшей из дырочки косяка, и, отодвинув внутреннюю щеколду, вошел в комнату. Ему хотелось броситься на кровать и забыть обо всем. А завтра? Лето в разгаре, наступает страдная пора, люди будут трясти его душу, а он в такой убийственной неопределенности.

— Ой... ой...— простонал он, опускаясь на скамью возле окна.

По улице шли возвращавшиеся с работы колхозники. Пришла домой и Людмила Михайловна, увидев мужа, обрадовалась:

— Целовать не буду, вся потная, в пыли. С прополки свеклы.

— Что нового, Люда, в колхозе? — настороженно спросил он.

— Нового?! — Жена стянула с головы косынку, обтерла ею шею.-- Урожай радует, Тимоша. Еще недельку — и кукурузу на силос можно убирать. Нынче Михалков снял клочок, замерил. Не гадано... Центнеров по пятьсот выйдет.

Тимофей Тимофеевич приободрился, подошел к жене, прижал пальцами ее щеки и чмокнул в сухие губы.

— Нюра болтает, будто Дубилов был,— сказал он.

— Мимоездом, как всегда,— ответила жена, стягивая с себя платье.— Что ты, что Дубилов — одна пара драных сапог, Тимоша,— заметила она безобидно, как бы между прочим.— Все вжихомолку...

— Обо мне же, Люда, решают,— тихо произнес Лунин.

— Да ты плюнь на болтовню,— сказала Людмила Михайловна.-- Делай больше для народа, так люди и поддержат тебя.

Чуть забрезжил рассвет, как Тимофей Тимофеевич пришел в правление с Михалковым. Люди еще с вечера получили назначение на работу, и, значит, до восхода солнца можно было председателю спокойно побеседовать с бригадиром.

— Обещали в сентябре прислать лес,— говорил Тимофей Тимофеевич.— А пока терять время не будем. Как ни тяжело с недостатком людей, а выкроим, с августа наделаем кирпича — и сразу класть стены. Будешь вертаться, Леонид Петрович, зайдя к Якову Семеновичу и ска-

жи... Как он посмотрит. Да скажи, ежели хочет знать про лес, пускай пойдет в правление, а то я в поле...

— Не по душе мне идти к нему,— сказал Михалков, покривившись.

— Чего? Непременно зайди.

Самому заходить к Пенькову Тимофею Тимофеевичу не хотелось. И Пеньков к нему в правление в этот день не зашел. Когда Тимофей Тимофеевич уже в полночь вернулся домой, на столе под пучком света, падающего с занавешенной темным лоскутом электролампочки, лежала записка. Людмила Михайловна с постели сказала:

— Тебе к Дубилову. От Пенькова принесли.

В бумажке, написанной неизвестной рукой, Лунину предлагалось утром быть в райкоме партии.

— Так я запрягу и поеду, Даша,— усталым голосом сказал Тимофей Тимофеевич.— До утра там, а в полдень и дома. И день впустую не пропадет.

— Утром бы на машине,— с укором произнесла она.— Час — и там.

— Нет, на лошади поеду,— решительно сказал Тимофей Тимофеевич.

В ранний час Лунин приехал в город. В пустовавшем здании райкома уборщица подтирала свежеокрашенный пол. Сложив ведро, тряпку и метлу в коридорный шкафчик, она попросила Лунина выйти и замкнула дверь. Два часа с нудящим беспокойством просидел он на телеге в тени под липой. Ровно в девять часов — у Лунина были карманные безотказные часы «Павел Буре» в черном футляре — на ступеньки райкома взбежала девушка, отомкнула дверь и скрылась в здании. Следом поодиночке потянулись технические работники райкома, из растворенных окон послышалась стрекотня пишущих машинок.

Тимофей Тимофеевич попытался разузнать у инструктора цель вызова, но тот только пожал плечами. И Лунин, угнетенный безвестностью, снова вернулся к телеге, уселся на боковину, свесив ноги. Из-за угла переулка выкатил открытый «газик». «Он!» — в тревоге опознал Тимофей Тимофеевич секретаря райкома. Тот сделал вид, что не заметил его, порывисто выскочил из машины, зашагал в здание. Лунин ссунулся с телеги и торопливо последовал за ним в кабинет.

— Зайди,— произнес Дубилов, усаживаясь за стол.— Не считаешь ли ты, что секретаря райкома надо держать в курсе дел, товарищ Лунин? — спросил он беззлобно.

Подойдя к столу, Тимофей Тимофеевич осиплым голосом сказал:

— Докладывать-то почти нечего, Игорь Михайлович.— И, подчиняясь кивку того, опустился на стул.— Лес можем получить в сентябре.

— Ты нажал там на все кнопки и рычаги? — спросил тот и, выбросив локти на стол, соединил кулаки у рта, в ожидании ответа, супясь, строго глядел на Лунина.

Тимофей Тимофеевич вспомнил странный аппарат у начальника лесного хозяйства, рядки черных рычажков и смутился.

— Ты расскажи все по порядку,— попросил Дубилов.

Лунин стал рассказывать.

— У них тоже, Игорь Михайлович, тяжелое дело,— в заключение сказал он.— Иностранные пароходы стоят, ждут леса, а его не хватает. Ну, а за простой мы платим золотом.

— Кто это мы?

— Ну, наше государство.

Дубилов усмешливо посмотрел на Лунина, отвислые его щеки с прожилками задрожали. «Дальше... дальше», — заторопил он. Тимофей Ти-

мофеевич хотя и понимал, что это прозвучит глупо, но, решительно не зная что еще добавить, повторил:

— Страна-то наша золотом платит.

Дубилов, готовый рассмеяться, переспросил:

— Значит, золотом платим?

— Золотом, Игорь Михайлович,— глухо ответил Лунин и в ожидании новых каверзных вопросов налег грудью на край стола — он хотел тем смягчить грозную силу сидящего напротив него человека.

Дубилов упер кулаки под щеки так, что щечные мешки побелели. Долго смотрел он на Лунина укоризненным взглядом.

— Значит, золотом?..— повторил Дубилов.— Так... так... А тебе какое дело до этого?

— Ну как же, Игорь Михайлович? — вопросительно глядя на секретаря, ответил Тимофей Тимофеевич.

Дубилов поднялся и, заложив руки в брючные карманы, молча зашагал по кабинету. Остановившись, он неприязненно оглядывал Лунина сбоку и снова шагал. «Золото... золото...» — тихо говорил он в задумчивости. Тимофей Тимофеевич чувствовал, что над ним насмеются. Дубилов вдруг остановился перед Луниным, весь налившийся злостью.

— Ты понимаешь, что говоришь? Да... Лунин... Лунин... — процедил он сквозь зубы, сдерживая себя.— Ты... — и он не договорил.

— Игорь Михайлович...— Тимофей Тимофеевич хотел уже спросить, кому сдать колхоз.

Но Дубилов перебил его.

— Обожди! — сказал он раздраженно и поднял перед собой руку ладонью к Лунину.— О золоте не будем говорить. Скажи, как Пеньков? — Вопрос был задан в том дружеском тоне, с каким член партии обращается к другому в желании узнать его мнение, чтобы принять безошибочное решение. Дубилов уже справился со своим раздражением.

Тимофей Тимофеевич поднял глаза и твердо ответил:

— Ему колхоз не сдам.

— Смотри! — удивился Дубилов.

— Не сдам,— повторил Тимофей Тимофеевич.

У Дубилова вдруг задрожали щеки, он хотел что-то сказать, но вместо этого стал рассматривать свои начищенные сапоги.

— Так... так...— обдумывал он.— У вас отчетно-выборное партсобрание когда?

— В конце октября.

— А общеколхозное?

— Следом...

— Так вот что, Лунин,— сказал Дубилов,— ты головой отвечаешь за уборку урожая, а за лес можешь сесть в тюрьму. Сделай вывод для себя — и на этом закончим.

Тимофей Тимофеевич уперся рукой о стол и, грузно поднявшись, направился к двери.

На улице Тимофей Тимофеевич, подойдя к телеге, огладил мерина, делившего с ним тяготы частых поездок в район. Потом он долго стоял, раздумывая, смутные мысли сменились более определенными. А имеет ли он право в чем-то упрекнуть Дубилова? Ведь тот требовал от него только выполнения долга. И разве не могло взорвать Дубилова упоминание о золоте, когда колхозу позарез нужен лес? Спрос-то за дела в районе с кого? С Дубилова...

С такими мыслями Тимофей Тимофеевич залез на телегу и тихо поехал домой. Он понимал, что дни его председательствования сочтены, даже представлял, как Дубилов разоблачает перед колхозниками его — Лунина — как бездельника. «Что ж скажут люди?» — подумал он.

Солнце уже стояло в зените и немилосердно палило, когда Тимофей Тимофеевич подъехал к памятной ему с давних пор придорожной березе. Он вспомнил, какую тень на траве давала когда-то эта береза с белой атласистой корой — крепкое было дерево, а сейчас на ней лишь три облистелые ветки: все остальные засохли.

«И тебе конец... и мне, хотя бы только не позорный», — подумал Тимофей Тимофеевич.

За клеверищем возле илистого затона, у берега, заросшего кустистой осокой, возился Федор с корзиной без дна. Он сноровисто набросил ее на куст, затопил, ступил в нее обмотанной тряпкой ногой, взмучивал воду — налавливал живцов, видимо, для ловли окуней. «Ой, в такое время... в страду». Тимофей Тимофеевич покачал головой.

8

Дома Лунин почувствовал необычную расслабленность и тошноту. С расплывчатыми кругами в глазах и странной дрожью в ногах он едва дошел до кровати и повалился на нее. Людмила Михайловна, вернувшись с работы, обеспокоилась, намерена была послать в город за врачом, но Тимофей Тимофеевич упрямил ее не делать этого.

— Должно быть, от голода, Люда, — говорил он. — С вчерашнего обеда я-то и не ел... Отлежусь, чайку попить и поднимусь.

Ему нездоровилось дней пять. Его навещал Михалков, докладывал о делах в колхозе. Косовица и молотья шли успешно.

— Ну, и слава богу... — говорил Тимофей Тимофеевич.

Лежа в кровати, он перебирал в уме, что и как надо сделать в хозяйстве, порой чувствовал себя здоровым, но, как только становился на ноги, в голове мутнело, и он снова валился в кровать. Однако вызвать врача упорно отказывался, говорил:

— Чего беспокоить? Сегодня еще полежу, а завтра подымусь.

Однажды в дверь робко заглянул Федор. Тимофей Тимофеевич позвал его.

Тот вошел осторожным шагом, с угрюмым лицом, будто обиженный, и стал посредине комнаты.

— Что, Федор? Дело?.. — спросил Лунин.

— Навестить пришел... — вразяжку произнес тот.

— Ну сядь.

Федор примостился на корточках у стены, жалостливо смотрел на Лунина, а потом дремотно потупил лохматую голову.

— Так ты чего, Федор? — спросил Лунин.

— Подневалю... за бойца. Ты ж начальник.

Тимофей Тимофеевич заулыбался.

— Шел бы работать, Федор.

— Отож... работать. Должно, затуркали тебя. Пойду, тож затуркают. Знамо дело.

— Сам... сам я себя, — сказал Тимофей Тимофеевич.

Федор помолчал, а потом спросил:

— Тебе, Тимофей, может, чего принести? Соленого.

От соленого Тимофей Тимофеевич отказался.

— У меня к тебе другое дельце, — сказал он Федору чуть погодя. — Сходи за Андреем Заболоцким, и пускай он придет ко мне. И еще попрошу... Скажи Ивану, что Тимофей Тимофеевич велел тебе выкупать игрневых жеребчиков. Щетку возьми... Скребницей ни-ни... И там, на мелком, на песочке вымой. Как, Федя?

Федор медленно поднялся, идя к двери, пробурчал:

— Отмою... И перед окном твоим проведу. Поглядишь.

Спустя час пришел Андрей. Громко заговорил с порога:

— В такую пору и сдали, Тимофей Тимофеевич. Не годится. Здравствуйте!

— Возьми, Андрей, табуретку и присядь ближе,— сказал Тимофей Тимофеевич, показав рукой место возле кровати.— У меня с тобой малый, а очень важный разговор.

Андрей сел.

— Значит, ты скоро нас покинешь? — спросил Тимофей Тимофеевич.— Будем вспоминать тебя добрым словом. А кому передашь комсомол?

— С Яковом Семеновичем еще не обсуждали,— сказал Андрей.

— А уже пора. Время до октября пролетит, а там тебе и в армию. Хотелось бы, чтоб ты в надежные руки передал комсомол. Может, тебе Нюру Пенькову готовить вместо себя? Ежели упустим, человек для деревни пропадет. А?

— Её?! — удивился Андрей.— Болтушку? Нет, нет.

— У нее я подметил знаешь что? — И Тимофей Тимофеевич подмигнул.— Правду говорит. Это дело в человеке очень ценное, важное.

— Качество, Тимофей Тимофеевич,— поправил Андрей.

— Ну качество... Так ты приглядишься. Это моя просьба. А там решайте на собрании. Можешь сказать о нашем разговоре Якову Семеновичу. Иди. Ты на молотье?

— Да.

— Как там?

— Дружно идет дело, Тимофей Тимофеевич,— сказал Андрей.— Комсомольцы выпел на третьем току не упускают. Говорят, поддержим Тимофея Тимофеевича ударной работой.

Все, о чем Тимофей Тимофеевич думал в последние дни и что собирался делать, сводилось к тому, чтобы, если придется передать колхоз другому, то, как говорят, без зазубрин.

Поправившись, Тимофей Тимофеевич снова впрягся в работу. Его радовало, что план госпоставки мяса и зерна колхоз выполнил, что кормов для скота будет заготовлено с избытком, что на пустыре возле скотного двора бригада уже возводила стены нового коровника и свиарника из саманного кирпича. «Сдам дело на ходу»,— с удовлетворением думал он. Только бы получить в сентябре лес, и тогда все будет в порядке.

9

Письмо в лесное управление с напоминанием, что колхоз ждет в сентябре лес, Тимофей Тимофеевич отправил сразу же, как только встал с постели. В сентябре он получил ответ: «Ввиду отсутствия ресурсов в настоящее время правление гарантирует отправку леса после нового года».

Надежда укрыть скот, не вмещавшийся в старое помещение, рухнула, на заседании правления Тимофей Тимофеевич, сообщив об этом, предложил немедленно продать на мясо малоудойных коров — иначе не сохранить породистый молодняк. Пеньков, сославшись на болезнь, на заседании не присутствовал. Зоотехник поддержал предложение Лунина, и оно было принято. Через несколько дней после этого Тимофей Тимофеевич, идя от кузни, увидел подкатившую к скотному двору машину Дубилова. Он поспешил туда. Дубилов безмолвно пожал его руку. Оба они бок о бок стояли у плетневой изгородки свинячьего загона. На подмерзшей грязи кучками лежали боровы и подсвинки, тесно прижавшись друг к другу, мелко-мелко дрожали.

— Дело, Лунин, вижу, подсудное,— сказал Дубилов.

— Справедливо, Игорь Михайлович,— подтвердил Тимофей Тимофеевич.

Потом они долго молча смотрели на свиней.

Один боров лениво поднялся и, проломав подмороженный слой грязи, стал пробираться к кормушке. Из-под его ног поверх грязи наплавала киселеобразная жижа.

— Да-а... поднял Лунин животноводство,— усмехнулся Дубилов.

— Игорь Михайлович,— взволнованно заговорил Тимофей Тимофеевич.— Скота сейчас в полтора раза больше, чем в позапрошлом году: Кормов наготовили даже с излишком. Одно бы... с помещениями решить, а там...

— Где силос? — перебил его Дубилов.

Тимофей Тимофеевич указал рукой на ряды буртов поодаль, укрытых землей. Дубилов равнодушно спросил:

— С излишком, говоришь?

— Кукурузы-то почти по шестьсот центнеров взяли. На поле свекла в буртах, в амбарах полно зерна.

Тимофей Тимофеевич рассказал и о том, что ответило лесное управление на его напоминания, и о принятом правлением колхоза решении. Дубилов с кислой миной на лице покачивал головой, счищая с сапога об изгородку грязь, а затем, безнадежно махнув рукой, сказал:

— Головоотяпство, Лунин. И смотреть больше нечего.— И зашагал к машине.

Тимофей Тимофеевич окончательно уверился, что дни его на посту председателя колхоза сочтены. А когда неожиданно рано наступила крепкая зима и пришлось перевести скот из загонов в недостроенные помещения, он решил, что и впрямь дальше руководить колхозом не имеет права.

Морозным октябрьским утром в день отчетно-выборного партсобрания в деревню на «газике» приехал инструктор райкома партии Салин. Тимофей Тимофеевич знал его как умного и отзывчивого работника, пользующегося заслуженным авторитетом в колхозах района. В правление он не зашел — весь день просидел у Пенькова, вероятно помогая ему составлять доклад. Трижды Пеньков с обеспокоенным видом появлялся в правлении, брал у счетовода необходимые ему цифры и, не заходя к Лунину, спешил домой. Из всего этого Тимофей Тимофеевич заключил, что предстоящий доклад должен будет служить основанием для отстранения его от председательствования в колхозе и что, конечно, в состав нового бюро его не изберут.

В предвечерний час он пришел в длинную комнату правления, ярко освещенную по указанию Пенькова дополнительными лампочками. Одетые по-праздничному члены партии были в сборе. Лунин повесил полушубок на гвоздь, торчавший из косяка двери, и сел на краешек скамьи возле стены, явно показывая, что он не хочет противостоять ходу событий.

Зоотехник Семпер — пожилой эстонец с большим партийным стажем, — избранный председателем собрания, объявил повестку. Пеньков взошел на трибуну и начал читать.

Доклад с первых минут понравился Тимофею Тимофеевичу, и он подумал, что Салин хорошо потрудился. Рисую картину жизни колхоза за истекший год, Пеньков отметил и неукоснительное выполнение планов сдачи продукции государству, и рост политической сознательности, трудовой дисциплины, и повышение материального уровня колхозников. Особо остановился он на том, что колхозники стали покупать дорого-

стоящие вещи, обзавелись обновками, которых сроду не носили, а также хорошей домашней утварью, а всякий хлам пожгли в печках.

Тимофей Тимофеевич подумал уже, что его подозрения были безосновательными. Но когда Пеньков от успехов перешел к недостаткам, то оказалось, что единственный виновник всех их — председатель колхоза. Правда, Пеньков не назвал его фамилии и говорил не «председатель», а «руководство колхоза», но ясно было, что он обличал Тимофея Тимофеевича. То, что в пору страды на токах отсутствовали доски показателей выработки колхозников — в эти дни Лунин лежал в постели больным, — Пеньков охарактеризовал как недопонимание руководством колхоза дела большой политической важности. А то, что лес до сих пор не доставлен, получило в докладе такую суровую оценку, что Тимофея Тимофеевича следовало бы не только снять с поста, но и отдать под суд. Вскользь коснувшись недостатков в политико-воспитательной работе, Пеньков на том и закончил свой доклад.

Тимофей Тимофеевич сидел удрученный. «Капут мне», — думал он.

— У меня вопрос, — подняла руку пожилая доярка Зинаида Березова. — Доклад на бюро обсуждали?

Пеньков, готовившийся покинуть трибуну, хотел что-то сказать, но запнулся и обернулся к инструктору Салину.

— Отчего не обсуждали? — решительно спросила Березова.

Салин быстро встал.

— Разрешите, товарищи. Доклад готовился в некоторой спешке, — говорил он с сожалением в голосе. — Это надо признать по-партийному, но сейчас это не имеет принципиального значения. Если бы доклад выносился на обсуждение общеколхозного собрания, то другое дело. Здесь же присутствуют члены бюро, и, думаю, их участие в обсуждении принесет пользу на партийном собрании больше, чем на бюро.

Его довод прозвучал вразумительно.

— Есть вопрос, Яков Семенович, — пробасил кузнец Демин. — О лесе. Дело-то пахнет недобрым. Партбюро вмешалось в катавасию? Запрос посылало? Там же, должно, есть парторганизация, а?

— По информации, которую я получил, создается впечатление, что лес придет. А лично мое впечатление — это мартышкин труд, — строго сказал Пеньков.

— Впечатление... — недовольно произнес Демин.

Семпер, стоя за столом в ожидании других вопросов, заметил:

— Да, впечатлений тут мало.

Задано было еще несколько вопросов, касавшихся хозяйственных дел. Будучи не в курсе их, Пеньков пообещал ответить в заключительном слове. В начавшихся затем выступлениях члены партии без обиняков критиковали Лунина за беспорядки в колхозе, но и Пенькову, как секретарю парторганизации, крепко досталось. Тимофей Тимофеевич взял слово с единственной целью дать пояснение о лесе. Смущенным, чуть сгорбившись, прошел он к трибуне и начал:

— Товарищи, доклад хороший, правдивый. Теперь про лес. Тут, должно, я... Мне и Игорь Михайлович Дубилов наказывал тереть начальников лесного управления. Писал. Ну, а сами знаете, обещают прислать после нового года.

— Тереть?! За какое место? — сердито подал голос Сергей Задорнов, образцовый колхозник, как о нем говорили на собраниях.

Мужчины засмеялись. Женщины в смущении переглянулись. Тимофей Тимофеевич, навалившись грудью на трибуну, смотрел на людей с конфузливой улыбкой.

— Все, Тимофей Тимофеевич? — спросил Семпер.

— Все... — И он зашагал к своему месту.

Сразу же после заключительного слова Пенькова, в котором он так и не смог ответить на ряд вопросов, началось выдвижение кандидатур в бюро. Как это часто бывало, молодые члены партии поднимали руки и выкрикали по подсказке Салина и Пенькова:

— Фомина!.. Пеньков!.. Желудева... Семпер... Голубь!

— Есть предложение,— выкрикнула девушка-счетовод,— выдвижение прекратить!.. Ограничить!

— Товарищи, поступило...— начал Семпер.

— Вношу предложение продолжать выдвижение,— перебила его Даша Золотова.

Большинство поддержало ее, и тогда она сказала:

— Лунина!

— Золотову! — предложил Сергей Задорнов.

Собрание ограничило этим число кандидатов и избрало счетную комиссию для проведения тайного голосования.

Тимофей Тимофеевич ждал своего забаллотирования. Выступить с отводом своей кандидатуры он не стал — боялся предстать перед людьми трусом, уходящим от ответственности за колхозные дела. «Потом уже... на собраниях надо будет что-нибудь...» — подумал он.

Семпер предложил обсудить выдвинутые кандидатуры.

— Товарищи! — заговорил Салин, поднявшись. — Я хочу сказать пару слов о товарише Пенькове. Ваше доверие ему в течение многих лет воспринималось в райкоме партии с полным удовлетворением. И теперь многие из вас, умудренные опытом жизни и борьбы, убеленные сединами...

Кое-кто с кривой улыбкой потупил голову. А Салин продолжал возносить Пенькова на недостижимую для того высоту. «Ой, погорит... погорит Пеньков», — подумал Тимофей Тимофеевич, зная, как не терпят деревенские люди, когда человеку приписывается незаслуженное.

Тимофей Тимофеевич уже боялся, как бы и сам Салин, вознося Пенькова, не потерял доверия собрания. Многие уже заметно приуныли, слушая хвалу Пенькову.

Однако за оставление Пенькова в списке руки дружно подняли все. Когда же дело дошло до Лунина, раздался общий возглас «знаем!», и его не стали обсуждать.

После голосования, когда счетная комиссия удалилась в бухгалтерию, Пеньков по-прежнему осанисто сидел на табурете возле трибуны. Салин в настроении человека, добросовестно исполнившего свой долг, подошел к Тимофею Тимофеевичу:

— Считаю, товарищ Лунин, собрание прошло на высоком уровне. Самокритичное. Золотые люди у вас, — сказал он. — Можно сказать, примерная активность. С такими людьми горы можно свернуть.

— Ждать следует... свернут, — сказал Лунин.

В комнату вошел председатель счетной комиссии Сергей Задорнов с листами бумаги в руке, возле Салина он задержался. Они отошли в сторону и тихо перемолвились. Потом Салин быстрыми, упругими шагами подошел к Пенькову и что-то шепнул ему. Пеньков побледнел. Задорнов с трибуны зачитал короткие протоколы: в состав бюро большинством голосов оказались избранными — Даша Золотова, Семпер, Лунин, Желудева и Голубь. За Пенькова голосовало всего три человека. Тимофею Тимофеевичу стало жаль его.

Сразу после утверждения протоколов Семпер закрыл собрание. Пеньков был неестественно весел, но уходившие из комнаты люди не обратили на это внимания, и он, сникнув, скрылся за дверью. В опустевшей комнате остались члены партийного бюро и Салин, сели за стол. В глазах Салина проглядывала растерянность, он отмалчивался.

— Так что, выбирать секретаря? — спросил Тимофей Тимофеевич у него.

— Да... выбирайте. Ваша воля.

— Мое предложение — Дашу Золотову. Хвалить не буду. Есть другие кандидатуры?

Других кандидатов не было. Против Даши никто не возражал. За нее поднялись четыре руки, и Семпер поздравил ее. На улицу Тимофей Тимофеевич вышел вместе с Семпером. Тот сказал ему:

— Все это относительно выраженного вам доверия можно было представить. Люди хотя и недовольны положением на скотном дворе, а все же верят, что исправите, видят, что в такой обстановке, очень тяжелой лично для вас, вы, как настоящий член партии, не выпускаете вожжи. Это очень, очень ценно, Тимофей Тимофеевич.

— Думаю, не то... — сказал он, хотя ему, конечно, было приятно услышать сказанное. — Захвалили Якова Семеновича, а это...

— Да, это добавило, — согласился Семпер.

10

Утром после партийного собрания в деревню прикатил «газик» с нарочной из МТС. Та вручила Лунину телефонограмму из райкома партии за подписью Салина — немедленно прибыть к Дубилову.

Тимофей Тимофеевич сначала встревожился в предчувствии возможных подозрений у Дубилова, что он — Лунин — вряд ли удержится. А потом подумал: «Нет, не то... Резолюция партсобрания... В нее ткнет он пальцем перед моим носом». Да, в недостатках, перечисленных в единогласно принятой резолюции, виноват как Лунин, так и Пеньков. Стало быть, если Пеньков освобожден от секретарствования, то и он — Лунин — будет изгнан со своего поста.

Словом, на этот раз встреча с Дубиловым представлялась Тимофею Тимофеевичу особенно неприятной, так как тот, несомненно, озлоблен на него за то, что Пенькова провалили на выборах.

С таким чувством он ехал в город на розвальнях, не замечая красоты посверкивающих на солнце заснеженных полей. Он мучительно перебирал разные варианты разговора с Дубиловым, соображая, что тот ему скажет и что на это ответить. Он, кажется, готов был даже сложить с себя председательские полномочия, чтоб избавиться от всех этих переживаний.

За дорогу у него разболелась голова. Не доезжая до райкома, он подвернул к аптеке, купил таблетки и три проглотил, идя к саням. С каждым шагом мерина по улице, заполненной высыпавшей из школы радостной детворой, у Лунина усиливалась тревога в ожидании встречи с Дубиловым в его кабинете, а на крыльце райкома ему трудно стало дышать. В нерешительности и в то же время в нетерпении он заторопился, набираясь храбрости. Был момент, когда ему захотелось повернуть обратно, уехать в деревню, зажечь спокойной жизнью рядового колхозника. «И как этого спокойствия не ценят те, кто не переносил тяжести, лежащей на председателе?» — успел подумать он в этот момент.

И вот уже Тимофей Тимофеевич вошел в коридор райкома. Разум подсказывал ему смелее войти к Дубилову и там в два счета решить свою судьбу, но холодящее душу чувство страха сдерживало его, и он только чуть приоткрыл дверь в кабинет секретаря.

За столом одиноко сидел Дубилов с прикованными к бумаге глазами. Он медленно поднял их и стал исподлобья всматриваться в раствор двери. И вдруг его лицо засветилось приветливой улыбкой. Он оперся руками в подлокотники, сразу вырос над столом всей своей могу-

чей фигурой, с выраженным на лице чувством собственного достоинства твердо зашагал навстречу Лунину, протягивая руку.

— Ну, ну, расскажи,— дружески заговорил он с Тимофеем Тимофеевичем,— как твои коммунисты наконец-то всмотрелись в этого... Пенькова.— Он крепко пожал руку Лунина, слегка прикасаясь ладонью к его спине, повел к столу, показал на стул и, выжидательно стоя, смотрел на него смеющимися глазами.— Это, товарищ Лунин, и тебе и мне наука,— сказал он, не дождавшись, пока онемевший Тимофей Тимофеевич наконец-то заговорит.— Не хочу упрекать тебя, а скажу, что и ты немножко виноват. А ведь я обращался к тебе... Помнишь? Спрашивал, как Пеньков? Что делает? Почему не вижу его у себя? А ты? — без укора спросил он.— Помнишь? Помога-ает... Ну, так сказать... ничего. Вот тебе и ничего. Ладно! — И Дубилов махнул рукой, как на дело, которое следует забыть, и сел в кресло.— Значит, Даша Золотова? Что же, будем растить.

Тимофей Тимофеевич лишился не только голоса, но и способности соображать.

— Коммунисты сделали правильный вывод, товарищ Лунин,— говорил Дубилов, не сводя глаз с Тимофея Тимофеевича.— И ты сделай для себя вывод — глубже займись делами колхоза, а райком поможет.

Тимофею Тимофеевичу захотелось на минутку выйти из кабинета, за дверью собраться с мыслями, во всю грудь подышать воздухом и снова войти к Дубилову без всякого предубеждения к нему, как к товарищу, учителю и сильному человеку, готовому помочь ему в тяжелом для него деле.

— Да, поучительный пример... поучительный,— сказал Дубилов и задумался.— Видишь, в чем сила партии, а? Мешают одиночки... их сбрасывают с пути. У тебя хорошая черта, Лунин, в том, что ты сумел заручиться доверием людей. Цени это. Народ — творец истории. А одиночки — слуги народа. Понял? Не могут они служить всем сердцем, разумом и душой... Народ, знаешь, видит, долго терпит, а потом сбрасывает их, как костяшки со счетов. А теперь о тебе. Крепись, духом не падай, райком поддержит. Но... — строго произнес он и покачал перед собой рукой с выпрямленным указательным пальцем,— поблажки не дадим. Тебя я хорошо знаю. Не райком будет проводить в деревне лунинскую политику, а Лунин проводить райкомовскую.

— Игорь Михайлович,— виновато глядя на секретаря, со вздохом произнес Лунин,— для меня ваше... райкомовское указание всегда было законом.

— Знаю! И поэтому держали тебя. Одно дело сказать так, Лунин, а другое дело выполнять наши законы. Понял? Ты отвечаешь за свои действия, а райком за твои. Понял? Это ты хорошо знаешь, и не будем тратить время. Расскажи, как у тебя со скотом.

Тимофей Тимофеевич на память — он счет скоту знал точно — стал рассказывать, где и какой скот размещен и в каких условиях.

— Из загонов убрали? — перебил его Дубилов.

— Укрыли... Настроение людей. Игорь Михайлович, сбережь скот до тепла. Ждем леса, а там достроим.

— С госпоставками как?

— За год рассчитались, Игорь Михайлович.

— Хорошо, а с другим плохо.— И Дубилов, о чем-то забеспокоившись, отвалился на спинку кресла и скрестил руки на груди. Сжав губы, он задумчиво глядел мимо Лунина и потом заговорил: — Я все думаю и думаю... И ночью другой раз проснусь оттого, что твой скот в голову лезет. А если инфекция, а? — пристально взглянул он на Лунина.— Скученность же, а?

— Зоотехник смотрит же, Игорь Михайлович.

— Зоотехник... зоотехник... — недовольно протянул Дубилов. — У тебя все так. То золото... то зоотехник... то Золотова... — Тут он весело, но с укором пронзил Лунина взглядом. — А если?.. Настоящий хозяин всегда задает себе такой вопрос. Понял? О судьбе колхоза думай. Ночью сегодня еще раз обдумывал твое положение и пришел к выводу: надо разредить стадо, а там... летом наверстаешь. Продать через коопторг. Единственный выход!

— Невыгодно, Игорь Михайлович. Молодняк же. Да и...

— Обожди. Раз мы уже договорились с тобой выполнять указания райкома, то так тому и быть. Понял? Жаль молодняк на мясо — верно. Чтобы государство не имело убытков, сделаем так: продажу оформи через коопторг, а скот сдай Лисичкину для докорма. Он все оформит и, как говорится, вытащит тебя за уши из болота.

— Игорь Михайлович, у него же нет того... скотного двора. Все помещения в дырах. Да и наши колхозники...

— Обожди, — с досадой перебил его Дубилов. — Ты не о лисичкинском колхозе беспокойся, а о своем. Понял? Колхозники... Скажу тебе, если ты спросишь мнение колхозников, то этих мнений будет столько, сколько колхозников. А ты хозяин. И решай!

— Игорь Михайлович, поголовье же в промфинплан уже заложено, — заметил Тимофей Тимофеевич.

— Обожди. В план... Наверстаешь за лето. Мой тебе... совет! — подчеркнуто сказал Дубилов, дружески грозя пальцем.

— Что ж... надо так надо, — со вздохом произнес Тимофей Тимофеевич.

— Обговори это, но не на правлении, а отдельно с членами правления. Понял? Одним словом, половину молодняка продать. У вас общее колхозное собрание скоро?

— Скоро...

— До собрания передай Лисичкину немного, дай выбрать, а остальное сразу после собрания. И без всяких там митингов. Это единственный выход, — говорил Дубилов, серьезно вглядываясь в Лунина, — спасти тебя. И все! Завтра жду к себе Золотову.

Возвращался Тимофей Тимофеевич к себе в колхоз со смешанным чувством радости и печали. Радость его была от глубокой веры, что наконец наступил перелом в отношении к нему Дубилова, по всему видно тоже болеющего за судьбу колхоза, однако то, что Дубилов посоветовал умолчать на собрании колхозников о количестве назначенного к продаже скота, сильно огорчало его.

В деревню он приехал в полночь. Хаты таились в мертвенном покое. Только оконца его домика светились. Вид уснувшей деревни еще сильнее ущемил Тимофея Тимофеевича. С болью подумал он, что люди верят ему, а он вынужден будет обмануть их на предстоящем собрании.

Жена ждала его с ужином, накрытым на столе чистым полотенцем. Стараясь казаться бодрым и довольным поездкой, он разделся и грузно сел за стол.

— Толковали про дела, — сказал он. — Принял, можно сказать, душевно. Ну, а со скотом... Посоветовал по-хозяйски обдумать, чтоб убедить скот для государства.

Жена, сидя на табурете, вприщур смотрела на него.

— Тимоша, ты что-то не то говоришь, — сказала она. — Нет, не то.

— Малость молодняк велел продать, — сказал он.

— Этого ему и надо, — с досадой заметила Людмила Михайловна. — Дело к концу года идет, и хочет рапортовать о перевыполнении планов. Хочет портфель набить похвалой.

Она поднялась, ушла к печи, и больше о скоте у них не было разговора.

Лежа в кровати, Тимофей Тимофеевич слышал, как настенные часы пробили пять утра. Потом он уснул, но как только за окном засерел рассвет, проснулся и пошел на скотный двор. У свинарника стоял зоотехник Семпер. Поздоровавшись с ним, Тимофей Тимофеевич стал опускать наушники шапки на уши и будто между прочим заметил:

— Много молодняка... много. Часть продать бы, а?

— Сохранить все стадо в теснотище — орешек для нас, Тимофей Тимофеевич,— сказал Семпер,— а все же до весны надо выходить. Задел на будущие годы здоровый. Люди, можно сказать, по-большевистски настроены.

— Ну, а все же... Чуть облегчить себя следует.

— Если малость выбраковать...— согласился Семпер.

Заручившись поддержкой зоотехника, члена бюро, старого коммуниста, Лунин с глазу на глаз поодиночке обговорил дело с членами правления. Его слова: «Малость надо выбраковать, да и Семпер за то», повлияли на них, и они согласились.

11

Даша Золотова, вернувшись из райкома, сошла с розвальней у крыльца правления. В новом пальто и пуховой шали, с двумя свертками — в одном, квадратном, книги, в другом старое пальто — она поднялась на крыльцо.

— Ух, и жара у тебя, Тимофей Тимофеевич,— сказала она, войдя в комнату председателя, положив свертки на скамью, живо сбросила шаль.— Сроду так не топил.

— Мозги плановикам разогреваю,— пошутил Тимофей Тимофеевич. Даша присела у стола.

— Ну как, всё обошлось? — спросил он.

— У Дубилова? Долго не говорили, вечером сходила в театр, а днем — в магазинах.

— Давал какие указания?

— Нет,— быстро мотнула она головой.— Сказал, чтобы вовремя членские взносы собирать, аккуратно вести партийное хозяйство.

— А про скот ничего не говорил?

— Нет. И разговора не было. А что?

— Мне он, Даша...— И Тимофей Тимофеевич поднялся, вышел из-за стола и прикрыл дверь в коридорчик. Вернувшись, он сказал: — Дубилов посоветовал мне малость молодняк продать.

— Зачем? — недоуменно спросила Даша.

— Чтобы беды не случилось. Падеж там и другое. Зима, а скот укрыть негде.

— Знаешь что, Тимофей Тимофеевич, поеду-ка я в твою Вятку-пятку лес вырывать,— решила вдруг Даша.

— Вот бы хорошо! — обрадовался Тимофей Тимофеевич.

И на следующий день Даша с мандатом колхоза уехала на север «вырывать лес». Прошла неделя, Тимофей Тимофеевич все думал, как бы ему оттянуть продажу скота. И вот однажды утром к крыльцу правления подкатили выездные сани, запряженные игреневым рысаком, на облучке сидел молодцеватый кучер в заломленной набок папахе. Тимофей Тимофеевич встревожился. Случилось то, чего он боялся: из саней живо сошел человек в кожаном пальто и белых бурках. Тимофей Тимофеевич встал и, сгорбившись над столом, застыл в ожидании. В открытой двери появился Лисичкин.

— Привет! Привет! — выкрикнул он и выбросил руку кистью вровень с ухом Тимофея Тимофеевича. Опустившись на табурет, он обернулся к толпившимся в комнате колхозникам и сказал им взглядом, что они тут лишние. Когда люди вышли, Лисичкин обратился к Тимофею Тимофеевичу:

— Знаешь, зачем приехал?

— Вижу... вижу,— промолвил Лунин с горечью. Помолчав, он поднял глаза на Лисичкина и, как бы извиняясь, сказал: — С отпуском скота я должен повременить.

— Что это значит? — спросил тот.

— Да видишь... еще не выбраковали.

— Какая выбраковка?! — Лисичкин пожал плечами — Худобу я не возьму и даром.

— Ну, сегодня еще нельзя.

— Тимофей Тимофеевич, ты что, против Дубилова? — с угрожающим нажимом спросил Лисичкин, подавшись лицом вперед. — Тебе сказано — сдать! Мне — принять!

— Нет, нынче не могу. — Тимофей Тимофеевич забегал глазами по столу. — Там... попозже.

— Ай да хозяин! — воскликнул Лисичкин. Он вольно развернул плечи вполупорот к Лунину и постукивал рукой по столу. — Что же, у меня правило приезжать один раз, Тимофей Тимофеевич.

Он встал, с ленивой оглядел свои бурки, притворно безразличным взглядом окинул диаграммы на стене, шагнул к двери и, уже взявшись за ручку ее, мельком посмотрел на Лунина и сказал:

— Тяжел на подъем, Тимофей Тимофеевич. Поднимут!

Весь день Тимофей Тимофеевич в тревоге строил всякие догадки о последствиях своего отказа продать скот Лисичкину. Когда за окном стало темнеть, он с облегчением подумал: «Ну, день прошел» — и вышел на крыльцо. Гул машин на гребле заставил его насторожиться. Три порожних грузовика мчались в деревню. Две машины подвернули к скотному двору, а третья подкатила к правлению. Из кабины проворно вышел Лисичкин, подталкивая Тимофея Тимофеевича, провел его в предсательскую комнату и раздраженно сказал:

— Так вот что, Лунин, — я не мальчик, и Дубилов не хочет быть им по твоему желанию. Читай!

Перед глазами Тимофея Тимофеевича, почти касаясь носа, раскрылся блокнот, на листке которого он увидел знакомую жирную подпись черным карандашом: «Дуб». Тимофей Тимофеевич отпрянул, потянувшись рукой к блокноту, но Лисичкин отдернул его к себе. «Читай... читай», — требовал он. Тимофей Тимофеевич прочел: «Т-ш Лунин! С кем райком имеет дело? С мальчиком или хозяином колхоза? Выбер! Понял? Выбор! Дуб».

Лисичкин победно посмотрел на него и спросил с презрительной миной на лице:

— Выбор, понял, Тимофей Тимофеевич?

Тимофей Тимофеевич опустил на табурет и понурил голову. Сел и Лисичкин, молчал.

— Сколько же тебе? — тихо спросил Тимофей Тимофеевич.

— Двадцать подсвинок и шесть бычков.

— Много... Давай половину, а?

— Не вынуждай сделать тебе неприятность, Тимофей Тимофеевич. Это первая партия, а там...

— Ну, ладно... Дай мне эту записку, — попросил Лунин, показывая глазами на блокнот.

— О, нет...— протянул Лисичкин.— Зачем? Ты хочешь, чтобы я сказал Дубилову, что твои руки тянутся за его записками?

— Твои же руки тянутся за чужим скотом,— с горечью сказал Тимофей Тимофеевич.

— Колхоз твой деньги получит.

Дальнейшее сопротивление Тимофей Тимофеевич счел бесполезным. Лисичкин это понял и довольно заерзал на табурете.

— Значит, так, Тимофей Тимофеевич, скот отпускаяй, перевесим у меня, давай счет на имя коопторга.

— Мне в коопторг и носа показывать нельзя.

— Знаю! Ерунда! Я все оформлю.

— Давай чуть попозже скот погрузим,— попросил Тимофей Тимофеевич.— Стемнеет, а там уже. Чтоб люди того... Грабеж, грабеж.

— Сказать об этом Дубилову? — улыбаясь, спросил Лисичкин.

— Не надо,— досадливо сказал Тимофей Тимофеевич.

С час сидели они в конторе наедине, не находя темы для разговора. Лисичкин то и дело в нетерпении заглядывал в окно.

— Идем, идем,— торопил он.

Стемнело, и они пошли. В темном свинарнике Тимофея Тимофеевича встретила дежурная. Свет снаружи через раскрытую дверь позволял разглядеть только две ближних к двери клетки с выбракованными Семпером подсвинками.

— Эти,— показал Тимофей Тимофеевич следовавшему за ним Лисичкину. Тот проворно подошел к щитку и включил свет во всем свинарнике. Помещение огласилось хрюканием проснувшихся свиней. Лисичкин заглянул через барьер в указанную ему клетку и воскликнул:

— О, нет! Выбор! Выбор!

В свинарник вошли шестеро мужичков из его колхоза. Лисичкин, быстро идя проходом между клетками, тыкал пальцем за барьеры, где лежали подсвинки:

— Эту! Взять! Эту!

Двое ухватистых мужичков полезли в клетку, подхватили за ноги лучшую свинку, перекинули ее двум мужичкам, стоявшим в проходе, один подцепил ножку свинки петлей веревки и уволок ее к машинам.

Дежурная с удивлением наблюдала за возней в проходе.

— Все! Хватит! — поддал команду Лисичкин, провожая глазами к машине последнюю подсвинку. С той же решимостью он отобрал в телятнике бычков, его мужички погрузили их в грузовик.

Тимофей Тимофеевич позвал к машинам дежурную по свинарнику и сказал:

— Тонечка, поезжай в их колхоз. Там перевесите, акт привези. До утра я подежурю за тебя.

На рассвете она вернулась в свинарник. Тимофей Тимофеевич пошел в правление, усевшись за стол, приклонил голову к шершавой доске. Дверь отворилась, вошел зоотехник Семпер, с удивлением глядя на Лунина, сказал:

— Тимофей Тимофеевич, забрал ведь отбитое мною в маточное поголовье. Ужасно... ужасно...

— Георг Юханович... надо,— устало сказал Тимофей Тимофеевич.

— Да, мне понятно.— И Семпер грустно кивнул головой.— Уже пережито. Указание — закон. Хорошо еще, если молодняк псйдет на воспроизводство.

Днем Тимофей Тимофеевич созвал у себя членов правления и членов партбюро для предварительного обсуждения плана на следующий, 1956 год, который вечером нужно было утвердить на общеколхозном собрании. Продажа скота не вызвала серьезного беспокойства у людей

на этом совещании. Все сошлись на том, что в дни призыва партии поднять животноводство колхозы должны помогать друг другу.

Собрание колхозников началось при электрическом свете в длинной комнате правления. Тимофей Тимофеевич, сидя за столом рядом с членами правления, предоставил слово агроному. Тот с ворохом таблиц взошел на трибуну и довольно обстоятельно изложил перспективу развития колхоза в пятьдесят шестом году. Тимофей Тимофеевич ожидал, что докладчик скажет о продаже скота, но тот даже не упомянул об этом. Как всегда бывает, посыпались вопросы. Одни интересовались размером платы трудодня на тех или иных работах, а другие — агрономическими мероприятиями и назначением неделимого фонда.

— Может, товарищи, есть того... вопросы про каверзное в нашей жизни? — спросил Тимофей Тимофеевич в последней надежде вернуться к вопросу о продаже скота.

— У меня есть, — сказал Пеньков. — А проданный скот включен в план выходом на новый год?

Тимофею Тимофеевичу стало легко. От удовольствия он даже потерял ладонь о ладонь.

Агроном явно желал уклониться от ответа, вялыми движениями рук складывал таблицы. Среди колхозников возник шепоток.

— Скажи, скажи. Люди хотят знать правду, — подбодрил докладчика Тимофей Тимофеевич.

— Существенного значения на общий результат работы колхоза это не повлияет, скот можно восполнить в течение года, — скороговоркой ответил докладчик.

— А что председатель скажет? — спросил Пеньков.

Тимофей Тимофеевич поднялся в растерянности. Может ли он, коммунист, подорвать авторитет секретаря райкома перед собранием колхозников? Нет, не может. Так что же он скажет людям, много лет доверявшим ему устройство своей жизни?

— Товарищи... тут такое я хочу сказать, — начал он в волнении. — Продали... верно. Райком беспокоится... А что, если весна? А там болезнь? Скученность скота... И если подойти по-государственному, — вдруг явилась ему светлая мысль, — то кто доведет скот до убойного веса — мы чи лисичкин колхоз, от этого государству все равно. Правда? А денежный доход, слава богу, у нас в этом году все-таки как ни в одном прошлом году. Правда?

С горьким упреком совести, что пришлось умолчать о последующей более крупной продаже скота Лисичкину, он опустил на стул и обтер ладонью стекавший от висков пот. Его ответ удовлетворил людей, и ему оставалось только поставить план на голосование. План был утвержден единогласно.

Три дня после собрания Тимофей Тимофеевич жил в непрестанной тревоге в ожидании приезда Лисичкина за остальными бычками и свинками. В морозный полдень, осматривая возле кузни купленное в «утильсырье» заржавелое железо для ремонта инвентаря, — ему хотелось прикинуть на глаз, есть ли там триста сорок килограммов, как значится в счете, — он вдруг увидел катившие к деревне по гребле шесть порожних грузовиков. Тимофея Тимофеевича обдало страхом. Пять грузовиков круто завернули к скотному двору, а шестой стремительно подкатил к правлению. Из кабины выскочил Лисичкин, вбежал в дом и сейчас же выбежал обратно на крыльцо. Увидев идущего к нему Лунина, он снова юркнул в правление.

Тимофей Тимофеевич устало вошел в свою комнату. Перед ним стоял Лисичкин, упершись в него взглядом:

— Давай команду!

— Не могу...

— Хочешь Дубилова и меня сделать мальчиками? Не дашь? — вскрикнул он. — Ну, так мы возьмем тебя на abordаж!

— Не могу... — повторил Тимофей Тимофеевич.

— Все! — крикнул Лисичкин и юркнул в дверь.

За окном хлопнула дверца машины. Машина загудела и понеслась в сторону города, возле скотного двора замедлила ход. Шофер откинул дверцу, что-то прокричал шоферам, стоявшим у других грузовиков. Они остались около свинарника.

Два часа Тимофей Тимофеевич не находил себе места, с тяжелым камнем в груди уходил домой и с полдороги возвращался в правление. На заходе солнца Лисичкин снова прикатил в деревню. Торопливо войдя к Лунину, он сел перед ним за стол и, не спуская с него глаз, медленно вытащил из-за борта пальто блокнот. В раскрытом виде он подставил его под глаза Лунина с тем издевательским выражением утаиваемой в себе радости, с каким игрок, идущий ва-банк, делает последний ход козырным тузом. Тимофей Тимофеевич помутневшими от страха глазами всматривался в торчавшую перед ним в руках Лисичкина записную книжку, наконец он прочел в ней: «Т-щ Лунин! Где же твое твердое слово? Что еще надо сделать райкому? Дуб».

Немного помолчав, Тимофей Тимофеевич сказал:

— Дай напишу распоряжение. — Он кивнул на блокнот.

— В моем блокноте?

— На этом листе.

— Пиши!

Тимофей Тимофеевич обтер пот на лбу, вяло написал пером: «Георгу Юхановичу. Отпустить семьдесят из молодняка свиней и двадцать бычков. Лично перевесить в колхозе говарища Лисичкина. Акт передать в бухгалтерию».

Лисичкин, выхватив из-под его руки блокнот, живо покинул комнату.

Тимофей Тимофеевич, чтобы не глядеть на то, что сейчас будет на скотном дворе, прошел на конюшню, запряг мерина и в пустых розвальнях поехал в соседний колхоз, где председательствовал его бывший бригадир Широков. Он сделал все, что мог. Самое мучительное, казалось ему, прошло, и если колхоз даже ущемлен, то все же он — Лунин — добросовестно выполнил требование Дубилова. Теперь нужно было думать, как восполнить потери от продажи скота.

Мерин долбил снег на малоезжей извилистой дороге между облепленных леденистым снегом кустов и редких голых березок, а потом с натугой пошел на подъем холма. С вершины перед Луниным открылось всхолмленное, уваленное кучами навоза поле колхоза Широкова. У скотного двора возле навозной горы стоял Широков, что-то кричал девушке, отъехавшей на розвальнях с навозом. Она повернула обратно. Широков взялся за вилы и догрузил розвальни навозом. «Делу учит. . по-хозяйски», — с удовлетворением подумал Тимофей Тимофеевич, подъезжая к своему другу.

— С поклоном к тебе, Тит Александрович, — сказал он. — Дельце есть маленькое и неогложное. И поговорить наедине.

— Тогда в правление — и на ключ. — И Широков стал в розвальнях на колени за спиной Лунина, держась за его плечи.

В правлении они расстегнули полушубки и сели рядом на лавку возле стены. Тимофей Тимофеевич, будто жалуясь, говорил:

- Лисичкин поубавил у меня в свинарнике.
— Небось Дубилов велел?
— Ну, как сказать...
— Бумагу, Тимофей Тимофеевич, дал?
Лунин махнул рукой.
— Меня недельки две тоже вызывал,— говорил Широков с усмешкой.— Приехал, от него Хохлеков вышел. Тоже будто советовал продать часть скота Лисичкину.
— Ну и что? — заинтересовался Тимофей Тимофеевич.
— Согласился. Я зашел. Сначала о том и сем, а потом про скот. Говорю, будет бумага райкома — продам, если колхозники свое согласие дадут. Обсудим, дескать, на собрании.
— Ну, а он?
— Будет, говорит. А две недели бумаги нет.
— Да-а...— загрустил Лунин.— У меня к тебе, Тит Александрович, просьба. Мне бы за плату молодняка. Докормить есть чем.
— Темное дело... не понимаю, Тимофей Тимофеевич,— грустя, протянул тот.— Неладное происходит, втихомолку...
— Райком же, Тит Александрович. Может, продашь? Вызволи. Хоть бы пятьдесят подсвинок.
— А оформить как?
— Сам я все сделаю, Тит Александрович. Дашь счет на коопторг. Он мне будет должен за мой скот. Высчитает за твой.
— Не пойму ничего...
Они, понуриив головы, долго молчали.
— Видишь ли, дать...— начал Широков.— Газетные писаки всюду нос свой суют. Докопаются... разбазаривание скота. И я такой-сякой.
— Да нет,— покривился Лунин.— Дубилов все в районе от аза до ижицы в руках держит. Не допустит... Ему подвластны все дела и ихние... писак.
Широков недоуменно посмотрел на него. Лунин застыдился и вспотел.
— Выручу, Тимофей Тимофеевич,— сказал вдруг Широков.— А там летом ты продашь мне. Чтоб и в мой план было засчитано.
Дома Лунин застал жену, задумчиво сидевшую боком к столу. В ее грустных глазах вдруг проглянул укор.
— Ездил до Широкова,— поспешил сказать он, вешая полушубок на гвоздь у двери.— Насчет покупки молодняка. Хочу купить.
— Зачем? — спросила Людмила Михайловна.
— Да пополнить бы...
— Ей-богу, не пойму, что делается на свете,— возбужденно заговорила она.— Видел бы ты сходку на скотном. Люди сбежались, таращат глаза. Стыд! Позор! А Лисичкин тычет им в носы книжку. Что это, Тимоша?
Тимофей Тимофеевич вяло махнул рукой и зашел за укрывавшую кровать занавеску. Уже лежа в кровати, он сказал:
— Люда... ты не вмешивайся в дела председателя. Сроду того не было, а тут... Сам выправлю дело.
Жена промолчала.
С неделю Тимофея Тимофеевича грызла обида, а потом — подготовка к весенним работам заслонила все, и в душе улеглось. Многих колхозников продажа скота обозлила, их недовольство выразилось в грубых попреках районному начальству, однако заверение Лунина, что в скором времени он выгодно купит молодняк у Широкова, умиротворило их, тем более что скота было еще много, а с уходом за ним стало легче.
В ранний утренний час последних ноябрьских дней Тимофей Тимо-

феевич, лежа в постели, исчислял в уме сумму расходов на приобретение мелкого инвентаря и сбури. Цены на все, от лопаты до напильника, он знал в рублях и копейках. Сложение копеек каждый раз путало его, но ему надо было определить точную сумму, а то бы он начал день с тягостным чувством. Неопределенный хвост копеек будет давить на его мозг и во время завтрака, и до той минуты, пока какое-нибудь событие в деревне не заставит его сосредоточить на нем свое внимание. Людмила Михайловна звякнула ведром у двери и вышла за водой. Снаружи донесся ее голос, но, занятый сложением копеек, он не стал прислушиваться к нему. Потом Людмила Михайловна появилась в дверях, переходя через порог, хлюпнула на пол из ведра и сказала:

— Дашенька явилась!

— Да ну! — И Тимофей Тимофеевич враз выбросил все цифры из головы.

— Сказала: все благополучно. Уже истопила баню, помоеется и придет рассказать.

С час Тимофей Тимофеевич в ожидании известий, чем кончился вояж Даши, не находил себе места в доме, то и дело прислонялся к окну и всматривался в дымившую баньку на задах Дашиной хаты. «И до чего же долго моются женщины! Чего бы ей сразу не зайти и сказать одно слово?» — сокрушался он, то подходя к окну, то глядя на остывшую яичницу на столе.

— Да чего она так долго? — не выдержав, с досадой произнес он. — Пойду, Люда, через окошко бани хоть поговорю.

Идя по скрипучему снегу через двор Даши, он увидел ее в окне. Даша тут же появилась на крыльце в наброшенном на плечи сером поношенном пальто с обвислыми лапами, в шали.

— Я к тебе собралась, Тимофей Тимофеевич, — сказала она. — Заходи, — и она подала ему руку.

— А я думал, ты в бане...

— Давно помылась. Лес будет! — твердо сказала Даша, войдя с ним в хату. — Задержалась вот по какой причине. Сначала...

— Обожди, Дашенька, — в волнении прервал он, опасаясь услышать какие-то «если».

Они сели за стол.

— Скажи, Дашенька, лес будет? — спросил.

— Будет! Сказала же.

— Спасибо... — И Тимофею Тимофеевичу стало легко, он благодарно посмотрел ей в глаза, а затем перевел взгляд на замусоленный воротник пальто грубошерстного сукна с тканью в елочку. Никогда он не видел на ней такой безобразной одежды.

— Пальто? — с улыбкой спросила Даша, догадываясь о его недоумении. — Из твоей Вятки-пятки, Тимофей Тимофеевич. Да, так расскажу. Приехала. Все начальство в леспромхозах, у них горячка — лесная страда. Контршники ничего решать не могут. Жила в гостинице, ждала неделю, другую, третью. Как на грех, понаехало начальство из министерства — и тоже в лес, задержали там местных начальников. Живу... Денег осталось на обратный проезд. Чго делать? Морозище. Вышла на барахолку, продала свое с чернобуркой, а эту рвань купила.

— Свое? Новое? — испуганно спросил Лунин.

— Да, и за полцены. Ладно, не жалко.

Тимофею Тимофеевичу стало стыдно.

— Что ж... тут и моя вина, Дашенька, — сказал он. — Убытки мне покрывать. Колхоз-то в стороне, собирать не будем.

— И разговора, Тимофей Тимофеевич, не должно быть, — обидчиво заговорила Даша. — Мне ли залазить в твой карман? Да, так дальше.

Съехали начальники. Суматоха, не до меня. Живу в гостинице, деньги тают. Вижу, что дальше жить в гостинице нельзя. Куда же идти? Обозлилась. Прихожу к секретарю их парторганизации, попросила со- брать бюро. На нем и решили.

— Ну, а начальник?

— Он тоже член бюро. Моргает. Начал вытаскивать на бюро начальников пониже. И что выяснилось, Тимофей Тимофеевич, — со вздохом произнесла она. — Все твои письма сверху донизу в резолюциях: «Немедленно отгрузить». А потом с другой стороны резолюции снизу доверху начальников на ранг ниже: «Временно воздержаться». А пока один другому передокладывал, проходили недели.

— Ой... — вздохнул Лунин. — Там же умный начальник.

— Возмутился, всех назвал волокитчиками и велел в этот же день послать распоряжение леспромхозу отгрузить лес.

— Спасибо, Дашенька, — горячо поблагодарил Тимофей Тимофеевич.

12

До февраля пятьдесят шестого года Тимофея Тимофеевича с утра до сна не покидало ожидание нарочной из МТС — телефонограммы в деревню шли оттуда — с вестью о прибытии леса на станцию. Он строил самые радужные планы стройки и пока, до возведения нового скотного двора, оставил мысль о пополнении стада.

В морозный предзакатный час после утихшей метели в деревню по неезженной дороге, валко через сугробы въехал на розвальнях Широков, подвернул к дому Лунина. На крыльце он начисто обмахнул метлой снег с валенок и вошел в дом.

— С миром поклон! — сказал он, обращаясь к Людмиле Михайловне, вязавшей шерстяные носки мужу. — Ты чего, Тимофей Тимофеевич, на слет не приехал?

— На какой? — удивился Лунин, задержав протянутую ему руку.

— Как же... Совещание председателей колхозов. Сам Дубилов про- водил.

— Не знал.

— Должно, метель помешала доставить повестку. Съехали-то не все. Да и разговор — с пятого на десятое.

— О чем же толковали?

— О суматохе к весне, по прошлогодней мерке. Дубилов доклад делал, велел доложить. Мне наказал передать тебе завтра быть у него в райкоме.

Людмила Михайловна сложила вязание на подол, сощурила глаза, чуть искося устремила взор к подпечку. И вдруг, обратив на Широкова настороженные глаза, спросила:

— Ты-то, Тит Александрович, когда получил вызов?

— Дней пять тому...

Людмила Михайловна сдержала судорожный вздох и принялась за вязание.

Пять часов добирался Тимофей Тимофеевич на розвальнях до города по заметенной дороге вдоль наклонившихся вешек с кукурузными метелками. Дубилова в райкоме не было; по словам инструктора Салина, тот делал осмотр вновь выстроенного здания современного комплекса бытовых услуг — от ремонта примусов до пошивки одежды. До сумерек Тимофей Тимофеевич томился в приемной. Вдруг в комнату вошел пышущий здоровьем, с зарумяненными щеками Дубилов в блестящей кожанке, в бурках.

— О! А я как раз о тебе и думал,— в веселом настроении произнес он, сунув Лунину увесистую руку.— Зайдем — разговор на минуту. Ты почему на совещании отсутствовал?

— Вызова не получал, Игорь Михайлович,— виновато сказал Лунин, следуя за ним в кабинет.

Дубилов уселся в кресло, плавным жестом руки с выпрямленным пальцем показал Лунину, где ему сесть.

— Не получал, говоришь?

— Нет... не получал.

На лице Дубилова промелькнула улыбка.

— Да, почта... почта...— сказал он со вздохом.— И когда это связь головотяпы наладят. Да... да... Ну, хорошо,— добавил он, быстро ободрившись.— Идет подготовка к весне?

— Идет, Игорь Михайлович.

— Ладно, буду объезжать колхозы, проверю. Ты как-то жаловался мне, товарищ Лунин, что у тебя излишек кормов. От своих слов не откажешься?

В груди Тимофея Тимофеевича похолодело, он испуганно посмотрел на Дубилова, придуренным голосом спросил:

— А к чему, Игорь Михайлович?

У Дубилова сразу похолодели глаза.

— Мой возраст и пост, товарищ Лунин, не сродни с возрастом и местом за партой школьника. А ты будто спрашиваешь меня, как школьника. На совещании вскрылись возмутительные факты. В одних колхозах корма на исходе, а до подножного сто двадцать раз еще взойдет солнце и опустится.— Он встал, отшагнул вбок от кресла и указал на него: — Вот теперь ты садись сюда, Лунин, в мое кресло и сто двадцать дней от зари до зари, а то и напролет все ночи и решай, как быть. Перед тобой бумажка о наличии и потребности кормов в колхозах: у одних голодает скот, кормов нет, а у других... сгноят его до тепла... лишнее, себе могилу роют. Садись... садись и решай за меня.

Тимофей Тимофеевич вспотел, тугой воротник тужурки страшно давил его подбородок.

— Сам же ты, Лунин, понимаешь ситуацию,— сказал Дубилов уже мягче.— На моем месте как бы ты решал?

— А сколько?.. Чего? — промолвил Тимофей Тимофеевич, снизу от стола затаенно всматриваясь в глаза Дубилова.

— В принципе сейчас и решим,— с удовлетворением на лице поспешно кивнул тот.— Весь излишек кормов продать Лисичкину.

Внутренняя сила несогласия взбудоражила Тимофея Тимофеевича, подняла в нем горячее чувство сопротивления нажиму.

— Игорь Михайлович, ежели только будет ваша личная бумажка,— дрожащим голосом, стараясь твердо, произнес Лунин.— Ее читать колхозникам... а там мне... да и вам неприятности.

— Бумагу?! Пожалуйста! — И Дубилов быстро вырвал из блокнота форменный бланк и стал размашисто писать на нем.— Все тут,— сказал он, подавая Лунину плотную глянцевику бумагу.— Силос... ячмень... Если решишь об излишках кормов выносить на решение колхозников, укрывать излишки, как Плюшкин, уведоми меня. Я приеду, освещу перед ними о бесхозяйственности... Все! — И он брезгливо посмотрел на него.

Тимофей Тимофеевич, согнутый обессилившей его тяжестью, поднялся, с туманом бессмыслия в голове вышел на крыльцо райкома. И если минуту тому назад бумажка, казалось ему, укрепит его, то теперь он видел в ней неумолимый рок. Вот он везет бумажку в колхоз... не согласен с ней, а вынужден будет убеждать других согласиться. С понурой

головой Тимофей Тимофеевич тронулся напрямик через снежные холодные наметы... Смеркалось, даль за речкой утонула во мгле.

Он шагал ко двору знакомого, где стоял его мерин, то останавливался, ища место, где бы свалить с себя тяжесть. Наискосок от него светился голубыми огнями ресторанчик «Уют». «Ой, пойду чарку... может, легче станет»,— решил он.

В убогом зале ресторанчика в разных местах кучками сидели шумливые мужчины. На подмостках четверо музыкантов закончили играть, женщина-пианистка с тронутой сединой головой обернулась к самой шумливой кучке мужчин. Те захопали в ладоши. Один кивнул ей и тыкнул пальцем на налитую перед ним стопку водки. Женщина подошла к столу и враз перекинула стопку в рот. Мужчина подал ей свою вилку. Она долбанула ею в тарелку, закусилась и кивнула в знак благодарности за угощение.

Официант принес Тимофею Тимофеевичу графинчик — сто граммов водки — и тарелочку с килькой. Лунин грустными глазами смотрел на водку, боясь дотронуться до графинчика. Скрипач — еще молодой человек — заискивающе поглядывал на столики, ему кивнул мужчина, угостивший пианистку, и показал на стопку с водкой. Скрипач быстро сошел к столику, выпил и решительно замахал перед собой рукой, отказываясь закусить, так решительно, словно его удел лишь выпивать на даровщину, а не закусывать.

Тимофею Тимофеевичу все тут стало противно. Он кивнул официанту, расплатился с ним и ушел из ресторанчика...

Домой Тимофей Тимофеевич вернулся в полночь. Людмила Михайловна перед печкой, нагнувшись над тазом, хлюпнула водой, мыла голову. Из-под пушистой мыльной пены на лбу она взглянула на мужа:

— Думала, ты с ночевкой там.

— Не уснуть там...— сказал он, в полушубке сев на лавку.

Людмила Михайловна насторожилась, разогнула спину, стряхнула с рук пену, строго спросила:

— Опять неприятности?

— Часть кормов придется продать Лисичкину.

— Хватит, Тимоша... хватит,— раздраженно сказала она и, склонив голову к тазу, быстро обмыла волосы, обжала их натуго, снова выпрямилась, встряхнула головой.

Утром Тимофей Тимофеевич зашел к Даше Золотовой.

— О семинаре, Тимофей Тимофеевич, думаю,— сказала Даша.— Двадцатый съезд партии приближается. После съезда сразу надо два три семинара.

— Семинар так семинар,— произнес Тимофей Тимофеевич, опустившись на стул.

— С комсомольцами я проведу занятия,— сказала Даша.

— Занятия так занятия...

— Что это ты, Тимофей Тимофеевич, сегодня такой кислый? — спросила она.

Он положил на стол перед ней дубиловскую бумажку. Даша, прочитав ее, возмутилась:

— Опять Лисичкину?!

— Ночью обдумал, Даша, другого выхода нет.

Даша подперла руками голову, долго думала, а потом сказала:

— Мое мнение, Тимофей Тимофеевич, такое — в обком мне надо написать... А ты пока воздерживайся продавать зерно. Силос — другое дело. К чему его держать?

Спустя неделю после окончания работы XX съезда партии в деревне провели партийные и комсомольские семинары, и странно — из райкома не поступало запросов, как это было раньше, о количестве охваченных учебой и их активности. Лунин строил догадки и пришел к выводу, что райкому сейчас, видимо, не до сводок. И как только Лунин подумал так, сидя в правлении колхоза, нарочная из МТС внесла ему бумажку с вызовом на совещание в райком партии Даши Золотовой и Семпера. А вечером на маслозаводе, куда он прибыл уточнить расчет по поставкам молока, он узнал, что и директор завода еще до рассвета уехал на совещание вместе с председателем соседнего колхоза. «Меня, значит, Дубилов турнул с совещания, — решил Тимофей Тимофеевич. — Должно, опять обострил дело».

Семпер вернулся в деревню под вечер, слез с розвальней около правления, войдя к Лунину, присел возле стола.

— Золотова оставлена еще на день, — сказал он. — Секретари оставлены. Совещание, Тимофей Тимофеевич, значительное, — добавил он. — Проводил первый секретарь обкома. Многие председатели были. Дубилов спросил о вас.

— Так я же вызова не получал, — сказал Тимофей Тимофеевич.

— Да. И мы о том. А он возмутился: «Как? Опять напутали?»

— Про что же разговор вели? — спросил Тимофей Тимофеевич.

— В разрезе решений съезда. И много нового.

— Чего ж?

— О культе личности коснулся.

Дверь отворилась, и в комнату журавлиными шагами вошел Пеньков в новом пальто и бурках, устремил на Лунина ожидаательно-вопросительный взгляд:

— Тимофей Тимофеевич, отпускную подписал?

— Сейчас. — Тимофей Тимофеевич чуть привскочил, сам не понимая, чего он радуется. Он достал из стола бумагу, подписал. — Значит, совсем из колхоза, Яков Семенович?

— Директивы партии еду выполнять, — многозначительно сказал тот.

Тимофей Тимофеевич подал ему бумагу, задержал руку над столом, в ожидании прощального рукопожатия готовился встать, но Пеньков, взяв бумагу, молча отчужденно вышел.

Семпер долгим взглядом посмотрел на Лунина, кивнул назад:

— Маленький, чахлый отросток от культа...

— Да нет. Человек он неплохой. Но против судьбы ему никак не пробиться, — сказал Тимофей Тимофеевич.

В конце февраля над курскими землями с юга повеяло теплом, снег умяг, спадавшие с застрех хрустальные капельки долбили снежок вдоль завалинок, ласковая голубизна неба раздвинулась от края до края земли... Чувствовалось приближение необычно ранней весны.

В одну из сырых ночей в деревне случилось несчастье.

Тимофей Тимофеевич с набряклыми от бессонной ночи, лоснившись краснотой веками дожидался рассвета в правлении, с крыльца назвал к себе Федора-лежебоку, идущего из-за сарая.

— Федор, беда стряслась, — сказал он. — Вот же ночь не спал. Иван-то, конюх, с перебитой ногой... Лягнула кобыла Сердитая. В полночь увезли в больницу, лежать ему месяца четыре.

Федор в рваном полушубке, в старых подшитых валенках с тупым недоумением на лице уставился в Лунина, протянул:

— Мне до него дела нету. Он сам по себе, я сам по се...

— Да как же так, Федор! — перебил его Тимофей Тимофеевич. — К чужому горю такое отношение? Ну, свое горе — смирись, а чужое больнее.

Федор виновато улыбнулся.

— Тебя, Федор, сменным конюхом, напарником Алексея ставлю. Мое, личное, председательское поручение... Как, Федор?

— Чего ж... назначай.

— Ну, спасибо тебе. Вести дело, Федор, образцово. Вишь, как получилось... Иван крикун, да и на кнут не скуп. Обозлил кобылу, она и лягнула. Хоть упрекать его больно, коли уже с перебитой ногой, а тебе сказать можно... сознательному человеку. Конь любит ласку, за корм и ласку служит человеку. А чего полушубок не залатаешь?

— А где взять суровые нитки? Проволокой прошил, только дыр наделал — прорезали.

— В селпо есть. Моток купи, копейки стоит.

Федор отклонил голову с таким выражением, словно сказал: «Еще купить... а там и латать...»

Тимофей Тимофеевич следовал давнишнему правилу: поручать и проверять. В солнечный полдень, идя на скотный двор, он, сторонясь проталинок на дорожном снегу, усеянном хворостинками сушняка, привезенного для отопления медпункта, в душе журил нерадивого Демку-возчика за неладную накладку веза.

Федор с праздным видом стоял в растворе конюшенных ворот. Увидев Лунина, он проворно схватил лопату и скрылся за стеной. Тимофей Тимофеевич, войдя в конюшню, услышал его кряхтенье в дальнем стойле. Оглядев пустые стойла, вычищенные до глади красно-бурого настила, подметенные места под кормушками, сказал:

— Отлично... Ты, Федор, с большими задатками... можно сказать, мастер конного дела.

— Не впервой по твоему заказу чистить, — отозвался тот.

В парном отсеке стояли серые жеребчики Лесок и Кукурузник. Они повернули головы, при подходе Лунина весело заржали, потянулись к нему шевелившимися губами, ожидая привычную подачку. Он вынул из кармана две морковки и сунул их им, обгладил бархатистые шеи и постоял, с удовольствием вдыхая теплый запах молодых жеребчиков.

Шум приближавшейся машины — шум особенный, не похожий на шум колхозного грузовика, шум легковой, начальнической машины — насторожил его. Он заглянул в раствор ворот. Из-за свинарника выметнулся дубиловский «газик» несколькими мужчинами, рассекая лужицы на дороге, скрылся за буртами. Шум заглох около правления. «Это ж уже комиссия насчет Иванова увечья, — беспокоился Лунин. — Уже расследование».

— Федор! — окликнул он. — Сейчас вдень задвижку позади стойла Сердитой. Моя инструкция. Кормить ее с соседнего стойла, пятить на выход за чембур с другого стойла. Моя инструкция. Слышь, Федор, кто будет спрашивать, давал я инструкции, скажи же...

— Не подведу... — прохрипел тот, выгребая кучу навоза.

Тимофей Тимофеевич впритруску, по-стариковски заторопился к правлению. На машине скучал шофер. В окне своей комнаты Лунин увидел трех мужчин в городских пальто и каракулевых шапках.

— Комиссия обкома партии, — сказал один из них и спросил: — А где тут товарищ Золотова?

— Золотова в свинарнике, вызвать? — сильно волнуясь, осведомился Тимофей Тимофеевич.

— Не трудитесь. Мы побеседуем недолго, отрывать от дел не следует.

Тимофей Тимофеевич показал им в окно на свинарник. Оставшись один в комнате, он стал расхаживать с угла на угол. Его внимание привлекли сырые следы на выскобленном полу, и он с удивлением посмотрел на промоченные валенки — где и когда это он вступил в лужу?

Приходили колхозники по делам, но он в рассеянности отсылал их, кого к бригадиру, кого к зоотехнику или агроному. И когда представители обкома вернулись, Тимофей Тимофеевич внутренне готов был по партийному откровенно излить им свою душу.

— А с вами, товарищ Лунин,— заговорил тот, кто вышел первым,— мы побеседуем основательно.

— Так вы ж садитесь за мой стол,— предложил Тимофей Тимофеевич,— а я так... сбоку.

— Нет, не пойдет,— засмеялся тот.— Сбоку сядем мы.

Представители, взяв по табурету, подставили к столу, сели.

— Товарищ Лунин,— начал один из них.— Мы выясняли ненормальные обстоятельства в жизни вашего колхоза. Нас интересуют несколько вопросов. Скажите, продажу молодняка вы произвели под нажимом товарища Дубилова?

— Сказать такое я не могу,— охриплым голосом сказал он.

— А как же случилось? По своей воле продали?

— Ну, как сказать...— в затруднении ответить прямо, промолвил Тимофей Тимофеевич.— Сказать, что он приказывал, не могу. И сказать, что не приказывал, тоже не могу. Так, середина была.

— И вы пошли по середине?

— Пошел,— стыдливо потупившись, буркнул Лунин.

— Так как же так, товарищ Лунин? Колхозники видели нажим на вас, а вы не можете сказать о нажиме.

— Оно-то того... Сам Игорь Михайлович... Он же секретарь райкома, беспокоился о скоте. Сам говорил, ночами не сплю. Зима, правда, проходила, а все же помещений не было. Я сам думал, переживал нажим, а сам видел, что Дубилов не вник в дело, может, если б вник на месте, другое мнение имел. У нас мало помещений.

— А у Лисичкина лучшие условия?

— Сказать того не могу...

— А с лесом как обстоит дело?

— На днях получили еще бумагу, твердо обещают прислать.

— А с продажей кормов? — спросил представитель.— Никакого нажима вы не ощущали? Бумагу он вам не давал?

— Давал...

— Покажите ее.

Дрожащими руками Тимофей Тимофеевич выдвинул ящик стола, невпопад выхватывал из него бумажки, бросал обратно, ворошил в ящике и никак не мог найти дубиловский бланк.

— Да где ж...— встревожился он.— Был, а нет.

Беседовавший с ним представитель поджал губы и, помолчав немного, сказал своим товарищам:

— Кончим. А вам, товарищ Лунин, пожелаем успешно провести посевную.

Тимофей Тимофеевич слышал, как заворчала машина, но только после того, как шум ее затих вдаль, он медленно опустился на табурет. «Песня моя спета. Хорошо, ежели еще не под суд»,— решил он, а потом выдвинул ящик стола и замер. Перед его глазами сверху кучи бумаг, на самом виду, лежала дубиловская бумажка. Схватив ее, он кинулся

на крыльцо, но машина уже промчалась через греблю и нырнула в низинку сбоку угора, на котором росла памятная ему береза...

К вечеру Тимофей Тимофеевич занемог, крепился, но сдал и слег в постель.

— Тимоша, ты не переживай,— успокаивала его жена, подкладывая под его голые ноги грелку.— Люди разумно разберутся.

— Да я, Люда, сам на себя наговорил. Теперь понял.

— Что же ты говорил?

— Ну, как сказать... О правде, а она будто против меня.

Два дня он недомогал, по вызову на пленум райкома партии не поехал. Отправилась Даша Золотова с остальными членами партийного бюро.

С вечера полил дождь с нудным шумом по обледенелому сверху снегу. Тимофей Тимофеевич часто вставал с постели, заглядывал в окошко, в непроглядную темноту, сокрушался:

— Вертаться нашим под дождем... беда.

— Да ты успокойся и ложись,— с досадой говорила из-за занавески жена.— Характер же у тебя...

— Правда, Люда, так было у меня не раз. Еще помню...

И он недосказал. В окошко стукнули. Тимофей Тимофеевич торопливо натянул штаны и босиком прошлепал в сени:

— Даша... Жду не дождусь.

Она без слов вошла в комнату, сбросила пальто, раскинула шаль, встряхнула.

— Знаешь, Тимофей Тимофеевич,— сказала она,— увидела издали огонек у тебя... сердце затрепетало. Родное... В тепло... под крышу бы скорей. Дождь как бы не согнал снег, а там не дай бог мороз.

— Да ты того... без поэзии... о деле,— топчась посередине комнаты, попросил Тимофей Тимофеевич. Он уже почувствовал, что страхи его, кажется, были напрасны.

Даша откинула занавеску перед кроватью Людмилы Михайловны, присела на табурет.

— Дубилова...— Она посмотрела на Лунина, стоявшего посередине комнаты, на его босые ноги.— Тимофей Тимофеевич, обуйся, от половиц тянет холодом... Дубилова отстранили. На пленуме гроза разразилась до страха. Боже, сколько раскрыто. Комиссия-то в районе десять дней работала. Мы не выступали, с других колхозов обрушились на него, а жарче всех Лисичкин. Сколько вылил грязи, уму непостижимо. Слушать интересно, хоть и противно. Знаешь же, грешки накапливались, время проходило, забывалось. А тут все сразу горой свалилось.

— Дубилов, должно, в обиде? — спросил Тимофей Тимофеевич.

— А чего тебе до его обиды? — накинулась на него жена.

— Дубилов сначала защищался,— рассказывала Даша,— а после выступления Лисичкина скис, прослезился, просил... «Учтите мое положение в прошлой тенденции...»

— Ну, а про меня? — осторожно спросил Лунин.

— О тебе ничего. Закончился пленум, нас отозвал председатель комиссии: «Люди у вас хорошие, помогите Лунину. Такую задачу прошу вас вынести из пленума».

Тимофей Тимофеевич сидел за столом в чистом, уютном амбарчике, перестроенном под колхозную контору. Старое здание бригада во главе с Фаддеем перестраивала под клуб. Еще в рань с легким морозцем Лунин под стук молотков плотников, настилавших полы в «вестибюле»

из досок, полученных с помощью райкома комсомола заимообразно от шефов, с удовлетворением обошел пахнущие известкой комнаты.

— Тимофей Тимофеевич! — кричал конюх Алексей от конюшни. — Тебя ищет энтээсовка. Лес пришел!

Тимофей Тимофеевич секунду медлил — не причудилось ли ему услышать? — и мигом оказался перед обширным пустырем, слегка подпущенным снежком поверху наста и обледенелых проталин, перед тем пустырем, где ему несчетно раз мерещился новый скотный двор.

К амбарчику бежала нарочная с бумажкой в руке, та самая нарочная, что отравляла его душу слишком частыми, а порой и бесполезными вызовами в райком. Сейчас Тимофей Тимофеевич готов был расцеловать ее.

— Игнат! Филипп! Дема! — выхватив бумажку из ее руки, впопыхах кричал он собравшимся возчикам у навозной свалки. — Живей скинуть навоз на первом поле! Собрать все сани, подсанки! Запрягать, всех свободных в город!.. За лесом!

В голове длинной санной вереницы ехал Тимофей Тимофеевич на розвальнях. Филипп, погонявший крепконогую, бежавшую машистой рысью гнедую кобылу, рассказывал ему, как он «раскошелился вовсю» к свадьбе дочки и на память всей деревне, но его похвальба проходила мимо ушей Тимофея Тимофеевича. Он то и дело оглядывался на трусивших в веренице коней, с досадой корил отставших.

Дорога стлалась по искрившемуся в лучах утреннего солнца снежному пушку с ребристыми следами прокативших вперед грузовиков, под гладко скользившими полозьями с легким, приятным для слуха треском изламывался наст.

Шутка ли, тысяча кубометров! Тимофей Тимофеевич высчитывал, куда и сколько пойдет леса, — теперь он решил строить сбоку нового скотного двора и гусятник. «А там, может быть, и индюшатник...» — думал он, высчитывал и складывал в уме цифры.

— Значит, так, Фаддей, дело строительства бери в свои руки, набирай бригаду, — говорил Луний плотнику, сидевшему с ним в амбарчике — новом правлении. — Разведку в дело ты сделал. За клуб спасибо, на правлении обговорим о премии напарникам. Теперь про лес. Себя я назначаю кладовщиком, на учет беру и щепу... — И он обернулся к врезанному в стену оконцу, перед которым на площади под шнурок ровными штабелями высились бревна. — А, Фаддей? Душа радуется. С коопторгом рассчитались. Сразу нарезать доски, отвезти долг шефам. Широкову правление одалживает сто кубометров.

— Инструмента не хватит, — сказал Фаддей.

— Струмент добуду, — кивнул Тимофей Тимофеевич. Сказать «струмент» ему было легче, чем «инструмент», и он не хотел ломать себе язык. — До начала полевых все свободные на стройку, Фаддей. Сразу фундаменты, заводить саманный кирпич, ложить стены, лес мерять экономно... миллиметрами.

В апрельские предпосевные дни строительная бригада работала на возведении скотного двора. Строительная площадка от зари до зари напоминала Тимофею Тимофеевичу муравейник в летнюю пору на солнечном пригреве в лесу, когда муравьи — самые сильные, как говорят, на земном шаре существа относительно своего веса — в неугомонной суете тащили в нору порыжелые иглы хвои и сухие травинки.

Изо дня в день стройка накладывала на Тимофея Тимофеевича груз все более беспокойного бремени — того бремени, которое испытал каждый, решившись строить хозяйственным способом, а к тому времени

был уже с седыми волосами,— гора забот свалилась на него в тягостном добывании по фундам и без фондов цемента, стекла и кровли, в выклянчивании у разных организаций и покупке той мелочи — шурупов, навесов, скоб и сотни другого, что тормозит ход большого дела. Седина тронула его виски, полезла выше, к макушке. «Закончу стройку, а там поклонюсь по старому русскому обычаю и малость на отдых»,— порой думал он, когда поздно вечером шел домой чрезмерно уставший.

Чуть светало... Тимофей Тимофеевич, выехав на телеге из деревни, то и дело оглядывался на затуманенный и беззвучный еще скотный двор: «Душа радуется». Голова его была набита нуждами строительства, вдобавок ему хотелось увидеть нового секретаря райкома партии, набраться храбрости без вызова зайти к нему, рассказать о ходе строительства, а кстати, кое-что прошупать. Утро выдалось свежее, туманное, теплое, с бурых листьев, невесть как удержавшихся с прошлого года на веточках, спадали капельки, на южных склонах назначенного к перепашке пара зазеленели сорняки, в пепельной дымке, сгустившейся в низинках, на дне водомойн проглядывали залежи истаявшего снега. Лунин проехал через греблю — справа стлалось рыжее стерневое клеверище, упиралось в речку. По стежке туда трусил верзила в стеганке и узких штанах, с удилищами на плече, с червячницей из консервной банки в руке.

— Федор! — окликнул Тимофей Тимофеевич.

Тот оглянулся, воровато юркнул за голый куст, но удилища его маячили сверху. Тимофей Тимофеевич отбросил вожжи набок, слез с телеги и зашагал к кусту.

— Федор, ну как же ты в такую пору? — журил он его издали.— Тебе на конюшне быть, а ты... совестился бы детей своих. Народ в поле, на стройке с потом на лбу, а ты рыбу удить?

Федор выглянул из-за куста:

— Окунь идет... шука с икрой...

— Ну что с тобой делать...— огорченно развел руками Лунин.— А конюшня?

— С конюшни меня турнули...— проворчал тот.— Алексею не угодил, Михалков Феклушу, бабу Ивана, взамен меня поставил.

— Так ты б пришел ко мне.

— С самого ранья окунь идет...

Тимофей Тимофеевич снял с его плеча удилища.

— Бернись, Федор, с города — верну удки. А сейчас иди к Михалкову за нарядом, в поле. Приеду разберусь, за что турнули тебя.

Когда Тимофей Тимофеевич возвращался к телеге, перед глазами его высилась на взгорке старая, родная ему береза. Он обернулся к Федору. Тот с сумрачным лицом брел позади.

— Федор, сделай мне одолжение,— сказал он.— Дельце маленькое... Вечерком посади тут, рядом с березой, молодую березку. А? Там, в низинке, выбери самую ровную, выкопай с корешками и посади.

Федор приостановился, оловянными глазами уперся в него, моргал.

— Сделаешь, Федор?

— Велел... так чего ж...

— А удки твои верну вечерком.— И Тимофей Тимофеевич положил удилища вдоль телеги. Длинными концами они свисли с задка до дорожной гальковой насыпи.

В городе Тимофей Тимофеевич решил сначала сдать хромовые сапоги в переделку — поставить новые головки,— затем поехал в скобяной магазин. Накупил там много нужного и даже в запас и подъехал к райкому партии разведать обстановку. У крыльца райкома партии стоял

инструктор Салин, а рядом с ним кто-то незнакомый в пальто и кепи. Они разговаривали. Тимофей Тимофеевич в надвинутом до глаз картузе, горбясь, прошмыгнул мимо них, мельком глянул на Салина. Тот приветливо кивнул и показал своему собеседнику глазами на Лунина.

В безлюдной приемной секретаря — постовал и стол секретарши — он постоял, не слыша звуков за пухлой, обитой черным дерматином двери, вышел в коридор и встретился с Салиным.

— А-а... — улыбнулся тот. — Давно не видели тебя, товарищ Лунин. Молва идет — по уши залез в строительство. Выбрал денек отдыха?

— Да так... немножко, чтоб развеяться, — пошутил Тимофей Тимофеевич.

— Как рыбалка? — спросил Салин.

— Какая?

— С рыбалки едешь?

— Наудил... шурупов, скоб, навесов, замазку с олифой... Скажи, товарищ Салин, секретарь как из себя?

— Сергей Иванович? Ты же его видел.

— Где?

— На крыльце. Показал ему тебя. Где удил? У вас же там своя рыбалка, подставляй сковородку с маслом, и окунь сам впрыгнет.

— Какая рыба... — Тимофей Тимофеевич недосказал. — Ну, все... — сдавленным голосом произнес он и медвежьей побужкой, скорей бы покинуть райком, стараясь не сильно греметь по коридору, зашаркал к выходу. «Вот и мнение создал сразу... — досадовал он. — В рабочую пору, люди с засученными рукавами... и на рыбалку. И где ты, Федор, как на грех, свалился перед моими глазами со своими удками?! Откуда ты взялся, нечистая твоя сила?»

Впервые за много лет своего председательствования в колхозе, вернувшись из города, он не стал сам распрягать мерина, велел сделать это конюху Алексею. Ему же поручил сгрузить в кладовую привезенное. С удилищами на плечах, с запалом отругать еще крепче Федора, он пошел вдоль улицы. В кузне при его приближении к площади умолк стук молотков, снизу притолоки в двери выставился кузнец Демин, взгляды вали в Тимофея Тимофеевича, обернулся к наковальне, и позади него выдвинулась могучая фигура молотобойца Захаркина, они оба посмотрели на председателя и переглянулись. «Эти ж тоже думают, с рыбалки иду... Ой, bestия ты, Федор, наделал делов. Сейчас расправлюсь с тобой», — злился Тимофей Тимофеевич.

— Леонид Петрович! — окликнул он Михалкова, идущего через площадь. — Федор где? Не видал?

— Как же! День работал. До полудня сажил березу, сказал, что по твоему личному наказу, а с полудня в поле... Вол, за троих кряхтит, засыпал водомоины на озими.

— Березу посадил?

— Посадил...

— Леонид Петрович, возьми удки, увидишь Федора — отдай. И скажи ему, что ежели Тимофей Тимофеевич в рабочий день поймает его с удками, больше их ему не видать.

В день вспашки под посев кукурузы старых, малоурожайных клеверников Лунин самолично с утра до полудня следил за пахотой, измерял глубину борозд; в жаркий полуденный час удовлетворенным, в запыленных сапогах ушел в правление. Мертвящая тишина стояла в деревне, только стук кузнечных молотков лился над маревом площади и тонул в дали полей. Около амбарчика-правления в тени одиноко сидел человек, комком согнувшись на корточках, опершись на кнутовище и

прислонив спину к доколю. По его быстрым, нервным поворотам головы Тимофей Тимофеевич опознал в нем Лисичкина. Гот раздраженно сплевывал на землю, вздергивал голову, всматривался во все стороны и снова сникал.

— В деревне бестолковщина! — выкрикнул Лисичкин, увидев Лунина. — Два часа никто от малого до старого не может сказать, где председатель.

— А ты б поискал...

— Ищи волка в поле... найдешь... — пробурчал Лисичкин.

— Где ж твой рысак? — усмехнулся Лунин.

— Не до рысака... — И Лисичкин встал, в обвислом пиджаке, в бриджах, в нечищенных хромовых сапогах. — Послушай, с хода реши дело. Дашь мне займы двадцать кубов бревен?

— Тон сбавь, — спокойно сказал Лунин. — Страшит. Запомнил на всю жизнь. Довольно нахрапом... Зайдем в правление, скажешь, что да что.

Они уселись за стол. Лисичкин — вполуоборот к Лунину, в нетерпении цапая тонкопалой рукой шершавую доску.

— Дашь?

— Двадцать кубов, говоришь? Зачем же? — спросил Тимофей Тимофеевич.

— Его величество приказал.

— Кто?

— Новый секретарь Воронцов. Отсиживался у меня два дня. Скоро и к тебе пожалует.

— С приказа так и начал?

— Обязал план мероприятий составить на первостепенные дела. Составил, сроки указал, исполнителей. Он в конце: «Умный план». Дескать, лично выполняйте. Хорошо сказать? Через месяц отчет в райкоме партии. Новая демократия! — сердито бросил Лисичкин усмешку вбок.

— Так, а лес для чего?

— Верха на свинарниках сменить. Дашь? — И Лисичкин впился глазами в Лунина.

— Дам, дам... — грустя, сказал Тимофей Тимофеевич. — А демократия, знаешь, мне понравилась. Чего ж, составил себе план мероприятий — так и выполняй. Ты небось всю начеркал там, а? Дескать, вот, посмотрите, как я знаю нужды своего колхоза, вот как я забочусь об устройстве колхоза! Так? А он тебя сачком, как бабочку, и накрыл. И выполняй, ежели знаешь свои недостатки. Метод другой, не дубиловский, не рваческий. А ты ж хитрый... Он, должно, сам за два дня присмотрелся... Чего ж, увидел умный план твой и цап тебя — выполняй. Ты ж, должно, не написал в плане продать Лунину молодняк под зарез, а? А умное написал. Ты, должно, хотел сыграть на том, а там время впереди, можно и подшить план, а? Главное, сначала завоевать доверие того, так? А ты ж боишься потерять авторитет... План размахнулся, должно, на прощанье... А там все как по намазанной медом доске скользнет, а?

— Знаешь, ты меня медом не укоряй, — обозлился Лисичкин.

— Не медом, а доской...

Лисичкин насторожился, покраснел.

— Ты помнишь про ту доску, что одолжил мне под расписку в прошлом году? Помнишь про ту расписку? Так вот... Где твой рысак?

— К чему все это? Поить поехали... И не укоряй меня рысаком, сам обзавелся жеребчиками.

— Так вот, товарищ Лисичкин, сейчас верну тебе доску шестиметровой длины, а ты в своей пролетке отвези ее в свой колхоз...

— Тимофей Тимофеевич... издевательство...

— Никакого издевательства. Доску я вез с твоего колхоза, конец ее волочился за моей телегой. Так и ты вези ее обратно. Отвезешь — привези мне мою расписку на доску и пригоняй грузовики за лесом. Дам на свою ответственность двадцать кубометров бревен. И знаешь, чего делаю так? Не тебе, нет. Колхозу даю.

— Ты что, Тимофей Тимофеевич, вроде по морде мне? — процедил Лисичкин.

— Нет, товарищ Лисичкин, оглаживаю твое сердце, как оглаживаю шею жеребчиков от твоего рысака.

— Хватит шуток! Дашь лес?

— Дам... по плану мероприятий, про которые сказал тебе, Игорь Антонович. Забери доску, привези расписку и грузи лес.

— Да не буду же я ехать с хвостом по дороге! — вскричал Лисичкин. — Ты меня на смех... перед своими людьми?!

— А ты меня в прошлом... не заметил? Мое последнее слово.

— Ну и каналья! — встав, сердито бросил Лисичкин. — Давай доску! Сброшу ее в речку. Выловишь — твоя.

— А я до подорожного столба, до границы колхозных земель поеду провожать тебя. Мне дело есть на дальнем поле, — в тоне непоколебимого решения сказал Лунин. — На своей земле, в метре от столба можешь скинуть доску на своей земле, а скинешь на моей — леса не дам.

Май выдался благодатным, солнечные дни чередовались с пасмурными, тихие дожди, не смывавшие удобрения с косягов, напоили землю. Сев уже закончился, а новый секретарь райкома все еще не заявлялся, хотя побывал уже во всех соседних колхозах.

Тимофей Тимофеевич ежедневно — если не сказать ежечасно — ожидал его в тревоге. «Должно, присматривается, может, с меня-то и начнется погром», — думал он.

Он шел из дома в правление по росистой тропке. Дед Герасим, пастих, только что продудел на трубе, сунул ее в мешочек, повешенный на пояс, хлобистнул плетью и пошел собирать выгнанных со дворов на улицу одиночных коров. У крыльца правления стоял Семпер с папкой под мышкой, с ним Тимофей Тимофеевич и намеревался на свежую голову обсудить до партийного бюро его доклад «о главной задаче — множить скот». В просвете дымки тумана, языками переползавшими через греблю, мельком показался «газик», скрылся в тумане и вынесся на взгорок перед скотным двором. Машина застопорилась, с нее сошел человек в сером костюме без головного убора, обозрел постройки и зашагал к правлению. «Не Воронцов ли?» — обеспокоился Тимофей Тимофеевич. Приезжий обтер лицо платочком, сунул его в карман и, подойдя к крыльцу, весело сказал:

— Издали узнал вас, Тимофей Тимофеевич... Воронцов, — назвал он себя, протянув руку.

Лицо у него было свежее, но фигура огузлая, на голове в зачесанных назад волосах — седая прядь.

— Теперь я узнал вас, — сказал Тимофей Тимофеевич, не зная, что больше сказать.

А секретарь, поздоровавшись, отвел глаза вбок, и Тимофею Тимофеевичу казалось, что тот только и ждет, когда он еще что-нибудь скажет, чтобы получить окончательное представление о нем и решить его судьбу.

— Так сразу, может, того... план мероприятий составить? — набравшись духу, спросил он робко.

— Какой план? — не понял Воронцов, взглянул на Лунина и опять отверл' взгляд вбок.

— Ну там про недостатки в колхозе... про нужды.

Губы Воронцова чуть шевельнулись в улыбке.

— Ваше дело, Тимофей Тимофеевич, составлять планы,— сказал он.— Считаете необходимым, составляйте, обсуждайте со своими людьми... Строительство, вижу, закончили.

— Завершили...— живо подхватил Тимофей Тимофеевич, надеясь, что теперь разговор пойдет легче.

— Материалов наудили?...— улыбнулся Воронцов.

И Тимофей Тимофеевич, вспомнив пережитый в городе стыд, когда он подъехал к райкому с удилищами на телеге, снова потерял ясность в голове.

За площадью звякнул первый удар кузнечного молотка. Воронцов посмотрел в сторону кузни. По площади, взбивая приземной дымкой пыль, стадом двигались коровы колхозников к спуску на выгон, за стадом, пригнувшись, наверное, скрываясь от глаз председателя, покачивался верзила Федор с удилищем в руке. «Испортил все дело...» — с досадой подумал Тимофей Тимофеевич.

— Два пастуха на такое стадо? — удивился Воронцов.

— Да нет, один дед. А ото ж... Федор. Человек хороший, работяга, а с лендой. Пристрастие к рыбной ловле имеет, и вот... мучаюсь. Отобрал удки в самую посевную, забрал в город с собой...

Воронцов глянул на Лунина и опустил глаза.

— Отбирать не следует...— сказал он задумавшись.— Ну что же, Тимофей Тимофеевич, пробуду у вас денька два. Мне и шоферу одну комнатуху на ночь, у какой-нибудь старушки. Лично не беспокойтесь, занимайтесь своими делами, а потом, в конце, обменяемся мнениями.

Усевшись на колоде возле крыльца, Воронцов попросил принести ему план колхозных земель и поименную книгу колхозников. Тимофей Тимофеевич поспешил в правление и, суетливо доставая из стола книгу, облегченно подумал: «Добро... Федор с удками... спас, можно сказать, от стыда. Не явись на глаза, стыд грыз бы душу... Сгладил Федор дело».

Рига.



В октябре нынешнего года башкирскому поэту Сайфи Кудашу исполняется семьдесят лет. Редакция «Нового мира» сердечно поздравляет юбиляра, желает ему здоровья и творческих успехов.

САЙФИ КУДАШ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

С башкирского

ДОКТОРАМ

Докторам со мной одно мученье.
Говорят: болеть я не умею
И не поддаюсь всю жизнь лечению,
Так как, мол, неправильно болею.

Все врачи твердят мне недовольно:
— Позабудь скорее авторучку.
Коль болеешь, полежи спокойно
И, поверь, тебе же будет лучше.

Но меня лишь злят советы эти,
И лекарства все идут впустую.
Доктора, да что же вы, как дети,
Не поймете истину простую?

Если от проклятого безделья
Ржавчина перо покроет тихо,
Не помогут никакие зелья —
Пострашней болезней это лихо.

Значит, не жилец пера владелец,
Значит, он дошел уже до точки,
Если нет желанья хоть в постели
Взять перо и солнце бросить в строчки.

СОЛЬ

Каждый день заходил к садоводу сосед,
Удивлялся плодам золотистым;
Восхищал его роз величавый расцвет
И сирени тяжелые кисти.
— Ты снимаешь богатый, сосед, урожай

Год за годом в любую погоду.
Ты секретов своих от меня не скрывай,—
Он однажды сказал садоводу.—
— В свою тайну, сосед, мне проникнуть позволъ.
Я ее никому не раскрою.
Удобрят какая-то редкая соль
Твою землю. Я слышал такое..
Садовод улыбнулся: — Мой друг, не спеши.
Соль ты видел в саду — не иначе,
Засолить огурцы я сегодня рѣшил,
Ох, люблю их с картошкой горячей.
Ты неверно, сосед, разгадал мой секрет.
Но изволь — я его не скрываю.
Только, честное слово, секрета ведь нет...
Солью пота я сад удобряю.

ЖИЗНЬ

На горе, где садился беркут,
Остаются обычно перья.
Там, где пел соловей однажды,
Остается навечно песня.

Если полем олень промчался,
Остаются следы надолго.
Если где-то прошел сказитель,
Остаются слова о долге.

Ну, а ты, человек, герой мой,
Труд окрасивший в краски лета,
Превративший работу в праздник,
Что оставишь ты в мире этом?
— Жизнь.—
Таков был ответ поэту.

Перевел Александр Глезер.



ЖАН-ПОЛЬ САРТР

★

СЛОВА

Посвящается мадам Z.

ОТ АВТОРА

Благодаря «Новому миру» я вступаю в контакт с советским читателем. Я рад этому и очень хочу, чтоб моя книга была принята хорошо. Последнее время я бываю в Советском Союзе почти ежегодно и полагаю, что у меня есть там хорошие друзья. Мне дорого было бы их одобрение. «Слова», однако, могут и не понравиться: я рассказываю о детстве, которое людям моего возраста — шестидесятилетним, — пожалуй, покажется в достаточной мере странным, а тем, кто помоложе, и вовсе экзотическим и невероятным. Мои советские сверстники родились в год первой русской революции, им было двенадцать лет в 1917-м. Их детство пришлось на годы между двумя великими историческими событиями, первое из которых оказалось как бы предвестием второго. И детство это, разумеется, прошло совершенно иначе, чем наше.

Период с 1900 по 1914 буржуазная Франция еще и сегодня элегически именуется «прекрасной эпохой». Прекрасной — во всяком случае для трудящихся классов — она отнюдь не была, но правительство и пресса скрывали истинное положение вещей, а мелкая буржуазия старалась его не замечать. Я рассказываю о буржуазном детстве. Сын и внук мелкобуржуазных интеллигентов, я видел то, что мне показывали: упорядоченный мир. Без тревожений, в счастье и скуке прожил я трудное десятилетие, которое вело нас к войне 1914 года. Зачем же, спросите вы, повествовать об этом пустом и лживом сне? На то у меня две причины.

Прежде всего мне хотелось описать извилистый путь, проделанный французами моего возраста, катастрофы и потрясения, рассеявшие их псевдопростодушный оптимизм и их идеализм. Я хотел рассказать о том, как многие из них — и я в том числе — в конце концов примкнули к лагерю эксплуатируемых и угнетенных и стали трудиться по мере своих сил ради построения социализма.

Ваша революция стала великим событием нашей жизни. Мы пережили ее издалека и с запозданием, несколько по-провинциальному. И все же это была очная ставка человека Запада с грандиозными событиями в Советском Союзе. Эта очная ставка подтверждает, что история мира сегодня едина. Обращаясь к каждому из нас той или иной своей стороной, история объединяет нас всех и тогда, когда разделяет и противопоставляет. Такова первая причина, по какой я нахожу возможным предложить мою книгу советскому читателю. Правда, рассказ тут доведен только до 1915 года, но за этой книгой последуют другие. Они расскажут обо всей моей жизни. Здесь же я хотел рассказать о детстве, из которого вышли мы, ставшие тем, чем мы стали. Для любого человека ранние годы — самые важные: из их скорлупы мало-помалу вылупляешься, но никогда не сбрасываешь ее окончательно.

Второе мое намерение не всеми истолковано правильно. Критики упрекали меня, что я слишком суров к ребенку, которым я был. Людям нравится, когда воспоминания проникнуты снисходительностью к самому себе, когда автор, улыбаясь собой, улыбает читателя. Я ни суров, ни нежен, виню я не мальчика, а среду и эпоху, которые его сформировали. Главное же, я ненавижу миф о детстве, сработанный взрослыми. Я прошу считать эту книгу тем, что она есть на самом деле: попыткой развенчать миф.

ЧИТАТЬ

В пятидесятых годах прошлого века многодетный школьный учитель-эльзасец с горя пошел в бакалейщики. Но расстрига-ментор мечтал о реванше: он пожертвовал правом пестовать умы — пусть один из его сыновей пестует души. В семье будет пастырь. Станет им Шарль. Однако Шарль предпочел удрать из дома, пустившись вдогонку за цирковой наездницей. Отец приказал повернуть портрет сына лицом к стене и запретил произносить его имя. Кто следующий? Огюст не замедлил заклатать себя по примеру отца: он занялся коммерцией и преуспел. У младшего, Луи, выраженных склонностей не было. Отец сам занялся судьбой этого невозмутимого парня и не долго думая сделал его пастором. Впоследствии Луи протер сыновнюю покорность до того, что в свой черед произвел на свет пастыря — Альбера Швейцера¹, жизненный путь которого известен. Меж тем Шарль так и не догнал свою наездницу. Символический жест отца наложил на него неизгладимую печать: он на всю жизнь проникся склонностью к возвышенному и лез из кожи вон, раздувая мелкие обстоятельства до размера великих событий. Иначе говоря, он вовсе не стремился заглушить в себе семейное призвание: он хотел лишь посвятить себя духовной деятельности более безобидного толка, принять сан, совместимый с наездницами. Университетское поприще оказалось в самый раз. Шарль решил стать преподавателем немецкого языка. Он защитил диссертацию о Гансе Саксе, сделался приверженцем прямого метода, объявив себя впоследствии его основоположником, выпустил в содружестве с господином Симонно солидный учебник «Deutsches Lesebuch», быстро пошел в гору: Макон — Лион — Париж. В Париже на выпускном вечере он произнес речь, удостоившуюся отдельного издания: «Господин министр! Милостивые государыни и государи! Дорогие дети! Вы никогда не угадаете, о чем я буду говорить с вами сегодня! О музыке!» Он набил руку в стихках на случай. В кругу семьи любил повторять: «Луи у нас самый благочестивый, Огюст самый богатый, я самый умный». Братья хохотали, невестки кусали губы.

В Маконе Шарль Швейцер женился на Луизе Гийемен, дочери адвоката-католика. Свадебное путешествие она вспоминала с отвращением. Похитив невесту в разгар обеда, жених втолкнул ее в поезд. В семьдесят лет она все еще не могла забыть, как в каком-то привокзальном буфете им подали салат из лука-порая: «Шарль съел все луковичи, а зелень оставил мне». Две недели они прожили в Эльзасе, не выходя из-за стола. Братья изошрялись в ватерклозетных анекдотах на местном наречии; по временам пастор оборачивался к Луизе и из христианского человеколюбия переводил их.

Луиза не преминула раздобыть по знакомству медицинское свидетельство, которое избавило ее от исполнения супружеских обязанностей и дало право обзавестись отдельной спальней. Она жаловалась на головные боли, чуть что укладывалась в постель, возненавидела шум, страсти, восторженность — всю суть грубого бытия Швейцеров, земного и театрального. Эта живая, но холодная насмешница мыслила здраво и предосудительно, потому что муж мыслил благонамеренно и несуразно, а так как он был лжив и легковверен, она все подвергала сомнению «Говорят, будто земля вертится, — откуда им это знать?» Окруженная добродетельными комедиантами, она возненавидела комедиантство и добродетель. Проницательная реалистка, затесавшаяся в семью плотоядных спиритуалистов, стала вольтерьянкой, не читав Вольтера, — из духа противо-

¹ Альбер Швейцер (р. 1875) — врач, писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии. (Здесь и дальше — примечание переводчика.)

речия. Маленькая, пухленькая, циничная и игривая, она ударилась в безоговорочное отрицание. Пожатием плеч, иронической улыбкой ради собственной утехи — не для окружающих — она сводила на нет все напыщенные тирады. Ее снедала гордыня всеотрицания и эгоизм неприязни. Она ни с кем не поддерживала отношений — слишком самолюбивая, чтобы домогаться первого места, слишком тщеславная, чтобы довольствоваться вторым. «Умейте поставить себя так, чтобы вас искали», — твердила она. Ее искали усердно, потом все меньше и меньше и наконец, не видя ее, забыли. Теперь она не покидала своего кресла и кровати.

Жизнелюбы и пуритане — сочетание добродетелей куда более пространное, чем это принято считать, — Швейцеры любили крепкое слово, которое, приняв плоть, как это причителствует христианство благочестно, в то же время свидетельствует о широкой терпимости к ее естественным проявлениям; Луиза предпочитала двусмысленности. Она зачитывалась фривольными романами, ценя в них не столько фабулу, сколько прозрачные одежды, в которые ее рядили. «Весьма рискованно и мило», — с намеком замечала она. «Здесь скользко — будьте осторожны!» Эта женщина-льдышка едва не лопнула со смеху, читая «Пламенную деву» Адольфа Бело. Она любила рассказывать анекдоты о брачной ночи — всегда с плохим концом: то муж в грубом нетерпении ломал жене шею о спинку кровати, то потерявшую рассудок новобрачную находили на шкафу, куда она пряталась от своего благоверного.

Луиза жила в полумраке; Шарль входил в ее комнату, распахивал ставни, зажигал все лампы разом, она стенала, прикрывая рукой глаза: «Шарль, я ослепну!» Впрочем, ее протест не выходил за рамки парламентской оппозиции: Шарль пугал Луизу, вызывал нестерпимое раздражение, временами, наоборот, даже приязнь, она хотела одного — чтобы он ее не трогал. Но как только он начинал кричать, она сдавала все позиции. Он нахрапом сделал ей четырех детей: дочь, умершую в младенчестве, двух сыновей и еще одну дочь. То ли по равнодушию, то ли в знак лояльности он разрешил воспитать детей в католической вере. Безбожница Луиза из ненависти к протестанству внушила детям набожность. Оба сына взяли сторону матери. Она их потихоньку спроводила подальше от необузданного отца. Шарль этого даже не заметил. Старший, Жорж, поступил в политехникум, младший, Эмиль, стал преподавателем немецкого. Он для меня загадка. Оставшись холостяком, он во всем остальном подражал отцу, хотя и не любил его. В конце концов отец с сыном поссорились; время от времени происходили торжественные примирения. Эмиль напускал на себя таинственность. Он обожал мать и до конца дней имел привычку без всякого предупреждения наносить ей украдкой визиты: осыпал ее поцелуями и ласками, затем начинал разговор об отце, сперва иронически, потом с яростью, а на прощанье хлопал дверью. Очевидно, Луиза любила его, но побаивалась. Эти крутые упрямыцы — отец и сын — утомляли ее, и она предпочитала им Жоржа, который всегда отсутствовал. Эмиль умер в 1927 году, рехнувшись от одиночества: у него под подушкой обнаружили револьвер, а в чемоданах две сотни дырявых носков и двадцать пар стоптанных ботинок.

Анн-Мари, младшая дочь, все свое детство просидела на стуле. Ее научили скучать, держаться прямо и шить. У Анн-Мари были способности — из приличия их оставили втуне; она была хороша собой — от нее постарались это скрыть. Скромные и гордые буржуа, Швейцеры считали, что красота им не по карману и не к лицу. Они оставляли ее в удел графиням и шлюхам. Луизу снедала бесплоднейшая спесь: из боязни попасть впросак она не признавала ни за детьми, ни за мужем, ни за собой самых очевидных достоинств. Шарль не понимал, кто красив, кто нет, — он путал красоту со здоровьем. С тех пор как его жена

хворала, он искал утешения у дюжих идеалисток, усатых и цветущих — кровь с молоком. Пятьдесят лет спустя, рассматривая семейный альбом, Анн-Мари обнаружила, что была красавицей.

Примерно в то самое время, когда Шарль Швейцер познакомился с Луизой Гийемен, некий сельский врач взял в жены дочь богатого землевладельца из Перигора и обосновался с ней в Тивье на унылой главной улице, прямо против аптеки. Наутро после свадьбы обнаружилось, что у тестя нет ни гроша. Взбешенный доктор Сартр перестал разговаривать с женой и в течение сорока лет не сказал ей ни слова. За столом он изъяснялся жестами, и она в конце концов стала звать его «мой постоялец». Тем не менее он делил с ней ложе и время от времени, все так же не открывая рта, делал ей очередного ребенка: она родила ему двух сыновей и дочь. Этих детей безмолвия нарекли Жан-Батист, Жозеф и Элен. Элен немолодой уже девицей вышла замуж за кавалерийского офицера, который впоследствии сошел с ума. Жозеф, отслужив свой срок в зуавах, поспешил выйти в отставку и вернуться в отчий дом. Специальности у него не было. Очутившись между немым отцом и крикливой матерью, он стал зайкой и до конца дней враждовал со словами. Жан-Батист поступил в мореходное училище, чтобы повидать море. В 1904 году в Шербуре, морским офицером, уже подточенным тропической лихорадкой, он познакомился с Анн-Мари Швейцер, крутил эту заброшенную долговязую девушку, женился на ней, в два счета наградил ребенком — мной — и сделал попытку умыть руки, отойдя в иной мир.

Но умереть не так-то просто: тропическая малярия развивалась не спеша — временами наступало улучшение. Анн-Мари самоотверженно ухаживала за мужем, не позволяя себе, однако, такого неприличия, как любовь. Луиза настроила дочь против супружества: кровавый обряд открывал собой вереницу ежедневных жертв в перебивку с еженощной пошлостью. По примеру собственной матери, моя мать предпочла долг утехам. Она почти не знала отца ни до, ни после свадьбы и, должно быть, порой с недоумением спрашивала себя, с чего этому чужаку взбрело на ум испустить дух у нее на руках. Больного перевезли на мызу неподалеку от Тивье, отец ежедневно навещался к сыну в двуколке. Бдения и заботы подорвали силы Анн-Мари, у нее пропало молоко, меня отдали кормилице, жившей по соседству, и я тоже приложил все старания, чтобы отправить на тот свет от энтерита, а может, и в отместку. В двадцать лет моя мать, неопытная и одинокая, разрывалась между двумя умирающими, совершенно ей незнакомыми. Ее брак по рассудку обернулся болезнью и трауром.

Меж тем обстоятельства играли мне на руку: в ту пору матери сами кормили новорожденных и кормили долго. Не подоспей, на мое счастье, эта двойная агония, мне не миновать бы опасностей, которым подвергается ребенок, поздно отнятый от груди. Но я был болен, и когда меня, девятимесячного, пришлось отлучить от груди, в лихорадке и бесчувствии взамах ножниц, которыми разрезают последнюю нить, связывающую мать с младенцем, прошел для меня незамеченным. Я окунулся в мир, населенный примитивными галлюцинациями и первородными фетишами. После смерти отца мы с Анн-Мари оба разом очнулись от наваждения — я выздоровел. Но вышла неувязка: Анн-Мари обрела любимого сына, которого по сути дела никогда не забывала, — я пришел в себя на коленях у незнакомки.

Без средств, без образования, Анн-Мари решила вернуться под отчий кров. Но Швейцеры были уязвлены неподобающей смертью отца: уж очень она походила на развод. А так как моя мать не смогла ни предвидеть ее, ни предотвратить, ответственность возложили на нее: она легкомысленно выскочила за человека, нарушившего правила благопри-

стойности. Долговязую Ариадну, возвратившуюся в Медон с младенцем на руках, приняли как нельзя лучше: мой дед, подавший было в отставку, вернулся на службу, ни словом не попрекнув дочь; даже бабка не выказала злорадства. Но, подавленная благодарностью, Анн-Мари в безупречном обхождении угадывала хулу. Что и говорить, родня предпочитает вдову матери-одиночке — но только как меньшее из двух зол. Стремясь заслужить отпущение грехов, Анн-Мари не щадила своих сил. Она взвалила на свои плечи хозяйство — сначала в Медоне, потом в Париже, была одновременно воспитательницей, сиделкой, домоправительницей, компаньонкой и служанкой, но ей так и не удалось смягчить заглаженную досаду матери. Луизе надоедало начинать день составлением меню и кончать его проверкой счетов, но ей было не по нутру, когда обходились без нее — она не прочь была избавиться от обязанностей, но не желала терять прерогативы. Стареющая и циничная, Луиза сохранила одну-единственную иллюзию: она считала себя незаменимой. Иллюзия рассеялась — Луиза преисполнилась ревности к дочери. Бедняжка Анн-Мари, сиди она сложа руки, ее бы попрекали, что она обуза, но она не покладала рук, и ее стали подозревать в том, что она хочет стать хозяйкой в доме. Чтобы обойти первый риф, ей пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы обойти второй — все свое смирение. Не прошло и года, как молодая вдова вновь оказалась на правах несовершеннолетней — девицы с пятном на репутации. Никто не лишал ее карманных денег — ей просто забывали их дать; она донашивала платье до дыр, а деду не приходило в голову купить ей новое. Даже в гости ее неохотно отпускали одну. Когда подруги, большей частью замужние дамы, приглашали ее, им приходилось загодя испрашивать соизволения деда, обещая при этом, что его дочь доставят домой не позже десяти. Посреди ужина вызывали экипаж, хозяин дома вставал из-за стола, чтобы проводить Анн-Мари. А тем временем дед в ночной рубашке мерял шагами спальню, не выпуская из рук часов. На десятом ударе разражалась гроза. Приглашения поступали все реже, да и мать потеряла охоту к развлечениям, которые доставались такой дорогой ценой.

Смерть Жана-Батиста сыграла величайшую роль в моей жизни: она вторично поработила мою мать, а мне предоставила свободу.

Хороших отцов не бывает — таков закон; мужчины тут ни при чем — прогнали узы отцовства. Сделать ребенка — к вашим услугам; и мать детей — за какие грехи?! Останься мой отец в живых, он повис бы на мне всей своей тяжестью и раздавил бы меня. По счастью, я лишился его в младенчестве. В толпе Энеев, несущих на плечах своих Анхизов, я странствую одиночкой и ненавижу производителей, всю жизнь незримо сидящих на шее родных детей. Где-то в прошлом я оставил молодого покойника, который не успел стать моим отцом и мог бы теперь быть моим сыном. Повезло мне или нет? Не знаю. Но я обеими руками готов подписаться под диагнозом известного психоаналитика: мне неведом комплекс «сверх-я».

Умереть — это еще далеко не все: важно умереть вовремя. Скончайся мой отец позднее, у меня появилось бы чувство вины. Сирота, сознающий свое сиротство, склонен себя корить: опечаленные лицемерием его персоны родители удалились в свое небесное жилье. Я блаженствовал: моя печальная участь внушала уважение, придавала мне вес; сиротство я причислял к своим добродетелям. Мой отец любезно отошел в вечность по собственной вине — бабушка постоянно твердила, что он уклонился от исполнения долга. Дед, по праву гордившийся живучестью Швейцеров, не признавал смерти в тридцатилетнем возрасте: в свете столь подозрительной кончины он стал сомневаться, существовал ли

вообще когда-нибудь его зять, и в конце концов предал его забвению. А мне даже не пришлось забывать: покинув земную юдоль на английский манер, Жан-Батист не удостоил меня знакомством. Я и по сей день удивляюсь, как мало знаю о нем. Меж тем он любил, хотел жить, знал, что умирает, — иначе говоря, был человеком. Однако никто из членов моей семьи не пробудил во мне интереса к этому человеку. Долгие годы над моей кроватью висел портрет маленького офицера с простодушным взглядом, круглым лысым черепом и большими усами; когда мать вышла замуж второй раз, портрет исчез. Позднее мне достались книги покойного: трактат Ле Дантека о перспективах науки, сочинение Вебера «Через абсолютный идеализм к позитивизму». Как и все его современники, Жан-Батист читал всякий вздор. На полях я обнаружил неразборчивые каракули — мертвый след короткой вспышки, живой и трепетной в пору моего появления на свет. Я продал книги: что мне было за дело до этого покойника? Я знал о нем понаслышке, не больше, чем о Железной Маске или шевалье д'Эоне¹, и все эти сведения не имели никакого отношения ко мне: даже если он и любил меня, брал на руки, смотрел на сына своими светлыми — ныне истлевшими — глазами, никто не сохранил в памяти этих бесплодных усилий любви. От моего отца не осталось ни тени, ни взгляда — мы оба, он и я, какое-то время обременяли одну и ту же землю — вот и все. Меня воспитали в сознании, что я не столько сын умершего, сколько дитя чуда. Этим наверняка и объясняется мое беспримерное легкомыслие. Я не вождь и не хотел бы быть вождем. Повелевать и подчиняться — это, в сущности, одно и то же. Самый полновластный человек всегда повелевает именем другого — именем канонизированного захребетника, своего отца, и служит проводником абстрактной воли, которая ему навязана. Я отродясь не отдавал приказаний, разве чтобы посмешить себя и окружающих. Язва властолюбия меня не разъедает — немудрено: меня не научили послушанию.

Слушаться — но кого? Мне показывают юную великаншу и говорят, что это моя мать. Сам я склонен считать ее скорее старшей сестрой. Мне совершенно ясно, что эта девственница, проживающая под надзором, в полном подчинении у всей семьи, призвана служить моей особе. Я люблю Анн-Мари, но как мне ее уважать, когда никто ее в грош не ставит? У нас три комнаты: кабинет деда, спальня бабушки и «детская». «Дети» — это мы с матерью: оба несовершеннолетние, оба иждивенцы. Но все привилегии принадлежат мне. В мою комнату поставили девичью кровать. Девушка спит одна, пробуждение ее целомудренно; я еще не открыл глаз, а она уже мчится в ванную комнату принять душ; возвращается она совершенно одетая — как ей было меня родить? Она веряет мне свои горести, я сострадательно выслушиваю: со временем я на ней женюсь и возьму под свою опеку. Мое слово нерушимо: я не дам ее в обиду, пушу в ход ради нее все свое юное влияние. Но неужто я стану ее слушаться? По доброте душевной я снисхожу к ее мольбам. Впрочем, она никогда ничего от меня не требует. Словами, оброненными как бы невзначай, набрасывает она картину моих будущих деяний, осыпая меня похвалами за то, что я соблаговолю их свершить: «Ненаглядный мой будет умницей, пай-мальчиком, он даст своей маме впустить себе капли в нос», и я попадаю на удочку этих разнеживающих пророчеств.

Был еще патриарх: он так походил на бога-отца, что его нередко принимали за Всевышнего. Как-то раз он вошел в церковь через ризницу — в эту минуту юре грозил нерадивым карами небесными. И вдруг прихожане заметили у кафедры высокого бородатого старца — он смотрел на них; верующие пустились наутек. Иногда дед утверждал, что они

¹ Шевалье д'Эон — французский авантюрист XVIII века, личность которого до сих пор остается загадкой.

пали перед ним ниц. Он вошел во вкус таких пришествий. В сентябре 1914 гсда он явил себя народу в кинотеатре Аркашона. У нас с матерью были места на балконе — вдруг раздался голос деда: он требовал, чтобы дали свет. Вокруг него какие-то господа, подобно сонму ангелов, возглагошала: «Победа! Победа!» Бог поднялся на сцену и прочел коммюнике о победе на Марне. Когда дед был еще чернобородым, он разыгрывал из себя Иегову, и я подозреваю, что он виновен в смерти Эмиля — косвенно, конечно. Этот гневный библейский бог алкал крови своих сыновей. Но я появился на свет к концу его долгой жизни. Борода его стала седой, пожелтела от табака, роль отца ему приелась. Впрочем, будь я его сыном, он, пожалуй, не удержался бы и поработил меня — просто по привычке. На мое счастье, я принадлежал мертвецу. Я был ничейной землей — дед мог пользоваться мной, не имея на меня прав владения. Он звал меня «светом своих очей», ибо ему хотелось сойти в могилу в образе просветленного старца. Он решил видеть во мне особую милость провидения, дар свыше, которого в любую минуту можно лишиться. Какие же он мог предъявлять ко мне требования? Самый факт моего существования переполнял его восторгом. Дед вошел в роль бога-любви, наделенного бородой бога-отца и сердцем бога-сына. Он возлагал руки мне на голову, я чувствовал теменем тепло его ладоней, дребезжащим от умиления голосом он называл меня своим дитяткой, и его холодные глаза увлажнялись слезами. Знакомые негодовали: «Этот шенок свел его с ума!» Дед меня обожал — это видели все. Любил ли он меня? В страсти, столь рассчитанной на публику, трудно отличить, где искренность и где притворство. Мне что-то не помнится, чтобы дед проявлял особенно пылкие чувства к другим своим внукам. Правда, он их редко видел и они в нем не нуждались, а я целиком зависел от него — он обожал во мне собственное великодушие.

По правде сказать, старик несколько пересаливал по части возвышенного. Он был сыном XIX века и, как многие, как сам Виктор Гюго, мнил себя Виктором Гюго. На мой взгляд, этот красивый длиннородый старик, всегда пребывавший в ожидании очередного театрального эффекта, точно алкоголик в ожидании очередной выпивки, пал жертвой двух новейших технических изобретений: фотоискусства и искусства быть дедушкой¹. На его счастье и беду, он был фотогеничен; наш дом ломился от его изображений. Моментальных снимков в ту пору еще не делали, и поэтому дед пристрастился к позам и живым картинам. Под любым предлогом он вдруг останавливался, эффектно замирал, каменел: он обожал эти краткие мгновения вечности, когда он превращался в памятник самому себе. Из-за этого его пристрастия к живым картинам он и сохранился у меня в памяти только как застывшая проекция волшебного фонаря. Опушка леса, я сижу на поваленном стволе, мне пять лет; на Шарле Швейцере панамы, кремовый в черную полосу костюм из фланели, белый пикейный жилет, перерезанный цепочкой от часов; на шнурке — пенсне; дед склонился ко мне, воздел палец с золотым перстнем и вещает. Вокруг темно, сыро, и только его борода лучится: дед носит свой нимб под подбородком. Не знаю, о чем он говорит. Я так рьяно старался слушать, что не слышал ни слова. Полагаю, что этот старый республиканец времен империи наставлял меня в моих обязанностях гражданина и излагал буржуазную историю: жили были в давние времена короли и императоры, это были гадкие люди, их прогнали, все шло к лучшему в этом лучшем из миров.

Вечерами, встречая деда на дороге, мы тотчас узнавали его в толпе пассажиров, высыпавших из фуникулера, по его исполинскому росту и

¹ «Искусство быть дедушкой» — название сборника стихов В. Гюго.

осанке танцмейстера. Заметив нас еще издали, он мгновенно, повинувшись указанию невидимого фотографа, «становился в позицию»: борода по ветру, плечи расправлены, пятки вместе, носки врозь, грудь колесом, объятья широко раскрыты. По этому знаку я замирал, чуть наклонившись вперед — бегун на старте, птичка, которая вот-вот вылетит из аппарата. Несколько мгновений мы пребывали в такой позе — прелестная группа саксонского фарфора, потом я бросался вперед — мальчик с цветами, фруктами и счастьем деда, — притворно задыхаясь, утыкался носом в его колени, а он, подбросив меня на вытянутых руках, прижимал к сердцу, шепча: «Сокровище мое!» Такова была вторая фигура танца, пользовавшаяся громадным успехом у прохожих. Мы вообще разыгрывали нескончаемое представление из сотни разнообразных скетчей: тут был и флирт, и минутные размолвки, и добродушные поддразнивания, и ласковая воркотня, и любовная досада, и нежные утайки, и страсть. Мы изобретали препоны на пути нашей любви, чтобы насладиться их преодолением. На меня временами находило упрямство, но даже в моих капризах сквозила редкостная чувствительность; он, как подобаёт деду, грешил благородным и простодушным тщеславием, слепотой и предосудительным потворством по рецепту Гюго. Посади меня мать и бабушка на хлеб и воду, дед таскал бы мне сласти, но запуганным женщинам это и в голову не приходило. Впрочем, я был пай-мальчик: моя роль мне так нравилась, что я и не собирался из нее выходить. В самом деле, поспешное бегство отца наградило меня весьма ослабленным «эдиповым комплексом»: никаких «сверх-я» и вдобавок ни малейшей агрессивности. Мать всецело принадлежала мне, никто не оспаривал у меня безмятежного обладания ею; я не знал, что такое насилие и ненависть, был избавлен от горького опыта ревности. Действительность, на острые углы которой мне ни разу не пришлось наткнуться, вначале предстала передо мной улыбчивой бесплотностью. Против кого или чего мне было бунтовать? Ничья прихоть ни разу не пыталась диктовать мне поведения.

Я любезно позволяю, чтобы меня обували и впускали мне капли в нос, причесывали и умывали, одевали и раздевали, холили и лелеяли. Моя самая любимая забава — разыгрывать пай-мальчика. Я не плачу, почти не смеюсь, не шумлю: когда мне было четыре года, меня застигли за попыткой посолить варенье — из любви к науке, полагаю, а не по злему умыслу. Так или иначе, никаких других проказ моя память не сохранила. По воскресеньям наши дамы иногда ходят к обедне, послушать хорошую музыку, знаменитого органиста. Ни та, ни другая обрядов не соблюдают, но истовость верующих располагает их к музыкальному экстазу; пока звучит токката, они веруют в бога. Для меня нет ничего слаще этих минут духовного воспарения. Окружающие клюют носом — самое время показать, на что я способен: упершись коленями в скамеечку, я обращаюсь в статую — боже сохрани шевельнуть хотя бы мизинцем; я смотрю прямо перед собой, не мигая, пока по щекам не заструятся слезы. Конечно, я веду титаническую борьбу с мурашками в ногах, но я уверен в победе и настолько преисполнен сознания своей силы, что бесстрашно возбуждаю в себе самые греховные искушения, дабы вкусить сладость торжества над ними. А что, если я вдруг вскочу и заору: «Тарарабум!» А что, если я вскарабкаюсь на колонну и сделаю пипи в кропильницу? Эти чудовищные видения придают особую цену похвалам матери после службы. Впрочем, я лгу самому себе — притворяюсь, будто мне грозит опасность, чтобы приумножить свою славу. На самом деле никакие соблазны не способны вскружить мне голову: слишком я боюсь скандала. Уж если я намерен повергать окружающих в изумление, то только своими добродетелями. Легкость, с какой я одер-

живаю эти победы, доказывает, что у меня хорошие задатки. Стоит мне внять своему внутреннему голосу, меня осыпают похвалами. Дурные желания и мысли, если уж они у меня появляются, приходят извне; едва закравшись в мою душу, они хиреют и чахнут — я неблагоприятная почва для греха. Добродетельный из любви к рисовке, я при этом не лезу вон из кожи, не насилую себя — я творю. Я наслаждаюсь царственной свободой актера, который, держа публику в напряжении, шлифует свою роль. Меня обожают — стало быть, я достоин обожания. Вполне понятно — ведь мир устроен превосходно. Мне говорят, что я хорош собой, и я этому верю. С некоторых пор у меня на правом глазу бельмо, впоследствии я буду косить и окривею, но пока это еще незаметно. Меня то и дело фотографируют, и мать ретуширует снимки цветными карандашами. Одна из фотографий сохранилась: я на ней белокур, розов, кудряв, щеки пухлые, во взгляде ласковая почтительность к установленному миропорядку, в надутых губках затаенная наглость — я себе цену знаю.

У меня хорошие задатки, но этого мало: мне положено быть пророком, ведь истина глаголет устами младенцев. Они еще не оторвались от природы, они сродни ветру и морю — имеющий уши может почерпнуть в их лепете пространные и расплывчатые откровения. Моему деду довелось плыть по Женевскому озеру в обществе Анри Бергсона. «Я потерял голову от восторга, — рассказывал дед. — Я не мог наглядеться на сверкающие гребни, на зеркальный блеск воды. А Бергсон просидел все время на чемодане, уставившись взглядом в пол». На основании этого путевого наблюдения Шарль делал вывод, что поэтическое созерцание превышает философию. И он созерцал меня: в саду, полулежа в шезлонге с кружкой пива под рукой, он глядел, как я бегаю и играю, высматривал мудрость в моей бессвязной болтовне и находил ее. Впоследствии я посмеивался над этой манерой — теперь я в этом раскаиваюсь: то было предвестие смерти. С помощью экстаза Шарль пытался побороть страх. Он восхищался во мне восхитительным созданием земли, стараясь убедить себя, что все прекрасно — даже наш жалкий конец. Повсюду — на вершинах гор, в волнах, среди звезд, в истоках моей юной жизни — он искал природу, которая готовилась вновь принять его в свое лоно, искал, чтобы охватить ее целиком и принять всю без изъятия, вплоть до могильной ямы, уже вырытой для него. Не истина, а его собственная смерть глаголела ему моими устами. Немудрено, что пресное счастье моих младенческих лет имело порой загробный привкус: своей свободой я был обязан одной смерти — своевременной, своим положением — другой, давно ожидаемой. Впрочем, как известно, пифии всегда вещают от имени загробного мира, дети — всегда зеркало смерти.

Помимо всего прочего, деду очень нравилось злить своих сыновей. Всю жизнь они находились под пятой грозного отца; они входят к нему на цыпочках и застают его на коленях перед мальчишкой — как тут не полезть на стену! В борьбе отцов и детей младенцы и старики нередко действуют заодно: одни прорицают, другие толкуют прорицания. Природа глаголет, опыт комментирует — среднее поколение может заткнуться. Если у вас нет ребенка, заведите пуделя. В прошлом году на собачьем кладбище, читая взволнованный панегирик, который эстафетой передается от одного надгробия к другому, я вспомнил изречения деда: собаки умеют любить, они отзывчивей, преданнее людей; они наделены тактом, безупречным чутьем, которое помогает им распознать добро, отличить хорошее от дурного. «Полониус! — взывала неутешная хозяйка. — Ты лучше меня: ты бы не пережил моей смерти — я живу». Со мной был мой друг, американец. Он в бешенстве пнул ногой какую-то гипсовую собачонку и отбил ей ухо. Я его понимаю: тот, кто чрезмерно любит детей и животных, любит их в ущерб человечеству.

Итак, я многообещающий пудель. Я прорицаю. Я болтаю по-детски — мои слова запоминают, повторяют мне, — по их образцу я изготовляю новые. Я болтаю и по-взрослому, я наловчился с наивным видом высказываться «не по годам разумно». Высказывания эти — истинные поэмы; рецепт их прост: наобум, на авось, на удачу займись у взрослых целые фразы, расставь их как бог на душу положит и повторяй, не вникая в смысл. Словом, я изрекаю вещие тирады, и каждый толкует их по своему разумению. В глубинах моего сердца рождается само добро, в тайниках моего юного сознания сама истина. Я восхищаюсь собой, положившись на взрослых. Иногда до меня самого не доходит, в чем прелесть моих слов и жестов, но взрослым она бросается в глаза. Ничего не попишешь! Я готов самоотверженно доставлять им изысканное наслаждение, недоступное мне самому. Мое кривлянье смахивает на великодушие: горемыки-взрослые страдали, не имея детей; растроганный, в порыве альтруизма, я вышел из небытия, обернувшись дитятей, дабы им казалось, будто у них есть сын. Мать и бабушка частенько подбивают меня разыгрывать сцену моего появления на свет божий — акт неизреченного милосердия, вызвавшего меня к жизни. Они потворствуют причудам Шарля Швейцера, его любви к театральным эффектам, они устраивают ему сюрпризы. Меня прячут позади какого-нибудь кресла, я стараюсь не дышать, женщины уходят из комнаты или делают вид, будто забыли обо мне. Входит дед, усталый и угрюмый, каким он и был бы, не живи я на свете, и вдруг я выхожу из своего тайника, являя деду милость своим рождением. Он замечает меня, входит в роль, с просветленным челом воздевает руки к небу: я существую, больше ему ничего не надо. Иными словами, я одариваю собой, одариваю всегда и повсюду, одариваю всех. Стоит мне приоткрыть дверь — и мне, как деду, начинает казаться, что я являю себя народу. Построив дом из кубиков, слепив пирожок из песка, я кричу во все горло: на мой зов всегда кто-нибудь прибежит и ахнет. Одним счастливец больше — и все я! Еда, сон, меры предосторожности против дурной погоды — таковы основные развлечения и обязанности, предусмотренные строжайшим ритуалом моей жизни. Ем я на людях, словно король; если я ем с аппетитом, меня осыпают поздравлениями. Даже бабушка восклицает: «Вот умница, что проголодался!»

Я неустанно творю себя: я даритель и я же даяние. Остаюсь мой отец в живых, я бы познал свои права и обязанности. Но он умер, и я о них ведать не ведаю: у меня нет прав, потому что я взыскан любовью, у меня нет обязанностей, потому что я дарю из любви. Я уполномочен нравиться, и только; все напоказ. Наша семья — какой разгул великодушия: дед дает мне средства к жизни, я даю ему счастье, мать жертвует собой ради всех. Теперь, по зрелом размышлении, только одно ее самопожертвование и кажется мне непритворным, но в ту пору мы были склонны обходить его молчанием. Так или иначе, жизнь наша — вереница церемоний, и все наше время уходит на воздаяние взаимных почестей. Я чту взрослых при условии, что меня боготворят; я правдив, откровенен, ласков, как девочка. Я благонамерен, доверяю людям; все они добры, ибо всем довольны. Общество рисуется мне строгой иерархической лестницей заслуг и полномочий. Тот, кто находится на верхних ступенях, отдает все, что имеет, тем, кто находится внизу. Лично я отнюдь не претендую на самую верхнюю ступень: мне известно, что она отведена суровым, благомыслящим людям, которые блюдают порядок. Я устроился на скромной боковой жердочке неподалеку от них и излучаю сияние во всех направлениях. Словом, я стараюсь держаться подальше от мирской власти: ни наверху, ни внизу — в стороне. Внук служителя культа, я с детства проявляю наследственные склонности: во

мне елейность князей церкви, меня влекут утехи рясоносцев. С меньшей братьей я обращаюсь как с равными: это ложь во спасение; я лгу, чтобы их очастливить, а им надлежит попадаться на удочку, но не вполне. К няне, к почтальону, к комнатной собачонке я обращаюсь терпеливым и сдержанным тоном. В нашем упорядоченном мире есть бедные. Бывают также всякие диковинки, сиамские близнецы, железнодорожные катастрофы. Но в этих несообразностях никто не повинен. Честные бедняки не подозревают, что их жизненное назначение — давать пищу нашей щедрости. Это стыдливые бедняки — они жмутся к стенкам. Я бросаюсь к ним, сую им в руку мелочь и, главное, одариваю их пленительной улыбкой — улыбкой равенства. Вид у них дурацкий, и мне противно прикасаться к ним, но я принуждаю себя — это искус. К тому же необходимо, чтобы они меня любили, любовь ко мне скрасит им жизнь. Я знаю, что им не хватает насущного, и мне нравится быть для них предметом роскоши. Впрочем, как бы они ни бедствовали, им не изведать тех страданий, что выпали на долю моего деда: ребенком он вставал до рассвета и одевался в потемках, зимою, чтобы умыться, в кувшине с водой приходилось разбивать лед. К счастью, времена изменились: дед верит в прогресс, я тоже. Прогресс — это длинный крутой подъем, который ведет ко мне.

То было райское житье. По утрам я просыпался в радостном изумлении, ликуя, что мне так неслыханно повезло и я родился в самой дружной на свете семье, в самой лучшей стране мира. Недовольные шокировали меня: на что им было роптать? Смутьяны, да и только. В частности, родная бабушка внушала мне живейшую тревогу: я с грустью должен был отметить, что она недостаточно восторгается мной. Луиза и в самом деле видела меня насквозь. Она открыто уличала меня в лицедействе, за которое не осмеливалась укорять мужа, она бранила меня клоуном, шутом, кривлякой, требовала, чтобы я прекратил свои фокусы. Меня это возмущало, в особенности потому, что я угадывал тут насмешку и над дедом. Устами бабушки говорил дух всеотрицания. Я возражал, она требовала, чтобы я извинился; уверенный, что найду поддержку, я отказывался. Дед на ходу ловил случай проявить слабость — он принимал мою сторону против жены, она, негодуя, уходила к себе в спальню и запиралась на ключ. Испуганная мать, боясь бабушкиной злопамятности, шепотом робко журила деда, а он, пожалв плечами, удалялся в свой кабинет; тогда мать начинала уговаривать меня, чтобы я попросил прощения у бабушки. Я упивался своим могуществом: чем я не Михаил-архангел, сокрушивший лукавого? Чтобы исчерпать инцидент, я небрежно извинялся перед бабушкой. Впрочем, если не считать подобных размолвок, я, разумеется, обожал Луизу — ведь это была моя бабушка. Меня научили называть ее Мами, а главу семьи — его эльзасским именем Карл. Карл и Мами — это звучало почище, чем Ромео и Джульетта или Филимон и Бавкида. Мать не без умысла по сто раз на дню повторяла мне: «Карлимами нас ждут», «Карлимами будут рады», «Карлимами...», подчеркивая интимным союзом этих четырех слогов полное взаимное согласие персонажей. Я попадался на эту удочку лишь отчасти, но притворялся — прежде всего перед самим собой, — будто попадаюсь вполне. Слово отбрасывало тень на самый предмет: с помощью Карлимами я мог наслаждаться безукоризненной спаянностью семьи и оделять Луизу малой толикой добродетелей Шарля. Мою бабуку, существо ненадежное, склонное к греху и поминутно готовое оступиться, подерживала десница ангелов, могущество слова.

Есть в мире настоящие злодеи — пруссаки, они отняли у нас все часы, кроме тех, столовых, на подставке из черного мрамора, что стоят на камине у деда и подарены ему как раз группой его учеников-немцев:

интересно, где они их украли? Мне покупают книжки Ганси¹ и показывают картинки: я не ощущаю ни малейшей неприязни к этим розовым марципановым толстякам, которые как две капли воды похожи на моих эльзасских дядей. Дед, выбравший в 1871 году французское гражданство, время от времени ездит в Гунсбах и Пфаффенхофен навесить родню, которая осталась там. Берут и меня. В поезде, если немец-контролер просит нас предъявить билеты, в кафе, если официант не торопится нас обслужить, Шарль Швейцер багровеет от прилива патриотического гнева. Обе женщины хватают его за руки: «Шарль! Образумься! Неужто ты хочешь, чтобы нас выслали?» Шарль возвышает голос: «Пусть попробуют выслать — я здесь у себя». Меня подталкивают к его коленям, я гляжу на него с мольбой, он смягчается. «Ну, ладно, ради малыша», — вздыхает он, глядя меня по голове сухими, шершавыми пальцами. Эти сцены настраивают меня не против оккупантов, а против деда. Кстати, в Гунсбахе Шарль при каждом удобном случае накидывается на свою невестку: по нескольку раз в неделю он швыряет на стол салфетку и, хлопнув дверью, выходит из столовой, а невестка вовсе не немка. После обеда мы с мольбами и рыданиями припадаем к стопам Шарля — дед внемлет с каменным лицом. Как тут не согласиться с бабушкой: «Эльзас вреден Шарлю. Незачем так часто туда ездить». Я и сам не в восторге от эльзасцев, которые не проявляют ко мне ни малейшего почтения, и меня не слишком печалит, что их у нас отняли. Выясняется, например, что я слишком часто бегаю в лавку пфаффенхофенского бакалейщика господина Блюменфельда и беспокою его по пустякам. Моя тетка Каролина высказала моей матери «свое мнение» на этот счет, мать передала его мне. На сей раз мы с Луизой солидарны: она терпеть не может мужчину родню. В Страсбурге из номера гостиницы, где мы остановились, я слышу дробь оркестра, лечу к окну — армия! С восторгом глядя, как под звуки этой ребячливой музыки марширует Пруссия, я хлопаю в ладоши. Дед не шелохнулся в кресле — он брюзжит. Мать шепчет мне на ухо, чтобы я отошел от окна. Я подчиняюсь, слегка надув губы. Черт побери, конечно, я ненавижу немцев, но без должного убеждения. Впрочем, и Шарль может себе позволить только самую невинную дозу шовинизма. В 1911 году, покинув Медон, мы обосновались в Париже на улице Ле Гофф, в доме номер 1. После того как он вышел в отставку, деду, чтобы содержать семью, пришлось основать Институт Новых Языков, где обучают французскому заезжих иностранцев. Обучают «прямым методом». Большинство учеников — немцы. Они хорошо платят. Дед, не считая, прячет луидоры в карман пиджака; по ночам бабушка, страдающая бессонницей, крадется в прихожую, чтобы взыскать дань, — «шито-крыто», как она сама говорит дочери. Одним словом, враг дает нам хлеб насущный. Франко-германская война возвратила бы нам Эльзас, но положила бы конец институту — Шарль стоит за поддержание мира. К тому же есть на свете и хорошие немцы, те, что бывают у нас в гостях: краснолицая усатая романистка — Луиза с ревнивым смешком зовет ее Карлова Дульцинея, лысый доктор, который, притиснув Анн-Мари к дверям, пытается ее поцеловать; в ответ на ее робкую жалобу дед мечет грома и молнии: «Вам только бы ссорить меня со всеми!» Пожав плечами, он решает: «Тебе померещилось, дочь моя!», и Анн-Мари еще чувствует себя виноватой. Все эти гости понимают, что им надлежит восхищаться моими достоинствами, и послушно тискают меня, следовательно, несмотря на их происхождение, им не чуждо смутное представление о добре. На юбилейном празднике в честь основания института больше сотни приглашенных, легкое вино, мать и

¹ Ганси — парижский издатель.

мадемуазель Муте в четыре руки играют Баха. Я в голубом муслиновом платьице, с диадемой из звезд и крыльями за плечами обношу гостей мандаринами из корзины. «Ну, сущий ангел!» — восклицают они. Выходит, не такие уж плохие люди. Само собой, мы не отказались от планов мщения за мученика — Эльзас: в семейном кругу, понизив голос, мы, так же как наши родственники из Гунсбаха и Пфаффенхофена, изничтожаем бошей насмешкой; в сотый раз мы потешаемся над ученицей, которая во французском сочинении написала: «На могиле Вертера Шарлотту прохватило горе», или над молодым преподавателем, который за обедом долго и недоверчиво разглядывал свой ломтик дыни, а потом съел его целиком — с семечками и коркой. Эти промахи настраивают меня на снисходительный лад: немцы — низшие существа, но, на их счастье, они живут по соседству с нами — мы их просветим.

Поцелуй безусого, говорили в те годы, как пища без соли, или, добавлю я, как добродетель без греха, как моя жизнь с 1905 по 1914 год. Если человеческая личность определяется в борениях с самим собой, я был неопределенность во плоти и крови. Если любовь и ненависть — суть две стороны одной медали, я не любил никого и ничего. С меня взятки гладки: нельзя требовать, чтобы человек старался нравиться и при этом ненавидел. Или старался нравиться и при этом любил.

Выходит, я Нарцисс? Нет, даже и не Нарцисс. Всецело поглощенный тем, чтобы нравиться, я забываю о себе. По правде говоря, вовсе не так интересно лепить пирожки из песка, рисовать каракули и удовлетворять естественные нужды — мои деяния приобретают цену в моих глазах не раньше, чем хоть один из взрослых придет от них в восторг. К счастью, в рукоплексанных недостатка нет. Слушают ли они мою болтовню или Искусство Фуги — на губах у взрослых та же многозначительная улыбка германов и соучастников. А стало быть, по сути своей я культурная ценность. Культура пропитала меня насквозь, и я посредством излучения возвращаю ее своей семье, как пруды возвращают по вечерам солнечное тепло.

Я начал свою жизнь, как, по всей вероятности, ее кончу — среди книг. Кабинет деда был заставлен книгами; пыль с них разрешалось стирать только раз в году — в октябре, накануне возвращения в город. Еще не научившись читать, я благоговел перед этими священными камнями: они расположились на полках — стоймя и полулежа, местами вплотную, точно кирпичи, местами в благородном отдалении друг от друга, словно ряды менгиров. Я чувствовал, что от них зависит процветание нашей семьи. Они походили одна на другую, как две капли воды, и я резвился в этом крохотном святилище среди приземистых памятников древности, которые были свидетелями моего рождения, должны были стать свидетелями моей смерти и неизбежность которых сулила мне в будущем жизнь столь же безоблачную, как и в прошлом. Я украдкой дотрагивался до них, чтобы причаститься их пылью, но не представлял себе, на что они, собственно, нужны, и каждый день приглядывался к ритуалу, смысл которого от меня ускользал: дед, в повседневном обиходе такой неловкий, что моя мать сама застегивала ему перчатки, манипулировал этой духовной утварью с ловкостью служителя алтаря. Сотни раз я наблюдал, как он с отсутствующим видом поднимается, выходит из-за стола, в мгновение ока оказывается у противоположной стены, решительно, не раздумывая, снимает с полки какой-нибудь том, на ходу перелистывает его привычным движением большого и указательного пальца, вновь садится в кресло и разом открывает книгу на нужной странице, чуть хрустнув кожаны́м корешком, как новым ботинком. Иногда я подходил ближе, чтобы разглядеть эти ларцы, которые

распахивались, точно створки раковины, и обнажали передо мной свои внутренности: блеклые заплесневелые листки, слегка покоробленные и покрытые черными прожилками, они впитывали чернила и пахли грибами.

В комнате бабушки книги не стояли, а лежали на столе; Луиза брала их в библиотеке — не больше двух зараз. Эти безделки напоминали мне новогодние лакомства, потому что их тонкие, глянцевиные страницы казались вырезанными из глазированной бумаги. Кокетливые, белые, почти новые, они служили поводом для более легковесных тайнств. Каждую пятницу бабушка, надев пальто, уходила со словами: «Пойду верну и х». Возвратившись, она снимала черную шляпу с вуалеткой и извлекала и х из своей муфты, а я недоумевал: «Опять те же?» Бабушка тщательно обертывала книги, потом, выбрав одну, усаживалась у окна в глубокое мягкое кресло, водружала на нос очки и со счастливым, усталым вздохом прикрывала глаза, улыбаясь той тонкой сладострастной улыбкой, которую впоследствии я обнаружил на губах Джоконды; Анн-Мари умолкала, делала и мне знак молчать, а я представлял себе обедню, смерть, сон и проникался священным безмолвием. Время от времени Луиза, издав короткий смешок, подзывала дочь, проводила пальцем по какой-то строке, и обе женщины обменивались понимающим взглядом. Но мне все-таки не нравились слишком уж изящные бабушкины книжицы: это были самозванки, да и дед не скрывал, что они божества второстепенные, предмет специфически женского культа. По воскресеньям от нечего делать он заходил в комнату жены и, не зная, что сказать, останавливался возле ее кресла. Все взгляды устремлялись к нему, а он, побарабанив пальцем по стеклу и так ничего и не придумав, поворачивался к Луизе и отнимал у нее книгу, которую она читала. «Шарль! — в ярости кричала она. — Я потом не найду, на чем я остановилась!» Но дед, подняв брови, уже погружался в чтение, затем, постучав вдруг по книжке согнутым пальцем, объявлял: «Ничего не понимаю». — «Да как же ты можешь понять, когда читаешь с середины?» — возражала бабушка. Дело кончалось тем, что дед швырял роман на стол и удалялся, пожав плечами.

Спорить с дедом не приходилось: ведь он был того же цеха. Я это знал — он показал мне на одной из полок толстые тома, обтянутые коричневым коленкором. «Вот эти книги, малыш, написал дедушка». Как тут было не возгордиться! Я внук умельца, искусного в изготовлении священных предметов, — ремесле не менее почтенном, чем ремесло органного мастера или церковного портного. Я видел деда за работой: «Deutsches Lesebuch» переиздавался каждый год. На каникулах вся семья с нетерпением ждала корректуры; Шарль не выносил праздности, чтобы убить время, он не давал никому житья. Наконец почтальон приносил пухлые, мягкие бандероли, веревки разрезали ножницами, дед разворачивал гранки, расстилал их на столе в столовой и начинал черкать красным карандашом: при каждой опечатке он сквозь зубы бормотал проклятья, но уже не поднимал крика, разве когда служанка приходила накрывать на стол. Все члены семьи были довольны. Стоя на стуле, я в упоении созерцал черные строчки, испещренные кровавыми пометами. Шарль Швейцер разъяснил мне, что у него есть смертельный враг — его издатель. Дед никогда не был силен в арифметике: расточительный из беспечности, щедрый из упрямства, он лишь к концу жизни впал в старческую болезнь — скупость, результат импотенции и страха перед смертью. Но в ту пору она проявлялась еще только в странной подозрительности: когда деду приходил почтовым переводом авторский гонорар, он, воздев руки к небу, кричал, что его режут без

ножа, а не то входил в комнату к бабушке и мрачно заявлял: «Мой издатель обдирает меня как липку». Так моему изумленному взору открылась эксплуатация человека человеком. Если бы не эта гнусность, по счастью ограниченного свойства, мир был бы устроен превосходно: каждому — каждый по своим возможностям — воздавали труженикам каждому по его заслугам. И ведь надо же было, чтоб вампиры-издатели сскверняли справедливость, высасывая кровь моего бедного деда. Но мое уважение к этому праведнику, который не получал награды за свою самоотверженность, возросло: от молодых ногтей я был подготовлен к тому, чтобы видеть в педагогической деятельности — священнодействие, а в литературной — подвижничество.

Я еще не умел читать, но был уже настолько заражен снобизмом, что пожелал иметь собственные книги. Дед отправился к своему мошеннику-издателю и раздобыл там «Сказки» поэта Мориса Бушора — фольклорные сюжеты, обработанные для детей человеком, который, по словам деда, глядел на мир детскими глазами. Я пожелал немедленно и по всей форме вступить в права владения. Взяв два маленьких томика, я их обнюхал, ощупал, небрежно, с предусмотренным по этикету хрустом открыл «на нужной странице». Тщетно: у меня не было чувства, что книги мои. Не увенчалась успехом и попытка поиграть с ними: баюкать, целовать, шлепать, как кукол. Еле удерживаясь, чтобы не разреветься, я в конце концов положил их на колени матери. Она подняла глаза ст шитья: «Что тебе почитать, мой родной? Про фей?» Я недоверчиво спросил: «Про фей? А разве они там?» Сказка про фей была мне давным-давно известна: мать часто рассказывала ее, умывая меня по утрам и поминутно отвлекаясь, чтобы растереть меня одеколоном или поднять кусок мыла, выскользнувший у нее из рук под умывальник, а я рассеянно слушал хорошо знакомый рассказ. Я видел при этом только Анн-Мари, юную подругу моих утренних пробуждений, слышал только ее голос, робкий голос служанки. Мне нравилось, как она не договаривает фразы, запинаясь на каждом слове, неожиданно обретает уверенность, опять теряет ее, расплескивая в мелодичном журчании, и вновь приободряется после паузы. А сама сказка была как бы довеском, она скрепляла этот монолог. Пока Анн-Мари рассказывала, мы были с ней наедине, скрытые от глаз людей, богов и священнослужителей, две лесные лани, и с нами другие лани — феи. Но я не мог поверить, что кто-то сочинил целую книгу, чтобы включить туда частицу нашей мирской жизни, от которой пахло мылом и одеколоном.

Анн-Мари усадила меня перед собой на мой детский стул — сама склонилась, опустила веки, задремала. И вдруг эта маска заговорила гипсовым голосом. Я растерялся: кто это говорит, о чем и кому? Моя мать отсутствовала: ни улыбки, ни понимающего взгляда, я перестал для нее существовать. Вдобавок я не узнавал ее речи. Откуда взялась в ней эта уверенность? И тут меня осенило: да ведь это говорит книга. Из нее выходили фразы, наводившие на меня страх: это были форменные сороконожки, они мельтешили слогами и буквами, растягивали дифтонги, звенели удвоенными согласными; напевные, звучные, прерываемые паузами и вздохами, полные незнакомых слов, они упивались сами собой и собственными извивами, нимало не заботясь обо мне: иногда они обрывались, прежде чем я успевал что-нибудь понять, иногда мне уже все было ясно, а они продолжали величаво струиться к своему концу, не жертвуя ради меня ни единой запятой.

Сомнений не было: эти слова предназначались не мне. Да и сама сказка расфуфырилась -- дровосек, его жена, их дочери, волшебница-фея, все эти простые, похожие на нас существа взгромозились на пье-

дестал: их лохмотья описывались высокопарными словами, а слова налагали свой отпечаток на предметы, преобразая поступки в обряды и события в церемонии. И вдруг пошли вопросы: издатель деда, набивший руку на учебных пособиях, никогда не упускал случая дать пищу юным умам своих читателей. «Что бы ты сделал на месте дровосека? Какая из двух сестер тебе больше нравится? Почему? Поделом ли наказана Бабетта?» Казалось, что вопросы задают ребенку. Но мне ли — я не был уверен и побавался отвечать. Наконец я все же собрался с духом, но мой робкий голос замер, и мне померещилось, будто я уже не я и Анн-Мари больше не Анн-Мари, а какая-то слепая ясновидящая: мне чудилось, будто я стал сыном всех матерей, а она матерью всех сыновей. Когда она кончила читать, я проворно выхватил у нее книги и унес их под мышкой, не сказав «спасибо».

Мало-помалу я полюбил эти минуты: что-то шелкало, отключая меня от меня самого — Морис Бушор склонялся к детям с той универсальной предупредительностью, какую выказывают покупательницам заведующие секциями в больших магазинах, — мне это льстило. Сказкам-самоделкам я стал предпочитать стандартную продукцию: я вошел во вкус строгой последовательности слов — при каждом новом чтении они повторялись, неизменные, в неизменном порядке — я их ждал. В сказках Анн-Мари герои жили наудачу, как она сама, — теперь они обрели судьбу. Я присутствовал на литургии: я был свидетелем того, как имена и события возвращались на круги свои.

Я проникся завистью к матери и решил отбить у нее роль. Завладев книжкой под названием «Злоключения китайца в Китае», я уволок ее в кладовую; там, взгромоздившись на раскладушку, я стал представлять, будто читаю: я водил глазами по черным строчкам, не пропуская ни одной, и рассказывал себе вслух какую-то сказку, старательно выговаривая все слоги. Меня застигли врасплох — а может, я подстроил так, чтобы меня застигли, — начались охи, и было решено, что пора меня учить грамоте. Я был прилежен, как оглашенный язычник; в пылу усердия я брал у себя самого частные уроки: взобравшись на раскладушку с романом Гектора Мало «Без семьи», который я знал наизусть, я прошел его от доски до доски, наполовину рассказывая, наполовину разбирая по складам; когда я перевернул последнюю страницу, я умел читать.

Я ошалел от счастья: теперь они мои — все эти голоса, засушенные в маленьких гербариях, голоса, которые дед оживлял одним своим взглядом, которые он слышал, а я — нет! Теперь и я их услышу и приобщусь к языку священнодействий, буду знать все! Мне разрешили рыться на книжных полках, и я устремился на приступ человеческой мудрости! Это решило мою судьбу. Впоследствии мне сотни раз приходилось слышать, как антисемиты попрекают евреев за то, что им чужды уроки природы и ее немой язык; я отвечал на это: «В таком случае я более еврей, чем сами евреи». Напрасно я стал бы искать в своем прошлом красочные воспоминания, радостную бесшабашность деревенского детства. Я не копал землю, не разорял гнезд, не собирал растений, не стрелял из рогатки в птиц. Книги были для меня птицами и гнездами, домашними животными, конюшней и полями. Книжные полки — это был мир, отраженный в зеркале; они обладали его бесконечной плотностью, многообразием и непредугаданностью. Я совершал отчаянные вылазки: карабкался на стулья и столы, рискуя вызвать обвалы и погибнуть под ними. Книги с верхней полки долгое время оставались для меня вне пределов досягаемости; другие — не успел я их открыть — у меня отобрали; были и такие, что сами прятались от меня: я их начал читать, поставил, как мне казалось, на место, а потом целую неделю не мог найти. У меня были жуткие встречи: открываю альбом, вижу цветную вклейку — передо

мною копошатся гнусные насекомые. Растянувшись на ковре, я пускался в бесплодные путешествия по Фонтенелю, Аристофану, Рабле; фразы оказывали мне физическое сопротивление: их приходилось рассматривать со всех сторон, кружить вокруг да около, делать вид, будто уходишь, и внезапно возвращаться, чтобы захватить их врасплох, — чаще всего они так и не выдавали своей тайны. Я был Лаперузом, Магелланом, Васко де Гама, я открыл диковинные племена: «хеатонтиморуменос»¹ в комедии Теренция, переведенной александрийским стихом, «идиосинক্রазию» в труде по сравнительному литературоведению. «Апокопа»², «оксюморон»³, «парангон»⁴ и тысячи других загадочных и недоступных готтентотов возникали вдруг где-нибудь в конце страницы, мгновенно внося путаницу в целый абзац. Смысл этих неподатливых и темных слов мне пришлось узнать только лет через десять — пятнадцать, но они и поныне сохранили для меня свою непрозрачность: это перегной моей памяти.

Библиотека состояла главным образом из французских и немецких классиков. Были в ней также учебники грамматики, несколько прославленных романов, «Избранные рассказы» Мопассана, монографии о художниках: Рубенс, Ван Дейк, Дюрер, Рембрандт — новогодние подношения деду от его учеников. Скучный мир. Но большой энциклопедический словарь Ларусса заменял мне все: я брал наугад один из томов с предпоследней полки за письменным столом: А — Бу, Бу — До, Меле — Пре или Тро — Ун (эти сочетания слогов превратились для меня в собственные имена, обозначающие определенные области человеческого познания: тут был, например, район Бу — До или район Меле — Пре с их флорой и фауной, с их городами, великими людьми и историческими битвами). Не без труда водрузив на дедов бювар очередной том, я открывал его и пускался на поиски настоящих птиц, охотился на настоящих бабочек, которые сидели на живых цветах. Люди и звери жи ли в этих переплетах: гравюры были их плотью, текст — душой, их неповторимой сущностью; за стенами моего дома бродили только бледные копии, более или менее приближавшиеся к прототипу, но никогда не достигавшие его совершенства: в обезьянах зоологического сада было куда меньше обезьяньего, в людях из Люксембургского сада — куда меньше человеческого. Платоник по происхождению, я шел от знания к предмету; идея казалась мне материальной самой вещи, потому что первой давалась мне в руки и давалась как сама вещь. Мир впервые открылся мне через книги, разжеванный, классифицированный, разграфленный, осмысленный, но все-таки страшный, и хаотичность моего книжного опыта я путал со случайностью в ходе реальных событий. Вот откуда взялся во мне тот идеализм, на борьбу с которым я ухлопал три десятилетия.

В повседневной жизни все было азбучно просто: мы встречались со степенными людьми, они говорили громко и внятно, опираясь в своих безапелляционных суждениях на здравые принципы, на ходячую мудрость, и удовлетворялись прописными истинами, придавая им разве что несколько более изощренную форму, к которой я давно уже привык. Их приговоры с первого слова убеждали меня своей самоочевидной и дешевой неоспоримостью. Мотивируя свои поступки, они прибегали к дово-

¹ Хеатонтиморуменос — в переводе «Самостоятель» — греческое название комедии римского писателя Теренция.

² Апокопа — отпадение одного или нескольких звуков в конце слова.

³ Оксюморон — стилистический оборот, состоящий в подчеркнутом соединении противоположностей, логически исключаящих друг друга.

⁴ Парангон — бриллиант, жемчужина без изъянов.

дам, настолько скучным, что не приходилось сомневаться в их справедливости. Душевная борьба наших знакомых в их собственном снисходительном изложении не столько смущала меня, сколько настаивала на путь истинный: все это были дутые конфликты, заранее разрешенные, всегда одни и те же. Если уж взрослые винились в каком-нибудь проступке, бремя его было не тяжким: они погорячились, их ослепил справедливый, но, конечно, несколько преувеличенный гнев, к счастью, они вовремя спохватились. Грехи отсутствующих, куда более серьезные, они всегда готовы были извинить: у нас в доме не злословили, у нас с сожалением констатировали недостатки того или иного человека. Я слушал, я понимал, я сочувствовал; эти разговоры меня успокаивали, немудрено — на то они и были рассчитаны: неизлечимого зла нет, по сути дела все неизменно, света суета на поверхности не должна заслонять от нас могильную незыблемость нашей судьбы.

Гости уходили, я оставался один и, удирая с этого пошлого кладбища, находил жизнь, безрассудство в книгах. Стоило открыть любую из них, и я вновь сталкивался с той нечеловеческой, неумной мыслью, размах и глубины которой превосходили мое разумение, — она перескакивала от одной идеи к другой с такой стремительностью, что я, ошеломленный и сбившись с толку, по сто раз на странице оступался и терял ее нить. На моих глазах происходили события, которые дед наверняка счел бы неправдоподобными, и, однако, они обладали неоспоримой достоверностью написанного. Персонажи сваливались, как снег на голову, они любили друг друга, ссорились, перерезали друг другу глотки; оставшийся в живых чахнул с горя и сходил в могилу вслед за другом или прелестной возлюбленной, которую сам же отправил на тот свет. Что мне было делать? Может, я должен по примеру взрослых порицать, одобрять, оправдывать? Но эти чудачки, казалось, понятия не имеют о наших правилах нравственности, и побуждения их, даже если о таких упоминалось, оставались для меня загадкой. Брут убивает своего сына, Матео Фальконе — тоже. Стало быть, это принято. Но никто из наших знакомых почему-то к такой мере не прибегал. В Медоне мой дед однажды поссорился с дядей Эмилем, и я слышал, как оба кричали в саду, но дед, по-моему, не выражал намерений убить сына. Интересно, как он относится к детоубийцам? Сам я воздерживался от суждения: лично мне опасность не угрожала, поскольку я был сирота, и эти помпезные кровопролития меня даже забавляли. Однако в рассказе о них я улавливал одобрение, и это меня смущало. Вот, например, Гораций — я с трудом удержался, чтобы не плюнуть на гравюру, где он в шлеме, с обнаженной шпагой в руке гнался за бедной Камиллой. Карл иногда мурлыкал:

Будь ты сто раз богат родней —
А ближе нет, чем брат с сестрой..

Это меня смущало: значит, выпади мне счастье иметь сестру, она была бы мне ближе, чем Анн-Мари? И чем Карлимами? Выходит, она считалась бы моей возлюбленной. Слово «возлюбленная», пока еще туманное, я часто встречал в трагедиях Корнелия. Возлюбленные целуются и дают друг другу клятву спать в одной постели (странная причуда — а почему не в двух соседних, как мы с матерью?). Больше я ничего не знал, но под лучезарной оболочкой понятия мне чудились какие-то дремучие дебри. Так или иначе, будь у меня сестра, мне не миновать бы кровосмесительных помыслов. У меня была старшая сестра — мать, мне хотелось иметь младшую. И поныне — в 1963 году — из всех родственных уз только родство брата с сестрой трогает меня.

Я совершил большую оплошность, неоднократно пытаюсь найти

среди женщин эту неродившуюся сестру,— мне было в этом отказано, и я же еще платил судебные издержки. Тем не менее сейчас, когда я пишу эти строки, во мне снова вскипает прежний гнев против убийцы Камиллы, гнев такой пылкий и безудержный, что я думаю, уж не в преступлении ли Горация один из источников моего антимилитаризма: военные убивают своих сестер. Будь моя воля, я бы ему показал, этому солдафону! К стенке его! Дюжину пуль в затылок! Я переворачивал страницу — печатные знаки доказывали мне, что я не прав. Сестроубийцу следовало оправдать. Несколько мгновений я задыхался, топая ногой оземь, словно бык при виде красной тряпки. Но тут же спешил умерить свою ярость. Ничего не напишешь — приходилось смиряться: я был слишком молод — как видно, я все понял превратно; необходимость оправдания Горация наверняка была изложена в бесчисленных александрийских стихах, которые я не уразумел или пропустил от нетерпения. Мне нравилась эта неясность, нравилось, что происходящее то и дело от меня ускользает: это выбивало меня из будничной колеи. Я двадцать раз перечитал последние страницы «Мадам Бовари», под конец я выучил наизусть целые абзацы, но поведение несчастного вдовца не стало мне понятнее: он нашел письма, но с какой стати отпускать из-за этого бороду? Он мрачно поглядывал на Родольфа, стало быть, обижался на него — но за что? И почему он говорил Родольфу: «Я на вас не сержусь!» И почему Родольф считал, что тот «смешон и даже отчасти гадок»? Потом Шарль Бовари умирал. От чего? От болезни, с горя? И зачем доктор разрезал его, раз уж все было кончено? Мне нравилось это упорное сопротивление, которое я так и не мог преодолеть до конца: я терялся, изнемогал и вкушал тревожное наслаждение — понимать, не понимая: это была толща бытия. Человеческое сердце, о котором так охотно рассуждал в семейном кругу мой дед, всегда казалось мне полым и пресным — но только не в книгах. Замысловатые имена действовали на мое настроение, наводили на меня страх и грусть, причин которых я не понимал. Стоило мне сказать «Шарбовари», и где-то в нигде мне виделся долговязый бородач в лохмотьях, слонявшийся за забором,— это было нестерпимо. Мои мучительные наслаждения питались смесью двух противоположных страхов. С одной стороны, я боялся очертя голову ринуться в этот фантастический мир и странствовать там в компании Горация и Шарбовари без надежды найти когда-нибудь обратный путь на улицу Ле Гофф, к Карлимами и матери. С другой стороны, я догадывался, что вереницы книжных фраз полны для взрослых читателей смысла, который не дается мне в руки. Я впитывал глазами ядовитые слова, куда более многозначные, чем мне это представлялось, и они оседали в моем мозгу. Загадочная сила, живописуя словом истории безумцев, не имевших ко мне никакого отношения, рождала во мне мучительную скорбь, ощущение разбитой жизни. Уж не заражусь ли я, не умру ли от этой отравы? Поглощая глагол, поглощенный образами, я уцелел только благодаря несовместимости двух опасностей, грозивших мне одновременно. С наступлением вечера, затерявшись в словесных джунглях, вздрагивая при каждом шорохе, принимая скрип половиц за чьи-то вопли, я, казалось, открывал язык в его первозданной сущности — до человека. С каким трусливым облегчением и с каким разочарованием возвращался я к прозе семейного бытия, когда мать входила в комнату и, зажигая свет, восклицала: «Но ведь ты же испортишь себе глаза, глупыш!» Я обалдело вскакивал, начинал кричать, бегать, кривляться. Но, даже возвращаясь в свое детство, я продолжал ломать себе голову: «О чем рассказывают книги? Кто их пишет? Зачем?» Я поведал о своих терзаниях деду, тот, поразмыслив, решил, что пришла пора меня просветить, и взялся за дело так, что навсегда наложил на меня клеймо.

В прежние времена дед не раз, бывало, подбрасывал меня на своей вытянутой ноге и напевал: «Оставляет мой гнедой кучки яблоч за собой», и я хохотал над таким неприличием. Теперь дед больше не пел: он усадил меня к себе на колени, заглянул мне в глаза. «Я человек, — произнес он голосом оратора. — Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Он сильно преувеличивал: если Платон изгонял из своей республики поэтов, дед изгонял инженеров, купцов и, пожалуй, офицеров. Фабрики, на его взгляд, портили пейзаж; в чистой науке его привлекала только чистота. В Гериньи, где мы обычно проводили вторую половину июля, мой дядя Жорж пригласил нас как-то посмотреть литейный завод; было жарко, нас толкали грубые, плохо одетые люди; оглушенный страшным грохотом, я умирал от страха и скуки; когда выпустили плавку, дед присвистнул из вежливости, но взгляд его остался безжизненным. Зато в Оверни в августе он рыскал по деревням, застывая перед какой-нибудь старинной каменной кладкой, и, постукивая концом своей трости по кирпичам, говорил с одушевлением: «Смотри, малыш, перед тобой галло-римская стена». Дед ценил также церковную архитектуру и, при всей своей ненависти к папистам, не мог пройти мимо церкви, не заглянув в нее, если она была готическая; если романская — все зависело от настроения. Он больше не посещал концертов, но когда-то был на них завсегдатаем; он любил Бетховена, его патетику, мощный оркестр, любил Баха, но не так страстно. Иногда он подходил к роялю и, не присаживаясь, брал негнушима пальцами несколько аккордов; бабушка со сдержанной улыбкой замечала: «Шарль сочиняет». Его сыновья — в особенности Жорж — очень недурно играли; они терпеть не могли Бетховена и превыше всего ценили камерную музыку; но это расхождение во вкусах не смущало деда, он добродушно говорил: «Все Швейцеры — прирожденные музыканты». Когда мне была неделя от роду, взрослым показалось, будто меня обрадовало позвякиванье ложки, и дед объявил, что у меня хороший слух.

Витражи, контрфорсы, резные порталы, псалмы, деревянные и каменные распятия, стихотворные медитации и поэтические созвучия — все эти проявления человеческого духа прямехонько вели нас к божественному. Тем более что к ним следовало присовокупить красоты природы. Одно и то же вдохновение вызвало к жизни творения господни и великие создания рук человеческих; одна и та же радуга сверкала в пене водопадов, переливалась между строк Флобера, играла в светотенях Рембрандта — имя ей дух. Дух говорил богу о людях, людям свидетельствовал о боге. В красоте мой дед видел реальное воплощение истины и источник самых благородных откровений. В некоторых исключительных случаях — когда в горах разражалась буря, когда на Виктора Гюго нисходило вдохновенье — можно было достичь высшей точки, где истина, — красота и добро сливались воедино.

Я обрел свою веру: книга стала мне казаться важнее всего на свете. В книжных полках я отныне видел храм. Внук служителя культа, я жил на крыше мира, на шестом этаже, на самой верхней ветке священного древа: его стволом была шахта лифта. Я бродил по комнатам, выходил на балкон, глядел сверху вниз на прохожих, кивал через перегородку Люсетте Моро, моей ровеснице и соседке — золотыми локонами и юной женственностью она походила на меня самого, — потом возвращался в келью или предхрамие, да и, собственно говоря, мое «я» вообще их не покидало. Когда мать водила меня в Люксембургский сад — а это случалось ежедневно, — эти низменные края лицезрели лишь пустую оболочку: мое победоносное «я» не покидало своего насеста. Полагаю, что оно там и поныне. У каждого человека свои природные координаты:

их высота не определяется ни притязаниями, ни достоинствами — все решает детство. Моя высота — шестой этаж парижского дома с видом на крыши. В долинах я задыхался, низины меня угнетали: я томился, как на Марсе, меня расплющивала сила тяготения. Стоило мне взобраться на бугорок, я блаженствовал: я возвращался на свой символический шестой этаж, вдыхал разреженный воздух изящной словесности, вселенная уступами располагалась у моих ног, и каждый предмет униженно молил об имени — дать ему имя значило одновременно и создать его, и овладеть им. Не впади я в это капитальное заблуждение, я бы в жизни не стал писателем.

Сегодня, 22 апреля 1963 года, я правлю эту рукопись на десятом этаже нового дома: в открытое окно мне видно кладбище, Париж, голубые холмы — Сен-Клу. Казалось бы, я несправим. И, однако, все изменилось. Если бы в детстве я домогался этого положения на высоте, в моем пристрастии к голубятням можно было бы усмотреть плод честолюбия, тщеславия, желания отыграться за маленький рост. Но все обстояло иначе: мне не к чему было карабкаться на мое священное древо — я уже сидел на нем и просто не хотел слезать. Я и не помышлял о том, чтобы возвыситься над людьми: я хотел парить в воздушном пространстве среди эфемерных подобий мира вещей. В последующие годы я не только не стремился к воздухоплаванию, но всячески пытался опуститься на дно — понадобились свинцовые подошвы. Иногда мне удавалось на песчаном грунте коснуться обитателей морских глубин, которым я был призван дать имя. Но чаще я усердствовал зря: неодолима легковесность держала меня на поверхности. В конце концов мой высотомер испортился, и теперь я иногда аэростат, иногда батисфера, иногда и то и другое вместе, как и положено нашему брату: по привычке я проживаю в воздухе и без особой надежды на успех встречаю во все, что творится внизу.

Меж тем деду пришлось рассказать мне и о писателях. Он проделал это тактично, без пыла, перечислив имена великих людей. Наедине с собой я вытвердил назубок святцы от Гесиода до Гюго: то были Мученики и Пророки. По словам Шарля Швейцера, он им поклонялся. Но, уж если говорить начистоту, они его несколько стесняли: их бестактное присутствие мешало ему отнести творенья человеческие непосредственно на счет святого духа. Вот почему в глубине души Шарль предпочитал безымянных авторов: зодчих, скромно стушевавших в тени возведенных ими соборов, или многоликого создателя народных песен. Он неплохо относился к Шекспиру, личность которого не была установлена. И к Гомеру — по той же причине. А также еще кое к кому из авторов, чье существование не было неопровержимо доказано. Но тех, кто не захотел или не смог стереть следы своего земного бытия, дед прощал лишь в том случае, если они уже сошли в могилу. Зато всех своих современников он осуждал огулом, делая исключение только для Анатоля Франса и Куртелина¹, который его забавлял.

Шарль Швейцер самодовольно принимал знаки всеобщего уважения, которые были данью его преклонному возрасту, интеллигентности, красоте и добродетелям. Этот лютеранин был не прочь вообразить, вполне в библейском духе, что предвечный бог благословил его дом. За столом он иногда вдруг погружался в задумчивость, чтобы с птичьего полета обозреть свою жизнь, и изрекал: «Дети мои, счастлив тот, кому не в чем себя упрекнуть». Его вспыльчивость и величавость, его гордость и вкус к возвышенному маскировали робость ума, которую он унаследовал от своей религии, от своего века и своей среды — универ-

¹ Куртелин Жорж (1859—1928) — французский драматург и прозаик.

ситета. Вот почему ему втайне претили неумные идолаы его библиотеки, проходимцы и мошенники, книги которых он в глубине души считал непристойностью. Меня это обмануло: сдержанность, проскальзывавшую в его наигранном энтузиазме, я принял за суровость судьбы; духовный сан деда ставил его над писателями. «Как бы там ни было,—внушал мне слугитель культа,— талант — это не что иное, как ссуда; заслужить ее можно только великими страданиями, безропотно и стойко выдержав искус; в конце концов начинаешь слышать голоса и пишешь под диктовку». Так, между первой русской революцией и первой мировой войной, пятнадцать лет спустя после смерти Малларме, в эпоху, когда Даниэль де Фонтанен¹ открыл для себя «Пищу земную»², сын XIX века внушал своему внуку взгляды, которые были в ходу при Луи-Филиппе. Говорят, что этим-то и объясняется крестьянская косность: отцы уходят на полевые работы, а сыновей оставляют на попечение стариков родителей. Я вышел на старт с гандикапом в восемьдесят лет. Жалеть ли об этом? Не знаю: наше общество все время в движении, и порой, отстав, вырывается вперед.

Так или иначе, мне кинули кость, и я грыз ее с таким тщанием, что она стала ажурной. Я глядел на мир сквозь нее. Дед втайне мечтал вселить в меня неприязнь к писателям — этим ничтожным посредникам. Он достиг обратного результата: я перестал отличать талант от заслуг. Славные ребята походили на меня: когда я был паинькой, терпеливо сносил свои бобо, я знал, что меня ждет награда, лавровый венок — на то оно и детство. Карл Швейцер познакомил меня с другими детьми, их опекали, подвергали искусу, награждали, но им удавалось сохранить младенчество на всю жизнь. Лишенный братьев, сестер и товарищей, я обрел в писателях своих первых друзей. Подобно героям собственных романов, они любили, жестоко страдали, но все кончалось хорошо; я умиленно и не без радости перебирал в памяти их злоключения — воображаю, как они ликовали, когда им приходилось туго, как думали при этом: «Вот повезло! Сейчас напишется хорошая строка!»

В моих глазах они не умерли, или во всяком случае не совсем,— они перевоплотились в книги. Корнель стал краснолицым корявым толстяком, от его кожаной спины разило клеем. Этот суровый, нескладный тип с малопонятной речью, когда я перетаскивал его с места на место, впивался мне в ляжки своими острыми углами. Но стоило его открыть, и он протягивал мне свои гравюры, сумрачные и нежные, как признания. Флорбер был коротыш, в полотняной одежде, без запаха, усеянный веснушками. Виктор Гюго в своих бесчисленных ипостасях обитал на всех полках разом. Так обстояло с плотью. Что касается душ, то они витали поблизости, страницы были как бы окнами, чье-то лицо приникало снаружи к стеклу, подглядывая за мной; я делал вид, будто ничего не замечаю, я продолжал читать, пожирая глазами строчки под пристальным взглядом покойного Шатобриана. Впрочем, эти тревоги длились недолго, в остальное время я обожал товарищей моих игр. Я ставил их превыше всего и ничуть не удивился, когда мне рассказали, что Карл Пятый поднял кисть, оброненную Тицианом: подумаешь, короли на то и существуют! Но при этом мне не приходило в голову уважать писателей: в самом деле, не восхвалять же их за то, что они велики? Они просто исполнили свой долг. Я осуждал остальных за то, что они ничтожны. Короче говоря, я все понял шиворот-навыворот и возвел исключение в правило: род человеческий был в моем представлении узким

¹ Даниэль де Фонтанен — герой романа Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо».

² Одна из первых книг А. Жида (1897), проповедующая свободу от каких бы то ни было норм морали.

кружком избранных, окруженным стадом преданных животных. Но главное — дед так третировал писателей, что я никак не мог принять их вполне всерьез.

С тех пор как умер Гюго, дед перестал читать новые книги; на досуге он перечитывал старые. Но требой, которую ему надлежало отправлять,— был перевод. В тайниках души автор «*Deutsches Lesebuch*» считал всю мировую литературу наглядным пособием. Скрепя сердце он располагал писателей в порядке их значения, но за этой показной иерархией ему с трудом удавалось скрыть свои сугубо утилитарные симпатии: Мопассан поставлял ученикам-немцам лучшие тексты для перевода с французского; Гёте — на голову выше самого Готфрида Келлера — был незаменим по части перевода на французский. В качестве гуманитария дед презирал романы, в качестве преподавателя высоко ценил их как лексический материал. В конце концов он вообще стал признавать только избранные отрывки и несколько лет спустя в моем присутствии восторгался фрагментом из «*Госпожи Бовари*», включенным Миронно в его «*Хрестоматию*», меж тем как полный Флобер вот уже двадцать лет ожидал, чтобы дед удостоил его своим вниманием. Я чувствовал, что Шарль зарабатывает на мертвецах, и это несколько усложняло мои с ними отношения. Под видом поклонения дед вертел ими, как хотел, при случае не стесняясь расчленять на части, дабы было сподручнее переводить их с одного языка на другой. Так мне одновременно открылось величие и ничтожество пишущей братии. Мериме, на свою беду, соответствовал учебной программе — в результате он вел двойную жизнь: «*Коломба*», невинная голубка, свившая гнездышко на четвертой полке, тщетно протягивала свои глянцевиные крылышки — ею упорно пренебрегали, ничей взгляд ни разу не смутил ее невинности. Зато на нижней полке та же самая девственница забила под коричневый переплет, в маленькую вонючую и потрепанную книжонку; тот же сюжет, тот же язык, но в этом издании были примечания на немецком языке и постатейный словарь. В довершение всего я выяснил — скандал, равного которому не было со времен отторжения Эльзас-Лотарингии, — что она издана в Берлине. Эту книгу дед два раза в неделю вкладывал в свой портфель, она была вся в пятнах, прожжена пеплом, исчеркана красным, я терпеть ее не мог: это был Мериме униженный. При одном взгляде на его страницы я умирал со скуки: каждое слово казалось разъятым на слоги, точно дед диктовал его ученикам. Нет, эти знакомые и неизвестные значки, отпечатанные в Германии и предназначенные для немцев, были просто-напросто подделкой под французские слова. Вдобавок тут попахивало шпионажем: наверное, стоит их поскрести, и под галльским нарядом обнаружатся ощерившиеся германские вокабулы. В конце концов я стал подозревать, что существуют две «*Коломбы*» — одна необузданная и подлинная, другая дидактичная и фальшивая. Ведь были же две Изольды.

Незгоды моих друзей-писателей вселили в меня сознание, что я им ровня. Правда, у меня не было ни их талантов, ни их заслуг и мне пока еще не пришло на ум взяться за перо, но зато, как внук священнослужителя, я был выше их по рождению. Моя участь решена. Нет, меня ждет не их мученический венец — в нем есть всегда оттенок скандальности, — а посвящение в сан; подобно Шарлю Швейцеру, я стану дозорным культуры. К тому же в отличие от всех этих писателей я жив и полон энергии: еще не умея кромсать мертвецов, я уже научился навязывать им свои капризы: я беру их на руки, ношу по комнате, кладу на паркет, открываю, закрываю, вызываю из небытия и вновь ввергаю в него; эти человечки-обрубки заменяют мне кукол, их бедные параличные останки, которые зовутся бессмертием, внушают мне жалость.

Дед поощрял это панибратство: во всех детях есть искра божья, они ни в чем не уступают поэтам, ведь поэты — те же дети. Я бредил Куртелином и по пятам ходил за кухаркой, чтобы даже на кухне читать ей вслух «Теодора ищет спички». Мое увлечение сочли забавным, раздули неусыпными стараниями — моя страсть была предана гласности. Однажды дед как бы вскользь обронил: «Куртелин, наверно, славный малый. Раз ты его так любишь, почему бы тебе не написать ему?» Я написал. Шарль Швейцер направлял мое перо и счел уместным сохранить в письме орфографические ошибки. Несколько лет тому назад письмо было напечатано в газетах, и я прочитал его не без злости. Оно было подписано: «Ваш будущий друг» — это казалось мне вполне естественным: я был на короткой ноге с Вольтером и Корнелем, с чего бы вдруг живой ой писатель вздумал отказывать мне в дружбе. Куртелин отказал и поступил умно: если бы он ответил внуку, ему пришлось бы иметь дело с дедом. Но в ту пору мы сурово осудили его молчание. «Я допускаю, что он очень занят, — заявил Шарль. — Но, как бы там ни было, черт его дерит, ребенка не оставляют без ответа».

За мной и поныне водится этот грешок — панибратство. Со знаменитыми покойниками я на «ты», о Бодлере, Флобере высказываюсь без обиняков, и, когда мне это ставят на вид, меня так и подмывает ответить: «Не суйте нос не в свое дело. Ваши гении во время оно принадлежали мне, я держал их в своих объятиях, любил страстной любовью без тени почтения. Стану я разводиться с ними церемонии!» Но от гуманизма в духе Карла, гуманизма прелата, я исцелился лишь в тот день, когда понял, что в каждом человеке — весь Человек сполна. Грустная штука исцеление — язык утратил свои колдовские чары, герои пера, давние мои пэры, лишившись своих привилегий, смешались с толпой: я ношу по ним двойной траур.

То, что я написал сейчас, ложь. Правда. Ни ложь и ни правда, как все, что пишется о безумцах, о людях. Я воспроизвел факты с максимальной точностью, насколько мне позволила память. Но в какой мере я сам верил в свой бред? Это самый главный вопрос, меж тем я не знаю, как на него ответить. Впоследствии я убедился, что о своих чувствах мы знаем все — не знаем только их глубины, то есть искренности. Тут даже поступки не могут служить мерилom, во всяком случае до тех пор, пока не доказано, что они не поза, а доказать это не всегда легко. Судите сами: один среди взрослых, я был взрослым в миниатюре и читал книги для взрослых — в этом уже есть фальшь, потому что при всем том я оставался ребенком. Я не собираюсь каяться — я констатирую, и только. Тем не менее мои исследования и открытия были неотъемлемой частью Семейной Комедии, они вызывали восторг, и я это знал — да, знал, каждый день чудо-ребенок тревожит покой магических книг, которые его дед больше не читает. Я жил не по возрасту, как живут не по средствам: пыхтя, тужась, через силу, напоказ. Стоило мне толкнуть дверь кабинета, и я попадал во чрево неподвижного старца: громадный письменный стол, бювар, красные и синие чернильные пятна на розовой промокашке, линейка, пузырек с клеем, застоявшийся табачный дух, а зимой раскаленная комнатная печурка, потрескивание слюды — это был Карл собственной персоной, овеществленный Карл. Большого не требовалось, чтобы на меня сошла благодать, — я бегом устремлялся к книгам. Искренне ли? Что понимать под этим словом? Как я могу теперь — после стольких лет — определить неуловимую грань, где кончается одержимость и начинается лицедейство? Я растягивался на полу лицом к свету, передо мной — открытая книга, справа — стакан подкрашенной вином воды, слева на тарелке — ломтик хлеба с вареньем. Даже в оди-

ночестве я продолжал играть комедию. Анн-Мари, Карлимами перелистывали эти страницы задолго до моего рождения, моему взору представлялась теперь сокровищница их знаний; вечером меня спросят: «Что ты прочел? Что ты понял?» — я это знал, я был на сносях, готовясь разрешиться очередной детской остротой.

Уходить от взрослых в чтение — значило общаться с ними: их не было рядом, но их будущий взгляд проникал в меня через затылок и выходил через зрачки, подсекая на уровне пола сто раз читанные ими фразы, которые я читал в первый раз. Выставленный на обозрение, я видел себя со стороны: я видел, как я читаю, подобно тому как люди слышат себя, когда говорят. Сильно ли я изменился с той поры, когда, еще не зная букв, притворялся, будто разбираю по складам «Злоключения китайца»? Нет, прежняя игра продолжалась. За моей спиной открывалась дверь — это приходили посмотреть, «что я там делаю»; я начинал плутовать — вскочив одним прыжком, я ставил на место Миссе и, приподнявшись на цыпочки, тянулся за увесистым Корнелем; мои увлечения измерялись моими потугами, я слышал за спиной восторженный шепот: «До чего же он любит Корнеля!» Я его не любил: александрийский стих нагонял на меня тоску. По счастью, в этом издании полностью были опубликованы только самые знаменитые трагедии, остальные лишь названы и кратко пересказаны. Это-то меня и привлекало: «Роделинда, жена Пертарита, короля лангобардов, покоренного Гримоальдом, понуждаема Юнульфом отдать свою руку иноземному государю...» «Родогунду», «Теодору», «Агезиляя» я прочел куда раньше «Сида» и «Цинны»; на языке у меня теснились звучные имена, в груди — возвышенные чувства, и еще я тщательно следил за тем, чтобы не запутаться в родственных взаимоотношениях. А дома говорили: «Малыш жаждет знания, он запоем читает Ларусса»; я не спорил. На самом деле я вовсе не жаждал знаний — просто я обнаружил, что в словаре есть краткий пересказ пьес и романов: ими-то я и зачитывался.

Я любил нравиться и жаждал принять курс интеллектуальных ванн. Каждый день я причащался святых тайн — иной раз довольно рассеянно: вытянувшись на полу, я просто перелистывал страницы — произведения моих приятелей зачастую исполняли для меня ту же роль, что вертушка с молитвами для буддистов. Но мне случалось переживать и подлинные страхи и радости. Тогда я забывал о лицедействе и очертя голову отдавался на волю шального кита, имя которому — жизнь. Вот и судите тут! Мой взгляд обрабатывал слова, мне приходилось примерять их, вникать в смысл — в конечном счете комедия культуры приобщала меня к культуре.

Между тем были книги, которые я читал «без дураков», только я делал это за стенами святилища, в детской или под столом в столовой. Об этих книгах я не заикался никому, и никто, кроме матери, о них со мной не заговаривал.

Анн-Мари приняла всерьез мои наигранные восторги. Она поведала о своих тревогах Мами и обрела в ней полную единомышленницу. «Шарль делает глупости, — сказала Луиза. — Он сам подстрекает малыша, я уже заметила. Велик будет прок, если ребенок иссушит мозги!» Женщины вспомнили тут и переутомление и менингит. Но вести против деда открытую атаку было и опасно и бесполезно — они прибегли к обходному маневру. Однажды во время нашей прогулки Анн-Мари как бы случайно остановилась возле книжного ларька, который и по сей день стоит на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Суффло; мне в глаза бросились восхитительные картинки. Завороженный их кричащими красками, я потребовал, чтобы мне их купили, — мое желание было исполнено. Удар попал в цель: теперь я каждую неделю требовал

«Сверчок», «Ну и ну!», «Каникулы», «Три бойскаута» Жана де ла Ира и «Вокруг света на аэроплане» Арну Галопена, которые выходили отдельными выпусками по четвергам. От четверга до четверга я куда больше думал об Андском Орле, о Марселе Дюно, боксере со стальными кулаками, и о пилоте Кристиане, чем о своих приятелях Рабле и Виньи.

Мать пустилась на поиски книг, которые вернули бы меня моему детству; началось с «розовой библиотеки», ежемесячных сборников волшебных сказок, потом я перешел к «Детям капитана Гранта», «Последнему из могикан», «Николаю Никкльби», «Пяти су Лавареда». Чересчур рассудительному Жюлю Верну я предпочитал сумасбродства Поля д'Ивуа. Но, независимо от авторов, я обожал книги в издании Гетцеля — мой маленький театр: их красная обложка с золотыми кистями была занавесом, золотистая солнечная пыль на обрезах — светом рампы. Именно этим волшебным шкатулкам, а не размеренным фразам Шатобриана обязан я своей первой встречей с красотой. Открыв их, я забывал обо всем. Можно ли сказать, что я читал? Нет, я умирал в экстазе, и это самоуничтожение тотчас вызывало к жизни туземцев, вооруженных дротиками, джунгли, путешественника в белом тропическом шлеме. Я весь уходил в видение, я струил потоки света на смуглые щеки красавицы Ауды, на бакенбарды Филеаса Фогга. Освобожденный от самого себя, чудо-ребенок наконец-то мог без помех отодаться чудесам. На уровне пятидесяти сантиметров от пола росло подлинное счастье — без указки, без поводка. Правда, вначале новый мир показался менее упорядоченным, чем старый. Тут грабили, убивали, кровь текла ручьем. Индейцы, индусы, могикане, готтентоты похищали юную красавицу, веревками скручивали ее старика отца, готовя ему мучительную смерть. Это было олицетворенное зло. Но его только для того и показывали, чтобы повергнуть в прах перед добром: в следующей же главе все становилось на свои места. Бледнолицые герои истребляли уйму дикарей и освобождали отца, который бросался в объятья дочери. Умирили только злодеи и кое-кто из совершенно второстепенных положительных героев, чья гибель списывалась на счет накладных расходов истории. Впрочем, и сама смерть была стерилизована: скрестив руки, люди падали с аккуратной круглой дырочкой под левой грудью, а если речь шла о временах, когда еще не изобрели огнестрельного оружия, преступников просто «нанизывали на шпагу». Мне очень нравилось это залихватское выражение: я себе представлял блестящий прямой луч — клинок; он, как в масло, погружался в тело злодея, выходил через спину, и убитый валился наземь, не потеряв ни капли крови. Иногда смерть бывала даже смешной, как, например, смерть сарацина, кажется, в «Крестнице Роланда»: он на коне ринулся наперерез всаднику-крестоносцу, рыцарь обрушил на голову неверного смертоносный сабельный удар, который рассек сарацина пополам, — рисунок Гюстава Доре запечатлел это мгновенье. Вст смеху-то: две половинки тела, отделенные друг от друга, уже начали падать в разные стороны, описывая полукруг вокруг соответствующего стремени, удивленный конь встал на дыбы. Много лет подряд при виде этой гравюры я хохотал до слез. Наконец я обрел то, что искал: врага — ненавистного, но в конечном счете безобидного, потому что все его козни не только не имели успеха, но даже наоборот, вопреки его ухищрениям и дьявольскому коварству, служили вящему торжеству добра. Я замечал, что водворение порядка всегда сопровождалось каким-нибудь достижением: герои получали награду, им воздавали почести, их увенчивали славой, осыпали деньгами; благодаря их отваге удавалось покорить новую территорию, отобрать какое-нибудь произведение искусства у туземцев и перенести в наши музеи; юная героиня влюблялась в путешественника, спасшего ей жизнь, и все конча-

лось свадьбой. Из этих журналов и книг я почерпнул свою самую заветную иллюзию — оптимизм.

Чтение этих книг долгое время хранилось в тайне. Анн-Мари даже не пришлось меня предостерегать: сознавая всю их недостоинность, я и словом не обмолвился о них деду. Якшаясь с подонками, пустившись в разгул, проводя каникулы в борделе, я не забыл, что мое истинное «я» — в храме. Зачем оскорблять слух священника повестью о моих грехах? Но Карл в конце концов застиг меня на месте преступления: он обрушился на женщин, а они, воспользовавшись минутной паузой, когда он переводил дух, свалили все на меня: я увидел журналы, приключенческие романы, стал их просить, требовать — можно ли было мне отказать? Эта находчивая ложь поставила деда в тупик. Я сам, по собственной охоте, изменял Коломбе с бесстыдно раскрашенными девками. Я, пророческое дитя, юный оракул, Иоас¹ изящной словесности, проявлял неистовую тягу ко всякой гнусности. Слово за ним: либо я больше не пророк, либо надо считаться с моими вкусами, не пытаюсь их понять. Шарль Швейцер-отец предал бы мое чтиво огню; Шарль Швейцер-дед стал в позу сокрушенной терпимости. А мне только того и надо было — я безмятежно продолжал жить двойной жизнью. Так повелось и впредь: я и поныне читаю «Черную серию» с большей охотой, чем Витгенштейна².

На моем воздушном островке я первенствовал, я был вне конкурса; стоило поставить меня в обычные условия — и я оказался в числе последних.

Дед решил отдать меня в лицей Монтеня. Однажды утром он привел меня к директору и расписал мои достоинства: недостаток у меня один — я слишком развит для своих лет. Директор согласился на все. Меня зачислили в восьмой класс, и я ждал, что буду учиться со своими сверстниками. Не тут-то было — после первой же диктовки деда срочно вызвали к лицейскому начальству. Он вернулся вне себя от ярости, извлек из портфеля злосчастный листок бумаги, покрытый каракулями и кляксами, и швырнул его на стол: это была работа, которую я подал. Деду указали на мою орфографию — «В агароди растет маркофь» — и попытались втолковать, что мое место — в десятом приготовительном. При виде «агарода» мою мать одолел неудержимый смех — он застрял у нее в горле под грозным взглядом деда. Сначала Шарль заподозрил меня в нерадивости и впервые в жизни выбранил, но потом объявил, что меня недооценили; на другой же день он взял меня из лицея, навсегда поссорившись с директором.

Я так и не понял, что произошло, и мой провал ничуть меня не опечалил: я был вундеркинд, но не умел писать грамотно — велика беда! И потом я был не прочь вернуться к своему одиночеству — я любил свой недуг. Я даже не заметил, что упустил случай стать самим собой. Мне наняли частного учителя — парижанина господина Льевена. Он приходил к нам на дом почти каждый день. Дед купил мне персональный письменный стол — скамеечку с пюпитром из некрашеного дерева. Я сидел на скамеечку, а господин Льевен диктовал, прохаживаясь по комнате. Он смахивал на Венсана Ориоля, и дед утверждал, будто он масон. «Когда я подаю ему руку, — говорил дед с пугливым отвращением порядочного человека, к которому пристаёт педераст, — он большим пальцем рисует на моей ладони масонский знак». Я терпеть не мог господина

¹ Иоас — герой трагедии Ж. Расина «Гофолия», юный наследник престола, на которого возлагаются большие надежды.

² Витгенштейн Людвиг (1889—1951) — австрийский философ.

Льевена, потому что ему не приходило в голову мной восторгаться: подзреваю, что он не без оснований считал меня отсталым ребенком. Он исчез — не знаю почему. Должно быть, высказал кому-нибудь свое мнение обо мне.

Некоторое время мы прожили в Аркашоне — там меня отдали в начальную школу. Это была дань деда его демократическим принципам. Однако он в то же время хотел, чтобы меня держали подальше от плембса. Учителю он представил меня в следующих выражениях: «Дорогой коллега, вверяю вам самое драгоценное свое достояние». Господин Барро носил бородку и пейсане, он зашел к нам на дачу распить бутылочку муската и заверил деда, что польщен доверием, оказанным ему представителем средней школы. Он сажал меня за отдельную парту возле самой кафедры и во время перемен не отпускал от себя. Я считал, что эта привилегия в порядке вещей; каково на сей счет было мнение «сыновей народа» — моих равноправных сограждан — понятия не имею, полагаю, что им было на это плевать. Я уставал от их проказ и считал хорошим тоном томиться скукой подле господина Барро, пока они бегали взапуски.

У меня было две причины уважать моего учителя: он желал мне добра и у него дурно пахло изо рта. Взрослым полагалось быть морщинистыми, неаппетитными уродами; когда они меня целовали, мне нравилось преодолевать легкую тошноту — это доказывало, что добродетель дается дорогой ценой. Я знал, конечно, и простые, банальные радости: бегать, прыгать, лакомиться пирожными, целовать душистую и нежную щеку матери, но куда больше ценил радости выстраданные, требующие усилия над собой, — их я вкушал в обществе зрелых мужей. Отвращение, которое я при этом испытывал, составляло неотъемлемую часть их престижа. Я смешивал гадливость с уважением. Я был снобом. Когда господин Барро склонялся ко мне, его дыхание подвергало меня изощренной пытке, но я усердно втягивал носом неблагоприятный дух его достоинств.

В один прекрасный день я обнаружил на школьной стене только что выведенную надпись: «Папаша Барро — дерьмо». Мое сердце бешено заколотилось, я оторопело прирос к месту — мне стало страшно. «Дерьмо» — это наверняка одно из тех «гадких слов», которые кишат среди словарных отбросов и не должны попадаться на глаза благовоспитанному ребенку; короткое и грубое, оно было наделено пугающей элементарностью простейших организмов. Одно то, что я его прочел, вопияло к небесам! Я запретил себе произносить его даже шепотом. Я не хотел, чтобы этот таракан, прилепившийся к стене, прыгнул мне в рот и превратился у меня в глотке в черное шуршанье. Как знать, может, если я притворюсь, будто не видел его, он уползет обратно в свою щель. Но, отводя от него глаза, я упирался взглядом в развязное обращение «папаша Барро», которое нагоняло на меня еще пущий страх: о смысле слова «дерьмо» я в конце концов только догадывался, но зато я твердо знал, какого сорта людей у нас дома именуют «папаша такой-то» — это были садовники, почтальоны, отец служанки — короче говоря, престарелые бедняки. Стало быть, кто-то представлял себе господина Барро, учителя, коллегу моего деда, в образе престарелого бедняка. Где-то, в чьем-то мозгу бродила эта больная и преступная мысль. Но в чьем же это мозгу? Уж не в моем ли? Может, стоит прочесть кощунственную надпись — и ты становишься соучастником святотатства? Мне чудилось, что какой-то злобный безумец издевается над моей благовоспитанностью, почтительностью, усердием, над тем удовольствием, какое мне доставляет по утрам снимать фуражку со словами: «Здравствуйте, господин учитель», и в то же время, что этот безумец — я сам, что гадкие слова и мысли копошатся в моем сердце. Почему бы мне, например, не заорать во все горло

«Этот старый павиан воняет, как свинья»? Я прошептал: «Папаша Барро — вонючка», — все поплыло у меня перед глазами, я в слезах спасся бегством. На другое утро я вновь обрел привычное почтение к господину Барро, к его целлулоидному воротничку и галстуку бабочкой. Но когда он склонялся над моей тетрадью, я отворачивался, задерживая дыхание.

С осени следующего года мать решила отдать меня в учебное заведение девиц Пупон. Поднявшись по деревянной лестнице, мы попадали в классную комнату на втором этаже; дети в молчании рассаживались полукругом; в глубине, у самой стены, вытянувшись в струнку, сидели матери, наблюдавшие за ходом урока. Главной обязанностью бедных девушек, обучавших нас, было равномерно распределять среди сонма вундеркиндов похвалы и хорошие отметки. Стоило одной из них выразить досаду или чересчур одобрить чей-нибудь удачный ответ, как девицы Пупон теряли учеников, а учительница — место. Час, юных академиков, было человек тридцать, и нам никогда не удавалось перемолвиться хотя бы словом. По окончании урока каждая мать хищно набрасывалась на свое чадо и, не простившись, увлекала его за собой. К концу первого семестра мать взяла меня из школы: мы там били баклуши и вдобавок ей было невозможно сносить мрачные взгляды соседок, обращенные к ней в минуты, когда наступал мой черед пожинать похвалы. Мадемуазель Мари-Луиза, молоденькая блондинка в пенсне, восемь часов в день за нищенское жалованье преподававшая в заведении Пупон, согласилась тайком от начальниц давать мне частные уроки. Она то и дело прерывала диктовку, чтобы облегчить душу глубоким вздохом; она жаловалась мне, что до смерти устала, что одинока, как перст, что готова отдать все на свете, лишь бы выйти замуж — хоть за первого встречного. В результате она тоже исчезла, якобы потому, что ничему меня не учила, но мне сдается, что главная причина была в другом — дед считал ее неудачницей. Этот праведник не отказывал страждущим в утешении, но гнушался приглашать их к себе в дом. Он спохватился вовремя: мадемуазель Мари-Луиза сеяла в моей душе семена сомнения. Я знал, что жалованье всякого человека соразмерно его достоинствам, а про мадемуазель Мари-Луизу говорили, что она девушка достойная — почему же ей платили гроши? Когда человек делает свое дело, он горд и полон самоуважения, он счастлив, что трудится; но раз так, раз она сподобилась трудиться по восемь часов в день, с какой стати ей плакаться на жизнь? Когда я пересказывал деду ее жалобы, он хохотал: она слишком безобразна, чтобы кто-нибудь на нее польстился. Я не смеялся: значит, бывают проклятые от рождения? Выходит, мне солгали: в нашем благополучном мире узаконены чудовищные беззакония. Но как только учительницу рассчитали, мои тревоги улеглись. Шарль Швейцер отыскал для меня наставников более пристойных. До того пристойных, что они совершенно изгладилась из моей памяти. До десяти лет я оставался один-одинешенек в обществе старика и двух женщин.

Мое «я», мой характер, мое имя — все было в руках взрослых; я научился видеть себя их глазами; я был ребенком, а ребенок — это идол, которого они творят из своих разочарований. В отсутствии взрослых я чувствовал на себе их взгляд, разлитый в лучах света, под этим взглядом я бегал и резвился — он не давал мне выйти из образа примерного внука и определял мои игры и мой мир. В изящной колбочке — моей душе — мысли совершали свой круговорот, и каждый желающий мог проследить за их ходом — ни одного потайного уголка. И, однако, в этой невинной прозрачности, лишенная имени, формы и плоти, была растворена прозрачная истина, которая отравляла мне все: я лжец. Можно ли играть комедию, не сознавая, что ты ее играешь? Радужная видимость,

из которой была соткана моя личность, сама изобличала себя, изобличала ущербностью бытия — я не мог осознать ее до конца, но не мог и не ощущать. Я бросался к взрослым, ища подтверждения моих достоинств, — то есть снова увязал во лжи. Приговоренный нравиться, я выставлял напоказ свои прелести, но они блекли на глазах. Я повсюду влачил за собой свое наигранное простодушие, свою никчемную значительность в надежде подстеречь счастливый случай; еще минута — и я ухвачу его, я становлюсь в позу, и она возвращает меня к привычной пустоте, от которой я бежал. Вот дремлет мой дед, закутав пледом ноги, под кустиками усов виднеется розовая нагота его губ — это нестерпимо. К счастью, очки деда соскальзывают на пол, я стремглав бросаюсь за ними. Дед просыпается, прижимает меня к груди, и мы разыгрываем наш коронный номер — сцену любви. Но я хотел совсем другого. Чего? Не помню: я уже свил себе гнездышко в зарослях его бороды. Вот я вхожу в кухню, заявляю, что хочу помочь — буду мыть салат; возгласы, веселый смех: «Нет, радость моя, не так! Сожми ручонку покрепче — вот, теперь правильно! Мари, помогите ему! Умница, смотрите, как ловко». Я бутафорский ребенок, у меня в руках бутафорская корзинка для салата. Я чувствовал, как любое мое движение перерождается в жест. Комедия заставляла от меня реальный мир и подлинных людей — я видел только роли и режиссер. Подыгрывая взрослым своим паясничаньем, мог ли я принимать всерьез их заботы? Я шел навстречу их замыслам с похвальной услужливостью, которая мешала мне вникнуть в их цели. Не разделяя ни желаний, ни надежд, ни радостей рода человеческого, я хладнокровно расточал себя во имя того, чтобы его пленять. Он был моим зрительным залом, зажженная рампа отделяла меня от него, ввергая в горделивое одиночество, всякий раз оборачивавшееся тоской.

Печальнее всего было то, что я и взрослых подозревал в лицедействе. Они обращались ко мне со словами-конфетками, а между собой говорили совсем другим языком. Порой им случалось нарушать священные обязательства: я корчил самую пленительную гримаску, ту, в которой был совершенно уверен, а мне вдруг отвечали настоящим голосом: «Иди поиграй, малыш, не мешай нам разговаривать». А иногда у меня возникало чувство, что я пешка в чужой игре. Мы гуляем с матерью в Люксембургском саду — вдруг откуда ни возьмись появляется дядя Эмиль, который в ссоре со всей семьей. Исподлобья глядя на сестру, он сухо заявляет: «Я пришел сюда не для тебя, я хотел видеть малыша». И он говорит, что я — единственная чистая душа в семье, единственный, кто ни разу не оскорбил его с умыслом, не осудил на основании ложных слухов. Я улыбаюсь, смущенный своим могуществом и любовью, которую зажег в сердце этого бирюка. А брат и сестра тем временем уже толкуют о своем, перечисляя взаимные обиды; Эмиль почему зря ругает Шарля, Анн-Мари защищает отца, понемногу сдавая позиции, разговор переходит на Луизу, а я стою тут же, и никому до меня нет дела.

Будь я немного старше, я бы, как губка, впитал кодекс прописной морали консерваторов, наглядным примером которой было поведение старого радикала: правда и вымысел — одно и то же, если хочешь почувствовать страсть, делай вид, что ее чувствуешь; человек — существо, созданное для ритуала. Мне внушили, что мы на то и живем, чтобы разыгрывать комедию. Я готов был в ней участвовать, но при условии, что мне предоставят главную роль. Однако в минуты озарения, которые повергали меня в отчаяние, я замечал, что роль у меня дутая: текст длинный, много выходов, но ни одной сцены, где я был бы пружиной действия, — одним словом, что я только подаю реплики взрослым. Шарль меня ласкал, чтобы задобрить смерть, Луиза находила в моих проказах оправдание своему дурному настроению, Анн-Мари — своей покорности. И, однако, не

будь меня, родители все равно приютили бы Анн-Мари, а ее безответность все равно сделала бы ее игрушкой Луизы. Не будь меня, Мами все равно дулась бы на всех, а Шарль приходил бы в восторг от вершины Мон Сервен, от метеоров или чужих детей. Я был случайным предлогом их ссор и примирений, подлинные причины крылись в другом: их надо было искать в Маконе, Гунсбахе, Тивье, в старом, дряхлеющем сердце, в прошлом — в том, что совершилось задолго до моего рождения. Я был для взрослых отражением семейного лада и стародавних семейных несогласий; они пользовались моим богоданным детством, чтобы выявить свое «я». А сам я жил в тревоге: в то время, как весь их ритуал призван был убедить меня, что нет на свете ничего нецелесообразного, что все — от мала до велика — занимают определенное место в мире, смысл моего собственного существования от меня ускользал, я чувствовал себя сбоку припека и стыдился своего неоправданного присутствия в этом упорядоченном мире.

Будь у меня отец, он обеспечил бы меня бременем устойчивых предрассудков. Внедрившись в мое «я», он обратил бы свои прихоти в мои устои, свое невежество в мою эрудицию, свою ущемленность в мое самолюбие, свои причуды в мои заповеди. Сей почтенный квартирант внушил бы мне самоуважение, а самоуважение стало бы основой моего права на жизнь. Мой родитель определил бы мою будущность: политехник от рождения, я не знал бы ни забот, ни хлопот. Но если Жану-Батисту Сартру была ведома тайна моего предназначения, он унес ее с собой в могилу; мать запомнила только, что он говорил: «Моряком моему сыну не бывать». За неимением более точных сведений никто на свете, начиная с меня самого, не знал, на кой черт я копчу небо. Оставь мой отец наследство, мои детские годы прошли бы по-иному, я не стал бы писать, потому что я был бы другим. Молодой наследник земельных угодий и прочей недвижимости видит в них устойчивое отражение своего собственного «я»: ступая по своему гравию, касаясь ромбовидных стекол своей веранды, он осязает самого себя; в их незыблемости он усматривает бессмертную сущность своей души. Несколько дней назад я слышал, как семилетний мальчонка, сын владельца ресторана, кричал кассирше: «Когда отца нет, здесь хозяин я». Вот это личность! В его годы я не был ничьим хозяином и не имел ни гроша за душой. В редкие минуты, когда мне случалось расшалиться, мать шептала мне: «Опомнись — мы не у себя!» Мы никогда не были у себя: ни на улице Ле Гофф, ни позже, когда мать вышла замуж второй раз. Я от этого не страдал, потому что мне ни в чем не отказывали, но я оставался абстракцией. Владелец благ земных видит в них отражение того, что он есть, мне они указывали на то, чего во мне нет. Во мне не было ни весомости, ни преемственности, я не был продолжателем отцовского дела, я не был необходим для производства стали — короче, мне не хватало души.

Впрочем, беда была бы невелика, живи я в добром согласии со своим телом. Но мы составляли с ним странную пару. Ребенок, прозябающий в нищете, не задает себе праздных вопросов. Лишения и болезни непрерывно подвергают испытаниям его тело, условия жизни, которым нет оправдания, оправдывают его бытие, голод и вечная угроза смерти — вот его право на существование: он живет, чтобы не умереть. Я же не был ни настолько богат, чтобы верить в свое предназначение, ни настолько беден, чтобы воспринимать свои желания как насущную потребность. За столом я выполнял свои обязанности едока, и господь ниспосылал мне иногда — изредка — благодать, состоящую в том, чтобы есть без отвращения, то есть аппетит. Бездумно дыша, переваривая пищу, испражняясь, я жил по инерции — потому что начал жить. Мой откормлен-

ный напарник — мое тело — не досаждал мне ни первобытными порывами, ни буйными требованиями: он давал о себе знать посредством цепи легких недомоганий, к которым взрослые относились весьма участливо. В ту пору в каждой уважающей себя семье должен был быть по меньшей мере один хилый ребенок. Я был истинная находка, потому что едва не отдал богу душу при рождении. С меня не спускали глаз, шупали пульс, мерили температуру, заставляли показывать язык. «Тебе не кажется, что он сегодня немного бледен?» — «Это от освещения». — «Да право же, он похудел!» — «Папа, но ведь мы его вчера взвешивали!». Под этими неусыпными взглядами я начинал чувствовать себя неодушевленным предметом, комнатным растением. Кончалось всегда тем, что меня укладывали в постель. Задыхаясь от жары, потев под одеялами, я уже не мог разобрать, что меня тяготит: мое собственное тело или недомогание.

Господин Симонно, коллега моего деда, приходил к нам обедать по четвергам. Я был полон зависти к этому пятидесятилетнему мужчине с девичьими щечками, нафабранными усами и подкрашенным коком. Когда Анн-Мари для поддержания разговора спрашивала его, любит ли он Баха, нравится ли ему жить у моря, в горах, поминает ли он добром свой родной город, он погружался в раздумье, вперив внутреннее око в гранитный массив своих вкусов. Получив искомый ответ, он сообщал его матери — бесстрастным тоном, покачивая головой. Счастливец! — думал я. Должно быть, он каждое утро просыпается в праздничном настроении и, обозрев с некой высшей точки все пики, гребни и долины своей души, сладко потягивается со словами: «Воистину это я, господин Симонно, с головы до пят». Конечно, я и сам мог, когда меня спрашивали, сказать, что мне нравится, а что нет, и даже объяснить почему. Но наедине с собой я терял представление о своих вкусах: я уже не мог просто констатировать их, мне приходилось ловить их, подталкивать, вдвухать в них жизнь. Я не был уверен даже в том, что предпочитаю говяжий филей телячьему жаркому. Чего бы я ни отдал, чтобы во мне возник пересеченный ландшафт с громадами предвзятых мнений, несокрушимых, как скалы. Когда госпожа Пикар, тактично пуская в ход модное словечко, говорила про деда: «Шарль — прелестное существо» или «Каждое существо — загадка», я чувствовал, что обречен. Камни Люксембургского сада, господин Симонно, каштаны, Карлимами — все это были «существа». А я нет — во мне не было ни устойчивости, ни глубины, ни непроницаемости. Я был ничто — безнадежная прозрачность. А с того дня, как я узнал, что господин Симонно, этот монумент, эта монолитная глыба, в довершение всего необходим миру, зависть моя перешла все границы.

В Институте Новых Языков был праздник. Моя мать играла Шопена, собравшиеся аплодировали в дрожащем свете газовых горелок. По требованию деда все изъяснялись на французском языке — тягучем, гортанном, по-старомодному вычурном, торжественном, как оратория. Я перелетал из рук в руки, не касаясь пола. И вдруг в ту минуту, когда меня душила в объятиях немецкая романистка, дед с высоты своего величия изрек приговор, который поразил меня в самое сердце: «А здесь кого-то не хватает. Я говорю о Симонно». Вырвавшись из объятий романистки, я забился в угол — окружающие исчезли. В центре многоголосого круга я увидел вдруг столп: то был господин Симонно, отсутствующий собственной персоной. Чудодейственное отсутствие преобразило его. На институтский вечер не явились многие: кое-кто из учеников был болен, другие под разными предлогами уклонились от приглашения, но все это были случайные факты, не игравшие никакой роли. Не хватало только одного господина Симонно. Стоило произнести его имя — и в переполненный зал, точно нож, вонзилась пустота. Я был потрясен: оказывается,

человек может иметь свое собственное место. Место, закрепленное за ним. Из бездны всеобщего ожидания, словно из невидимой утробы, он вновь рождается на свет. Впрочем, если бы господин Симонно возник вдруг из разверзшейся земли, если бы даже женщины бросились целовать ему руки, меня бы это отрезвило. Чувственное присутствие всегда расхолаживает. Беспорочный, сведенный к чистоте отрицательной величины, Симонно обладал несжимаемой кристалльностью бриллианта. И именно потому, что мне выпало на долю в каждую данную минуту находиться в определенном пункте земли, среди определенных людей и знать, что я здесь лишний, — мне захотелось, чтобы всем другим людям во всех других пунктах земли меня не хватало, как воды, как хлеба, как воздуха.

Это невысказанное желание так и рвалось у меня с языка. Шарль Швейцер в каждом явлении усматривал необходимость, чтобы заглушить в себе горечь, которой я при жизни деда не понимал и о которой я только теперь начинаю догадываться. На всех его коллегах держался небесный свод. В числе этих атлантов были грамматик, филолог, лингвист, господин Лион-Кан и главный редактор «Педагогического журнала». Дед говорил о них наставительным тоном, чтобы мы полностью уяснили их значение: «Лион-Кан — знаток своего дела. Его место в академии» или: «Шурер стареет, надеюсь, что они не настолько глупы, чтобы принять его отставку; факультет понесет невосполнимую утрату». Окруженный незаменимыми старцами, которые вот-вот исчезнут с лица земли, ввергнув Европу в траур, а не то и в варварство, чего бы я ни отдал, чтоб случилось невероятное и в сердце моем прозвучал приговор: «Малыш Сартр — знаток своего дела. Если его не станет, Франция понесет невосполнимую утрату!»

В буржуазном детстве мгновения нескончаемы — они текут в бездействии. Я хотел быть атлантом немедля, испокон веку и навсегда, мне и в голову не приходило, что можно потрудиться, чтобы им стать. Мне нужно было верховное судилище, указ, утверждающий меня в правах. Но где взять законодателей? Авторитет старших был подорван их комедиантством. Этих судей я отвел, а других не видел.

Растерявшаяся тля, создание без смысла и цели, ни богу свечка, ни черту кочерга, я искал прибежища в семейной комедии, бегая, лавируя, порхая от одного обмана к другому. Я спасался от своего никчемного тела и его немощных открытий. Стоило запущенному волчку, наткнувшись на какое-нибудь препятствие, остановиться — и маленький обескураженный комедиант впадал в тупое оцепенение. Подруги сказали матери, что я грустен, о чем-то мечтаю. Мать со смехом прижала меня к груди: «Вот так новости! Да ведь ты у меня всегда весел, всегда поешь. И о чем тебе грустить? У тебя есть все, что ты хочешь». Она была права: балованный ребенок не грустит. Он скучает, как король. Как собака.

Я собачонка, я зеваю, по щекам катятся слезы, я чувствую, как они текут. Я дерево, ветер шелестит в моих ветвях, легонько их колеблет. Я муха, я ползу по стеклу, соскальзываю, снова ползу вверх. Иногда я ощущаю, как ласку, движение времени, иногда — чаще всего — я чувствую, как время стоит на месте. Дрожащие минуты осыпаются, погребая меня, долго-долго агонизируют; они увяли, но еще живы, их выметают, на смену им приходят другие, еще свежие, но такие же бесплодные; эта тоска зовется счастьем. Мать твердит мне, что я самый счастливый мальчик в мире, как я могу ей не верить, ведь это правда? О своем одиночестве я никогда не думаю: во-первых, я не знаю, как это называется, во-вторых, я его не замечаю — я всегда на людях. Но это ткань моей жизни, основа моих мыслей, уток моих радостей.

Когда мне было пять лет, я познакомился со смертью. Она подстерегала меня, бродя по балкону, прижимаясь мордой к стеклу, — я ее видел, но не смел проронить ни звука. Однажды мы встретили ее на набережной Вольтера — это была высокая безумная старуха, все в черном; поравнявшись со мной, она пробормотала: «Вот я сейчас посажу тебя в карман». В другой раз она приняла форму провала. Дело было в Аркашоне. Карлимами с Анн-Мари пришли проведать госпожу Дюпон и ее сына, композитора, по имени Габриель. Меня оставили в саду. Напуганный разговорами о том, что Габриель болен и скоро умрет, я без увлечения играл в лошадки, гарцуя вокруг дома, и вдруг увидел черную яму — это был погреб, кто-то его открыл. Уж не знаю, откуда взялось у меня явственное предчувствие жуткой неотвратимости — я повернулся кругом и, запев во все горло, пустился наутек. В ту пору я каждую ночь ждал в своей постели свидания со смертью. Это был целый ритуал: я должен был лечь на левый бок, лицом к проходу между кроватями, весь дрожа, я готовился ко встрече с ней, и она приходила — зауряднейший скелет с косою. После этого я имел право повернуться на правый бок, она удалялась, и я мог спать спокойно. Днем я узнавал ее в самых неожиданных личинах: стоило матери запеть по-французски «Лесного царя», как я зажимал уши; прочитав басню «Пьяница и его жена», я полгода не открывал Лафонтена. А она, мерзкая тварь, измывалась надо мной: притаившись в томике Мериме, она поджидала, пока я прочту «Венеру Илльскую», чтобы вцепиться мне в горло. Но ни похороны, ни могилы меня не пугали.

Как раз в эту пору заболела и умерла моя бабка Сартр. Мы с матерью, вызванные телеграммой, приехали в Тивье и еще застали ее в живых. Меня почли за благо удалить от места, где угасала эта долгая безрадостная жизнь. Друзья дома взяли меня на свое попечение, приютили, снабдили подобающими случаями играми — назидательными, омраченными скукой. Я играл, читал, изо всех сил изображая образцовую печаль, но ничего не чувствовал. Не чувствовал и тогда, когда мы шли за гробом на кладбище. Смерть блистала своим отсутствием: скончаться не значило умереть, мне даже нравилось превращение этой старухи в надгробную плиту. В этом было преображение, своеобразное приобщение к бытию — все равно как если бы я вдруг торжественно перевоплотился в господина Симонно. Поэтому я всегда любил и поныне люблю итальянские кладбища: стенающий камень надгробий — словно причудливый образ человека, а на нем медальон с фотографией, напоминающей, как выглядел покойный в своей земной ипостаси. Когда мне было семь лет, настоящую смерть, курносую, я встречал повсюду, только не среди могил. Как я ее себе представлял? Живым существом и угрозой. Существо было безумным, а угрозу я воспринимал так: зев преисподней мог разверзнуться где угодно, при дневном свете, на самом ярком солнце и поглотить меня. Существовала зловещая изнанка мира, она открывалась людям, утратившим рассудок; умереть — означало дойти до предела безумия и сгинуть в нем. Я жил в вечном страхе, это был самый настоящий невроз. Я объясняю его так: баловень семьи, дар providения, я тем сильнее чувствовал свою ненужность, что дома было принято неустанно приписывать мне вымышленную необходимость. Я понимал, что я лишний, стало быть, надо исчезнуть. Я был чахлым ростком в постоянном ожидании гибели. Иными словами, я был осужден, приговор могли привести в исполнение с минуты на минуту. А я этому всеми силами противился — не потому, что дорожил существованием, а именно потому, что ничуть им не дорожил: чем бессмысленней жизнь, тем непереносимее мысль о смерти.

Бог выручил бы меня из беды. Я почувствовал бы себя шедевром,

подписанным рукой создателя. Проникшись уверенностью, что во всемирном концерте мне уготована сольная партия, я бы терпеливо ждал, пока он соблаговолит открыть мне свои намерения и подтвердит, что я необходим. Я предчувствовал религию, я уповал на нее, в ней я нашел бы исцеление. Если бы мне в ней отказали, я бы сам ее выдумал. Но мне не отказали. Воспитанный в католической вере, я уразумел, что всемогущий создал меня во славу свою: это превзошло все мои надежды. Но время текло, и в бонтонном боге, которого мне преподали, я не узнавал того, кого алкала моя душа: мне нужен был творец, мне предлагали высокого покровителя. То были две ипостаси одного божества, но я об этом не подозревал. Я без всякого пыла служил кумиру фарисеев, и официальная доктрина отбила у меня охоту искать свою собственную веру.

Мне повезло! В моей душе, унавоженной доверчивостью и унынием, семена веры дали бы отличные всходы; не случилось недоразумения, о котором я говорю, быть бы мне монахом. Но моей семье коснулся медленный процесс дехристианизации, который зародился в среде высокопоставленной вольтерьянской буржуазии и по прошествии столетия охватил все слои общества. Если бы не всеобщее ослабление веры, провинциальная католическая барышня Луиза Гийемен еще поломалась бы, прежде чем выйти за лютеранина. Само собой, в нашей семье все были верующие — из приличия. Семь-восемь лет спустя после министерства Комба¹ демонстративное неверие все еще отдавало бесстыдством и разнужданностью страсти. Атеист — это был чудак, бесноватый, которого не приглашают в гости из боязни, «как бы он чего не выкинул», фанатик, который отравляет себе жизнь всевозможными запретами, добровольно отказывается от права помолиться в церкви, обвенчать там своих дочерей или поплакать всласть, вменяет себе в обязанность доказывать справедливость своей доктрины чистотой нравов и так рьяно ополчается против своего счастья и покоя, что отвергает предсмертное утешение; это маньяк, одержимый господом-богом настолько, что, куда ни глянет, всюду видит его отсутствие, рта не может раскрыть, чтобы не упомянуть его имени, — одним словом, это господин с религиозными убеждениями. У верующего их не было: за две тысячи лет своего существования христианские истины успели стать очевидными; они были доступны всем, им полагалось сиять во взоре священника, в полумраке церкви и просветлять души, но ни у кого не было надобности брать на себя ответственность за них — они были всеобщим достоянием. В хорошем обществе в бога верили, чтобы о нем не говорить. Какую терпимость проявляла религия! До чего же была удобна! Христианин имел право не ходить к обедне, а своих детей венчать по церковному обряду, мог посмеиваться над рыночными херувимчиками в стиле Сен-Сюльпис и проливать слезы над «Свадебным маршем» из «Лоэнгрина». От него не требовалось ни вести безгрешную жизнь, ни умирать в отчаянии, ни даже кремироваться. В нашем кругу, в нашей семье, вера была всего лишь громким титулом одомашненной французской свободы. Как и многих других, меня крестили, чтобы обеспечить мою независимость; отказав мне в крещении, родня считала бы, что совершила насилие над моей душой. Католик по бумагам, я был свободен, я был такой, как все. «Вырастет, — говорили родные, — поступит, как ему вздумается». В ту пору считалось куда труднее обрести веру, чем ее потерять.

Шарль Швейцер был слишком большой комедиант, чтобы не испытывать потребности в великом зрителе, но о боге он вспоминал редко — разве что в часы пик. Уверенный, что обретет его на смертном одре, он

¹ Эмиль Комб — премьер-министр Франции с 1902 по 1905 год, известный своей антиклерикальной политикой.

держал бога в стороне от своей повседневной жизни. В семейном кругу, соблюдая верность потерянным французским провинциям и жизнелюбивому задору своих братьев-антипапистов, он не упускал случая поиздеваться над католичеством. За столом он отпускал шуточки в духе Лютера. Больше всего доставалось Лурду: Бернадетта¹ видела «бабенку в чистом белье», парализованная погрузилась в купель, а когда вынули, «он прозрел на оба глаза». Дед пересказывал жития святого Лабра Вшивого и святой Марии Алакок, которая вылизывала языком испражнения больных. Его зубоскальство оказало мне услугу; я был тем более склонен воспарить над мирскими благами, что отродясь ими не владел, и мне ничего не стоило счесть мои необременительные лишения — призванием. Мистицизм создан для тех, кто не нашел своего места в жизни, для сверхкомплектных детей. Представь мне Шарль религию в другом свете, он толкнул бы меня на стезю веры, и я сделался бы жертвой святости. Но дед на всю жизнь внушил мне к ней отвращение. Я увидел ее глазами Шарля, и эта злобная одержимость оттолкнула меня безвкусицей своих экстазов, напугала садистским презрением к плоти: в выходках святых смысла было не больше, чем в выходке англичанина, который полез в море купаться, не снимая смокинга. Слушая анекдоты деда, бабушка прикидывалась, будто негодует, ругала мужа «нечестивцем» и «гугенотишкой», хлопала его по пальцам, но ее снисходительная улыбка окончательно отрезвляла меня. Луиза ни во что не верила, и только скептицизм мешал ей стать атеисткой. Мать остерегалась спорить, у нее был «свой собственный бог», она ничего от него не требовала — лишь бы он утешал ее втихомолку.

Все эти прения, правда в более смягченном тоне, продолжались в моем мозгу: мое второе «я», мой двойник в черном, вяло оспаривал догматы веры. Я был разом и католик и протестант, дух критики соединялся во мне с духом повиновения. Но, в сущности говоря, все это навело на меня смертельную скуку: я пришел к неверию не из-за борьбы церковью, а благодаря равнодушию к этой борьбе бабушки и деда. Тем не менее вначале я верил: в ночной рубашке, преклонив колени на кровати и сложив руки, я творил перед сном молитву, хотя с каждым днем все меньше думал о боге. По четвергам мать водила меня в учебное заведение аббата Дибильдо — там вместе с другими незнакомыми мне детьми я проходил курс священной истории. Усилия деда не пропали даром: я смотрел на католических священников, как на диковинных зверей. Даром, что они были духовными отцами моей веры, они казались мне во сто крат чуднее пасторов из-за их рясы и безбрачия. Шарль Швейцер уважал аббата Дибильдо, которого знал лично, — «Порядочный человек!» — но при этом дед был таким заядлым антиклерикалом, что я входил во двор школы, точно во вражеский стан. Лично я не питал ненависти к служителям божьим; когда они беседовали со мной, на их лицах, разутюженных святостью, появлялось ласковое выражение, умиленная благожелательность, отрешенность — все, что я привык ценить в госпоже Пикар и других пожилых дамах, друживших и музицировавших с матерью; во мне клокотала ненависть деда. Ему первому пришла в голову мысль верить меня попечением своего друга аббата, но он с тревогой приглядывался к маленькому католику, которого по четвергам вечером приводили домой, пытался прочесть в моих глазах, не соблазнил ли меня папизм, и не без удовольствия подтрунивал надо мной. Такое двусмысленное положение длилось всего полгода. В один прекрасный день я подал учителю сочинение о страстях Христовых: оно привело в восторг:

¹ Святая Бернадетта — канонизированная католической церковью крестьянская девочка, которой, по ее уверениям, являлась дева Мария.

моих родных, и мать собственноручно сняла с него копию. Но меня удостоили только серебряной медали. Разочарование толкнуло меня на путь нечестия. Сначала по болезни, потом из-за каникул я перестал посещать занятия аббата Дибильдо, а вернувшись в город, вообще отказался ходить в его школу. После этого я еще много лет поддерживал официальные отношения с всевышним — домами мы уже не встречались. Только однажды у меня возникло чувство, что он существует. Играя со спичками, я прожег маленький коврик. И вот, когда я пытался скрыть следы своего преступления, господь-бог вдруг меня увидел — я ощутил его взгляд внутри своей черепной коробки и на руках; я заметался по ванной комнате — до ужаса на виду — ну, просто живая мишень. Меня выручило негодование: я пришел в ярость от его наглой бесцеремонности и начал богохульствовать, бормоча, как мой дед: «Черт поberi, будь ты проклят, черт треклятый!» С тех пор бог ни разу на меня не смотрел.

Я рассказал историю моего несостоявшегося призвания: я нуждался в боге, мне его дали, и я его принял, не поняв, что его-то я и искал. Не пустив корней в моем сердце, он некоторое время прозябал там, потом зачах. Теперь, когда меня спрашивают о нем, я добродушно посмеиваюсь, как старый волокита, встретивший былую красавицу: «Пятьдесят лет назад, не будь этого недоразумения, ошибки, нелепой случайности, которая отделила нас друг от друга, у нас мог бы быть роман».

Но романа не получилось. Меж тем дела мои становились все плачевнее. Деда раздражали мои длинные локоны. «Это мальчик, — говорил он Анн-Мари, — а ты из него делаешь девочку. Не хочу, чтобы мой внук вырос мокрой курицей». Анн-Мари не сдавалась: по-моему, ей и в самом деле хотелось, чтобы я был девочкой. Каким счастьем было бы для нее воскресить в этой девочке свое собственное печальное детство и сделать его счастливым. Но небо не услышало ее молитв, и она нашла другой выход: мой пол, как у ангелов, не был четко обозначен, но в нем угадывалось нечто женское. Ласковая сама, мать приучила меня ластиться, одиночество довершило мое воспитание, отвратив меня от буйных проказ. Однажды — мне было тогда семь лет — терпение деда лопнуло. Он взял меня за руку, объявив, что мы идем на прогулку. Но не успели мы свернуть за угол, как он втолкнул меня в парикмахерскую со словами: «Сейчас мы устроим маме сюрприз». Я обожал сюрпризы. Они у нас не переводились. Шуточные и трогательные заговоры, неожиданные подарки, перешептыванье, театральные разоблачения тайн с последующими объятьями — таков был наш повседневный обиход. Когда мне надо было сделать операцию аппендицита, мать скрыла это от Карла, чтобы избавить его от волнений, которых он наверняка бы не испытал. Мой дядя Огюст дал нам денег, мы тайком уехали из Аркашона и укрылись в клинике Курбеуа. На второй день после операции Огюст явился к деду: «Я пришел сообщить тебе приятную новость». Умиленная торжественность его голоса ввела Карла в заблуждение. «Ты женишься!» — «Нет, — улыбаясь, ответил дядя, — но все сошло прекрасно». — «Что все?» и т. д. и т. п. Словом, театральные эффекты были у нас дежурным блюдом, и я благодушно глядел, как мои локоны соскальзывают по белой салфетке, которую мне повязали вокруг шеи, и падают на пол, вдруг как-то неожиданно потускнев. Я вернулся домой торжествующий и наголо остриженный.

Раздались возгласы, но поцелуев не последовало, и мать заперлась в детской, чтобы выплакать свое горе: ее девочку подменили мальчишкой. Но главная беда была в другом: пока вокруг моей головы кудрявились локоны, мать могла скрывать от самой себя очевидность моего уродства. Меж тем мой правый глаз уже погружался во мрак. Теперь ей пришлось взглянуть в лицо правде. Да и сам дед был растерян: ему до-

верили свет его очей, а он привел домой жабу — это подрывало основы восторгов, просветлявших его душу. Бабушка поглядывала на него с усмешкой. «Карл и сам не рад — ходит повесив нос», — заметила она коротко.

По доброте душевной Анн-Мари скрыла от меня причину своего горя. Я узнал ее — самым безжалостным образом — только в двенадцать лет. И все же я чувствовал себя не в своей гарелке. Я часто ловил сочувственные и озабоченные взгляды друзей дома. С каждым днем мне становилось труднее угождать публике — приходилось не жалеть сил, я налегал на эффекты, стал переигрывать. Мне открылись терзания старшей актрисы: я понял, что другие тоже могут иметь успех. У меня сохранилось два воспоминания, более поздних, но очень характерных.

Мне девять лет, идет дождь, в отеле Нуаретабль нас десять детей — десять волчат в одном логове. Чтобы чем-то нас занять, мой дед согласился сочинить и поставить патриотическую пьеску с десятью действующими лицами. Старшему из нашей компании, Бернару, досталась роль папаши Штрутхофа, ворчуна с благородным сердцем. Я играю молодого эльзасца: мой отец избрал французское гражданство, и я тайком перехожу границу; чтобы пробраться к нему. Меня обеспечили репликой, рассчитанной на аплодисменты: я простирал правую руку, склонял голову и, уткнувшись постной физиономией в собственную подмышку, шептал: «Прощай, прощай, наш любимый Эльзас!» На репетициях мне твердили, что я неотразим, — меня это не удивляло. Премьера состоялась в саду. Стена отеля и кусты бересклета по обе стороны от нее служили границей сцены. Родители сидели в плетеных креслах. Дети веселились напропалую — все, кроме меня. Убежденный, что успех пьесы всецело в моих руках, я из кожи лез, стараясь понравиться в интересах общего дела. Я считал, что все только на меня и смотрят, и переусердствовал: аплодисменты достались Бернару, который меньше ломался. Дошло ли это до меня? После спектакля Бернар обходил зрителей, собирая пожертвования. Я подкрался к нему сзади и дернул за бороду — она осталась у меня в руках. Это была шалость премьера, рассчитанная на всеобщий смех. Я чувствовала себя в ударе и подпрыгивал то на одной, то на другой ноге, потирая своим трофеем. Никто не засмеялся. Мать взяла меня за руку и поспешно отвела в сторонку. «Что это на тебя нашло? — спросила она с укором. — Такая красивая борода. Все ахнули от огорчения!» Тут подросла бабушка с последними новостями: мать Бернара сказала что-то насчет зависти. «Видишь, чем кончается дело, когда вылезают вперед». Я убежал от них, заперся в комнате и, встав перед зеркалом, долго корчил рожи.

Мадам Пикар придерживалась мнения, что детям можно читать все: «Хорошо написанная книга не может причинить вреда». Когда-то в ее присутствии я попросил разрешения прочитать «Мадам Бовари», и мать преувеличенно мелодичным голосом ответила: «Радость моя, но, если ты читаешь такие книги сейчас, что ты станешь делать, когда вырастешь большой?» — «Я их буду жить». На долю этого высказывания выпал самый неподдельный и наиболее длительный успех. Каждый раз, придя к нам в гости, мадам Пикар намекала на него, и польщенная мать восклицала с упреком: «Да замолчите же, Бланш, право, вы мне его испортите!» Я любил и презирал эту бледную толстую старуху — самого благодарного из моих зрителей. Как только объявляли о ее приходе, на меня нисходило вдохновение.

В ноябре 1915 года она подарила мне записную книжку в красном кожаном переплете с золотым обрезом. Деда не было дома, и мы расположились в его кабинете; женщины оживленно болтали между собой, чуть сдержанней, чем в 1914 году, потому что шла война; к окнам

льнул грязно-желтый туман, воздух был пропитан застарелым табачным духом. Открыв книжицу, я был сначала разочарован. Я думал, что это роман или сказки, но на разноцветных листках обнаружил один и тот же двадцать раз повторяющийся вопросник. «Заполни его,— сказала мадам Пикар,— и дай заполнить своим друзьям. Со временем тебе будет приятно вспомнить». Я понял, что мне предоставляется возможность проявить свои таланты, и решил приступить к делу немедленно. Я уселся за письменный стол деда, положил книжку на его бювар, взял ручку из галалита, обмакнул в пузырек с красными чернилами и стал писать, меж тем как дамы лукаво переглядывались. Единым духом я взмыл выше собственной души в погоне за «умными не по годам» ответами. На беду, вопросник не помогал. Меня спрашивали, что мне нравится, что нет, какой цвет я больше всего люблю, какой запах предпочитаю. Я без увлечения сочинял себе вкусы, как вдруг представился случай блеснуть. «Каково ваше самое заветное желание?» Я ответил без колебаний: «Стать солдатом и отомстить за убитых». После этого, слишком возбужденный, чтобы продолжать, я спрыгнул с кресла и понес мое творение взрослым. Взгляды исполнились ожидания, мадам Пикар надела очки, мать склонилась к ее плечу, губы обеих заранее сложились в улыбку. И та и другая подняли головы одновременно: мать покраснела, мадам Пикар протянула мне книжку: «Видишь ли, дружок, это интересно только, когда отвечаешь искренне». Я готов был провалиться сквозь землю. Мой промах очевиден: мне предназначали роль вундеркинда, а я сыграл юного героя. На мою беду, ни у одной из дам не было близких на фронте: военная героиня не производила впечатления на их уравновешенные натуры. Я убежал, кинулся к зеркалу строить рожи. Теперь я понимаю, что эти гримасы были для меня отдушиной: мускульной блокадой я пытался парализовать мучительную судорогу стыда. Вдобавок гримасы доводили мой позор до высшей точки и тем самым освобождали меня от него; чтобы избежать унижения, я окунался в самоуничижение, лишал себя какой бы то ни было возможности нравиться, чтобы забыть, что она у меня была и я ею злоупотребил. Зеркало оказывало мне неоценимую помощь: я поручал ему убедить себя, что я урод. Если ему это удавалось, острый стыд уступал место жалости. Но главное, обнаружив в результате провала свою угодливость, я старался изуродовать себя, чтобы отрезать к ней все пути, чтобы отречься от людей и чтобы они от меня отреклись. Комедии добра я противопоставлял комедию зла, Иоас брал на себя роль Квазимодо. Перекашивая и морща лицо, я искажал его до неузнаваемости, вытравливая следы прошлых улыбок.

Лекарство оказалось вреднее болезни. Спасаясь от славы и бесчестия, я пытался найти прибежище в одиночестве своего подлинного «я», но у меня не было «я»: в глубине своей души я обнаружил озадаченную безликость. Мне чудилась медуза, которая тычется в стекло аквариума, собирая в мягкие складки свою мантию, и тает во мраке. Спустилась ночь, чернильные облака расплылись в зеркале, заволакивая мое последнее воплощение. Лишившись алиби, я был приперт к самому себе. Я угадывал во мраке неопределенное смятение, шорох, пульсацию — существо из плоти и крови, самое жуткое из всех и в то же время единственное, которого я не боялся. Я спасся бегством, вновь вернулся к своей роли херувима не первой свежести. Но тщетно — зеркало подтвердило давно известную мне истину: я чудовищно неподделен. От этого открытия я никогда не оправился.

Всеми обожаемый и никому не нужный, я оставался при пиковом интересе; в семь лет мне не на кого было надеяться, кроме как на са-

мого себя, а меня самого еще не было — был необитаемый зеркальный дворец, в который смотрелась тоска нарождающегося века. Я родился, чтобы удовлетворить свою громадную потребность в самом себе. До какой-то минуты я пробавлялся тщеславием комнатной собачонки. Загнанный в тупик гордости, я сделался гордецом. Раз никто всерьез не нуждается во мне, я решил стать необходимым всему миру. Что может быть прекраснее? Что может быть глупее? По правде говоря, у меня просто не было выбора. Путешествуя зайцем, я задремал на скамье, контролер меня растолкал. «Ваш билет!» Пришлось сознаться, что нет билета. Нет и денег, чтобы купить его в поезде. Поначалу я признавал свою вину: документы я забыл дома; на вокзале, уж не помню как, обманул контролер — словом, я проник в вагон незаконным путем. Мне и в голову не приходило оспаривать правомочие контролера, я во всеуслышание клялся в своем уважении к его должности и заранее подчинялся его приговору. Теперь, на этой последней ступени унижения, у меня оставался единственный выход — вывернуть ситуацию наизнанку; и вот я сообщал контролеру, что тайные причины огромной важности, затрагивающие интересы Франции, а может быть, и всего человечества, требуют моего присутствия в Дижоне. Если взглянуть на дело с этой новой точки зрения, то, пожалуй, во всем поезде не найти пассажира, имеющего больше прав на проезд, чем я. Само собой, речь идет о высшем праве, противоречащем общепринятому законодательству, но, сняв меня с поезда, контролер вызовет серьезные осложнения, ответственность за которые падет на его голову. Я заклинал его подумать: разумно ли расстроить порядок в целой вселенной ради поддержания порядка в поезде? Так рассуждает гордыня — адвокат сбездоленных. Право на скромность имеют только пассажиры с билетами. Но я так и не мог понять, выиграл ли я дело. Контролер хранил молчание. Я снова принимался объяснять. Я чувствовал, что, пока я разглагольствую, меня не высадят из вагона. Так мы и продолжали свой путь — один, не открывая рта, другой, не закрывая, — в поезде, который мчал нас в Дижон. Поезд, контролер и правонарушитель — все это был я сам. У меня была еще четвертая роль — постановщика, который преследовал одну-единственную цель — забыть хоть на минуту, что он сам все это подстроил. Семейная комедия играла мне на руку: меня называли даром небес, в шутку, конечно, и я это понимал. Перекормленный чувствительностью, слезливый и черствый, я захотел стать даром, от которого есть прок. Но кому? Я предложил свои услуги Франции, всему миру. На людей мне было начхать, но поскольку совсем обойтись без них было нельзя, я решил: пусть их восторженные слезы послужат мне знаком, что вселенная принимает меня с благодарностью. Не подумайте, что я грешил самомнением, просто я рос сиротой — без отца. Ничейный сын, я был сам себе голова — предел гордости и предел бездоленности. Меня вызвал к жизни порыв к добру. Причинную связь проследить легко: изнеженный материнской лаской, обезличенный отсутствием сурового Моисея, который меня зачал, избалованный поклонением деда, я был объектом в чистом виде, обреченным прежде всего на мазохизм, если бы я хоть на минуту уверовал в семейную комедию. Но она скользила только по поверхности моей души, нетронутые глубины жаждали смысла жизни. Я возненавидел привычную схему, стал гнушаться слюнявыми восторгами, упоением, своим заласканным, изнеженным телом, я обрел себя в противопоставлении самому себе, ударяясь в гордыню и садизм — иначе говоря, в великодушие. Подобно скупости и расизму, великодушие — это фермент, который врачует наши внутренние раны, но в конце концов приводит к отравлению организма. Пытаясь избавиться от заброшенности — участи творения, — я готовил себе самое безысходное буржуазное одиночество — участь творца.

Однако не путайте это внезапное сальто с подлинным бунтом: бунтуют против палачей, я был окружен благодетелями. Я долго оставался их сообщником. Впрочем, они сами же нарекли меня даром провидения: я лишь использовал в своих целях оружие, которым меня снабдили.

Все происходящее происходило в моем воображении: выдуманный ребенок, я отстаивал себя с помощью выдумки. Вспоминая теперь, как я жил в возрасте от шести до девяти лет, я удивляюсь постоянству моих умственных упражнений: декорации менялись — программа оставалась неизменной: нектати выскочив на сцену, я ретировался за ширму и появлялся на свет вновь — теперь уже в самую пору — именно в то мгновение, когда мир безмолвно зывал обо мне.

Мои первые повести были простым повторением «Синей птицы», «Кота в сапогах», сказок Мориса Бушора. Они рассказывались сами собой в недрах моей черепной коробки. Но, мало-помалу осмелев, я стал вносить в них поправки, отводить роль и себе. Сказки изменили свой характер: я не любил фей, они обрыдли мне в жизни — волшебство вытеснили подвиги. Я сделался героем. Я махнул рукой на свои чары; теперь речь шла не о том, чтобы пленять, а о том, чтобы самоутвердиться. Семью свою я отринул: Карлимами и Анн-Мари были изгнаны из моих вымыслов. Пресыщенный жестами и позами, я совершал в мечтах подлинные поступки. Я создавал воображением мир страхов и смерти — мир «Сверчка», «Ну и ну!», Поля д'Ивуа; нужду и труд, о которых я не имел понятия, я заменил опасностью. Но у меня и в мыслях не было подвергать сомнению установленный миропорядок. Уверенный, что живу в лучшем из миров, я видел свое назначение в том, чтобы избавить его от злоумышленников. Сыщик и линчеватель, я каждый вечер обрекал в жертву целую шайку бандитов. Ни карательные экспедиции, ни превентивные войны меня не прельщали: я убивал не во гневе, не ради потехи — я спасал от смерти невинных девушек. Эти хрупкие создания были мне необходимы, они зывали ко мне. Само собой, они не могли рассчитывать на мою помощь, ибо меня не знали. Но я подвергал их таким чудовищным опасностям, что вызволить их мог только один человек — я сам. Когда янычары взмахивали своими кривыми саблями, по пустыне прокатывался стон и скалы шептали пескам: «А здесь кого-то не хватает! Мы говорим о Сартре». В ту же секунду я появлялся из-за ширмы и рубил головы направо и налево — я рождался на свет в потоках крови. О счастье булата! Я чувствовал себя на своем месте.

Но я рождался, чтобы умереть: спасенная девушка бросалась в объятия своего отца, маркиграфа, а я удалялся — мне оставалось либо внозь сделаться лишним, либо искать новых убийц. Я находил. Поборник установленного порядка, я видел оправдание своего бытия в постоянных беспорядках. Задушив зло, я умирал вместе с ним и воскресал, когда оно воскресало, — я был анархистом-консерватором.

Мои кровавые благодеяния никак не обнаруживали себя в повседневной жизни. Я оставался угодливым и прилежным — отвыкнуть от добродетели не так-то легко. Но каждый вечер, едва дождавшись конца дневного паясничанья, я мчался в детскую и, отбарабанив молитву, нырял под одеяло: мне не терпелось обрести мою безумную отвагу. В потемках я мужал, я становился взрослым, отшельником — без отца, без матери, без роду, без племени, почти что без имени.

Вот я иду по крыше, охваченной пламенем, неся на руках бесчувственную женщину; внизу кричит толпа; сомнений нет: еще минута — и дом рухнет. В это мгновение я произносил sacramентальные слова: «Продолжение следует». «Что ты там бормочешь?» — спрашивала мать. Я отвечал уклончиво: «Жду, что будет дальше». Я и в самом деле засыпал посреди опасностей, в самой восхитительной тревоге. На другой ве-

чер, в назначенный час, я опять переносился на свою крышу, в огонь пожара, навстречу верной смерти. Вдруг мне в глаза бросалась водосточная труба, которую я не заметил накануне. Господи, спасены! Но как уцепиться за трубу, не выпустив драгоценной ноши? К счастью, молодая женщина приходила в чувство, я взваливал ее на спину, она обвивала руками мою шею. Нет! Поразмыслив, я снова погружал ее в обморок: как ни мала была ее роль в собственном спасении, она уменьшала мои заслуги. По счастливому совпадению, у моих ног вдруг оказывалась веревка, я накрепко привязывал бедную жертву к ее спасителю — остальное было делом минуты. Отцы города — мэр, начальник полиции, брандмейстер — обнимали меня, целовали, награждали медалью, я терял уверенность в себе, не знал, что с собой делать дальше: объятия этих именитых граждан слишком смахивали на объятия деда. Я зачеркивал все, начинал сначала: ночь, молоденькая девушка зовет на помощь, я бросаюсь в гущу драки... Продолжение следует. Я рисковал жизнью ради великой минуты, которая должна была превратить зверька, рожденного случаем, в посланца провидения, но чувствовал, что мне не пережить своей победы, и был рад возможности отложить ее на завтра.

Не странно ли, что маленький школяр, обреченный духовному сану, предавался мечтам головореза? Неужели я никогда не мечтал стать врачом-героем, спасающим своих сограждан от бубонной чумы или холеры? Покаюсь — никогда. Меж тем я не был ни кровожадным, ни воинственным, и не моя вина в том, что рождающийся век настроил меня на эпический лад. Разгромленная Франция кишела воображаемыми героями, подвиги которых врачевали ее самолюбие. За восемь лет до моего рождения Сирано де Бержерак¹ «разорвал тишину призывом боевой трубы». Чуть позже гордый и страдающий Орленок своим появлением заставил забыть о Фашоде². В 1912 году я понятия не имел об этих героических персонажах, но неустанно общался с их эпигонами: я обожал Сирано уголовников — Арсена Люпена, не подозревая, что своей исполинской силой, насмешливой отвагой, истинно французским складом ума он был обязан тому, что в 1870 году мы сели в лужу. Национальная агрессивность и дух реванша превращали всех детей в мстителей. Я стал мстителем, как и все: замороженный зубоскальством и рисовкой — несносными пороками побежденных, — я высмеивал своих врагов, прежде чем выпустить им кишки. Но войны навели на меня скуку: мне нравилась незлобивые немцы, приходившие в гости к деду, и меня волновали только несправедливости в частной жизни. В моем сердце, лишенном ненависти, коллективные веяния претерпевали изменения: я вскармливал ими свой индивидуальный героизм. Но так или иначе на мне лежало клеймо — я был внуком поражения, потому-то я так нелепо ошибся и в наш железный век принял жизнь за эпопею. Убежденный материалист, я до конца дней буду искупать своим эпическим идеализмом оскорбление, которого не испытал, стыд, которого не изведал, утрату двух провинций, которые нам давным-давно возвращены.

Буржуа минувшего столетия всю жизнь хранили воспоминание о первом посещении театра, и их современники писатели считали своим долгом увековечить его подробности. Вот поднимается занавес, и детям кажется, что они попали во дворец. Золото, пурпур, огни, румяна, пате-

¹ Сирано де Бержерак и Орленок — герои одноименных драм Э. Ростана.

² Город в Судане, завоеванный в 1898 году французами и впоследствии отнятый у них англичанами.

тика и бутафория обожествляют все — даже преступления. Сцена воскрешает перед ними аристократию, которую их собственные деды отправили на тот свет. В антрактах ярусы зрительного зала наглядно демонстрируют детям общественную иерархию — в ложах им показывают обнаженные плечи и живых дворян. Они возвращаются домой потрясенные, раскисшие, исподволь подготовленные к социальному церемониалу, к тому, чтобы стать Жюлями Фаврами, Жюлями Ферри, Жюлями Гриви¹. Но пусть кто-нибудь из моих сверстников назовет день своего первого знакомства с кинематографом. Мы не заметили, как вступили в новый век, век, не имеющий традиций, которому суждено было перещеголять своими дурными манерами все минувшие эпохи, и новое искусство, искусство простонародья, предвосхищало этот век варварства. Родившееся на дне, зачисленное начальством в разряд ярмарочных увеселений, оно держалось простецки, шокируя солидных граждан; это было развлечение для женщин и детей. Мы с матерью его обожали, но никогда о нем не думали и не говорили: кто станет говорить о хлебе, когда в нем нет нехватки? Мы осознали существование кинематографа лишь тогда, когда он уже давным-давно стал нашей насущной потребностью.

В дождливую погоду Анн-Мари спрашивала меня, куда бы я хотел пойти; мы долго колебались между цирком, театром Шатле, павильоном электричества и музеем восковых фигур; в последнюю минуту мы с продуманной небрежностью решили отправиться в кино. Стоило нам открыть парадную дверь, как на пороге своего кабинета появлялся Шарль: «Куда вы, дети?» — «В синематограф», — отвечала мать. Дед хмурился, мать торопливо добавляла: «Это в «Пантеоне», в двух шагах от дома, только перейти улицу Суффло». Дед отпускал нас, пожав плечами. В ближайший четверг он говорил господину Симонно: «Вы человек разумный, Симонно, ну что вы на это скажете — дочь водит моего внука в кино!» И господин Симонно отвечал примирительно: «Сам я там никогда не был, но жена иногда ходит».

Мы обычно приходили после начала сеанса. Спотыкаясь, ощупью брели за билетершей. Я чувствовал себя заговорщиком: над нашей головой зал пронизывал сноп белых лучей, в нем плясала пыль, табачный дым; пианино ржало; на стенах светились фиолетовые груши, у меня перехватывало дыхание от запаха лака и дезинфекции. Запах и плоды этого мрака, населенного людьми, смешивались в моих ощущениях: я сосал фиолетовые лампочки, ощущал во рту их кислотоватый привкус. Обтерев спиной чужие колени, я взбирался на скрипучий стул, мать подкладывала под меня сложенное одеяло, чтобы мне было виднее, и только тогда я бросал взгляд на экран, на струящееся меловое пятно, на мигающие пейзажи, иссеченные ливнями — дождь лил не переставая, даже при самом ярком солнце, даже в комнатах; иногда огненный астероид перелетал вдруг через гостиную какой-нибудь баронессы, на лице которой не выражалось при этом ни малейшего удивления. Мне нравился этот дождь, эта безостановочная суета, тревожившая стену. Тапер брал первые аккорды «Фингаловой пещеры», и всем становилось ясно, что с минуты на минуту появится преступник — баронесса была ни жива, ни мертва от страха. Но вместо ее прекрасного, в черных подтеках лица появлялась вдруг лиловая надпись: «Конец первой части». Мгновенное отрезвление. Свет. Где я? В школе? В присутственном месте? Никаких украшений — ряды откидных стульев, с нижней стороны которых видны пружины; стены, выкрашенные охрой; пол в плевках и окурках. Зал наполнялся глухим шумом, зрители заново обретали дар речи,

¹ Ж. Фавр, Ж. Ферри, Ж. Гриви — французские буржуазные политические деятели второй половины XIX века.

билетерша громко предлагала леденцы, мать покупала мне конфеты, я совал их в рот, на языке таяли фиолетовые лампочки. Люди протирали глаза, каждый впервые замечал соседей. Солдаты, няньки с ближних улиц; шикает какой-то костлявый старик; простоволосые фабричные работницы хочут во все горло. Все это люди не нашего круга; к счастью, кое-где на почтительном расстоянии друг от друга над этим партером голов успокоительно колышутся пышные шляпы.

Моему покойному отцу, моему деду — завсегдатаям лож первого яруса — социальная иерархия театра привила вкус к определенному церемониалу: в местах большого скопления людей необходимо воздвигать между ними ритуальные барьеры — не то они перережут друг другу горло. Кинематограф доказывал нечто прямо противоположное: казалось, не празднество, а скорее бедствие объединяет эту на диво разнородную толпу. Этикет отмер, и обнажилась наконец подлинная связь людей, их спаянность. Я возненавидел церемонии, я обожал толпу. Какие только толпы не пришлось мне видеть на моем веку, но эту обнаженность, это безотказное общение каждого со всеми, этот сон наяву, это смутное сознание того, что быть человеком опасно, мне пришлось видеть потом только однажды — в 1940 году в лагере для военнопленных ХИД.

Постепенно осмелев, мать стала водить меня в кинотеатры Бульваров: «Синерама», «Фоли Драматик», «Водевиль», «Гомон Палас», который в ту пору назывался «Ипподромом». Я посмотрел «Зигомара» и «Фантомаса», «Приключения Мациста», «Тайны Нью-Йорка». Позолота отравляла мне удовольствие — «Водевиль», разжалованный из театров в иллюзионы, не желал расставаться с былым великолепием. До самой последней минуты красный занавес с золотыми кистями скрывал от зрителей экран; о начале сеанса возвещали тремя ударами, оркестр исполнял увертюру, занавес поднимался, лампы гасли. Меня злил этот неуместный церемониал, вся эта нафталиновая роскошь, которая только отдаляла персонажей от зрителей. Наши отцы, посетители ярусов и галерки, подавленные блеском люстр, росписями потолка, не могли и не хотели верить, что театр принадлежит им — они были в нем гостями. Я хотел видеть фильм как можно ближе. Уравниловка уютных кинотеатров нашего квартала приучила меня к мысли, что это новое искусство принадлежит мне, как и всем. По умственному развитию мы были одноклассники: мне было семь, и я умел читать, ему — двенадцать, и оно не умело говорить. Существовало мнение, что оно делает только первые шаги, что у него большое будущее: я считал, что мы будем расти вместе. Я не забыл нашего общего детства: когда меня угощают леденцами, когда женщина в моем присутствии покрывает ногти лаком, когда в уборной какой-нибудь провинциальной гостиницы пахнет дезинфекцией, когда ночью в вагоне я гляжу на фиолетовый ночник на потолке — зрением, обонянием, вкусом я ощущаю свет и запахи давно исчезнувших кинозалов; четыре года назад, попав в шторм на широте Фингаловых пещер, я услышал в вое ветра звуки пианино.

Нечувствительный к священнодействию, я обожал колдовство: кинематограф был темной личностью, и я испытывал к нему извращенное влечение, любя в нем его тогдашнее несовершенство. В этом мерцании было все и ничего, все, сведенное к ничему: я присутствовал при конвульсиях стены, твердые тела лишались своей массивности, того, что тяготило меня даже в моем собственном теле, и эта способность к бесконечному уплощению льстила моему юному идеализму; впоследствии перенос и вращение треугольников напомнили мне скольжение лиц на экране — даже в планиметрии я любил кино. Черное и белое стали для меня главными цветами, они вбирали в себя все остальные, но открывали их только посвященным. Меня пленяла возможность видеть невидимое. Но боль-

ше всего я любил неизлечимую немоту моих героев. Впрочем, нет: они не были немые, поскольку умели выразить свои чувства. Мы общались посредством музыки, это был отзвук их внутренней жизни. Оскорбленная невинность источала музыку, я проникался горем жертвы сильнее, чем если бы она говорила и объясняла. Я читал реплики, но слышал надежду и отчаяние, ловил ухом горделивое страдание, которое не высказывается в словах. Я был соучастником: на экране плачет молодая вдова, это не я, и все же у нас одна душа — похоронный марш Шопена, и вот уже мои глаза наполняются ее слезами. Не умея предсказывать, я чувствовал себя пророком: предатель еще не предал, а я уже полон его преступлением — в замке с виду все спокойно, но зловещие аккорды говорят о присутствии убийцы. Как я завидовал этим ковбоям, мушкетерам, полицейским: их будущее было здесь, в этой многозначительной музыке, оно правило настоящим. Неумолчная мелодия, сливаясь с их жизнью, влекла их к победе или к смерти, стремясь в то же время к своему собственному концу. Их-то действительно ждали, этих героев: ждала девушка, которой грозила опасность, ждал военачальник, ждал предатель, притаившийся в лесной засаде, ждал связанный друг, печально глядя, как язычок пламени бежит по фитилю к бочонку с порохом. Бег пламени, отчаянная борьба девственницы с насильником, скачка героя по степи, перекрестное мелькание всех этих образов, вся эта гонка и откуда-то из преисподней стремительная мелодия «Скачки в пропасть» — оркестрового отрывка из «Осуждения Фауста» в переложении для фортепиано, — все это сливалось в одно — судьбу. Герой соскакивал с коня, гасил фитиль, предатель бросался на него, начинался поединок на ножах; но даже сами случайности этого поединка неукоснительно подчинялись развитию музыкальной гемы — это были лжеслучайности, за которыми явственно ощущался всемирный порядок. Вот здорово было, когда последний удар ножа совпадал с последним аккордом! Я был на седьмом небе, я нашел мир, в котором хотел бы жить, я приближался к абсолюту. И как было обидно, когда вспыхивал свет! Я исходил любовью к этим героям, а они скрывались, унося свой мир с собой; я чувствовал их победу каждой порой, и все же это была их победа, а не моя — на улице я вновь обретал свою неприкаянность.

Я решил отказаться от слова и жить в музыке. Эта возможность представлялась мне каждый вечер около пяти. У деда в эти часы были занятия в институте, бабушка читала в своей комнате роман графини Жип, мать, накормив меня полдником, распорядившись насчет обеда и дав последние наставления служанке, садилась за рояль и играла баллады Шопена, сонату Шумана, симфонические вариации Франка, а иногда, по моей просьбе, «Фингалову пещеру». Я проскальзывал в кабинет деда. Смеркалось, на рояле горели две свечи. Полумрак был мне на руку, я вооружался дедовой линейкой — это была моя рапира, его разрезным ножом — моим кинжалом, и мгновенно превращался в плоскостное изображение мушкетера. Иногда вдохновение нисходило не сразу: чтобы выиграть время, я, знаменитый дуэлянт, решал, что некая важная причина заставляет меня хранить инкогнито. Мне приходилось получать удары, не отмытая, и, призвав на помощь все свое мужество, прикидываться трусом. Я слонялся по комнате, волоча ноги, понурив голову и глядя исподлобья; время от времени я вздрагивал, изображая таким образом, что получил пощечину или пинок в зад, но я и не думал давать сдачи — я запоминал имя обидчика. Наконец лошадинная доза музыки начинала оказывать свое действие. Словно шаманский барабан, рояль навязывал мне свой ритм. Фантазия-экспромт вытесняла мою душу, вселялась в меня, одаривая таинственным про-

шлым и головокружительным, смертельно опасным будущим: я был одержим, бес, завладевший мной, сотрясал меня, как сливовое деревцо. В седло! Я был конем и прериям, по кабинету деда от дверей к окнам. «Ты слишком шумишь, соседи будут жаловаться»,— говорила, не переставая играть, Анн-Мари. Я не отвечал, поскольку был нем. Вот передо мной герцог, я соскакиваю с коня; беззвучно шевеля губами, даю ему понять, что он ублюдок. Он бросает против меня своих рейтаров, но моя шпага ограждает меня, как крепость. Время от времени я пронзаю очередную грудь и тут же, повернувшись на сто восемьдесят градусов, превращаюсь в зарубленного наемника, падаю и умираю на ковре. Потом, под шумок выбираясь из трупа, встаю и возвращаюсь к своей роли странствующего рыцаря. Я играл все роли сразу: рыцарь, я даю пощечину герцогу — поворачиваюсь кругом и — герцог, получаю пощечину. Однако я не любил долго оставаться в шкуре злодея, мне не терпелось вернуться к героической заглавной роли, к самому себе. Не ведая поражений, я одолевал всех. Но, так же как и в ночных моих приключениях, я откладывал свое торжество в долгий ящик из страха перед неприкаянностью, которую оно потянет за собой.

Я защищаю юную графиню от посягательств родного брата короля, Ну и резня! Но вот мать перевернула ноты: аллегро сменилось лирическим адажио, я наскоро заканчиваю кровопролитие и улыбаюсь своей подопечной. Она меня любит, об этом свидетельствует музыка. Я тоже, как видно, ее люблю: в моей груди рождается влюбленное, томное сердце. Что делают, когда любят? Я беру ее за руку, гуляю с ней по лугу, но этого явно недостаточно. Приходится спешно прибегать к наемникам и проходимцам, они выводят меня из затруднительного положения — бросаются на нас — сто против одного; девяносто головорезов я убиваю, оставшиеся десять похищают графиню.

Самая пора вступить в мрачную полосу моей жизни — женщина, которая меня любит, в плену, вся королевская полиция преследует меня по пятам, я вне закона, я гоним, я отвержен, у меня не осталось ничего, кроме незапятнанной совести и шпаги. С несчастным видом я меряю шагами кабинет, впитывая в себя страстную печаль Шопена. Иногда я наспех перелистываю свою жизнь, забегая года на два-три вперед, чтобы увериться, что все кончится хорошо — мне вернут мои титулы, поместья, мою невесту, почти столь же непорочную, и король будет прощать у меня прощения. Но тут же, одним махом перескочив на два-три года назад, я опять впадаю в ничтожество. Я обожал эту минуту. Вымысел сливался с действительностью: несчастный скиталец, странствующий в поисках справедливости, как двойник походил на неприкаянного, тяготящегося самим собой ребенка — в поисках права на существование, он под музыку слонялся по кабинету деда. Не выходя из роли, я пользовался этим сходством, чтобы сплавить воедино наши судьбы: уверенный в конечной победе, я усматривал в своих злоключениях кратчайший путь к ней; сквозь нынешнее прозябание я провидел грядущую славу, ради нее-то и надо было пройти сквозь горнило бед. Соната Шумана окончательно укрепляла меня в этой уверенности: я был отчаявшаяся божья тварь и я же был господь-бог, от сотворения мира спасший ее. Как приятно впадать в безнадежное отчаяние — это дает право дуться на весь мир. Сытый по горло слишком легким успехом, я вкушал прелесть меланхолии, терпкую сладость обид. Предмет нежнейших забот, пресыщенный, лишенный желаний, я окунался в воображаемые страдания: восемь лет благополучия привили мне вкус к мученичеству. Моих повседневных судей, чрезмерно ко мне расположенных, я заменял неумолимым трибуналом, готовым осудить меня, не выслушав: у него-то

я и хотел вырвать оправдательный приговор, почет, лавровый венец. Двадцать раз я самозабвенно перечитывал историю Гризельды¹; однако сам я страдать не любил, и первые мои желания отличались жестокостью: защитник бесчисленных принцесс без стеснения воображал, как порет маленькую соседку по дому. В истории Гризельды, отнюдь не похвальной, меня привлекал садизм пострадавшей и ее неколебимая добродетель, которая в конце концов бросает палача-мужа к ногам его жертвы. Вот в этом-то и состояла моя заветная мечта: поставить судьей на колени, заставить воздать мне почести и тем самым покарать их за предвзятость. Но я каждый день откладывал вынесение оправдательного приговора. Герой завтрашней победы, я изнывал в ожидании триумфа и неизменно от него увивался.

Мне кажется, что в этой двойной меланхолии, неподдельной и наигранной, выразилось мое разочарование: мои подвиги, нанизанные один на другой, были цепью случайностей. Когда замирали последние аккорды Фантазии-экспромта, я вновь возвращался к лишенному прошлого летосчислению сирот, которым не хватает отцов, и странствующих рыцарей, которым не хватает сирот. Что герой, что школьник, я оставался в замкнутом кругу одних и тех же подвигов, одних и тех же диктовок, я бился о стенку своей тюрьмы — повторения. Но ведь все-таки будущее существовало — мне это открыл кинематограф. Я мечтал иметь свое жизненное назначение. В конце концов упрямая безответность Гризельды мне надоела: сколько я ни откладывал на неопределенный срок историческую минуту моего торжества, мне не удавалось превратить ее в подлинную будущность — она оставалась отсрочкой настоящего.

Именно в это время — не то в 1912, не то в 1913 году — я прочитал «Мишеля Строгова»². Я плакал от радости: вот это судьба! Офицеру Строгову не пришлось ждать милости разбойников, чтобы проявить свою доблесть. Приказ свыше извлек его из безвестности, вся его жизнь была повиновением этому приказу, и он умирал в минуту торжества, ибо слава была его смертью: переворачивалась последняя страница книги — и за живым Мишелем захлопывалась дверь маленького склепа с золотым обрезом. Ни тени сомнения: его бытие было оправдано с первой минуты. Никаких случайностей: правда, он непрерывно перемещался в пространстве, но соображения государственной важности, мужество героя, бдительность врагов, природные условия данной местности, сродства сообщения, десятки других факторов — все заранее известные — позволяли в любую минуту определить его местопребывание на карте. Ни единого намека на повторение: все менялось. Мишелю самому приходилось все время меняться, его предназначение указывало ему дорогу, у него была путеводная звезда. Три месяца спустя я перечитал роман с тем же восторгом: самого Мишеля я не любил, для меня он был слишком благонаравен — я завидовал его судьбе. Меня восхищал христианин, скрытый в нем, — мне им стать не дали. Самодержец всероссийский был богом-отцом. На Мишеля, особым приказом извлеченного из небытия, как на всякую божью тварь, была возложена ответственная и неповторимая миссия. Он прошел по нашей юдоли скорби, отменяя соблазны и преодолевая препятствия, вкусив мученичества и удостоившись помощи свыше³. Он славил своего создателя и, доведя дело до

¹ Г р и з е л ь д а — героиня французской легенды, символ любви, пронесенной через все испытания.

² М и ш е л ь С т р о г о в — герой одноименного романа Жюль Верна, верный слуга царя, готовый жертвовать жизнью, если ему прикажут.

³ Его спасла чудотворная слеза. (Прим. автора.)

победного конца, вступил в бессмертие. Книга эта стала для меня отравой — выходит, на свете есть избранники? Высочайшая необходимость прокладывает им путь. Святость мне претила — в Мишеле Строгове она привлекла меня только потому, что прикинулась героизмом.

Тем не менее я разыгрывал свои прежние пантомимы, а идея миссии висела в воздухе бестелесным призраком, который мне не удавалось облечь плотью, но от которого я не мог отделаться. Нечего и говорить, что мои статисты, короли Франции, готовые к услугам, ждали только моего знака, чтобы в свою очередь потребовать услуг от меня. Но я медлил. Если ты рискуешь жизнью из верноподданнических чувств, причем здесь великодушие? Марсель Дюно, боксер со стальными кулаками, каждую неделю приводил меня в восторг, походя совершая подвиги, которые выходили за рамки его обязанностей. А Мишель Строгов, ослепший, покрытый славными ранами, всего лишь выполнял свой долг. Я восхищался его мужеством и осуждал его смирение: выше этого храбреца было только небо, зачем же он клонил голову перед царем? Царю бы целовать землю под ногами Мишеля. Но, не признав чьего-то превосходства над собой, где взять путевку в жизнь? Это противоречие загоняло меня в тупик. Иногда я пытался обойти препятствие: до меня, безвестного ребенка, доходили слухи об опасной миссии. Я бросался к ногам короля, умоляя мне ее доверить. Он отказывал: я слишком молод, задача слишком трудна. Тогда, встав с колен, я вызывал на дуэль и одного за другим побеждал всех его военачальников. Король сдавался: «Ну что ж, раз ты этого хочешь, ступай!» Но моя уловка меня не успокаивала, я понимал, что сам навязываю себя. Вдобавок коронованные болванчики внушали мне отвращение — я был санкюлот, царевубийца, дед настроил меня против всех тиранов вообще, будь то Людовик XVI или Баденге¹. И главное, я каждое утро проглатывал в «Ле матен» очередной отрывок из романа Мишеля Зевако. Этот ловкий подражатель Гюго изобрел республиканский вариант романа плаща и шпаги. Его герои представляли народ, они создавали и крушили империи, с XIV века предсказывали французскую революцию, по доброте душевной защищали малолетних и безумных королей от их министров, били по морде королей-злодеев. Властителем моих дум стал самый великий из этих героев — Пардальян. Сколько раз, бывало, подражая ему, я петушился, важно расставив свои тонкие ножки, и раздавал пощечины Генриху III и Людовику XIII. Как же я мог после этого повиноваться их приказам? Короче говоря, мне не удавалось ни извлечь из самого себя мандат, который оправдал бы мое существование на сей земле, ни признать за кем-нибудь другим право мне его выдать. Я снова седлал своего коня, нехотя изнывал в сраженьях: рассеянный убийца, ленивый великомученик, я оставался Гризельдой за неимением царя, бога или самого обыкновенного отца.

Я вел двойную жизнь, в равной мере фальшивую: на людях я был паяцем — пресловутый внук знаменитого Шарля Швейцера; наедине с собой я погрязал в воображаемых обидах. Мнимую славу я уравновешивал мнимой безвестностью. Мне ничего не стоило перейти от одной роли к другой. В ту минуту, когда я собирался поразить врага, в замке поворачивался ключ, руки матери, словно парализованные, застывали на клавишах, я клал линейку в шкаф и повисал на шее деда. Я пододвигал ему кресло, подавал шлепанцы на меху и расспрашивал о том, что произошло за день в институте, называя по имени всех его учеников. Как бы я ни был увлечен своими вымыслами, нечего было опасать-

¹ Баденге — презрительное прозвище Наполеона III.

ся, что я потеряю голову. Мне грозило другое: действительностью моего «я» могло навсегда остаться чередование обманов.

Но была и другая действительность: на площадках Люксембургского сада играли дети, я подходил ближе к ним, они пробегали в двух шагах, не замечая меня; я смотрел на них глазами нищего: сколько в них было силы и ловкости, как они были прекрасны. В присутствии этих героев из плоти и крови я терял свой «ум не по годам», свои универсальные познания, атлетическую мускулатуру и сноровку опытного дуэлянта. Прислонившись к дереву, я ждал. По первому бесцеремонному оклику главаря их ватаги: «Иди сюда, Пардальян, ты будешь пленником», я отказался бы от всех своих привилегий. Меня осчастливила бы даже роль статиста, я с восторгом согласился бы играть раненого на носилках, даже труп. Но мне эгого не предложили: я встретил своих истинных судей — сверстников и ровней, — и их равнодушие вынесло мне обвинительный приговор. Я не мог опомниться, увидев себя их глазами: не чудо природы, не медуза, а просто никому не интересный замухрышка. Моя мать не могла скрыть негодования: эта рослая красавица легко мирилась с тем, что я коротыш. Она считала это вполне естественным: Швейцеры крупные, Сартры маленькие. Я пошел в отца, что тут особенного. Ей даже нравилось, что я и в восемь лет остался портативным и удобным в пользовании: мой карманный формат сходил в ее глазах за продленное младенчество. Но когда она видела, что никто не приглашает меня играть, любовь подсказывала ей, что я могу вообразить, будто я карлик — хотя я все-таки не карлик, — и буду страдать. Желая спасти меня от отчаяния, она с напускным раздражением говорила: «Чего ты ждешь, дуралей? Скажи, что ты хочешь поиграть с ними». Я мотал головой: я принял бы самые унижительные поручения, но гордость мешала мне их выпрашивать. Мать предлагала мне: «Хочешь, я поговорю с их мамами?» Мама сидели с вязаньем в садовых креслах. Но я умолял ее не делать этого; она брала меня за руку, и мы брели от дерева к дереву, от одной кучки детей к другой, неизменные просители, неизменно отверженные. В сумерках я вновь обретал свой насест, горные высоты, где парил дух, мои грезы; за свои неудачи я вознаграждал себя дюжиной детских пророчеств и убийством сотни наемников. И все-таки что-то у меня не клеилось.

Спас меня дед: сам того не желая, он толкнул меня на стезю нового обмана, который перевернул мою жизнь.

Перевела с французского Ю. Яхнина.

(Окончание следует)



* * *

Не вдруг нальется вишня соком,
Пыльцой задымится рожь.
Но вдруг поймешь, как недалеко,
Как рядом дышишь и живешь

Вот с этим полем, с этой рожью,
И с птицей, что летит, трубя,
И с человеком, не похожим
И так похожим на тебя.

И отодвинется, затихнет
Боль мелких городских обид.
Иной заботой сердце вспыхнет
И жарко душу опалит.

И приютит и обогреет
Чужая душная изба.
И станет собственной, твоею
С твоей несхожая судьба.

Ленинград.



ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ

★

СОСНА

Еще не понимая, что к чему.
Сосна стояла прямо. Вся в дыму
Снежинок мелких. И была такой,
Как будто вечен для нее покой,
Как будто в небе у нее дела.
Она весну двухсотую ждала.
Не слышала зеленая хвоя,
Что у пилы нагрелись остря,
Что белый снег стал весь в опилках,
Желт...
Но вот она узнала:
Ствол тяжел,
Не так устойчив и не так упруг...
И тишина ее пронзила вдруг.
Такая тишина, что не дыши,
Ни на земле, ни в небе ни души —
Безвременья пустынная пора.
И только гулкий голос топора.
И только дрожь иголок и ствола.
Сосна ветвями тихо повела,
И сразу,
Как от выстрела в висок,
Рванулось небо вверх,
Наискосок.

* * *

Последнего тумана клочья.
Дымок, над трубами стоящий.
Не лес, а ярмарка сорочья.
Не дом, а деревянный ящик.

Река очистилась от ряби.
И омут словно салом смазан.

Смерзаются земные хляби.
Небесным — путь уже заказан.

Ночами ветер. Разоренье.
И не горят огни — маячат.
А по утрам яснее зренья
И все иначе, все иначе:
Вещам совсем иная мера.
И кажется, толкнешь тугие
Ворота — и другая эра,
И мир другой,
И мы другие.

Ленинград.



Ю. КРЕЛИН

★

СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

(Записки хирурга)

Гусев

— **К**уда же еще его резать! Ведь ничего не осталось в нем. Пришел к вам в больницу, как граф. На своих ногах! А теперь?!. Говорила ему — не надо давать им резать. Нет, захотелось ему язву вырезать. Один раз делали, второй раз делали, сейчас опять. Сразу надо хорошо делать! Значит, плохо сделали.

Глаза горят. Не горестно — недобро горят. А собственно, чего им добро гореть? Не имел я права даже в мыслях обижаться. Но все ж отметил — больше в ней злобности какой-то, чем горечи. Злиться вообще легче, чем горевать. Часто люди ищут какую-нибудь возможность заменить горе злобой. Особенно слабые люди. Чистое горе — удел сильных.

Впрочем... да ведь и я хорош — обижаюсь.

Гусев действительно пришел в больницу на своих ногах. Двадцать лет язва. Двадцать лет раз в неделю обязательно сильные боли. Как выпьет — так болит. Он двадцать лет терпел. Молодой еще. Ему пятьдесят три года. Жить бы ему и жить. Может, действительно я зря уговорил его на операцию?

...В операционной все привычно, спокойно. Все на местах. Игорь, Таня начинают наркоз. Чего же больному-то волноваться? Впрочем, чего мне волноваться? Ему что Игорь, что Таня. Для него же это — операция!

Вскрыли живот. Сколько спаек! Двадцать лет болей! Каждая боль — воспаление. Каждый раз новая спайка.

Два с половиной часа я делал эту операцию. Тяжело она досталась нам с Гусевым. Впрочем, он был под наркозом.

Но все было хорошо.

Гусев поправлялся. Стал ходить. Он легко перенес эту операцию.

На девятый день после операции я не был в больнице. Пошел со студентами на строительство общежития. Звоню в отделение.

У Гусева непроходимость.

Далась мне эта стройка. От лопаты руки гудят. Где же тут такси? Пропади оно пропадом.

Гусев лежит уже похудевший. Сразу осунулся. Четыре раза была рвота. Неужели я что-то сделал не так?

Что там может быть...

Соскользнула брыжейка с желудка — ущемила кишку? Нет. По рентгену не похоже. Барий дальше бы не пошел. Что же там может быть?

— Иван Михайлович! Как чувствуешь себя? Больно?

— Болит. Да как-то не все время. Приступами. То ничего, то как раз, раз. Забурлит — и больно. Хоть криком кричи.

Он и кричал криком. Непроходимость. Боль адова.

— Когда началось-то?

— Вчера часов в десять вечера. Жив-то я буду?

— Конечно. Иначе зачем операцию делать. Не волнуйся, Иван Михайлович. Все будет в самом лучшем виде.

Помню его тревогу. Выражение глаз помню. А сами глаза, лицо вспомнить не могу.

Что же делать? Второй раз операция — это тяжело. Да и что там такое? Не повезло как. Может, еще раз промыть желудок?

— Анна Ивановна, давайте зонд — желудок промывать будем. Потом возьмите лейкоцитоз. Бежать-то не надо. Мы еще сегодня набегаемся.

Бедная Анна Ивановна!.. Сколько она тратит сил на каждого. Сегодня с утра она почти все время с Гусевым. Не удивительно, что ее не любят больные. «Ее не дозовешься. Ее никогда нет на месте, на посту. Я целый день прошу таблетку от головной боли». И так далее... Это все справедливо. Но разве объяснишь больному человеку, что есть кто-то еще больней. Что Анна Ивановна каждый раз вся целиком уходит в этого одного, самого тяжелого. Нет ее на посту! Да она все время делает что-то для самого тяжелого. Конечно, она плохая сестра. Хорошая сестра должна успеть всем помочь. Или как любят говорить — обслужить.

Ненавижу это понятие. Врач, сестра — обслуживают. Осмотреть, поставить диагноз, сделать операцию, сидеть около больного, просто поглаживать по голове — все обслуживание. Если можно обслужить — можно и заказать. Как в ресторане или в парикмахерской.

Гусев для меня кто? Потребитель или клиент? Я его обслуживаю. Анна Ивановна не успевает всех обслужить. Одного Гусева.

Вены у него совсем спались. Никак не удается попасть иглой в них. Уже мы все пробовали. Анна Ивановна — еще раз. Попала! И вовсе она не лучше всех попадает в вену. А вот тяжелому больному почти всегда попадет.

Все вздохнули с облегчением. Как будто это и есть решение тяжелой проблемы — Гусев. Как будто все уже пошло на лад.

Но Гусеву не лучше! Мы ведь себя обманываем. Мы просто не можем решиться на повторную операцию. Смелости не хватает. Боимся. Надо оперировать, а мы вокруг ходим.

Трудно решиться.

Опять рвота. Живот растет.

— Иван Михайлович, больно? Может, легче? Иван Михайлович, надо операцию делать. Все будет хорошо. Клянусь. Ты мне веришь, Иван Михайлович? Ну, так я ручаюсь.

Все будет хорошо! Если бы я был так уверен.

(«Ведь ничего в нем не осталось! Он пришел к вам, как граф!»)

Опять операционная. Все привычно, спокойно. Игорь, Таня на месте. Дают наркоз. Что же волноваться?

Что мне Игорь, что Таня — началась вторая операция! Сейчас разрез, и... что там окажется?

Нож. Кровотечение останавливают.

— Давай зажим.

— Ладно! Остальное потом. Посмотрим, что там.

— Кишки раздуты. Выпота нет. Гноя нет.

Значит, анастомоз цел — шито хорошо. Уже легче дышится.

— Смотри, а здесь кишки спавшиеся. Где-то препятствие. Давай вытаскивай их. Вот! Видал! Спайка! Перетягивает кишку...

Спайка пересечена, и... все стало на свои места.

Хорошо-то как!

— Давай зашивать быстрее. Это и ему легче. Он сейчас быстро выйдет из этого состояния. Гусев — молодец. С первой операцией все в порядке, все правильно сделано.

И в первый раз хорошо, и сейчас.

— Как он там у вас? Как давление, пульс? Порядок!

Есть что-то в хирургии от благородного детектива и благородного спорта. Ты себя чувствуешь героем. На тебя все смотрят, ждут. Аплодисменты внутри. Операция тебя подстегивает, вырастаешь в собственных глазах. Все хорошо. Со смертью-то побороться приятно. Пусть на тебя жалуются. Ну и что ж, что в больницах забывают про хорошее и помнят про плохое. Естественно — в больницу и не должны стремиться. Во-первых, плохое больше запоминается. А во-вторых, самое хорошее в больнице — все равно плохое. Почему больному должно быть дело до творчества врача? А вот если ему было больно — это для него важно, и этим он, конечно, недоволен. Если у него плохо заживает, да еще, не дай бог, нагноение — тем более: у него уже появилось моральное право писать жалобу. Ужасны эти жалобы на врачей и сестер.

Помню жалобу в роддоме на врача, которая не помогала роженице, а платочки в тазу стирала. А врач просто руки мыла в тазиках для этих же родов. Руки-то моют в тазиках салфетками. Но откуда всем знать это. Жалобнице было больно и было обидно, что врач не помогает ей. Врач-то ей помогла... Но на жалобу отвечать пришлось.

Ерунда, пускай ругают — плевать. Впрочем, не всегда.

Гусев будет жить.

Нет, меня не ждите, ребята. Сегодня я уйду не скоро. Я еще посижу. Послежу.

Как-то он будет после операции. Впрочем, почти наверняка уже все в порядке.

— Анна Ивановна, можете брать его в палату.

Второй раз его повезли по этому пути.

Сигареты еще есть. Бензин кончается. Ничего, в палато есть спички.

— Слушай, а кого завтра на операцию назначим? Давай Ваймана. Он ведь полностью обследован. Просит быстрее его оперировать. А Алданов остается тяжелым. Ему желудок промыли? И пусть зонд не удаляют. Ну, я пошел в ординаторскую.

Анны Ивановны опять нет на месте. Она наверняка не отходит от Гусева. Ничего, на нее опять жалобу напишут. Соберется комиссия, будут обсуждать, зачитывать решения на утренней пятиминутке.

Зато за Гусева я спокойнее, если она в отделении.

Собственно, сейчас-то на нее не пожалуются. Ее рабочее время кончилось. Она у Гусева за счет своего времени. Другая сестра пришла на ее пост. Все в порядке.

— Иван Михайлович! Иван Михайлович! Откройте глаза. Ну, как дела? Не больно? Немного. Это ничего... Скоро совсем хорошо будет.

Все-таки глупо терзать больного после операции. А мы обязательно требуем какое-то слово в ответ. Хотя очень важно для нас голос услышать, слово живое — сразу легче.

Пойду писать операцию.

— Давай. Лев, сразу и в историю болезни, и в журнал. В четыре руки, а то долго будет.

Погода хорошая, теплая, снежок прошел. Погулять бы... Интересно, ребята не разбежались со стройки раньше времени? Подведут еще,

черти. Иди тогда объясняйся в дирекции, или, как теперь говорят, в ректорате.

Вот! Легки на помине. Там все в порядке? Ушли вовремя? Лопаты сдали? Не подвели, в общем?

— Большой ничего, спасибо. Да вы пойдите к нему.

— Подежурить? Конечно, можно. Идите в приемный покой, там всегда есть работа. Сейчас полон приемный пьяных. У кого голова разбита, у кого из носа кровь, кто вообще блажит, не поймешь, что с ним. На днях привезли одного пьяного, так он ножом пырнул санитаря-студента и одного постороннего человека, сопровождавшего больную. На них столько сил все тратят. Убери их. Зашей раны. Да еще уговорить их надо. В вытрезвителе с них хоть деньги берут. Короче говоря, пойдите повоюйте с ними, это будет большая помощь дежурным.

— У Гусева? Конечно, тоже можно подежурить. Даже хорошо будет. По одному посидите около него. За это вам большое спасибо.

— Нет, я не дежурю. Это я из-за Гусева задержался. Наверное, скоро смогу уйти.

— Ну давай писать: «Иссечен старый рубец. Вскрыта брюшная полость. К ране предлежат раздутые петли тонкого кишечника. При ревизии области первой операции отклонений от обычного течения не обнаружено. В восьмидесяти сантиметрах от Трейцевой связки обнаружена спайка, образовавшая двустволку. Ниже петли кишечника спавшиеся. Спайка пересечена...»

Давно пора магнитофон завести. Продиктовал — и все, а то пиши в историю болезней, потом в журнал. Хорошо еще мы в четыре руки пишем.

— Иван Михайлович! Как дела?

Пульс хороший. Давление: манжетка на руке крутится — похудел. 100, 120, 130, 140. Хватит. Отпускаю. 110. Тук-тук... тук. 70. 110/70. Хорошее давление. Все в порядке.

— Анна Ивановна ушла?

— Ну, как дежурится? Пока ничего? Много пьяниц валяется? Надо, как в вытрезвителе, брать с них деньги. Можно было бы белья для больницы купить, инструменты обновлять чаще. Лампы новые в четвертой операционной поставить. Последите за Гусевым. Я попозже позвоню вам. Ну, будьте здоровы.

Какой смысл ходить в халатах, если они все равно висят вместе с пальто, рядом, — дикость какая-то. Да и вообще толку от них чуть. Разве что символ.

На улице-то как темно. Трамвай! Догоню. Ноги, как ватные. И снег, как вата. Стоит ли бежать... Неохота. Поплетусь так... Что-то размяк я совсем. Быстрей бы до дому добраться. Вон еще трамвай. Все ж побегу. Потом жди его. Оп! Успел!

— Анна Ивановна! Вы только сейчас едете? Зачем вы столько газет накопили?

Ах да, я и забыл. На днях Анна Ивановна сказала мне:

— Уже второй за этот год с объявлением в газетах.

— Что с объявлением?

— Садиков, помните, рак желудка. Умер...

— Ну?

— В газетах есть. В «Московской правде». Он, оказывается, персональный пенсионер. Член партии с тысяча девятьсот пятнадцатого года. В этом году только двое было с объявлением...

— Ну и что?

— А я их собираю. Все объявления и некрологи о наших больных. В этом году только два. Но зато когда умер Солдатский, художник, мно-

го было объявлений. И некрологов и воспоминаний — во всех газетах. Целую тетрадь набрала. Они у меня все отдельно разложены.

У нее особая классификация. Умершие после тяжелой и продолжительной болезни, после тяжелой и непродолжительной болезни, безвременно скончавшиеся. Вот скорпостижно скончавшихся у нас в хирургии не бывает. Зато попадаютя погибшие при исполнении служебных обязанностей. Это травма.

— В этом году их, слава богу, мало. Но вот Солдатский очень много материала дал.

Я тогда обалдел даже. Анна Ивановна столько сил отдала Солдатскому. Две недели она не отходила от него, похудела за это время, высохла. Буквально уползала домой от усталости. Один раз ей даже плохо стало — побледнела, покрылась холодным потом. Мы ее еле домой прогнали.

Неужели она с таким же упорством искала потом все газеты, с каким выхаживала его, абсолютно безнадежного больного? Там был запущенный рак.

Анна Ивановна живет одна. У нее нет семьи. Бог знает, как случилось, что она осталась одна. Она еще молодая, ей около тридцати пяти лет. У нее приятная внешность. Может, война? Может, объявление в газете? Безвременно скончался... Или даже то, что не бывает в хирургическом отделении: скорпостижно скончался.

Завтра она опять будет весь день у Гусева. А девочки с соседних постов будут доделывать ее работу у других больных. Ну и пусть. Зато за Гусева я буду спокоен: Анна Ивановна дежурит. А если опять будет жалоба, я ей ничем не смогу помочь. Формально, да и по существу жалобщики будут правы.

Администрация сурова: «Ты должна обслужить третью, четвертую и пятую палаты, а не одного Гусева».

Но все-таки за Гусева я (и администрация) буду спокойнее.

Все это было давно.

А сегодня:

— Чего же в третий раз резать. Сразу надо было хорошо делать.

Прошло полтора месяца. Гусев был бы уже дома. Началось воспаление легких.

А теперь вдруг ночью с 31 декабря на 1 января — кровотечение. Желудочное кровотечение. Откуда оно? Через полтора месяца. Результат операции? Не может быть. Поздно. Ничего не понимаю.

Резекция технически тяжелая.

Непроходимость кишечника — опять операция.

Тромбофлебит... Воспаление легких... И еще желудочное кровотечение.

А теперь еще его жена на меня все это выливает. Ну что я ей могу сказать? Что ответить?

Больные говорят: «Доктор, тридцать первого она ему принесла четвертинку водки. Они смешали с красным вином и вдвоем выпили. Он потом закусил кислой капустой и еще чем-то».

Не буду же я ей теперь говорить об этом. Она и не думает об этом. А для него это была ужасная пьянка. Ладно, водка... Но закуска — капуста кислая и еще что-то... После двух операций. Внутри, в желудке, еще нет полного заживления. Да еще воспаление легких, тромбофлебит.

Раньше Гусев пил много. А тут сущие пустяки. Ей и невдомек, что это для него. Она и особого внимания не обратила.

В гневе своем она твердо уверена — операция была сделана неправильно и плохо. Иначе не бывает.

Скажи ей — не поймет.

Да и я не уверен, что кровотечение — результат водки и закуски.

А Гусев? Наверно, умрет. Кровотечение ужасное. Откуда столько крови берется.

Скажи ей — этим не поможешь. Он умрет, а она останется жить с сознанием — убила мужа. Легче ей жить будет с сознанием — врачи виноваты, неправильно операцию сделали. Врачи виноваты — так легче. Чего уж сейчас считается.

Что я ей скажу и зачем? Пусть кричит.

— Ничего в нем не осталось! Куда же ему третью операцию! Не даю я своего согласия! Идите и уговаривайте, если хотите!

Он может умереть. Как можно позволить себе уговаривать его без ее согласия?

— Поймите же! Он ведь умирает. Наверняка умрет без операции. Он и с операцией может умереть. Но это дает хоть какой-то шанс. А так? Сто процентов! Нельзя же не попытаться даже!

— Доктор! У Гусева опять кровотечение — рвота с кровью!

— Зарезали! Не надо было делать операцию! Говорила я ему. Говорила. А теперь. Опять рвота. С кровью. Делайте вашу проклятую операцию! Дорезайте!

— Отведите ее в ординаторскую. Он же услышит.

После третьей операции Гусев умер.

Mea culpa ¹

«Заместителю министра здравоохранения СССР по лечебной части».

Жалоба по высшему разряду. Что же случилось? Я недавно видел эту больную. Не могу сказать, что операция была эффективна: ноги болят. Вдруг жалоба. С этими косточками иногда так бывает. Да и вообще операции могут быть неудачны. Операции же! На живом человеке. Если б человек был машиной. Заменить бы винтики или шестеренки, а может, даже сделать капитальный ремонт. Что же случилось?

«В сентябре 1962 года я обратилась к районному врачу по поводу изменений суставов стопы на почве поперечного плоскостопия и подагры».

Ей около шестидесяти лет. Большие пальцы на ногах загибались и даже заходили на вторые пальцы. С боков торчали косточки. Конечно, это больно. Если человеку за пятьдесят. И если думает об операции... Значит, больно. От хорошей жизни операции не хотят. Ни больные, ни врачи. Молодые часто делают для красоты. Как у нас говорится, косметические показания к операции. Для красивых туфель.

«Врач-хирург предложил мне прибегнуть к операции. По ее совету я обратилась к врачу-хирургу...» (Идет мое имя.)

— Доктор, вас вызывает какая-то женщина в посетительскую.

— Кто меня спрашивал?

— Я к вам с запиской от доктора Хлебиной.

«...Если можно, положите эту женщину и, если найдете нужным и возможным, сделайте ей операцию. Заранее благ...»

С этим доктором я работал в самом начале своей хирургической деятельности. Их поликлиника связана с нашей больницей, и после моих операций больные попадали к ней под наблюдение. Это был мой госпартконтроль.

¹ Моя вина (лат.).

— Я поехала в ту больницу, где вы работали раньше. С трудом нашла. Доктор Хлебникова весьма... Я разговаривала с одной больной после вашей операции. Она тоже...

— Надо узнать, можно ли положить из другого района. Оставьте ваше направление. Я узнаю и позвоню вашему доктору.

— Скажите, а есть смысл делать эту операцию? Не вырастут косточки снова?

— Вырасти новые не могут. Убирается головка кости. Она не может вырасти.

— И можно будет покупать любую обувь, не мучаясь на ортопедическом заводе?

— Во всяком случае для этого делают операцию. Ну, а гарантию ведь даже часовщики лишь на год дают.

(Почему-то платье, костюмы заказывают. Шьют по мерке. А обувь в основном покупают готовую. Разумнее делать наоборот. Неподходящая обувь — это ужасно. Ноги болят, и от этого болит все — и поясница и голова. А как портится характер! А платье? Максимум некрасиво. Однако, поди же, делают наоборот.)

Шеф разрешил ее положить.

«...который меня и оперировал 5/Х-62 г.»

Я помню эту операцию.

— Доктор, а не будет больно?

— Это я могу гарантировать: больно быть не должно. Кроме первых уколов.

У моих студентов сегодня операционный день. И эту операцию я делаю и для них. По ходу своих действий — объясняю. Вообще работаю немножко на студентов, на публику. Когда на операции зрители, меня всегда немного приподымает. Мне кажется, при публике, особенно если это студенты, обычно доброжелательно настроенные, я оперирую много лучше. Руки сами ходят. При этом я немного кокетничаю. Но кажется, и это благо. А когда на операции присутствует недоброжелатель... я всей кожей чувствую его колющий глаз. Постепенно мои движения могут становиться все более скованными. Если только я не увлекусь беспредельно. Тогда на все плевать. Вообще это ужасная черта. Но что делать?

А студентов я люблю. Мне кажется, что и они меня любят. Во всяком случае при них я оперирую всегда легко. И с осложнениями справляюсь тоже легко.

— Ой, этот укол болезненный!

— Да, но только этот, первый. Дальше не будет. Сейчас будет распырять. Это тоже неприятно. Но не очень больно. Новокаин вводится сюда. Как раз где проходят магистральные нервы. Все ниже — обезболено. Такая анестезия называется проводниковой. А на пальцах называется по автору, по имени, вернее, по отчеству — анестезия по Оберсту — Лукашевичу. Редкий случай в медицине — два отца. В 1949 году возникла дискуссия: кто первый предложил этот вид анестезии — Оберст или Лукашевич. До сих пор распутаться не можем. Во всяком случае анестезия хорошая и удобная.

Но сюда, в область операции, мы тоже введем новокаин. Здесь обезболивание великолепное. Все манипуляции абсолютно свободны, никакой реакции. Сами видите.

Учтите, все, что мы говорим о предстоящей операции, всегда условно. Нельзя заранее все предусмотреть. К этому можно лишь стремиться. На операции могут быть любые непредвиденные, экстраординарные случаи.

— Разрез делаем выпуклостью кверху. Подальше от того места, где может давить обувь. Вот! Видите, какая разросшаяся кость и торчит в

сторону. По принципу рычага: торчит сюда, на палец давит, а он торчит в ту сторону. Ее надо убрать. Можно спилить, скусить щипцами или срезать таким вот желобоватым долотом. Лучше долотом. Оно создает такую же, как и сустав, полукруглую поверхность. Я не молотком бью. Просто давлю. Срезаю. Это если хватает силы. После дежурства, например, сил у меня не хватило бы. Давайте долото. Фиксирую стопу другой рукой.

(Черт! Хоть и не было дежурства, а с трудом подается. Расхвастался. Нет, пошло. Рука дрожит. Еще немного. Еще чуть-чуть.)

— Аа! Черт возьми!

Долото сорвалось и врезалось в ладонь. Рана глубокая. Полукруглая, как долото.

(Больно-то как! Надо зашивать. Как же я доделаю?)

— Дайте новокаин. Теперь себе заморожу. (Больно.) Вот вам опять местная анестезия. Шелк на игле. Тонкий. (Сам себе зашью. Сейчас с новокаином не больно.) Еще шелк. Четырех швов хватит. Володя, завяжи ты. (А ничего, не больно. Пока анестезия держится, могу закончить операцию. Зачем самому делать? А что ей сказать? Что сорвалось долото. Нет. Чем объясняться, лучше сам доделаю.)

— Дайте новую перчатку. Ну вот и все в порядке. Давайте долото снова... и молоток.

(В конце концов рана только лишь. Ничего особенного. За последнее время три хирурга умерли во время операции. Инфаркт, наверное. Это даже не осознаешь. Напряжение. Концентрация энергии. Скачут мысли. Бесперывные какие-то действия. И вдруг сразу — раз... И нет. Ничего. Такой резкий поворот. Нет, с этой раной можно оперировать. Даже нужно оперировать.)

— Вот видите. Головка кости. Мы можем отдать ее больной. На память. Теперь зашивать. Между пальцами валик надо вставить.

Операция на другой ноге прошла без эксцессов.

После операции тоже все благополучно. На десятый день сняты швы. Раны зажили хорошо. Все три.

«После операции, сделанной крайне небрежно и неумело (по свидетельству врачей), состояние мое резко ухудшилось настолько, что я с трудом хожу. За целый год, который прошел со времени операции, я обращалась к нескольким врачам».

У меня была несколько раз.

— Вы знаете, продолжает болеть. Сейчас, конечно, лучше, чем было сразу после операции. Но мне трудно ходить.

— Покажите ноги. Опухоль спала.

И снова новые назначения. Ванночки, компрессы, лекарства.

— И обязательно носите супинаторы. Если боли будут продолжаться, придите опять.

(Всегда так. Когда делаешь каким-то знакомым. Или того хуже — знакомым знакомых. Соседке шефа делал такую же операцию. Тоже неудачно. Приятельнице своей делал — целый год восстанавливалась. Теперь, правда, все хорошо. Туфли узкие. Шпильки.)

— До свидания. Когда закончите этот курс — покажитесь.

«Я обратилась в платную поликлинику к врачу-консультанту Балуюву, который мне заявил, что операция сделана неграмотно, что снято слишком много, вследствие чего резко укоротились большие пальцы ног. Упор перешел на не приспособленные для этого пальцы, в связи с чем я испытываю сильные боли и потеряна устойчивость».

Помню дискуссию в ортопедическом обществе. Все эти слова говорили противники того метода операции, каким оперирую я. А сторонники этого метода выдвигали другие, не менее сильные аргументы. Спор этот

не разрешен. И та и другая операция дает определенный процент неудач. Много методов лечения — ни одного полноценного.

Зачем этот Балуев посвящал больную в тонкости этой дискуссии? Он, наверное, ударился с ней в научные рассуждения. А каждый слышит лишь то, что хочет услышать.

Больную-то ведь можно понять. Ей плевать на дискуссии, на рассуждения. Она делала операцию, чтобы нога нормальная была. А у нее болит. Она мучается год после операции, ей уже неважно. Она может и вольна для себя делать любые выводы. Неудача-то налицо. Врач должен ей помочь, а не усугублять ее нервное состояние.

«Считаю, что врач не имел права браться за такую серьезную операцию, которую еще не освоил, а тем более давать гарантию в полном излечении, приводя примеры многих удачных операций и ссылаясь на свою диссертацию, которая посвящена этой теме».

— Скажите, доктор, а может, не стоит делать эту операцию? Часты неудачи?

— Безусловно, стоит. Неудачи бывают. Но нельзя же жить, рассчитывая на неудачи. У вас сейчас болит?

— Болит.

— Ну так какой выход? К сожалению, это лечится только операцией.

— Мне говорили, что могут вырасти новые косточки.

— Новые не вырастут. Это можно гарантировать.

— Мне рассказывали, что некоторые месяцами не могут восстановиться после операции.

— Это иногда бывает. У некоторых проходит много времени, прежде чем они приспособятся.

— А много таких операций вами сделано?

— Много.

— А вы видели их после операций?

— Видел. Ведь вас доктор Хлебникова направила — она их больше видит после операций. Она, наверное, говорила вам.

— Она-то говорила. Да ведь боязно решиться на операцию.

— Это конечно. Ну, вы решайте. Если ходить больно, если вы с трудом подбираете обувь — ничего другого не остается.

— А часты неудачи?

— Конечно, бывают. Не очень часто, но бывают.

(Напрасно я столько говорю. Пусть сама решает, а то подумает, что уговариваю. Тут ведь не жизненные показания. Она волнуется, это понятно. Но говорили без толку. Все равно она будет оперироваться, она лишь ждет участливого отношения от меня. Пожалуйста...)

— А когда можно ложиться?

— Пойдите в приемное отделение. Вас там запишут и скажут, когда приходить.

— Ну, спасибо, доктор. Еще одно слово. Скажите, а почему она советовала у вас оперироваться? Вы этим специально занимаетесь?

— Нет. Просто так получилось, что я много делал таких операций. А больные потом попадали в поликлинику к вашему доктору. Это один район. Наверное, она просто видела таких больных больше всего после моих операций.

— Ну, до свидания.

«Прошу вас внимательно отнестись к моему заявлению и постараться, по возможности, помочь мне, назначив авторитетную врачебную комиссию для определения возможности какого-либо радикального лечения, так как если раньше у меня был косметический недостаток ног, то теперь я стала инвалидом в полном смысле этого слова».

И авторитетная комиссия собралась.

Тут и главный хирург города, и известные в городе хирурги, заведующие отделениями, ведущие хирурги больниц, кандидаты, доктора наук.

Это специальная комиссия при главном хирурге города. К сожалению, в основном они разбирают жалобы. Их много, жалоб этих. Раз в неделю комиссия собирается и разбирает, разбирает...

Это заявление на меня — еще разумное. И не лишено оснований: операция оказалась неудачной. А есть ужасный вздор. Но комиссия все равно собирается. Высказываются врачи-ответчики. Заседают, разбирают, пишут объяснения. Так каждую среду. В некоторых больницах вынуждены расписание работы своей так строить, чтобы шеф мог уехать на очередное разбирательство. Ну так в этот день будет меньше операций, ну так не будет в среду обхода...

— Зачитайте жалобу.

Читают.

— К Балуеву попала.

— Обычная история.

Это говорят вперебивку члены авторитетной комиссии.

А дальше все говорят возбужденно и не слушают друг друга.

Балуев принимает в платной поликлинике. Он не только не успокоит больного, он его возбудит. Облает врача. «Да кто же это вам так делал?!» — это его первый и обычный вопрос. После него больные часто пишут нам. Что с этим Балуевым делать? Не знаем. На всех плюет, делает что хочет. Эта манера появилась у многих хирургов — не думают, например, когда говорят: «Еще бы немножко, и было бы поздно!» — это об аппендиците. Говорят иной раз ради красного словца, а потом их коллегам какие-то нелепые неприятности. Это серьезный вопрос такта и внутренней культуры. К этому надо приучать со студенческих лет. Студентов надо не только симптомам научить, но и разумному поведению. Какой этике может научить такой профессор, как Балуев?

Это все выплеснулось из авторитетной комиссии на меня. Наболело. А затем началось разбирательство.

— Сколько вы сделали таких операций?

— Откуда ж так много? Это ваша тема?

— А какая тема вашей научной работы?

— Как вы делаете эту операцию?

— Сколько больной после этого лежит?

— Назначаете ли вы супинаторы?

— Какой вы делаете разрез?

— Какая повязка после операции?

— Какую методику операции вы предпочитаете?

— Какие изменения были на этой операции?

— Покажите историю болезни.

— Покажите снимки.

Вопросы сыпались со всех сторон.

Абсурдность этого обсуждения в том, что комиссия не может предложить радикального лечения. К сожалению, она может только определить виновность и степень наказания. А для лечения бывает вынуждена направить в специализированное учреждение. И на комиссию может быть жалоба.

А затем сообща стали составлять ответ на заявление. Я для этого не нужен.

Все-таки мне сказали, что я излишне самоуверен. Что кое в чем не разбираюсь.

— Это ведь одна пожаловалась. А, может быть, есть многие, которые страдают и молчат. Не знают, что можно жаловаться.

— А вообще мы к вам не имеем претензий, коллега. Однако есть спорные вопросы: и вообще в этой операции, и в вашем отношении к целому ряду моментов.

У членов авторитетной комиссии загораются глаза. Сейчас они с удовольствием начнут спорить, и каждый будет доказывать преимущество той методики, которой придерживается он. Начинается разговор по существу. Но он сразу обрывается: ведь они должны решать, виновен или не виновен, наказать или не наказать. Впереди еще несколько жалоб. Могут не успеть.

А я бы с ними с удовольствием поговорил бы как раз по существу. «Считаю необходимым принять меры к ограждению других больных от подобных врачей, калечащих людей».

И подпись. И дата.

А все же что делать с больной? Ноги-то у нее болят.

Риск

— Ну, а теперь что?

— Теперь жду, что будет дальше. Не выхожу из отделения.

— Ну, ты даешь! Шеф-то как?

— Стараюсь на глаза не попадаться.

Громадный, неправдоподобный рост. Такой большой человек должен быть только хорошим. Если при таких размерах да еще быть плохим — было бы нечто фантастически ужасное. У него хорошая, умная голова. И какие умные руки!.. Хотя я очень не люблю этот шаблонный эпитет для рук хирурга. Я всегда получаю удовольствие, глядя, как он оперирует. Богом данный хирург... Такие, наверное, редко рождаются.

На третьем курсе он ловил на улице беспризорных собак и устраивал из профессорской (папиной) квартиры и экспериментальную операционную, и виварий. Собаке делал морфий (вначале он не знал, что собак после этого надо прогуливать), и она лежала привязанная к столу и била хвостом по собственным испражнениям. И все летело на профессорские стены. Учился давать наркоз, учился оперировать.

После института, где-то на селе, он уже оперировал. Попробуй заставь такого писать подробные, как у нас говорят — «для прокурора», истории болезни. Он, конечно, до сих пор пишет истории болезни так, что показать их начальству или студентам невозможно. Он просто Большой Хирург.

Теперь он мучается. Больной семьдесят пять лет. При таком возрасте решиться на операцию вообще трудно. А когда он увидел опухоль, занимающую весь желудок, стало ясно — оперировать нельзя. Все равно, что стрелять в лоб. Что делать? Но ведь может быть при выстреле осечка.

Оперировать — почти наверняка убьешь.

Не оперировать — наверняка сама умрет, но... потом.

Своими руками убить или приговорить. Что выбрать?

А все-таки оперировать — использовать оставшиеся полшанса. А вдруг выживет сейчас — и будет жить потом. Но может ли хирург, оперируя, рассчитывать на «вдруг»?

Не имеет права!

Скорее всего, она эту операцию не выдержит. Удалять весь желудок да еще селезенку, сшивать кишку с пищеводом. Семьдесят пять лет!

Кто нам, хирургам, дал право лишать человека последних трех—

шести или, бог знает, сколько там месяцев. Мало ли зачем человеку они понадобятся. Ведь последние!

Пойти на эту операцию — пойти почти на сознательное убийство.

Но не использовать хоть такусенький шанс!

И вот реши за несколько минут жизнь чужого когда-то тебе человека. (Час тому назад она была ему совсем чужой.) Но поддайся жалости к больному во время операции... И ничего для него никогда не сделаешь. Жалость лишь туманит глаза врача.

Решив, что оперировать эту больную, удалять ей весь желудок невероятно опасно, он все же произвел радикальную операцию.

Жадов всегда шел на риск, если был хоть малейший шанс спасти. Ради этого шанса он рисковал больным, он рисковал «репутацией» своей, отделения, профессии.

Жадов ее кончил в половине второго. Сейчас восемь часов. Как можно уйти сегодня из больницы? Через час придет шеф со своим вечерним обходом тяжелых больных. Надо успеть убежать. Что можно сказать шефу? Он мудро смотрит. Он-то хорошо знает, что оперировать было нельзя. Скажи ему — убьет! У каждого своя точка зрения на право хирурга рисковать.

И мне поручено осторожно сказать правду, поручено сообщить, когда можно будет вернуться к больной.

— Как дежурство? Все в порядке?

— Да ничего.

— А как послеоперационные?

— Да тоже все спокойны. Только вот после сегодняшней операции Симонова требует наблюдения. Давление ничего. Мы ей кровь перелили. Впечатление, что она хорошо пойдет. Подождем четвертого дня.

— Чего несешь? Там же пробная. Что ждать четвертого дня?

— Да там не было ни одного метастаза. И опухоль не так чтобы очень большая. Только вот к селезенке подходила.

— Ты что?! Я ж подходил к началу операции. Там же если делать — так тотальную! Да еще с селезенкой!

— Конечно. Но давление было хорошее. И вообще она ничего была.

— Так он что — сделал радикально?!

Глаза у шефа стали треугольными.

— Да она ничего, хорошая. Пойдемте посмотрим. Там все в порядке.

По цензурным соображениям можно смело опустить дальнейшие детали нашего разговора. А больная была действительно ничего. Немного бледна. Переливалась кровь. Сидела рядом дочь ее. И пульс был ничего.

Уходя, шеф сказал, что если больная помрет, и ему и мне он запретит оперировать в течение трех месяцев.

Это предел недовольства и раздражения. А я-то при чем. Ничего я не ответил — во-первых, нелепо в этот момент что-либо говорить. А во-вторых, мне даже лестно. Так сказать, сподобился. Может быть, за одинаковых держит? Нет. Это только в моменты крайнего раздражения.

Можно звать его обратно. Опасность миновала, отбой.

А дальше началась нервотряска. Первая ночь спокойна. На следующий день давление 80. Уколы. Лекарства. Кровь. Бледность. Пульс больше 100. Может быть, кровотечение? Гемоглобин нормальный.

Он, конечно, не отходит от больной. Только на несколько минут. Для разговора с шефом.

Что же это — кровотечение или сердечная недостаточность?

Снова наблюдение. Снова переливание. Идет время. А к вечеру давление 85. А потом 90, 95.

Когда я уходил, оставив его наедине с больной,— давление было уже 105. Он мог бы и пойти поспать. Да разве доверишь. Я не осуждаю его, хотя дежурные могут быть и в обиде. У нас нельзя работать с недоверием друг к другу. Поэтому я бы сделал исключение для главных хирургов в больницах и клиниках. Они должны принимать и увольнять только по своему усмотрению. Или увольнять надо их. Как могут работать два хирурга, если один другому не доверяет? И чтобы увольняемый не обижался — просто не сошлись. А при этом в хирургии работать нельзя. А в трудовой бы книжке писали: «Два тигра в одной клетке ужиться не могут». И не обидно, и не препятствует поступлению на работу в другое место.

Он целую ночь с больной. То кровь, то банки, то строфантин внутривенно, то бог его знает что.

Утром он стал еще длиннее. Наверно, потому, что похудел. К тому же все время в палате дочь. Это тоже очень нервирует. А что делать? Не разрешить? Тоже ведь не дело.

У нас часты разговоры, чтобы родственников пускать поменьше — не каждый день. Что они мешают работать, что они нервируют персонал. Все это безусловно и абсолютно правильно. У страха глаза велики. У них беспокойство сильно. От них нет помощи ни персоналу (это-то не обязательно), ни больному. Они только вносят излишнее беспокойство.

И все-таки варварство — не пускать родных к больным. Больница не тюрьма, и нельзя создавать в ней жандармский режим. Человек после операции... Всегда может внезапно наступить смерть. Запрещать близким приходить в больницу — предельно негуманно. Надо взять на себя и эту трудность.

А на третий день — воспаление легких. Да какое! Оба легких. Нарастает дыхательная недостаточность, дышит часто и как-то не до конца, не полной грудью. Семьдесят пять лет. Ногти, губы, кончик носа синие. Кислород не помогает.

Дышит не полной грудью — это значит: воздух пока дойдет по трахее, по бронхам, по всем путям, до самой ткани легкого — сколько сил надо преодолеть! И как мало доходит. Надо сократить это расстояние. Это так называемое вредное пространство.

Надо отсасывать из легких мокроту, чтобы освободить дыхательную поверхность. Чтобы вдыхаемый кислород не имел преград на своем пути к легкому.

Снова работа. Разрез на шее впереди. Щитовидка отведена кверху. (На кровати очень неудобно это делать.) Вот трахея.

— Зацепи ее крючком, а я разрежу.

Из дыры с шумом выходят воздух и сгустки мокроты.

— Отсос!

Сколько мокроты. Конечно, нечем дышать. Наконец в трахею вставлена трубка, дыхание стало ровнее.

Скоро больная порозовела. С дыхательной недостаточностью тоже справились.

Только вот если с больной надо поговорить, трубку прикрывают пальцем. Воздух из легких идет по нормальным путям. Через голосовую щель. Тогда звуки получаются. А пока ей приходится быть бессловесной.

Ночь опять была спокойной.

А на четвертый день мы все по очереди подходили к палате.

— Как живот?

— Мягкий. Язык влажный. Пульс в пределах восьмидесяти — девяноста.

И так целый день.

Мы с ним целый день шупаем живот, а потом обсуждаем, рассуждаем. Да и шеф все время напоминает о грозящей нам санкции.

Если швы на желудке, на кишках расходятся, то чаще всего это бывает на четвертый день.

— Все-таки живот она немного напрягает. Как ты думаешь?

— Да, по-моему, мягкий. Это ты с перепугу.

— Знаешь, как у раковых больных. У них ведь после операции, когда все в порядке, живот, как тряпка. Тем более у такой старухи. Чем ей напрягать-то — мышц почти нет.

— Верно, конечно. Но язык, пульс. Все ж хорошо.

— Старая. У них все протекает слабо выражено. В животе, может быть, уже бог знает что, а никакой симптоматики.

— Что гадать? Ты сейчас можешь что-нибудь сказать определенное? Либо у ней швы там разошлись — тогда надо лезть в живот. Либо они целы — тогда надо ждать. Есть у тебя сейчас основания, чтобы лезть в нее? Нет. Тогда сиди и молчи. Все равно надо ждать и наблюдать. Нечего портить нервы себе и людям.

(Эк я его! Легко мне говорить. А когда я сам в таком положении? Точно так же юродствую. Конечно, она старая, и там может все развалиться — ткани держат плохо, все нитки могут прорезаться. Мало того, что ткани старые, семидесятипятилетние — они же раковые. Плохо, очень плохо срстаются. Но что мы можем делать? Ждать.)

— Ну как?

— Все то же.

— Пойдем к дежурным. Может, съешь чего-нибудь?

Что-то он буркнул. Я понял: мысли у него далеко... По-видимому, он кого-то послал к черту. Но кого? Дежурных? Еду? Меня? Надо оставить его в покое.

И вечером:

— Ну как?

— Все то же.

А утром:

— Ну как?

— Порядок!

Уезжая в загородную больницу для долечивания, она говорила в полный голос.

Что ж, такой риск оправдан.

Что же делать?

В приемный покой внесли больную.

— Что случилось?

— Болит, доктор, все.

— А что же все?

— Живот болит. Сердце болит. Все болит. Сами ищите.

— А что же раньше всего заболело?

— Не знаю. Три дня болит живот. И сердце болит три дня.

— Вы одна? Вас никто не провожает?

— Все заняты. Да и зачем? На машине ведь повезли.

Болез живот. Была рвота. Потом, а может, сначала, появились боли в сердце. Нет, наверно, все-таки потом появились боли в сердце. В животе, справа, в подреберье, прощупывается плотный, очень болезненный желчный пузырь. Когда его шупаешь, становится страшно: сейчас лопнет. Быстрее оперировать! Сердце стучало глухо, тихо.

Может, лучше подождать? Что скажет терапевт?

Терапевт был неуверен:

— Если можете ждать — ждите.

Главный хирург:

— Попробуй лечить так. А лучше не будет — с богом. Следи внимательно. Пузырь если лопнет — потеряем ее наверняка. Не тяни долго. Не будет лучше — делай.

Главный терапевт:

— На электрокардиограмме инфаркта нет. Но кто его знает. Постарайтесь сегодня быть консервативным, не оперировать. Ну, а нет...

Лед на живот. Жидкости под кожу, в вену. Пенициллин. Стрептомицин. Сердечные. Атропин. Кислород. Каждые два часа анализ крови. Каждый час ощупывание — пузырь оставался большим.

Но большая спокойнее. Боли, кажется, меньше. Больные с желчными пузырями все толстые. Крепостью вздымается живот над кроватью. Подступись. А сердце? Сердце не видно. Что же делать? Нет родственников — не приходят. Больная спокойнее. Пузырь растет. Может, там уже гангрена — потому и болит меньше. Кабы речь шла обо мне — я бы решился на операцию. А вот поди-ка за нее реши. Что же делать? Как быть? Голова лопається.

Состояние прежнее. Дальнейшего улучшения не наступало. Больная лежит. Пузырь растет. Больная у нас уже двадцать часов.

Пришел сын.

— Знаете ли... матушку, по-видимому, придется оперировать. Сердце не очень... Пытаемся обойтись без операции. Но похоже... придется решиться.

Сын круглый, полный, лицо добродушное. Улыбается добро, а при этом и без того маленькие глазки выглядывают как бы из щелки копилки.

— Нет, оперировать ее нельзя. Сердце не выдержит.

— Может, выдержит. Будем следить. Подождем еще. Неизвестно, что придется ставить на первое место в этой ситуации. Сердце — будем ждать. Пузырь — придется оперировать. Короче говоря, оперировать будем только при ухудшении. Только в крайнем случае.

— Нет. Оперировать ее нельзя все равно. Сердце не выдержит.

— Вам ведь это трудно решать так категорически. Вы же в этом мало понимаете. Мы врачи, но хирурги, поэтому тоже сами не решаемся — недостаточно компетентны. Терапевтов зовем на помощь, на совет.

— Это верно, конечно. Но оперировать ее нельзя. Сердце не выдержит.

Что же делать? А если все-таки не будет выхода? Если пузырь лопнет — она ведь от болей изойдет. Сама попросит. И еще умрет. Этот толстяк-добряк пропишет нам ижицу: «Я же говорил!» Поди объясни.

Пока оперировать других будем. Ясных и понятных.

После операции все опять собрались у больной. Живот стал хуже. Появились признаки воспаления брюшины — перитонит!

Надо оперировать!

Снова электрокардиограмма — инфаркта нет. Терапевты решили: боли в сердце рефлекторные, от пузыря. Сердце выдержит. Более того, после операции боли в сердце должны пройти.

Надо оперировать!

Но ведь все может быть. Может и умереть. Можно и палец разрезать — и умереть. Один хирург в операционной показывал студентам, где будет произведен разрез. Провел ногтем по животу — больной и умер.

Надо оперировать, больше ждать нельзя.

Больная лежит уже не так спокойно. Стонет. Живот напряжен. И пузырь... пузырь остается большим. Но еще цел.

— Все-таки придется вас оперировать. Дальше ждать нельзя.

— Еще немножечко бы обождать, а?

— Так ведь тридцать шесть часов ждали. Думали, обойдется. Живот стал хуже. Два раза кардиограмму делали. Сердце хорошее. Сердце выдержит. За сердце можете не волноваться.

— Боюсь я.

— Это понятно, что боитесь. Скажи мне — оперироваться, я тоже буду бояться. Это свойственно человеку — бояться, когда его резать собираются. Но что же делать? Мы ждали сколько могли, дальше нельзя. Да к тому же мы убедились, что сердце ваше не подведет ни вас, ни нас. А я вам слово даю, что через две недели домой уйдете без болей. Ни в животе, ни в сердце.

— Да вот сын, уходя, не разрешил мне соглашаться. Ну да что уж делать? Лучше смерть, чем такие боли терпеть. Когда-никогда, а смерть придет. Оперируйте.

Все же попробую еще подождать родственников. Почему никто не идет? Еще пару часов подожду. У нас еще четыре операции. За это время я их сделаю.

— Если придут родственники, проведите их к операционной. Между двумя операциями я выйду к ним — поговорю...

Мыться!

После первой операции подошел муж больной.

— Дальше ждать нельзя. Придется оперировать. Мы проверили сердце. Сердце выдержит. Если ждать дальше, пузырь прорвется и спасти будет сложнее.

— Пойду поговорю с ней. Да и дочь сейчас придет.

После второй операции к операционной никто не подошел.

Что они там думают, что тянут время? Как им внушить?

После третьей операции никто к операционной не подошел.

После четвертой, последней операции никто к операционной не подошел. Иду в отделение. Если Магомет не идет к горе — гора идет к Магомету.

Из сестер на посту в отделении сегодня дежурит Света. Хохотушка. Она из тех, что все успевают, да еще и учится на первом курсе медицинского. Ночью сидеть трудно без сна, когда нет тяжелых больных. Когда они есть — ночь без сна проходит легче. Чуть привезли, и с диванов, со стульев, из-за стола, из ординаторской — отовсюду выползают белые халаты. Все в одно место. К самому уязвимому месту. Так, если в тело попадает заноза, отовсюду бегут на борьбу лейкоциты.

А сейчас Света сидит за столом. Чтобы не уснуть во время дежурства, она время от времени развлекается. Из своей короткой прически сейчас, например, она сотворила короткие косички-хвостики. В стороны торчат. И сама она вся веселая, доброжелательная и очень милая с этими косичками.

Я люблю с ней работать. Когда она в моих палатах, я спокоен за всю работу. Кроме необходимых дел, кроме настоящей нужной лечебной работы, надо еще соблюдать формальности. Я забываю назначать анализы каждые десять дней. Без нужды, а для порядка. Света следит сама и напоминает. Помогает голову разгружать от шлама. А иногда и важную вещь подскажет. Плохо, когда сестра нетворческий исполнитель чужой воли. А чаще всего это так. Почему-то сестер низводят до простой задачи лекарств, укальвателей и подавальщиков инструментов. А вот со Светой хорошо работать. С ней и посоветоваться можно. Больных она знает хорошо. Если больная откажется от операции, пошлю ее на переговоры. Она чудеса делает, — тяжелого больного она не упустит и не оставит. Я знаю. Молодец...

Но вчера вечером она отослала домой родственников одной больной. А ночью больная умерла.

— Почему ты не разрешила им остаться?

— А уже было десять часов. Дальше нельзя же было.

— Но больная-то умирающая.

— От них все равно не было никакой пользы. Они лишь суетились, вносили излишнее беспокойство, больной только вред.

— Какой же вред, когда больная умирала все равно?

— Мы ей делали все, что надо. А сквозь них даже не пробьешься к ней.

— Так нельзя, Света. Нельзя родственников отправлять домой, когда человек вот-вот умрет. Это просто негуманно.

— Главный врач категорически требует выполнения больничных правил. Ночевать в отделении родственникам нельзя.

Откуда у этой чудесной девочки такая жесткость? Даже жестокость? Из каких времен?

— Нельзя все так регламентировать, Света. Живые ж люди — не винтики.

И все же Света молодец.

— Света, позови, пожалуйста, родственников в ординаторскую.

Муж худой, в отличие от сына. Глаза широкие, обеспокоенные и тревожные. Дочь спокойна, величава. Строга и серьезна.

— Ну, как вы решили? Надо начинать операцию. А ее готовить к наркозу.

— Нет, доктор. Так что согласия на операцию мы дать не можем. Сердце не выдержит.

— Но желчный пузырь уже не выдержал! Она же умрет!

— Нет, доктор. Нельзя ее оперировать — не выдержит. Сын скажет, что мать мне не дорога, вот я и дал согласие...

— Но как же можно так. Вы поймите! Желчь из пузыря разольется по всему животу. Начнется желчный перитонит, воспаление брюшины. Брюшина по поверхности больше, чем кожа. Если кожа вся у нас воспалится — человек умрет. А здесь этой поверхности еще больше. Все, что можно было сделать без операции, мы сделали. Дальше ждать нельзя. Операция сейчас необходима — грозит смерть.

— Нет, доктор. Вы ее не оперируйте. Завтра придет сын к вам, с ним поговорите.

— Завтра (если для нее будет завтра) состояние ее много хуже будет!

— Нет, доктор. Согласия на операцию мы не даем.

— Ну, хорошо. Подумайте, в какое вы нас ставите положение! Если станет совсем плохо? Мы же теперь и в будущем лишены возможности ее оперировать.

— И не надо, доктор.

— Тогда, если вы понимаете всю меру ответственности, которую на себя берете, пойдите и распишитесь в истории болезни, что категорически возражаете против операции. (Может, это на них подействует. Часто, когда мы начинаем просить расписку, и больные и родственники на это не решаются и начинают думать серьезно. Велик еще у нас страх перед бумажкой. Но в конце концов о чем они думают? Какая-то нелепость. Вторая половина двадцатого века, а я на расписку рассчитываю.)

В дискуссии вступает дочь.

— А зачем давать расписку? Если вы будете ее оперировать и она умрет под ножом или от ножа (грамотно говорит), вам же все равно придется отвечать.

(Ну и ну! Ничего себе гуси! Как же ее теперь оперировать?)

— Видите ли, я действительно отвечаю за ее жизнь. И если я настаиваю на операции, так это потому, что я отвечаю. Но отвечать надо за дело. А вы обрекаете на бездействие. Надо сделать все... И за действия свои отвечать. А просто ждать? Чет или нечет. Выживет или не выживет. В конце концов в первую очередь должна решать больная сама. Пойдемте к ней. Если она откажется, тогда другое дело. А вы распишетесь в отказе. Я сейчас сниму операционный халат и выйду к вам.

Снял халат.

Вымыл руки.

Вытер.

Дал две минуты им. Пусть придут в себя и подумают.

— Света, а где же ее родственники?

— А они ушли.

(Вот тебе и Света! Все равно, что упустить больного.)

— Пойдем в палату. Может, они там?

И в палате нет.

— Где же ваши родственники?

— А они сейчас попрощались и ушли.

— Как же нам с вами быть?

— Я не буду оперироваться. Не разрешили они. Да и я сама думаю: лежу я здесь, не лечите вы меня. Вы вот полечите как следует. А под нож я всегда успею.

— Останься, Света, здесь. Поговори с больными. Я пойду других оперировать.

А утром родственники увезли ее из больницы. Может, действительно не хотели оперировать? А может быть, не доверяли нам, увезли в другую больницу?

Клиническая смерть

— А сейчас она ничего не помнит, что с ней произошло.

— Это, собственно, и должно быть. Последствия смерти.

Вот так и сказал — последствия смерти. Если вдуматься: остаточные явления смерти...

Эту фразу, это понятие хочется жевать и пережевывать. Холить и лелеять. «Остаточные явления смерти!»

Лежит больной и не помнит, что с ним произошло.

А с ним смерть произошла. Нет. С ним смерть происходила.

А мы с глубокомысленным видом говорим: последствия смерти. Можем даже объяснить: когда человек умирает — после всегда так бывает. И далее небрежно: «Было несколько тревожно, когда вы умерли. Но теперь все в порядке, и вы пойдете на поправку» — весомо, по-докторски и, главное, убедительно.

После оживления мне, во-первых, всегда хочется узнать, что он там видел. И, во-вторых, мне хочется быстрее, пока горячо, повидать и почесать язык со всеми моими знакомыми, которые твердо уверены, что медицина еще не запустила своего спутника.

Вересаев как-то писал о медицинских нигилистах. Они презирали медицину за то, что она не делала всего, и не обращали внимания на многое, что медицина делала.

А вот! Сто лет назад операции были единичны. Каждая операция — казуистика, отчаянный шаг. Операция по поводу аппендицита — космический предел. Еще совсем недавно, почти в двадцатом веке, Гамбетта умер от простого аппендицита. Лучшие медицинские силы Франции беспомощно ходили вокруг своего национального героя и премьер-министра.

Сорок лет назад сыпной тиф убивал целые дивизии. А «испанка», грипп, который и сейчас мы, казалось бы, лечить не умеем, тогда же унесла столько народу, сколько и вся первая мировая война.

Двадцать пять — тридцать лет назад воспаление легких часто приводило к смерти. Безусловно, было сделано все, чтобы спасти академика, лауреата Нобелевской премии И. П. Павлова. Не смогли.

Медицина не запустила своего спутника!

Медицина, к сожалению, не делает всего. Медицина, к сожалению, не обрела характер точной науки. Она все еще где-то между искусством и наукой.

Пока есть элементы искусства — медицина величественна. Вскоре она встанет на математические рельсы. Искусство врача тогда исчезнет.

Ну что ж... Жаль.

Но так и надо. Врач превратится в медицинского инженера. Больным, наверно, лучше. Человека, быть может, будет лечить машина.

Но мне лично жалко врачебного искусства.

Все это промелькнуло в голове, пока я слушал голос в трубке: «А сейчас ничего не помнит, что с ней произошло».

Я со студентами вел разговор на тему о ранах. Такая у нас с ними тема была в этот раз.

Пришлось прервать занятия.

Больная крайне истощена, слаба. Подведение лекарства к самой опухоли в этом случае опасно.

На предыдущем разборе больных мы не решились на это. Не только слабость и истощение остановили нас. При этом мы не раз делали. Но больная... врач. Это мы называем отягощенный анамнез. Мистика! Но у врачей всегда все протекает с осложнениями. Когда в больницу поступает врач, все настораживаются. Какая будет неприятность на этот раз?

Обсудили мы эту больную. И решили... Пожалуй, лучше не связываться.

Что же, не лечить?

И на следующем разборе решили: попробуем.

Были две больные. Одна постарше, но не врач. Другая — врач.

В операционную я пришел со студентами. Больных готовили к вливанию.

Я к студентам: когда человечество было осчастливлено шприцем и иглой и кем?

Образ мыслей для ответа своеобразный. Сначала — кем. Затем, отсюда уже, когда. А кем, всегда им ясно — Пирогов, Павлов. В медицине все сделано только ими. Так всех студентов настраивали еще с сорок девятого года. А до них в медицине — пустота.

На этот раз Пирогов.

Я люблю Пирогова. Пирогов — один из интереснейших и крупнейших людей в истории русской культуры. По существу создатель русской хирургии. Ему приписывали все, что близко лежало. Из большой человеческой личности сделали просто знамя. Студенты называют его и — посмеиваются. При виде этих улыбок я бешусь. Но понимаю: они ни в чем не виноваты. И Пирогов ни в чем не виноват. Виновато то время. Оно ушло, и Пирогова нам вернули во всем великолепии его личности.

— Пирогов не нуждается в вашем заступничестве. Он велик без вас. Нечего ему приписывать то, чего не было. Вы оскорбляете этим и его, и всю русскую хирургию.

Все-таки, мне кажется, я достигаю цели. Они стали к Пирогову лучше относиться.

После этой апологии Пирогова я приступил к делу.

Сначала та, которая постарше.

Все хорошо. Лекарство ввел. Никакой реакции.

А теперь врач.

— Лягте, пожалуйста, на правый бок.

Попутно я объясняю студентам. Это ошибка. Врач ведь. Не надо ничего при ней говорить.

— Сейчас будет небольшой укол. Это местная анестезия. Вы уже проходили? Видите — сначала новокаин вводим в кожу. Получается желвак — как лимонная корка. Теперь глубже. Вот. Теперь обхожу. Здесь это должно быть. Так. Так. Угу.

(Нету. Где же она? Ну-ка вытащу. И снова. Опять уперся. Еще раз. Ага. Вот она!)

— Вот, видите?..

— Давайте тот шприц.

— Коллега, больно немного.

— Ничего, сейчас кончаем. Потерпите еще чуть-чуть.

(Вишь как. Коллега. Полигес соблюдает. Значит, не так больно. Ничего. Не страшно. Ввели — и никакой реакции. А говорят, врачи... Мистика...)

Давление оставалось все время на одном уровне. Только чуть больно дышать. Пульс хороший.

Я отошел и стал объяснять студентам, что вводил, как вводил. И почему мы этого сейчас не боимся?

Чудеса техники! Двадцатый век и так далее.

У студентов перерыв.

И я закурил.

— С доктором что-то плохо!

— А! Докторские штучки. Всегда так. (Надо все-таки посмотреть.)

Поворачиваюсь. (У них все может быть — медики.) Шаг. (Может быть, давление упало.) Шаг. Шаг. (Валя-то здесь? Да, вот она.) Шаг. Дверь. (Боже!)

Бледная. Даже серая. Даже с синевой. Глаза закатились куда-то кверху. Даже не видны. Отдельные судорожные подергивания, как бывает после смерти. Так и называются — постмортальные (послесмертные).

(Мертва! Быстрее!) Два прыжка. Стол.

— Валя!! (Она уже все поняла.)

Пульса нет. На руке нет. На сонных артериях нет. Сердце! Не слышно. (Смерть!)

Надо начинать массаж сердца. Что тянуть!

И грянула работа. Я давил на грудинную кость. Надо сдавливать сердце. Сдавливать между грудиной и позвоночником. Массаж. Сердце сжимается и разжимается. Кровь гонит по сосудам. Раз шестьдесят — семьдесят в минуту.

(Так! Сразу как тяжело! Раз. Раз. Раз. Еще!)

— Скамеечку мне! Под ноги! Повыше!

Валя уже здесь. С аппаратом. Трубку вводит в горло. Дыхание она берет на себя. И опять мы с Валей оживляем. (Еще. Еще. Будет эффект? Что-то хрястнуло.)

Ребро сломалось. До него ли! Нет, не надо меня менять.

Голова взорвалась. Болит. Это от внезапной тишины. За окном все время тархтела машина. И вдруг перестала.

— Дышит! Дышит!

А вокруг студентов полно. Какие лица — и испуганные, и сочувствующие, и страдальческие, и просто любопытные. Их ругают: современная

молодежь! Мы в их годы и так далее... Они другие, конечно. Они даже не такие, как мы были всего лишь десять лет назад. Наши девочки на третьем курсе — скромные, с косичками, губы некрашенные. Колец на пальцах не было. А сейчас: губы крашенные, прически самые разные, глаза удлинненные и изогнутые в виде спирокет, на пальцах кольца, и у многих еще и обручальные. И у ребят тоже.

И все же те же самые ребята. «В их годы мы...»

Все имеют свои годы в разные годы. А знают они, по-моему, больше, чем знали мы в их годы.

Когда они смотрят, мне легче.

И врачи собрались со всего отделения, и сестры.

— Пульс на сонных артериях!

А затем пульс на всех остальных. А затем и давление появилось и поднялось до цифр нормальных.

Для верности я еще немного покачал.

Больная дышит. Сама. Глаза открыла.

— Как вы себя чувствуете?

— Грудь болит.

(Еще бы не болеть. Давил на совесть. Надо бы покурить.)

Отшел к окну, выглянул. С пятого этажа все не так выглядит.

Машина казалась очень маленькой. Она бежала через весь двор. Нанаскось. На наклоненное дерево. Впереди металлический скребец. Не знаю уж, как он называется по-научному. Позади ковш навис. Добежала до дерева. Уткнулась в него скребцом. Собрала все силы свои и опять злобно уткнулась в дерево. Мне сверху хорошо видно. Дерево упало. Самодовольно отошла. Я даже видел, как торжествующе покачулся ковш.

Затем опять, мелко подсеменив к дереву и сделав из ковша подобие крючка, стала поворачивать ствол в удобную позицию. Злобный пигмей. Затем опять скребком своим стала переворачивать и подталкивать дерево куда-то в сторону. Делала она это уже значительно спокойнее. Дерево-то уже мертво. Сдвигая дерево, попала своей передней частью в какую-то яму. Тогда сзади ковш выдвинулся. В своей передней части согнулся, как в суставе. Впереди выдвинулись какие-то лапы-упоры. Ковшом уперлась и отжалась. Как люди отжимаются во время зарядок. Повернулась и вышла из ямы.

Вот это машина.

Стало быть, это она, когда замолчала, оглушила меня тишиной.

А больная свободно разговаривает.

Сутки мы ее наблюдали, волновались, не отходили от нее. Все время кто-нибудь сидел около.

Две недели болело ее ребро.

А я мучился и чувствовал себя неловко. Как объяснить, что ребро сломано?

Так до самой выписки и не знал, как объяснить.

Не говорить же, что она один раз уже умерла.

Несчастный случай

Кто это придумал, что хирурги режут?

Хирург — портной! Вот уже три часа, как я шью, шью. Крою и шью. Наверное, на резанье в чистом виде ушло минуты полторы, а часа два с половиной чистого шитья — и так всегда.

Да и вообще в этой больной не резанье главное. Она поступила с диагнозом «рак» — резать! Но у больной диабет.

Диабет — это не просто много сахара в крови, в моче. При диабете плохо заживают ткани. Для меня сейчас это главное.

Рак — резать!

Диабет —?

А после операции сахар может неудержимо нарастать, нарастать. Человека сжигает сахарная буря. Потеря сознания. Диабетическая кома. Смерть.

А может быть, наоборот. Дашь инсулина слишком много — сахар совсем исчезнет. И без сахара... Опять потеря сознания... Другая кома. Бессахарная кома! Смерть.

Надо позвать специалиста.

— У больной некомпенсирующийся диабет. Оперировать нельзя.

— У нее рак. Другого выхода нет.

— Слишком большой риск. А каков объем операции?

— Да кто ж его знает. Думаю, что в лучшем случае велик.

— Ну что ж. Готовьте ее. Может, скомпенсируете. Тогда идите на риск.

Смотрели все вместе: хирурги, анестезиологи, эндокринолог-диабетик, терапевты.

Самая трудная задача анестезиологам.

Идет операция. Момент жестокой травмы. Все должно оставаться в это время на одном уровне. Все чтоб было, как перед операцией: и сахар, и кровь, и дыхание, и давление. Все, что не в руках хирурга.

Еще неизвестно, у кого больше работы будет.

Нет, у меня больше. Но что я смогу без них?

Все подумали. Все разрешили. Хирурги примирились. Анестезиологи оценили и согласились.

И вот она на столе.

В операционной недавно был ремонт. Глаз режет белым цветом, белым блеском. Слишком бело. Не помню, у какого народа траурный цвет белый.

Голова Ларисы Петровны тоже белая.

— Тяжелая война сейчас начнется, Лариса Петровна!

А Лариса Петровна никогда не узнает или, в лучшем случае, никогда не сумеет оценить степень нашего совместного риска.

В головах два врача-анестезиолога, две сестры-анестезиста.

— Мы начинаем наркоз. Начинай мыться.

Я моюсь. Лаборантка набирает кровь в пробирочку. Сколько сахара там сейчас? Ответ будет через час.

Седеющая голова, глаза уже закрыты, спит.

Я стою справа. Там же, ближе к голове, один ассистент. Напротив — другой. В ногах — сестра.

Анестезиологи пусть распределяются, как хотят. Это уже не моя забота. С этого момента наши заботы разграничены.

Моя забота — живот. Их — вся остальная Лариса Петровна.

Разрез — секунда. Останавливаем кровотечение. Зажимы, нитки — полторы минуты. Разрез — секунда. Последний слой. Разрез — секунда. Почти все основные разрезы сделаны.

Весь желудок! И селезенка. И толстая кишка. А вся опухоль «болтается» — можно убрать. Теоретически можно убрать. Но выдержит ли? Желудок, селезенка, толстая кишка. Желудок весь. Да еще диабет. Может остаться на столе, может не выдержать.

— Ну как она?

— Ничего. Делай.

— Делай... Тут если делать, то форменную резню учинять.

Диабет. Заживет — не заживет? Срастутся ткани или нет?
 Нельзя не убрать, если можно убрать.
 Диабет — рак. Справа — налево. Можно. Опасно. Как быть?
 — Позовите шефа.

Без него испугался. Перестраховщик. Да поди же ты решишь.
 Умрет — скажут: «Зачем делал. Превысил показания. Не оценил противопоказаний. Хирургическое хулиганство. Лихачество!» Перестраховщик.
 Все равно я ж не скажу: «А мне шеф велел».

— Ну, чего тебе?

Любит он строить из себя рубаку неотесанного. Эдакий мужичишка, выдвигенец от сохи к скальпелю, кудеяр-богатырь. А сам интеллигент...
 Врач в третьем поколении. «Да я его со света сживу, удуш» — а сам, кроме своих ближайших помощников, то есть меня и еще одного врача, никого обругать не может. А меня любит ругать за интеллигентскую гниль. Когда у нас умирают больные — он всегда нас ругает. Мы говорим, что не виноваты. Рак, мол, ткани плохо срастаются. Мы-то все делали правильно. Может, он и прав, когда говорит, что хирургу в конечном счете лучше всегда винить себя, а не искать объективные причины. «В себе ищи вину, — говорит он, — это окупится». Может, и так, но когда тебя ругают, все-таки лучше вспомнить объективные причины.

Рассказываю, показываю.

— Ну и что? Делай, если можешь. Не оставлять же ей это.

А теперь пойдет в кабинет и будет думать: правильно сказал или нет. Но вида не покажет. Он никогда не сомневается. И больные и мы, врачи, ему верим за то.

Ну что ж — помогай нам бог! Нам? Нам!

Под каждым зажимом перевязываю ниткой. Разрез — секунда, полсекунды. Вязать три—пять секунд.

Отделили толстую кишку. Теперь желудок.

А теперь шить, шить, шить.

Разрез — секунда. Шить пять—семь минут.

В операционной ужасный шум. Что они шумят? Когда операция обычна, типична, никакой шум не беспокоит. А когда все на натянутом нерве... Говорят, у Петровского в новом институте музыка в операционной играет. Когда операция идет нормально — все довольны. Чуть что не ладится: «Выключите!..»

Так и я сейчас. Почему шумят? Нельзя ли потише? А потише нельзя. Слышу дискуссию.

— А холецистит старый.

— Да бабке за шестьдесят. Отказывается от операции она.

— Молодец он, ваш холецистит, что отказывается. А то столы все заняты. Прободная язва поступила. Негде оперировать. Холецистит может и подождать. А язва нет.

— А язва у вас какая? Молодая? Старая?

— Молодая. Парень. Двадцать девять лет.

— Тяжелая?

— Не знаю, как в животе. А так обычная.

— Кто лечит ее собрался?

— Шеф решил руку правую потешить.

Шеф уже моется. Мне видно — плещет в тазиках руками.

Я стараюсь не слушать, но слова долетают. Два стола для одной операционной много. Надо бы — один стол на один зал. Я не хочу отвлекаться!

— Уже весь желудок выделен.

Анализ: сахара стало меньше нормы. Вот те фскус!

Давление, пульс — все в порядке. Впрочем, не мое дело. Пусть анестезиологи заботятся.

Самое тяжелое, сложное — сшиваю пищевод с кишкой. Швов двадцать — тридцать. Я не хочу отвлекаться.

Я шью пищевод!

Ну вот. Теперь бы передохнуть. Надо бы после каждого часа операции кофе нам давать. А уже два часа прошло. Подвели бы трубочку ко рту. Пососал — и дальше. Мы ведь тоже космонавты. Да хоть бы после операции кофейку. Нет таких правил.

На том столе пронесся шелест облегчения. Ведь возможность ляпа всегда есть.

На том столе действительно язва. Резекцию желудка делают. Вообще-то всякие фокусы бывают. Казалось бы, диагноз абсолютно ясен, а в живот влезешь — и там ничего. Ошибка диагностики, или, как говорят у нас — «козья морда».

Экзюпери писал, что литература только тогда литература, когда основана на реальном столкновении с жизнью. А хирургия тем более. А когда не реальный конфликт — имеем «козью морду». На душе тогда мутно и заплевано. При чем тут литература? А, просто сегодня читал. Как во сне. Вся жизнь последних часов и дней трансформируется во сне. Так и на операции. Чего только не всплывет.

Шьем кишки. А они перистальтируют, двигаются. Еще надо сшить тонкие кишки. А потом толстые кишки. Теперь осталось только шить. Резать нечего.

Анестезиологи там чего-то зашебуршились. Что у них там? Впрочем, это не моя забота.

Сахар вроде больше не брали. Может, давление упало? Кровь перебивают. Пусть покрутятся, у меня своих дел хватает.

— Ну, как она там?

— Все в порядке. Делай спокойно.

И опять я шью, шью, шью.

Вообще-то надо бы все автоматами шить. И надежно, и всякий сможет. Не надо виртуозничать, чтобы сшить. Их еще мало, но они наступают. А мне и не хочется. Ведь я умею шить. А так трудно этому было научиться. Фотография точнее живописи. Однако художники все-таки рисуют. И все же мы перейдем на автоматы. Кому нужны виртуозы? Нужно хорошо соперировать. Швы должны держать. Кто б ни шил.

Говорят: символ хирурга — скальпель. Ерунда! Иголка с ниткой — сегодня. Сшивающий аппарат — завтра.

Кишки сшил. Все в порядке.

Вытер живот изнутри. Или как пишут в истории болезни: брюшная полость осушена.

Можно зашивать живот.

Все!

Лариса Петровна молодец! Хорошо перенесла операцию!

Сигарета хорошо удерживается во рту и плохо пальцами.

Кончена всего лишь операция. Впереди — тяжелая работа.

Как теперь?! Сбалансируем мы ее сахар? Даже если компенсация диабета останется, ткани все равно могут не срастаться на этом сахарном фоне.

Будем балансировать: инсулин — глюкоза, глюкоза — инсулин; кровь — моча, моча — кровь.

Опять сидим с анестезиологом и думаем: сейчас дать больше глюкозы или инсулина.

Опять берем анализы, анализы. Так и идет. Анализ крови — надо глюкозы. Анализ мочи — надо инсулин.

Сидим решаем.

На следующий день:

— Лариса Петровна, как себя чувствуете?

— Плохо. Живот болит.

-- Как же не болеть ему? Ведь резаный.

Хорошо поговорил, вразумительно так — успокоил.

Глупые вопросы мы задаем часто. А что делать? Спросить-то надо.

Дома у нас длинный пустой коридор. В него выходит много дверей. В коридоре — телефон. Дверь, что напротив телефона, обита чем-то фундаментальным: разговоры мешают. Чужие разговоры всегда мешают. Все соседи спокойные, положительные, тихие, спать ложатся рано.

Сейчас у меня живет приятель. После десяти часов мы разговариваем приглушенно-притушенными голосами. Ходим по коридору осторожно, мягко переступая ногами, словно леопарды. Если нам звонят после десяти, у моей жены предынфарктное состояние. Она долго говорит мне про хамство и объясняет сущность беспардонности. А недавно в дверях я нашел записку: «Граждане! Во избежание неприятностей просьба в ночное время громких разговоров не вести и после одиннадцати—двенадцати часов стульями не шаркать. Ведь кругом все спят. Надо считаться».

И мы считаемся: после десяти в квартире мертво. В нашей комнате шепот.

...И вот вам! 0 часов 30 минут.

Трезвон — телефон!

Она!

— Да!

— Хорошо, что я на тебя напала. Понимаешь, у нее вечером развился жуткий парез кишечника, живот вздулся, рвота. Я как раз вечером звонила, мне об этом рассказали, ну, я и притащилась сюда.— Это анекдотизолог.— Я думала, диабет заиграл.

— Как сейчас?

— Сейчас все налаживается. Не волнуйся и не приезжай. Можешь смело не приезжать. Но завтра воскресенье. Ты с утра будь здесь, сам посмотри, так спокойнее.

— Завтра-то я буду обязательно. А вот сейчас? Точно не надо ехать?

— Нет. Сейчас все хорошо. Я просто хотела рассказать все. А дома у меня телефона нет. Будь здоров.

— Большое спасибо, что позвонила. До свиданья.

Дома телефона нет — какой абсурд. Я переезжаю на другую квартиру. Там тоже телефона не будет. Врач без телефона! Сейчас мне часто звонят. После звонков иногда приходится ехать в больницу и даже оперировать.

А что будет после переезда? Просто страшно. Надо дома строить с готовыми телефонами. Город-то стал невероятно большим.

Утром.

— Лариса Петровна, как чувствуете себя?

— Сегодня лучше. А вчера живот надулся, как барабан. Думала — лопнет. Вот во рту только сохнет очень. Наверное, опять мой сахар.

— Ничего, с этим-то мы сейчас справимся.

В утреннем анализе крови и мочи сахара действительно много. «На одну единицу инсулина нужно четыре грамма сухого вещества глюкозы». Мы так и давали. И все-таки в моче ацетон: опять декомпенсация.

Значит, больше инсулина. Но и глюкозы больше. Снова расчет. Новый расчет.

А живот мягкий. В животе пока все благополучно. Язык сухой, но это из-за сахара, а не из-за живота.

Перевязка. Все хорошо. Ну что ж, можно и домой тогда.

На следующий день мы опять сидим с анестезиологом, опять считаем. К вечеру ацетон исчез, сахар снизился до обычного уровня.

— Пожалуй, можно сохранить вчерашний инсулиновый режим?

— Лучшеждемся вечерних анализов. А пока пусть по-прежнему.

— У ней к ночи сахар в моче уменьшается. Так и до операции было. Может, вечернюю норму инсулина уменьшим?

— Опасно. Меньше? Нет, страшновато.

— Ну, посидим до вечера, тогда и решим.

— Лариса Петровна! Как жизнь?

— Ничего. Лучшеее все время. Вот если б попить разрешили. Больше б ничего и не надо.

Смотрит на меня так жалостливо. А может, пожалею и разрешу. Ох, как хочется разрешить попить.

— Нет, нет. Ни в коем случае. Пока рано.

Вдруг стало подниматься давление. Наверное, для нее слишком много вводили глюкозы в вену. Не выдерживает. Хорошо бы поменьше. Но тогда и инсулин надо уменьшить.

Вечерние анализы позволили это сделать.

А утренние сказали, что сделали мы это зря.

Новые расчеты. Опять мы сидим с анестезиологом. Ее обязанности давно уже кончились. Но все же опять сидим с ней, думаем, считаем, да и гадаем.

Снова на помощь призваны шефы.

Пришел самый главный шеф. Он типичный книжный интеллигент. Очень мягок и мыслями гибок, говорит тихо — иногда даже не слышно что. Мелочи, детали ведения больного, конкретного больного — иногда его мысли обходят вокруг. Он думает глубже, шире, проблемно. Главный шеф, наверно, так и должен. Он сразу стал предлагать и рассуждать, как изменить местный сахарный обмен в заживающих тканях. Несколько идей, щедро сброшенных с богатого стола. Интересно, подумать надо. По дороге шеф, правда, забыл о некоторых препятствующих его идее деталях. Но в принципе этим надо заняться. Шеф прав, а сам я не додумался, — впрочем, я думал о больной.

Второй шеф — тот конкретно говорит, что и когда надо этой больной сделать. Попутно развил идеи главного.

Ну, а мы снова считаем и считаем, вводим, вливаем, давление мерим, и анализы, анализы...

...К седьмому дню полностью уже выжатые и отжатые, почти ползающие, но... компенсации добились стойкой!

Ацетона нет! Давление стабильно! Сахар на одном уровне!

Новая забота. Столько вводили жидкостей, что появились отеки. В данном случае жидкость — это глюкоза. Без жидкости нельзя.

— Начнем поить ее, что ли? Семь дней. Будет пить сладкий чай.

— Если б можно — это был бы великолепный выход.

— Пошли попробуем.

Даже если она спит, то, услышав наши шаги, моментально раскрывает глаза.

Язык хороший. Живот мягкий.

— Лариса Петровна, живот не болит?

— Нет. Совсем не болит.

— Ну, тогда можно попить. Хотите?

— Давно уже жду. Кажется, выпью и пойду сразу.

Лариса Петровна при нас пьет несколько глотков.

— Ничего не болит в животе?

— Нет. Все хорошо. А приятно-то как.

Глаза ее блаженно маслянятся, и вся она расслаблена и довольна. Избито, но... много ли человеку надо.

Гляжу я на нашего анестезиолога. Лицо усталое и даже какое-то изможденное. Это за последнюю неделю. Сегодня она уходит, не дожидаясь ночи. Сейчас она идет на курсы английского языка, потом в Дом кино на премьеру. А совсем вечером в какой-то ресторан. Передых. Такая передышка не только приятна, но просто необходима ей.

Восьмой день. Отеки стали уменьшаться. С сахаром все хорошо. Лариса Петровна ела бульон, жидкую кашу, пила сок, чай.

— Еще мне денек, и я буду здорова совсем. Я чувствую, как мне становится лучше.

И мы чувствуем. Действительно, все идет на лад. Мы приходим часто просто так. Отдохнуть. Придешь, посмотришь, пощупаешь — и легче становится. Снимается усталость от других тяжелых больных, от студентов, просто от различных невзгод. Все остается за порогом ее палаты. Она лежит одна в палате. Вторая кровать пустая. Посидишь на ней, отойдешь к двери — издали оценивающе посмотришь. Посмотришь анализы и... пойдешь работать дальше. И шефам легко докладывать: «Все хорошо». И все. И главный шеф, который как бог, и непосредственный мой шеф, который как папа римский, — оба довольны.

Девятый день прошел так же хорошо.

Начались десятые сутки. Я гордо собрал всех близких своих на работе, и небольшой, но компактной массой все двинулись. Иду хвалиться. Смотрели, щупали, все радовались.

А Лариса Петровна охотно со всеми разговаривала. Говорила, как она себя чувствует.

— Когда ходить можно будет, доктор?

Я сегодня дежурю. Дежурить-то легко сейчас. Когда устану ночью, да только вряд ли устану, зайду к ней.

Поступают больные...

— Быстрее! В изолятор!!

Это кричат на лестнице. Бегу. На ходу...

— В чем дело?

— Кажется, умерла ваша больная.

Какой вздор. Я же только оттуда, с чего бы ей плохо было? Нет, не может быть.

Бегу. Меня увидели анестезиологи. Сразу побежали следом. По отделению нельзя бегать.

Лежит спокойная и совсем мертвая. И ясно, что оживлять уже нельзя. Уже не Лариса Петровна.

Это или инфаркт сердца, или какая-нибудь артерия важная закупорилась.

Внезапная смерть. Я тоже так могу умереть. Ничего нельзя сделать.

— Как же так случилось, Лариса Петровна?

Выхожу из палаты предельно усталый. Выжатый. Не в силах сделать шага. Мысли отрывками. Ноги распушенные. Неужели сегодня еще дежурить?

В кабинете у шефа мягкое кресло. То ли сижу, то ли лежу. Передо мной окно замерзшее. Фонарь с улицы сверкает отдельно в каждой льдинке на стекле и на черном фоне ночи. Передо мной какая-то новая, чужая галактика. Мысли кувыркаются. Дежурство... Больные... Дома строят... А вдруг война... Все равно же строить надо.

Что-то я распустился: надо работать. Работа есть работа. Впереди дежурство. Пойду пока напишу посмертный эпикриз. Закончу ее историю болезни.

«Поступила в отделение с диагнозом рак желудка. После компенсации имевшегося у больной диабета 12/ХII произведена операция. На операции обнаружен рак, занимающий весь желудок и прорастающий толстую кишку и ножку селезенки. Произведено тотальное удаление желудка, селезенки и резекция поперечной толстой кишки. В послеоперационном периоде со стороны области операции течение удовлетворительное. Со стороны диабета состояние относительно тяжелое, лабильное. К 7-му дню диабет был компенсирован, углеводный обмен стабилизировался. Больная стала принимать через рот жидкую пищу. На 10-е сутки на фоне благополучного течения и удовлетворительного состояния наступила внезапная смерть, по-видимому, от эмболии легочной артерии.

Заключительный диагноз: рак желудка с прорастанием в ножку селезенки и толстую кишку. Сахарный диабет. Эмболия легочной артерии». И подпись — моя.

Вообще-то это был успех. А смерть — случайность, которой не должно быть.

Воскресенье

Серо. Но не темно. Можно поваляться. Выходной. Может, просто почитать?

Все уходят. Останусь один. Лучше посижу поработаю. Надо наконец закончить автореферат, хотя надоел до смерти. Если я весь день до вечера посижу, может быть, и закончу.

Тогда вставать. Мыться и так далее. Но быстрее. Они уйдут. И я к этому времени готов буду.

Все же приятно вставать не в четверть восьмого.

Телефон.

Благослови, господи, цивилизацию. Как бы обходились люди без телефонов? У меня впечатление, что телефон вечен. Четко вижу питекантропа, говорящего по телефону. Шальной хулиган Граф Роберт Парижский стоит в автомате. Телефон до половины десятого с девяти может позвонить сколько раз? Звонки редко приносят горестную весть. Чаше так, незначительны.

— Здравствуй, дорогой!

— Привет, братишка!

— Что ты не звонишь никогда? Все в порядке. Вот немного жена приболела. Что ж, пришел врач из поликлиники. Ну что он скажет? Выписал бюллетень. Специально не надо, но если зайдешь — я был бы рад.

Интеллигентный человек — специально не надо. Сказал достаточно ясно. Я пойду не специальнс. Тупая психология — врач из поликлиники что может сказать? А когда тот же самый врач приходит по вызову из платной поликлиники — это хорошо, этому верят. Каждый слышит то, что хочет. От врача поликлиники ждут бюллетень, остальное не слушают, приучают и врачей к этому. Не надо портить врачей поликлиники. Им и без того очень тяжело работать. Помню, Бакулев рассказывал: когда-то давно принимал он в поликлинике со студентами, пришла женщина с мужем. Грудница. Надо сделать разрез. Что вы! Можно ли доверить? Поликлиника! Пойдем-ка лучше деньги заплатим — оно будет ощутимее и весомее. А вечером Бакулев без студентов в платной поликлинике. То же самое все. Деньги за прием. Отдельно за операцию. Все довольны. А потом врачей поликлиники ругают.

Есть и другая форма доверия — родственники или знакомые. Кто знает, какие они врачи. Но они свои. Им верить можно.

Телефон.

— Здорово, старик!

Голос бодрый. Напоминает разговор американских оптимистов из «Одноэтажной Америки». Сейчас будет хохотать, а потом выяснится, что жена больна.

— И температура есть? Я ближе к вечеру выйду. А ты что делаешь? Хотел поработать? Придется идти в магазин? Ну, помогай тебе бог. Ладно, до вечера.

И еще раз телефон. В будний день меня трудно поймать.

Операция

Мы идем вдоль забора. Я смотрю на больничный забор. Перед глазами — вся вчерашняя операция...

Владлен после нее остался в больнице.

Вот мы моемся. Все трое. Хорошо, когда мы оперируем все вместе. Понимаем друг друга. Говорить мало что приходится. Говорим больше, когда ругаемся. Или на посторонние темы. А иногда надо и поругаться.

Больную привозят в операционную, укладывают на стол.

Я ее видел, когда она поступала.

— Давно болеете?

— Года три.

— Что, суставы болели?

— Нет. Я почувствовала неожиданно. Ехала в райцентр на велосипеде. Я из Брянской области. И вдруг как задохнулась. С тех пор одышка.

— Это, наверное, совпадение. По-видимому, и раньше болели.

— Кто ж его знает.

— А на какой этаж можете подняться без одышки?

(Что я спрашиваю?)

— Я не знаю. На горку подняться не могу — задыхаюсь. У нас этажей нет.

Сердце должно стучать: туп-туп, туп-туп. А оно — туп-шшп, туп-шшп. Шум.

Мы ее сегодня не собирались оперировать. Она еще готовилась. Но ночью был отек легких. Дальше тянуть нельзя. И сегодня решили оперировать — экстренные показания.

Моемся и потихонечку переругиваемся. Андрей мне говорит, чтобы студенты, когда идут в операционную, снимали пиджаки, надевали халаты прямо на рубашки и засучивали рукава. Я возражаю. Черт с ними, с пиджаками. Там может быть шерсть, пыль под халатом, статическое электричество. Согласен. Но зачем обязательно рукава засучивать? Засученные рукава — символ работы. А они стоят смотрят.

— Так надо! Студенты должны привыкнуть к порядку. Они должны ходить, как мы. Должен быть определенный порядок.

— Но мы-то засучиваем рукава лишь для дела. А так ходим с опущенными. Они же это видят. А когда мы требуем, начинают посмеиваться.

— Кончай свои идиотские рассуждения. Если всегда так рассуждать и обсуждать — порядка не будет никогда. Порядок должен быть. Студенты должны выработать рефлекс, привычки. Без этого врач не получится. Тем более хирург. А твое либеральничанье приводит лишь к анархии. Когда-то ведь надо что-то говорить категорически.

Вмешался Владлен.

— Кончайте склочничать. Тяжелая операция. Не трепите нервы раньше времени.

Может быть, Андрей и прав. Порядок нам нужен, как воздух. Андрей умеет, когда надо командовать. В частностях он ошибается. Но в целом почти всегда прав. Он моложе меня, но уже доцент. Он умеет руководить клиникой — я нет. Но эмоционально мне неприятно, когда человек умеет говорить: «Надо» — и все. Это уже самоуверенность. А развивает еще большую. Тем не менее, когда шефов нет, он справляется с руководством клиникой. И все-таки студенты все понимают. Им надо как можно больше объяснять. Все-таки в основе порядка должно быть понимание, а не подчинение. Где найти грань? С точки зрения дела Андрей ближе к истине.

Большая спит. Мы втроем уже над ней. Наши три головы сомкнулись над раной. Хорошо, когда мы оперируем втроем. Никакой задержки.

Ай-ай-ай! Какое неудачное сердце. Как неудобно повернуто. И доступ в него где-то очень сзади. И маленький очень доступ. То есть ушко предсердия маленькое. Зажим на него не накладывается. Что делать?

— Не приспособлена больная эта для операции. — Это Андрей.

— Что делать? Пойдем обычно через ушко или справа. — Это Владлен.

— Давай обычно. — Опять Андрей.

Я молчу. И думаю. Попробуем обычно.

— Ребята, приготовьте артерию. Может кровь здорово санда-
лить. — Это я анестезиологам. — В артерию, кажется, наверняка при-
дется переливать.

Работа дальше идет молча.

Запутались какие-то нитки.

— Где ты руку держишь! Мешаешь! — Это Андрей мне.

— Брось свой фасон. — Это Владлен мне по поводу запутавшихся ниток.

Почему фасон — не понял. Да не до этого.

— Здесь нельзя вязать! Видишь, перикард зажимом прихвачен. — Это я Андрею.

— Подай зажим.

— Нельзя. Говорят тебе.

— Давай зажим. Вязать же надо!

— Не дам. Смотри, что вяжешь.

— А что?!

— Смотри.

— Ну, давай переложим.

Все шесть рук работают слаженно, синхронно. Хорошо опериро-
вать втроем.

Владлен хочет ввести палец в сердце. Андрей снимает зажим. Я натягиваю кисетный шов и обмираю от страха. Наверно, и им страшно. Ох, если из сердца сейчас кровью даст.

Все спокойны и уверенны. Не люблю спокойных и уверенных. У Владлена немного дрожит вторая рука. Андрей, по-моему, опять собрался кого-то обругать.

Ну, дало! В один миг вся рана потонула в крови.

— Отсос!

Сосу.

У Владлена торжествующий вид. Все в порядке — палец в сердце. Кровь в рану больше не поступает.

Палец в сердце.

Владлен:

— Устранить пальцем не удастся. Очень плотно. Придется идти инструментом с другой стороны сердца навстречу пальцу.

Какая неудача. Не повезет, так дома лежа споткнешься.

Я накладываю кисет. Держу швы в турникете (инструмент такой). Андрей вставляет инструмент.

Опять дало! Здорово кровь дает из сердца. Редко видишь такое. Какая сила! В один миг заливает. Большая кровопотеря. Это даром не пройдет.

— Ребята! Скорей! Зрачки расширяются.— Это анестезиологи нам.

Владлен ориентируется. Определяет пальцем, где инструмент.

Сердце сокращается слабее.

— Инструмент пошел в аорту. Переставляю.

Сердце сокращается еще слабее.

— Зрачки широкне!

— Порок устранен. Убираю инструмент.

Устранен. Сердце-то не работает.

Я держу турникет. Затягиваю. Андрей держит наготове иглу. Он должен зашивать рану сердца.

Сердце не сокращается.

О давлении и пульсе не спрашиваем — и так ясно.

Рану заткнули пальцем.

Массаж сердца.

— Зрачки сужаются!

Сердце сокращается.

О давлении и пульсе все еще не спрашиваем.

Зашиваем сердце. Зашивает Андрей. Ему беспрерывно отирают лоб.

Он говорит, что пот по спине просто струйкой течет.

Прорезался шов!

Не повезет так...

Сердце в этом месте изрядно разорвано. Снова шьем. Сердце сокращается слабее.

— Зрачки расширяются!

— Делайте массаж.— Это опять анестезиологи.

Я:

— Отстаньте. Мы же видим сердце.

Сердце сокращается еще слабее.

Шьем сердце.

— Зрачки широкие! На периферии кровотечения нет.

Конечно, нет кровотечения: сердце не двигается, кровь не гонит. Ее просто нет на периферии.

Сердце не двигается. А с другого его конца палец еще в сердце. Одна рука Владлена для работы сейчас потеряна. Там еще придется шить.

Шьем сердце. Оно недвижно, а мы шьем. На спокойном сердце, на остановившемся легко как шить.

Зашили... Массаж.

— Зрачки сужаются.

Массаж продолжается.

— Зрачки хорошие. Пульс на сонных!

Сердце работает!

Ну, теперь самое сложное. Положить зажим, как обычно, заранее ясно — нельзя. Все ж попробуем.

— Я вынул палец, а вы накладывайте зажим. Внимание! Выхожу!

Зажим у меня в руках. Палец вышел. За ним поток. Сердце-то уже работает. Кладу зажим. Кажется, наложил.

— Сушить тупферами! Большие тупфера готовьте.

Сушим. Тупфера — это зажатые в инструменте марлевые салфетки. Большие салфетки больше крови в себя вбирают.

Сушим.

Из-под зажима хлещет.

— Отсос!

Дыру зажал пальцем.

Завязываем под зажимом.

— Наложил нитку? Затягивай. Снимаю зажим.

Завязали. Но все-таки где-то сандалит кровь. Опять палец в дыру.

Опять зажим.

Опять завязываем.

Опять кровь идет.

Сушим. Надо все рассмотреть. Нельзя вслепую.

— Зрачки расширяются опять.

Сердце слабеет опять.

Сушим.

Дыра на предсердии. Владлен шьет. С его стороны неудобно. Андрей шьет.

Сердце еще слабее.

— Зрачки широкие!

Андрей шьет. Я вяжу. Сердце стоит.

Массаж. Адреналин в сердце. Массаж.

Сердце лучше...

Зрачки сужаются. Начало кровить из периферических артерий.

Сердце работает.

Опять кровь из предсердия. Боже! Да что же это! Черт возьми!

Сил уже нет.

Опять сушим. Опять шьем.

Сердце работает сносно.

Больше кровь не идет. Все зашито — все дыры. Сердце сокращается.

Перестаем работать на минутку. Пусть оно разработается. Пусть отдохнет от нас. (А мы от него.)

— Как она?

— Давление восемьдесят.

Зашиваем перикард.

— Давление сто.

Зашили перикард.

— Давление сто двадцать на восемьдесят!

Вокруг народ. Здесь шеф. Хорошо, что он не подходил с вопросами.

Он бы только смутил нас. Помочь он бы нам все равно не мог.

Все идет на лад.

— Ты можешь руки свои убрать? — Это Андрей мне.

— Андрей! Ты вяжешь или спишь? — Это Владлен.

— Может, заткнетесь?

Андрей чего-то шипит на кого-то. Кто-то вдруг задумал советы давать. Он говорит нам:

— Самое великолепное, что дураки удивительно разнообразны. Никогда не знаешь, что они выкинут.

Кто-то:

— Вы, ребята, героически работали.

Теперь шипит Владлен:

— В пьесе Брехта о Галлилее, помните, когда ему говорят, что он не

герой, поскольку отрекся, Галилей сказал: ужасна страна, если ей нужны герои. Что-то в этом роде.

Наши головы сомкнуты над раной, и мы что-то шипим друг другу.

Когда ее перевозили в палату, мы шли рядом. Жалко ее отпускать одну.

А сегодня идем с Владленом. Рассказывает что-то. Я смотрю на мелькающие палки решетки.

Может быть, в тридцать пять лет уже поздно начинать оперировать сердце? Это для более молодых. Или привычных давно.

Впрочем, если втроем — тогда не страшно. Можно.

Не так страшно.

* * *

Если моя дочь захочет стать врачом, ох и трудно ей будет.

Но что касается меня — я «за».



ПУБЛИЦИСТИКА

Я. ТАВРОВ

★

НА СИБИРСКИХ ПРОСТОРАХ

— **М**ы видели второе русское чудо,— так выразили свои впечатления от Сибири Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд.

Нынешняя моя поездка в сибирские края совпала кое-где не только со временем, но и с маршрутом известных путешественников. Я видел их знаменитые «татры» на тракте Иркутск — Красноярск и на улицах спутника Иркутска — молодого города алюминщиков Шелехова. Мне пришлось наблюдать, как с гордостью держал Мирослав в руках памятную медаль из иркутского алюминия, да и глаза его товарища выдавали то же чувство.

Знания, приобретаемые в путешествиях, нельзя считать совершенными. Даже если при этом не покидаешь грешную землю и отдаешь предпочтение автомобилю перед самолетом, то и тогда окружающее видишь как бы с птичьего полета, в главных контурах. Но именно главное часто не различаешь с близкого расстояния.

Естественно, что Сибирь поражает при первом знакомстве. Не удивительно и то, что она захватывает сильнее и сильнее при каждой новой встрече. Года три назад был я в Красноярске. Уже тогда город стремительным рывком перебрался на правый берег, врос в него размахом громадами заводов, жилыми массивами. Вдоль реки пролег проспект — самый большой в стране. Центральная городская площадь в старом городе тоже была задумана, как одна из самых больших в Союзе. А пока от строящейся площади к строящемуся проспекту в те времена добирались через понтон, как во времена Чехова.

Но уже тогда возводился мост через Енисей, и, конечно, тоже один из самых больших в стране. Второй же мост у теперешнего Дивногорска возник только в своих первых чертежах. И самого Дивногорска не было. Но уже тогда в затопленной ныне Шумихе изыскатели проверяли надежность ложа проектируемой плотины. В расчете на будущую энергию на обжитом берегу в деревне Коркино уже в ту пору возводили подсобные сооружения алюминиевого завода, который тоже еще не существовал.

Теперь все это есть. И мосты, и Дивногорск, и красноярский алюминий, и величавый проспект, и главная площадь. Она почти завершена. И хотя на нее наложила досадный отпечаток помпезная архитектура недавних лет, все же эта площадь очень хороша. Даже некоторая незавершенность идет ей впрок — еще, мол, не сказано последнее слово...

СИБИРЬ ГЛАЗАМИ СИБИРЯКОВ

Очень интересно наблюдать сибирские города, да и весь край в развитии. Но и этот путь сам по себе не ведет к полному знанию и тем более не дает ключа к проблемам Сибири. А их очень много — больших и острых. Лучший способ разобраться в них — увидеть Сибирь глазами сибиряков. Тогда сразу принимают иную окраску весьма распространенные и, казалось бы, бесспорные суждения.

Я бы выразил суть этого взгляда так: даже чудо можно делать лучше и быстрее.

«Бурный», «стремительный», «необъятный» и тому подобные эпитеты мало что говорят человеку, делающему сегодня историю восточнее Урала. Скажем прямо: они его иногда даже раздражают и явной нечеткостью, и невольной попыткой умилисть, восхитить. Но не только эмоциональные прилагательные, но, как ни странно, такую же реакцию иногда вызывают статистические данные. Читает, например, сибиряк такую фразу: «За 1962—1963 годы капитальные вложения в Сибири и на Дальнем Востоке превысили в полтора раза капитальные затраты на все народное хозяйство за первую пятилетку».

Звучит сильно! А по существу много ли это или мало по сегодняшней мерке? Оказывается, мало. И это нетрудно доказать. Опережающее развитие районов восточнее Урала неминуемо сопровождается возрастанием их доли в общем объеме капиталовложений по стране. В первой и второй пятилетке эта доля (для Сибири и Дальнего Востока) составляла тринадцать процентов с хвостиком. В войну она поднялась на пять единиц. В годы больших восстановительных работ на западе, в районах, опустошенных гитлеровским вторжением, Сибири пришлось несколько потесниться. В первый год семилетки из каждых ста рублей, расходуемых на строительство в Советском Союзе, шестнадцать затрачивалось в Сибири и на Дальнем Востоке. Проходит три года, и вместо роста доля капитальных вложений снижается до 15 рублей 70 копеек. За годы семилетки лишь одна Восточная Сибирь опередила среднесоюзный темп роста капитального строительства, но все же и она оказалась позади многих западных районов страны. В целом же по Сибири и Дальнему Востоку темп был чуть ниже среднесоюзного. Тем самым задерживается вовлечение в промышленный оборот экономически ценных естественных ресурсов.

Что же произошло?

Первая мысль: просчитался Госплан.

Нет. В генеральной проектировке размещения производительных сил Сибири и Дальнему Востоку был отдан должный приоритет.

Но в жизни получилось по иному. Лет десять назад нынешний размах строительства в Сибири оказался бы фантастическим, он даже и ныне, как мы видели, поражает воображение. Однако красноярские алюминщики, получающие глинозем с Урала, вместо того чтобы возить его из близлежащего Ачинска, не могут компенсировать воображением существенный разрыв в стоимости сырья. Тем более что пуск ачинского исполнена — дело не ближайших месяцев. Вместо 1963 года он войдет в строй в 1967 году.

Значит, с привозным издалека глиноземом не будет покончено еще три года.

— И это в лучшем случае,— сказали мне в Госплане Федерации.

Нельзя возместить воображением и десятки миллионов тонн дешевого угля, который могли бы уже дать Назаровский и Ирша-Бородинский угольные разрезы, крупнейшие в Сибири. И тут отстали строители. С опозданием в сроках на два-три года строится Братский лесопромышленный комбинат.

Недавно дала чугун первая домна Западносибирского металлургического комбината. Он сооружается в идеальных для Сибири условиях близ крупного промышленного узла — Новокузнецка. От начала строительства нового металлургического комплекса до пуска домны прошло семь лет. Из них сооружение самой домны не отняло и двух; остальные годы ушли на подготовительные дела. Сооружались производственные базы, те же заводы для целой когорты строительных и монтажных организаций, возводились капитальные жилые дома, школы, больницы, кинотеатры — короче, целый город. Без всего этого ныне и невозможно строить индустриальным методом и постоянными кадрами.

Однако представьте себе, что такого же рода и масштаба задачи надо решать не в центре Кузбасса, а на берегах недавно пустынного Вилюя или в приангарской тайге. Раньше было так: приедут строители, например, на берег Охотского моря, поставят факторию или рубленый засольный цех и уйдут, а поселок строился потом десятилетия. Теперь «на раскачку» уходит иногда несколько лет, но затем здания растут, как грибы.

Сложно строить большие комплексы, сложно их и проектировать. Любой проектируемый сегодня завод — производственный островок будущего, уравнение со многими

неизвестными, которые надо найти в процессе проектирования. На Востоке число неизвестных величин, как правило, значительно больше, чем на Западе. Нередко сказывается масштаб производства, нередко неизученность сырья, часто то и другое вместе.

Если тому же глиноземному заводу в Ачинске предстоит снабжать исходным полуфабрикатом алюминиевые заводы, которые в недалеком будущем должны дать значительную долю советского алюминия, да еще и на впервые осваиваемых и комплексно используемых кия-шалтырских нефелинах, то тут есть над чем поломать голову и конструкторам, и технологам, и ученым.

Затянулась стройка — и найденное вчера часто неприемлемо сегодня. Ничто нынче в мире не стареет так быстро, как прогрессивные технические идеи. Начинаются поиски новых проектных решений, и задерживается стройка. Были проекты — не было у строителей мощности, есть мощности — нет проектов. Разберись-ка в этом клубке! Он изрядно запутан в том же Ачинске.

Общепризнано: для того, чтобы удержать первенство в техническом прогрессе в одних отраслях и завоевать его в других, необходимо сократить вдвое-втрое период между возникновением технической идеи и ее материальным воплощением. Эта задача особенно актуальна для Сибири. Сколь ни сложна подготовительная фаза стройки, мы не можем позволить себе роскошь получать первый эксплуатационный эффект через семь — десять лет после того, как появились первые строители. На Омском заводе синтетического каучука это случилось на двенадцатом году. Стоит вспомнить, что на Новокузнецком комбинате — первенце пятилетки — первая домна была задута через три года. Да, тогда люди жили в бараках и домна была не та, что ныне. Но и нынешней техники тогда тоже не существовало.

Разумеется, огромность пространств между Уралом и Тихим океаном весьма осложняет индустриальное покорение Сибири. И когда на твоих глазах заваривают последние стыки нефтепровода люди, начавшие этот труд на башкирской земле, испытываешь чувство, близкое к трепету. Так велика гордость нашей производственной властью над расстоянием. А власть эта дается нелегко, даже в век реактивной авиации ограничена в своих пределах. Вряд ли в течение этого столетия мы сможем подступиться к Таймырскому и Ленскому угольным бассейнам. Да в этом нет и нужды, потому что ждут освоения бассейны с более счастливой географией. Создание промышленных комплексов с массовыми грузопотэками не может опережать развитие транспортных связей. Очевидно, там, где нет смысла добывать железо, стоит намывать золото или извлекать алмазы, рассеянные элементы. Но даже их следует искать ближе к обжитой зоне. Для этого стоит и надо идти за ними на все большие глубины. Рассредоточенность геологоразведочных работ и горнодобывающих предприятий в Сибири очень дорого обходится государству. Характерно, что доля капитальных затрат в горнодобывающих отраслях у нас гораздо выше, чем в США.

Мне вспоминается, как несколько лет назад один из ведущих геологов Приморья И. И. Берсенева говорил мне:

— Есть романтика геологического поиска. Есть и будет. Она влечет к белым пятнам. На новооткрытый хребет Черского и леший его знает куда еще. А посмотрите-ка через Амурский залив. Там, возле самого Владивостока, в Суйфунской долине, мы ищем нефть, и я верю — найдем ее. И за оловом тоже нет нужды подниматься обязательно в Заполярье. От экстенсивного геологического освоения Дальнего Востока надо переходить к более интенсивному.

Нефть в Суйфунской долине еще не найдена, а олово под Комсомольском, неподалеку от железной дороги, нашли. Здесь теперь одна из жемчужин нашей цветной промышленности. Рудник зовется Солнечным. В широком распадке уже возник город. Над ним, поднимаясь уступами вверх, высятся горнообогатительная фабрика. Еще ближе к Комсомольску, между ним и Солнечным, строится второй рудник, а при нем город с праздничным названием Фестивальный. Руду здесь будут не только обогащать, но и подвергать дальнейшим процессам обработки. Места вокруг, на первый взгляд, дикие, красоты неимоверной, но уже вьется асфальтовое шоссе и езды до Комсомольска на машине всего полтора часа.

СЧАСТЛИВЫЙ РЕЗЕРВ

Вот какова она, Сибирь. Деловой взгляд на нее уводит от славословий и восторгов к деятельности, возлагает на каждого свою толику ответственности за будущее Сибири и Дальнего Востока — неисчерпаемого резерва коммунизма, данного нам природой и историей.

Как же лучше вводить в действие этот резерв, учитывая опыт последних лет?

В программе КПСС сказано: «В целях выигрыша времени в первую очередь будут использоваться природные ресурсы, доступные для быстрого освоения и дающие наибольший народнохозяйственный эффект». Первейший адрес этих ресурсов в области энергетики, легких металлов, химии — Сибирь. Уменьшить шаг за Уралом — значит уменьшить шаг всей страны, потому что возможности Сибири в ряде областей некомпенсируемы. Однако из уроков последних лет надо сделать вывод.

Ни один самый лучший план не может быть абсолютным слепком будущего и не устраняет до конца элементы «непредвиденного» в экономической жизни. Потому что и говорят математики об известной «неопределенности» хозяйственных явлений. Они могут развиваться в нескольких вариантах. «Непредвиденное» не обязательно работает против плана, сплошь и рядом оно наш союзник и убыстряет наше движение вперед. Такова, например, опережающая самый смелый план сила творческой активности масс.

В Сибири нам нередко случается просчитываться в другую сторону. Здесь «неучитываемое» часто выступает как помеха. Отсюда следует простая истина: планы порой не предусматривают особенностей края, не воздействуют на них всегда и в достаточной мере. Перечень этих особенностей завел бы нас очень далеко. Остановлюсь лишь на двух из них.

В свое время Владимир Ильич, подчеркивая важность использования горных богатств Сибири, писал: «Они находятся в таких условиях, где требуется оборудование лучшими машинами». Эти слова словно сказаны сегодня, и они относятся ко всему, что делается в Сибири.

Лучшие машины... Они созданы и служат нам на многих сибирских стройках, и не случайно виднейшие американские специалисты-энергетики, посетив возводимые и эксплуатируемые нами гидроэлектростанции, единодушно признают — на этом поприще мы впереди. Однако в той же Сибири на многих весьма крупных стройках встречаешь весьма обычные и далеко не самые производительные машины. Так, на строительстве Западносибирского металлургического комбината средняя емкость ковша экскаваторов не достигает одного кубометра. Крайне мало. Автомшины на большинстве строек обычно трех- или пятитонные. Для шестидесятых годов нашего века это очень скромный тоннаж. Подсчитано, что в условиях Восточной Сибири замена ЗИЛ-150 большегрузными машинами типа МАЗ-500 принесла бы годовую экономию 24 миллиона рублей и двойной рост производительности труда на автомобильном транспорте. Но и МАЗ-500 с его внушительной грузоподъемностью — 27 тонн — отнюдь не последнее слово мировой автомобильной техники. На капиталистическом Западе фирмы считают целесообразным применение на стройках автомашин еще более высокой грузоподъемности.

Обратимся к железным дорогам. Они в очень сложных условиях проложены, прокладываются и будут прокладываться и южнее и севернее Великого сибирского пути. Едешь, допустим, по новой ветке в Абакан, и все, если говорить о самой железной дороге, точно такое же, как между Курском и Воронежем — и оборудование путевого хозяйства, и станционные депо, и паровозы, и товарные вагоны. Хорошо еще, если попадают пульманы, а то идут подвижные коробки с габаритами, унаследованными от Российской империи. Сколько людей будет обслуживать такую ветку? Столько же, сколько в центральных районах, и на каждого работника требуется несколько человек в сфере обслуживания (на Крайнем Севере до шести). Дорогое удовольствие!

В Канаде, например, господа капиталисты такой роскоши себе не позволяют и железнодорожная линия, ведущая через пустынные пространства в Лабрадор, самая автоматизированная в стране, а вагоны стотонные.

Однако, как бы ни развивалась техника, главной движущей силой производства остается человек. С ним и связаны в первую очередь некоторые несовершенства планов, относящихся к Сибири.

Когда ни приедешь в любой большой или малый сибирский промышленный город, ахаешь — да как же он вырос! Как на дрожжах растет Ангарск, Братск поднимается, пожалуй, еще быстрее, а Шелехово и Железногорск не отстают от них.

Теперь пойдут в гору новые нефтяные очаги на Конде. Впечатление такое: косяками валит народ на индустриальную целину. Но вот беда — одни прибывают, другие убывают. Есть в статистике населения такой термин: «миграционная подвижность». Она определяется числом переселений на тысячу жителей. Увы, первенство по этому показателю держат Восточная Сибирь и Дальний Восток. Из городов Восточной Сибири в 1960 году вышло втрое больше жителей, чем из городов центральной полосы. И на Дальнем Востоке та же пропорция. А общий результат? Он весьма неутешителен. Хотя с пятидесят первого по шестидесятый год в Сибирь приехало только по организованному перемещению полтора миллиона человек, однако в целом за последние годы вместо прироста населения за счет миграции значитесь отрицательное сальдо. И это не все. С 1926 по 1961 год население Сибири выросло почти вдвое. Но за три последних года, несмотря на высокую рождаемость, общий прирост населения на Дальнем Востоке составил всего один процент, в Сибири — четыре, в то время как население всей страны возросло на пять процентов.

Если этот процесс останется неуправляемым, то жизнь будет упрямо вносить свои коррективы в любые планы развития зауральских пространств.

За счет чего же тогда увеличивается население сибирских городов?

За счет большего естественного прироста и притока из деревни. Дело дошло до того, что в среднем по стране на одного работника в колхозе приходится пашни шесть га, а в Восточной Сибири — ровно вдвое больше, в животноводстве соотношение примерно такое же. Надобна широкая программа мер, улучшающих условия жизни, которые органически связали бы с краем тех, кто его покидает, и привлекли на восток мощный поток новоселов. Недавно считалось, что за двадцать лет в Сибирь и на Дальний Восток надо переселить минимум пять миллионов человек. После открытия великой нефтеносной провинции на Западно-Сибирской равнине, после новых задач в области сельского хозяйства, оставшихся за пределами этого рассказа, речь должна идти о куда большей цифре, тем более если учесть замедленный прирост населения в последние годы. Лишь развитие новой нефтяной базы страны потребует переселить в бассейн Оби за десять лет полтора миллиона человек.

«СТРАНА АЕ»

На аэровокзале в Братске мне повстречался попутчик. С первых же его слов я почувствовал острый, критический ум и отличное, нажитое горбом знание строительства.

— Все видели? — спросил он меня строго.

— Все.

— Здоровс?!

— Еще бы!

— Да, здорово. И уезжать отсюда надо с чувством удивления и вообще с высокими мыслями. Но если здесь работаешь и разглядываешь Братск в упор, не раз с горечью поражаешься другому — повторяемости очевиднейших ошибок. Сколько их еще на нашей совести! Хотите, я вам скажу, чего вы не увидели в Братске? Пяти железобетонных заводов, почти полсотни ремонтных цехов. Столько же мелких автохозяйств. А к чему они? Да ни к чему. Сто раз это уже внушалось миру. Тащат люди на новые места старые навывки, и по-прежнему хочет иной директор быть сам себе князем и никому не кланяться. Теперь смекните, во что это обошлось государству и еще обойдется. Где бы ни построили завод, как бы ни удачно выбрали место — все равно заводу жить вместе с убытками.

Далее мой спутник — он назвался Павлом Андреевичем — высказал поддерживаемое ныне многими мнение: надо от проектирования предприятий переходить к проектированию промышленных комплексов. Выгоду это дает колоссальнейшую.

Нигде ошибки в планировании не приносят такой вред, как при дублировании или неудачном расселении предприятий. За тысячелетия люди научились обрабатывать камень, дерево, металлы, они проникли в глубь атомного ядра, завоевали космос, создали великолепные произведения искусства, но создавать по выверенному замыслу целые индустриальные края они учатся только при социализме.

Начало получилось неплохое. Достаточно вспомнить соединение магнитогорской руды и кузнецкого угля. Березняки и многое другое. Здесь сказался коллективный разум партии, научная обоснованность экономической политики. Но позднее, к сожалению, все чаще принимались необоснованные решения, продиктованные свойственным Сталину волюнтаризмом.

В частности, не совсем складно получилось с машиностроением за Уралом. Здесь очень мало заводов, выпускающих машины, приспособленных к условиям Сибири и Дальнего Востока, и много предприятий, работающих почти целиком на западных районах страны. Так, например, лишь две сотых доли продукции Хабаровского завода станков-автоматов находят сбыт на Дальнем Востоке. Пример, к сожалению, далеко не единственный.

В последнее десятилетие, при новом руководстве партии, требование строгой обоснованности и экономической эффективности любого хозяйственного акта, естественно, распространилось и на создаваемую нами новую географию производительных сил. Задачи на размещение производительных сил математики относят к классу экстремальных. Это значит, что решение выбирается из нескольких возможных. Его следует признать оптимальным, если в данном районе та или иная доминирующая отрасль промышленности и комплекс соответствующих производств дают больше выгоды государству, чем развитие тех же производств в любом другом месте.

Люди, приближающиеся сегодня к пенсионной черте, еще только вступили в комсомол, когда на страницах печати появилось название «страны АЕ» (Ангара—Енисей). Теперь его вспомнили. Это действительно страна в географическом понимании данного термина. Но, допуская своего рода публицистическую вольность, можно сказать, что речь идет и об особой стране в экономическом смысле. «АЕ» — страна дешевизны.

Канско-ачинский уголь дешевле впятеро-вшестеро угля, добываемого в шахтах Кузбасса, а о донбасском угле и говорить не приходится. Труд одного угледобытчика на Ирша-Бородинском месторождении заменит двадцать шахтеров Донбасса. Ачинский глинозем, получаемый из нефелинов, будет более чем на треть дешевле глинозема бокситного происхождения, хотя нефелины сами по себе — вынужденный выход. И если раньше на одну тонну глинозема расходовалось шесть тонн маточного и сопутствующего сырья, то теперь — едва ли не четверо больше. Выручает электроэнергия: дает ли ее сибирский уголь или сибирские реки — она сказочно дешева. Она настолько дешева, что есть смысл вырабатывать в Восточной Сибири алюминий из привозных уральских бокситов. Стоит упомянуть и о том, что руда Коршунихи значительно дешевле руды Соколовско-Сарбайского и Качканарского месторождений. Так получается по той простой причине, что уникальные скопления полезных ископаемых (и притом на небольших глубинах) в Сибири позволяют использовать полней, чем где бы то ни было, выгоды концентрации и комбинирования промышленности. А это — две главенствующие тенденции современного производства.

Значение «страны АЕ» партия оценила еще при Ленине.

Расчетом потенциальных запасов Ангары комиссия ГОЭЛРО занималась еще в 1920 году, а ровно десять лет спустя было организовано специальное управление для изучения ангарской проблемы. Уже тогда Приангарье привлекало своими гидроресурсами. Но самое смелое воображение не могло в ту пору представить себе нынешний взлет промышленной энергетики.

У нас много пишут о гигантских гидроузлах Восточной Сибири и мало о тепловых. Но когдаходишь в блок Назаровской ГРЭС и запрокидываешь голову, чтобы увидеть фронт исполинского котла, который обрывается на огромной высоте, право, ощущение мощи человеческого разума здесь не меньше, чем на гребне плотины Братской ГЭС. Этот первенец отнюдь не будет самым крупным в семье богатырей энергетики, которые поднимутся рядом с ним на берегах Чулыма. От шести до двенадцати миллионов тонн угля — таков годовой рацион современной мощной тепловой электростанции. Наиболее крупные из них заменят по мощности шесть Днепрогэсов.

Итак, электроэнергия будет в досталь. Куда направлять ее? Может быть, передавать на Урал, где она так нужна? Пробежав две тысячи километров по проводам, электроэнергия станет шестеро дороже, но и тогда останется все еще в полтора раза дешевле уральской. Еще выгоднее потреблять сибирскую энергию в пределах самой «страны АЕ», разумеется, при определенных условиях экономической целесообразности.

В краю избыточной и дешевой электроэнергии и «дорогих» рабочих рук надобно развивать энергоемкие производства, требующие относительно малого применения человеческих усилий. И тут выясняется еще такое благоприятное обстоятельство: именно энергоемкие отрасли и требуют меньших удельных капитальных затрат. Нетрудно представить себе, какое значение имеет подобный факт при масштабах строительства в Сибири. Есть поразительные данные. Капитальные вложения на один киловатт потребляемой мощности при производстве алюминия, хлора, синтетического каучука в восемь — десять раз меньше, чем при выработке чугуна, стали, текстильных изделий; а для титана и ацетилена — одного из основных продуктов органического синтеза — тот же разрыв возрастает в несколько раз.

Энергетика, легкие сверхпрочные, жаростойкие металлы, синтетический каучук, многообразная нефтехимия плюс лесохимия и, как сырьевая основа, широкая добыча рудных и нерудных ископаемых, притом во всем принцип дешевизны, — такова в самом общем виде схема развития производительных сил Приангарья, да и всей Восточной Сибири. Нетрудно заметить, сколь полно обращена вся экономика края к нашему веку научно-технического переворота. Она даст те материалы, из которых строится высшая техника.

Найденное всегда просто. Но сколько поисков на пути к нему! Потребовалось громадное накопление выводов, открытий, неустанный труд ученых — геологов, географов, энергетиков, химиков (всех не перечесть), — чтобы стало возможным наилучшим образом вписать в план и комплексно разместить в пространстве и времени новаторские и развиваемые индустриальные узлы Сибири и Дальнего Востока.

Теперь даже кажется странной мысль, что была пора, когда Сибирь почти единодушно считалась относительно обойденной полезными ископаемыми. Земля за Уралом упорно и хитроумно прятала свои клады, исключая лишь уголь да золото. Еще в 1946 году суммарные запасы руд в прикузнецких районах определялись всего в двести миллионов тонн в десяти месторождениях, и ни одно из них не было перспективным. Лишь в самые последние годы были открыты богатства рудного Алтая, Илима, Алдана, и уже совсем в наши дни обнаружена уникальная рудная база в Сибирской низменности с такими поразительными находками, как Бакчарско-Колпашевский район, где местами пласты руд достигают толщины сорока метров. А нефть? На ее поиски ушло полвека. Вначале не обнаруживали ничего. В 1936 году студент В. Сенюков, ныне один из наших видных ученых-нефтяников, нашел на якутской реке Толбе первые граммы кембрийской нефти. Правда, полностью эта нефть еще не отвоевана у сибирских недр, и то, что сделано у деревни Марково, только начало.

К 1932 году относится утверждение академика И. М. Губкина о нефтеносности Западно-Сибирской низменности. Оно противоречило господствующему мнению. Нефть искали долгие годы на огромном пространстве от мыса Нордвик чуть ли не до Мнунсинской впадины. В 1953 году был найден газ в Березове, и лишь десять лет спустя забила фонтаном промышленная нефть Шаима.

Чем больше богатств мы открываем в Сибири, тем сложнее использовать их в самом совершенном, в самом экономичном сочетании. Мало открыть руду, нефть,

графит. Кончается труд геологов — начинается работа физиков, химиков. Нигде, пожалуй, наука не выступает в такой степени непосредственным вожатым производства, как в Сибири. На традициях здесь жить просто невозможно. Через лаборатории, экспериментальные установки, кабинеты ученых тут проходит первая линия индустриального «приручения» Сибири. Именно отсюда далеко-далеко просматривается будущее всей Сибири. И не только с вышки физико-математических, естественных наук, но и с позиций экономической мысли, призванной собрать и обобщить для целей планирования все достигнутое остальными науками.

ВОЖАТЫЙ ПРОГРЕССА

Если вы будете в городе науки на Оби и захотите зайти в Институт экономики, не ищите его среди физико-математических, химических и иных центров науки, размещенных в зданиях, удачно сочетающих в себе внушительность и легкость и поставленных с большими просветами по обеим сторонам шоссе, бегущего по лесу в жилую зону. В центре зоны, на «главной улице», по соседству с веселой, окрашенной в терракотовый цвет гостиницей стоит зауряднейший жилой дом. В нем сохранена обычная планировка, и чтобы попасть из отдела в отдел, надо перейти из квартиры в квартиру.

Но и в этом жилом по назначению доме, за обычными конторскими столами, тоже ведется большой поиск, и от него в конечном счете зависит коэффициент полезного действия любых открытий. Задач у института (его полное наименование — Институт экономики и организации промышленного производства) много. Из них я коснусь лишь одной — проблемы рационального «расселения» сибирской и дальневосточной промышленности. Занимается географией производительных сил сектор районных проблем. Ему отведена «отдельная квартира». Не выходя из нее, можно «в упор разглядеть» всю Сибирь. Группа ученых во главе с Б. П. Орловым собрала обширный материал о состоянии и перспективах развития сибирской экономики. Как и положено, в их исследовании много цифр, изложено все сухим, точным языком. Но когда читаешь о том, что уже увидел, то из этих почти протокольных записей встает, захватывает своеобразием и силой сибирская жизнь. Хорошо, что собраны и осмыслены значительные факты. Еще дороже то, что они оценены критическим взглядом, пронизаны одной мыслью: а наилучшим ли образом распоряжаемся мы богатствами Сибири?

Превосходен замысел первого за Уралом Красноярского лесохимического комплекса. Три пути перевоплощения проходит здесь древесина: первый — в бумагу; второй — в вискозную целлюлозу, затем искусственное волокно; третий путь — гидролизный — ведет через этиловый спирт к синтетическому каучуку, а затем к шинному производству.

Прекрасная схема комплексного использования сырья, она должна быть очень экономической. Но вот беда: заводы, образовавшие комплекс, строились одновременно, без должного соответствия производственных мощностей отдельных ступеней комплекса. И выходит, что красноярской вискозной целлюлозы недостаточно для производства красноярского искусственного волокна, и этиловый спирт для каучука тоже приходится везти издалека, из Хабаровска. Перевозка влетает в копеечку, и экономический эффект от комплекса сильно снижается.

Об этом с горечью и воодушевлением рассказывает научный сотрудник П. И. Потемкин. Горечь относится к тому, что есть, а воодушевление — к проектам новых промышленных узлов, построенных на гармоническом соответствии всех взаимосвязанных производств.

Да и в Красноярске положение меняется. Уже в этом году на моих глазах вводилась в эксплуатацию новые установки в гидролизном цехе. И на всем гидролизно-бумажном комбинате тоже близки большие перемены.

Свои грезы, радости и заботы у Б. Н. Зыкина, специалиста по лесным делам. Его «хозяйству» можно позавидовать. В Сибири сосредоточена четвертая часть лесов

мира. Но что горько: счет лесных запасов, созревших для вырубki, почти астрономический, а берутся от них буквально тысячные доли. И получается великая несправедливость: на западе сводят леса, а на востоке, по грубому счету, из пяти деревьев четыре перестойных, а переставать лесу ни к чему. С этим надо кончать. Полмиллиарда долларов, по словам Н. С. Хрущева, могла бы свободно получить наша страна от экспорта целлюлозы. Чтобы иметь эти полмиллиарда, надо оставить позади нынешний парадокс, когда три четверти наших лесов находятся восточнее Урала, а четыре пятых целлюлозной промышленности — на западе.

— Ну, скажите, что может быть важнее этого? — спрашивает Зыкин.

Естественно, что каждому работнику его отрасль кажется особенно важной. Взять хотя бы Павла Григорьевича Олдака, человека горячей души, автора нескольких любопытных работ. Он занимается вопросами развития легкой и пищевой промышленности края. К счастью, позади осталась пора механического противопоставления групп А и Б, когда в заботе о легкой промышленности видели всегда что-то от лукавого. Но ведь тогдашнее отношение довело до того, что на Дальнем Востоке местная легкая промышленность обеспечивает всего одну десятую потребности населения в кожаной обуви, а в тканях и того меньше.

Отраслей много, их надо пропорционально увязать в один тугой узел. Конкретная цель института заключается в том, чтобы помочь плановым органам решить эту задачу применительно к новой пятилетке во всесибирском масштабе. Для этого недостаточно самых больших знаний, самого солидного опыта — тут необходимы новые методы. Их дает математика.

По субботам институтские экономисты и математики устраивают семинар. На этот раз народу из-за командировок, отпусков собралось немного. Пришел острый, стремительный в словах и в мыслях Владимир Николаевич Шубкин — недавний москвич и сотрудник Института философии, обращенный теперь целиком в «математическую веру» и убежденный, что количественные методы дают замечательные возможности для социологических исследований и проникновения в общественную психологию (некоторые из этих исследований уже осуществлены институтом). Был на семинаре и Александр Гринберг, тоже убежденный в том, что количественные методы и моделирование — лучшие советчики при размещении производительных сил. Был и уже знакомый нам Павел Григорьевич Олдак.

Занятие семинара вел руководитель лаборатории экономико-математических методов Абель Гезович Аганбегян. В тот день мне сказали о нем: самый молодой доктор экономических наук в стране. Ныне сообщение уже устарело. В тридцать два года Абель Гезович избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Очевидно, выводы, которыми делится Аганбегян, — плоды долгих раздумий. Но Абель Гезович отнюдь не вещает истин, скорее он ищет их, делая слушателей соучастниками всегда захватывающего чуда рождения мысли. Она формируется с помощью понятий, еще недавно не применявшихся экономистами.

Вероятностная среда. Неопределенность. Инвариантность. Итеративный подсчет. Но что любопытно? К математическим определениям подводит логика рассуждений столь ясных и конкретных, что смысл математических терминов раскрывается сам собой.

Экономико-математические модели. Зря догматики от политэкономии усматривали в этом нечто сомнительное, злобное, занесенное «с того берега». Марксова схема простого и расширенного производства — тоже не что иное, как модель. И графически числовая схема образования внутреннего рынка, созданная В. И. Лениным, — тоже модель! Спору нет, применение моделей для целей планирования имеет свои особенности.

Народное хозяйство СССР — это сотни тысяч предприятий, совхозов, колхозов. Миллионы видов продукции. Невероятный переплет территориальных и межотраслевых связей. Эта сложнейшая система не только громадна, но и необычайно динамична. За несколько лет номенклатура изделий обновляется больше, чем наполовину. В этих условиях мы не можем обладать полной информацией о завтрашнем дне народного хозяйства, ибо нельзя точно предвидеть, какие открытия принесет ближайшее будущее.

Нельзя строго учесть и поведение людей, меру их активности, одаренности, новаторства, а часто и косности. Наконец есть еще зависимость от природы и внешнеполитические факторы. При всем том возможность управлять социалистической экономикой доказана опытом, и математика призвана здесь выступить служанкой экономических законов и дать возможность выбрать лучшее, оптимальное решение.

Как же это сделать?

Велик соблазн создать единую математико-экономическую модель, которая на какой-то отрезок времени воспроизвела бы заданное развитие всего народного хозяйства и решала главную задачу — наиболее полное удовлетворение общественных потребностей.

Возможна ли такая модель и нужна ли она?

— Я все больше утверждаюсь в мысли, — говорит Абел Гезович, — что, независимо от возможностей вычислительной техники — сегодня они этого наверняка не позволяют, — циклопический центр, который бы выдавал гигантскую оптимальную модель всего народного хозяйства, вряд ли будет существовать.

Абел Гезович отстаивает очень реалистическую концепцию системы своеобразных «блоков» моделей. Они строятся снизу и, распространяясь вначале на первичные ячейки — предприятия, охватывают затем взятые в строгой, обоснованной последовательности отдельные отрасли, экономические районы и все сквозные связи между ними. Так следует в этих «блоках» моделей находить оптимальное решение для одной проблемы, затем другой. А дальше... Дальше на очереди синтез частных решений, он осуществляется методом последовательного многовариантного приближения к генеральному оптимуму.

Стремление расчлнить неразрешимую сегодня задачу с сотнями миллионов переменных величин «на задачи меньшей размерности» и идти дальше путем комплексного моделирования — находит все больше сторонников. Однако у этого взгляда есть и авторитетные противники.

Возникает мысль. все это хорошо, но что же здесь «сибирского»? Проблема то ведь сугубо не местная, не региональная. «Сибирское» здесь в том, что люди научных центров, выросших на берегах Оби, Енисея, Тихого океана, не только не чураются острых задач первостепенной значимости, напротив, они стремятся к ним, будь то в физике или экономике. И чем успешнее их решает наука, тем на более высоком мировом уровне разрабатываются любые региональные задачи.

Споры о методах построения экономико-математических моделей для целей планирования продолжают, и рано утверждать, кто здесь прав. Но пока что новая теория уже стала инструментом развития сибирской экономики и притом в первую очередь в самой актуальной для Сибири сфере — в области размещения производительных сил.

В институте на двадцати четырех конкретных задачах опробованы типовые модели для создания рациональной географии отдельных отраслей промышленности. В частности, строгим математическим счетом найден и подтвержден оптимальный вариант размещения цементной промышленности Сибири. Лаборатория математически-экономических исследований в содружестве с химиками создала модель оптимального использования пластмасс в народном хозяйстве СССР. Что же оказалось? Планирование обычным методом приводит к просчету ни много ни мало в один миллиард рублей.

Одно из самых сильных впечатлений, какое выносишь из любой поездки по Сибири, — это размах усилий, прилагаемых для развития науки. Первая линия освоения сибирских и дальневосточных пространств проходит ныне через непрерывную цепь научных учреждений, протянувшуюся от Тихого океана до Тюмени. Так, в особых условиях малообжитого, а местами полупервобытного края действует общая политическая и экономическая стратегия партии — постоянная опора на науку.

Вот уже почти двадцать лет мне приходится наблюдать за самым окраинным научным центром страны — Дальневосточным филиалом Сибирского отделения Академии наук СССР. Вскоре после войны небольшой трехэтажный дом на главном проспекте Владивостока был заселен весьма умеренно. В нем работали небольшие группы

геологов, растениеводов, химиков. Был еще заповедник в Супутинке, опытная плодово-ягодная станция близ Уссурийска. Потом тот же самый дом стал самым уплотненным во Владивостоке. Нельзя было понять, как может помешаться в нем столько людей, столько лабораторий.

Теперь близ Амурского залива, в живописнейшем уголке, построен научный городок. В составе филиала три института. Внимание геологов многих стран привлекла конференция, посвященная проблемам советской зоны тихоокеанского рудного пояса. Ее труды воплощены в солидном томе. В этом году создан новый институт биологически-активных веществ, которыми так богаты и тайга и океан; организованы лаборатории водного баланса и геохимии ландшафта, географии и картографии. Удивительно ли, что после всего этого филиалу снова тесно и снова надо строить и строить. И за пределами Владивостока он тоже растет: к старому заповеднику прибавились лишь в этом году еще четыре.

Большой научный центр сооружается на берегу Ангары в черте Иркутска. Возводится комплекс крупнейших химических лабораторий — научная база грандиозных промышленных химических комплексов Восточной Сибири. Не забыты и геологи.

Когда этим летом у монтажников возникла заминка на строительстве корпуса рудообразования, отставание от графика рассматривалось обкомом партии буквально на следующий день как чрезвычайное происшествие. Кстати, в этой лаборатории будут моделироваться происходящие в земной коре процессы рождения руд. Не обойдется здесь без помощи математики.

Когда-то Лейбниц видел в математических обозначениях, с помощью которых, по его словам, «поразительным образом сокращается работа мысли», прекрасное пособие для разгрузки воображения. Теперь математика стала вожатым фантазии.

ЗАВТРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Ранней весной этого года в Иркутск съехались из Забайкалья, Бурятии, Красноярского края, Якутии участники зонального совещания, призванного обсудить проект перспективного плана Восточной Сибири. Делегаты с мест везли с собой расчет возможностей заводов и целых районов. Одни справились с работой лучше, другие хуже, однако у всех проектировок была общая черта — они деловито врывались в будущее, чтобы отвоевать там себе как можно большую площадь. Эта замечательная экспансия выдавала великое нетерпение, свойственное советским людям, стремление подтолкнуть время.

В одной из статей «Правды» о Сибири мне встретилось удачное выражение: «Сибирь — усиленное выражение русского». К этому надо добавить: «и советского». Приблизить будущее стремятся равно и лесорубы Уссурийской тайги, и московские автомобилестроители. И тех и других ждут впереди новые рубежи. Но в Сибири они обозначены иными переменами. Одно дело прийти на тот же, но более полно автоматизированный или вполне автоматизированный завод, другое — работать вместо Братской ГЭС уже на Усть-Илимской и подумывать о том времени, когда ты очутишься на Лене. Да, в низовьях Лены, где вблизи Ледовитого океана будет сооружаться самая крупная величина в созвездии сибирских гидроэнергетических каскадов. Суть тут не в том, что затмит она и оставит далеко позади младших сестер, — другое важно: не только на Дальнем Востоке, но и на Дальнем Севере страны утвердится всей мощью высшей техники советский человек, и это будет еще одна вежа в непрекращающемся индустриальном завоевании Сибири.

Не будем устремляться мыслями так далеко и вернемся к зональному совещанию Сибири. Мне рассказывал о нем один из руководящих работников иркутского совнархоза Евгений Михайлович Кудзи, уроженец Брянщины, бывший фронтовик, человек, увлеченный Сибирью, автор нескольких работ о ней. Особенно сведущ Евгений Михайлович в лесохимических делах, из всех пристрастий — целлюлоза и бумага у него самое сильное.

— Разумеется,— говорил Евгений Михайлович,— окончательное слово за Москвой. Возможно, кое в чем наши замыслы и притязания, признаюсь прямо — немалые, могут и поубавить. Основа же, я полагаю, сохранится. Она — органичное продолжение уже начатого и сделанного.

Все же Евгений Михайлович явно тревожился: а вдруг поубавят? Казалось бы, совнархозу и ему самому куда легче работать, если поубавят, а не удлинят в Москве сибирский шаг. Так нет же. Мы все нетерпеливы в стремлении приблизить будущее. Но сибиряки нетерпеливы особенно. Нынче они могут быть довольны. Шагать им придется очень быстро.

Для Восточной Сибири на новом этапе проектируется самый высокий темп развития, почти в два с половиной раза возрастет выпуск продукции в период 1966—1970 годов. Сказать, что впредь стержнем восточносибирской экономики будет энергетика,— значит ничего не сказать. Энергетика — ось любого плана. Тут же ставится задача специализировать край на производство электроэнергии для потребностей всей страны. Точнее говоря, речь идет о начале превращения Восточной Сибири в главный энергетический центр Советского Союза.

Хотя в учебниках так не пишут, но то, чем заканчивается плановый период, зависит прежде всего от того, с чего он начинается. Исходные рубежи нового плана в Восточной Сибири не оставляют желать лучшего. Уже в 1966 году будет в полную силу трудиться на коммунизм Братская ГЭС, даст, очевидно, к этому времени первый ток и Красноярская гидроэлектростанция. Будут вырабатывать электричество турбоагрегаты Назаровской ГРЭС. Быть может, стоит напомнить, что уже давно в строю Иркутская гидроэлектростанция.

При таком начальном энергетическом рубеже — чего же удастся достигнуть в ближайшее время? На Енисее и Ангаре народятся еще по одному гидроэнергетическому исполнцу: один — в Саянах, на Карловом створе, неподалеку от Шушенского, другой — у Усть-Илима. Заработает и Ачинско-Канская угольная база. На небольшом пространстве вдоль Чулыма протянется шеренга гигантских угольных разрезов. Самый большой из них — Березовский — будет выдавать после освоения проектной мощности сорок миллионов тонн угля. Во всей Российской империи в 1913 году угля добывалось примерно вдвое меньше.

Ачинско-канский уголь предполагается «транспортировать по проводам». Превращенный в электрический ток, он вольтется в единую энергетическую систему Сибири электроэнергией, вырабатываемой серией тепловых электростанций. Их будет со временем восемь — десять. Очень большие. Настолько большие, что в перспективе их мощность составит сорок миллионов киловатт. И здесь стоит напомнить, что в не далекие дореволюционные времена, а совсем близко — в 1953 году — мощность всех электростанций Советского Союза составляла около тридцати миллионов киловатт.

Большая энергия приведет за собой большую металлургию. Какую? Возникает сразу мысль о цветных и легких металлах. Именно ими прославится «страна АЕ». И прежде всего алюминием. Доля Восточной Сибири в его общесоюзном производстве приблизится к трем четвертым. Вот она, концентрация производства по-сибирски! Это лишь начало превращения Сибири в одно из крупнейших средоточий производства цветных металлов — цветных и редких.

Последнее время специалисты сокрушались по поводу возможного истощения Норильского полиметаллического месторождения. Теперь у него появился дублер, и какой! Да еще вблизи от Норильска. Талнах! Этому слову долго греметь и все прочнее связываться с медью, никелем, золотом, платиной и другими, еще неизвестными спутниками.

Пойдет в гору и добыча вольфрама. Наряду с Бурятией (богатейшее Джидинское месторождение) поставщиком вольфрама станет и Забайкалье, где предполагается построить для эксплуатации перспективных полиметаллических руд Спокойнинский горнообогатительный комбинат.

Значит, проектируется развитие любой металлургии, кроме черной. В том-то и дело, что настал час и для нее. Настал после долгих споров, ожиданий. И хоть идут толки о «закате» железа, но меняется лишь его роль, никогда не быть ей малой, и надоело сибирякам возить металл издалека, из тридевятого экономического района.

Еще трудно сказать — в Тайшете или Большом Улеу, но в одном из этих пунктов начнется сооружение металлургического комбината. Сибирь заботливо подготовила для четвертой металлургической базы страны отличнейшую сырьевую основу — Ангаро-Питский бассейн. Здесь на небольшом пространстве между Ангарой и рекой Большой Пит природой собрано пять миллиардов тонн кварцево-гематитовых руд, доступных для разработки открытым способом. Руды долго не поддавались обогащению, но ключ к нему уже найден на красноярском заводе «Сибэлектросталь».

Несомненно, сибирская дешевизна распространится и на сибирскую сталь. В ее производстве может быть широко использован электродоменный процесс. Не станет дело и за коксующимся углем. Свой и недорогой металл во многом изменит экономику Сибири.

Все же главное действующее лицо в планах развития Восточной Сибири не железо, а продукты химии.

Уже прошло время, когда велись споры: а стоит ли гнать в такую даль — на Ангару — башкирскую нефть, подвергать ее множеству полимерных перевоплощений и снова везти в такую же даль в обратном направлении? Несомненно, стоит. Уж очень дешева сибирская электроэнергия, а доля ее в затратах промышленности органического синтеза весьма велика. Башкирская нефть уже превращается в сибирский капролактан; в сибирские удобрения, и на сибирских землях подкормка аммиачной водой оборачивается прибавкой урожая пшеницы в три-четыре центнера на гектар.

Но то, что есть — начало начала. Лишь за пять лет производство карбамида возрастет почти в двадцать раз. За что ни возьмись — кривая выпуска стремительно взлетает вверх. Наряду с первоначальной этиленовой линией большое развитие получит соперник этилена — пропилен. Он вышел позже на промышленную арену, но его полимеры уже дали жизнь целому поколению изделий и продуктов от центробежных насосов до тончайших пленок и искусственных мехов. Всему этому и многому другому — растворителям, смолам, широкому набору пластмасс — быть в Восточной Сибири!

Одним из центров производства штапельного волокна станет город Ангарск. Ангарск! Этот широко и умно скроенный город пленяет своей молодостью и удивительной законченностью. Оставить его так, как он есть, и ничего не надо. Но ему еще расти и расти. И это тоже вписано в план.

Триумф нефтехимии так велик, что он затмил в наших глазах развитие другого, широко ветвящегося направления органического синтеза — хлорного. Между тем перед нами одно из характерных явлений середины XX века. На земном шаре не много мест, где бы естественная среда так благоприятствовала развитию химии на хлорной основе, как в Приангарье.

От северных предгорий Саян далеко на север — в Якутию — протянулась широкой полосой беспримерная цепь соляных бассейнов. Ее старинный «промысловый» центр — Усолье Сибирское. Поначалу здесь извлекали соль ради соли, затем научились извлекать из нее продукты классической химии — каустическую соду, соляную кислоту и т. д.

Если едешь в Усолье из Иркутска, на пути остается новый Ангарск, шоссе пересекают леса, они уходят увалами за горизонт. Город хаотичен, местами запущен, в нем нет, к сожалению, ни организованности, ни чистоты Ангарска. А размах дел тот же.

Ангарск и Усолье не просто соседи. Они представляют собой переплетающиеся ветви современной промышленной химии. Слово «хлор» звучит сегодня очень гордо. Хлор нарасхват. Он всюду дефицитен. Без него не обходится ни рождение тканей, ни целлюлозы, ни многих полимерных продуктов нефтяного происхождения. В частности, хлор — доминирующий компонент такой господствующей пластмассы, как поливинилхлорид. Хлор не только «слагаемое», но и основа многих полимерных продуктов, в частности — кремнево-органических соединений, фторопластов Ясно, какое значение для всей страны представляет собой возникновение на берегах Ангары неисчерпаемого по ресурсам химического комплекса на нефтяно-хлорной основе.

Естественно, что в новом периоде каменной соли дана «зеленая улица». Утроится производство каустической соды, и получать ее будут новым, более

совершенным способом. Большой новый комбинат будет заниматься комплексным извлечением ценнейшего содержания отходов соли — брома, йода и т. д. Впервые в Союзе будет осуществлен синтез искусственного глицерина, пергидроля (и здесь новая — хинонная — технология). Среди большой гаммы синтетических каучуков важное место займет хлорпреновый, самый дешевый и очень ценный, каучук — найрит, изготовленный вблизи того же Усоля. Основа хлорпренового каучука — хлор и ацетилен.

Большие труды на поприще химии предстоят красноярцам. В крае вырастет промышленность хлор-органического синтеза. Намечено построить большой химический комбинат полихлорвиниловых смол. Получат большое развитие и другие ветви промышленности органического синтеза, а также производство сложных удобрений и продуктов классической химии кислот и соды.

В ближайшие годы освоение малонаселенных огромных пространств Восточной Сибири будет носить по-прежнему «очаговый» характер. Край будет «заселяться» промышленными комплексами.

...Этим летом после относительно большого перерыва я побывал на строительстве Красноярской ГЭС. Мне повезло вдвойне. Как и в первый раз, я оказался на стройке вместе с другом моей юности Андреем Казаченко.

В ту поездку мы жили в затопленной ныне Шумихе, и Енисей стремительно, как тысячи лет назад, нес воды через шумихинское сужение, еще ничего не ведая о своей судьбе. Шел период изысканий. Все мысли моего друга были заняты тогда будущим гидроузлом. Но ныне, когда река перекрыта и сооружение воплотилось в бетоне, воображение Андрея витало на Саянах — там на Карловом створе началась «предыстория» нового гидроузла.

— Представляешь себе, — говорил Андрей, — южное лето, яблоневые сады, баштаны, как у нас в Таврии, и подсолнечник тот же, черноземные минусинские степи, всхолмленные так же, как у нас под Днепром, а за степями — горы. Плодороден чернозем, а горы соперничают с ним «плодородием ископаемых» и степями и друг с другом, кто богаче отличным железом, длинно-пламенным углем, молибденом, медью, свинцом, золотом и целой свитой нерудных ископаемых от асбеста до мрамора. Одного перестойного леса здесь миллиард кубометров! Теперь присоедини мысленно ко всему этому силу электричества и посуды, что получится!

Получается знатно! Две примечательные особенности отличают Саяно-Шушенский комплекс. В отличие от Братска и Усть-Илима он создается в обжитом районе, на сплетении железных дорог. Это и предредило его «победу» в состязании с проектировавшимся Енисейским гидроузлом, где вокруг природных богатств уйма, а людей и дорог слишком мало. Не менее важно и то, что речь идет об индустриально-аграрном комплексе, где зерно, мясо, шерсть значат не меньше минералов и машин. Характер естественных ресурсов предопределяет специализацию района. Здесь в 1966 — 1970 годах начнется сооружение металлургических предприятий, ряда электротехнических заводов, которые будут производить почти все для нужд электрификации — от кабеля и электроламп до сверхмощных генераторов к турбинам. В комплекс войдет еще много заводов.

Теперь, пожалуй, пора упомянуть об одном обстоятельстве, не относящемся к экономике. Есть события, которые история наделяет значением почти символическим, и этот смысл обретает реальную силу. На пороге нынешнего века близ Минусинска начала свое воздействие на общественную жизнь ленинская мысль. Теперь когда-то глухая сибирская сторона стала одним из ударных участков той громадной зоны главного воздействия на ход мирового развития, имя которой Советский Союз.

Хотя, набрасывая беглые контуры будущего Восточной Сибири, мне так и не удалось рассказать об очень важных вещах — ни об алмазах Якутин, ни о ее газе, ни о слюде и редких металлах Забайкалья, ни о неисчерпаемом золоте Бодайбо, ни о вольфраме Бурятии, ни о лесохимии и многом другом. Но если бы мы даже намного раздвинули пределы новостествования, то и тогда бы не удалось рассказать всего о завтрашнем дне Восточной Сибири. А она — лишь часть огромного целого, и за ее пределами

развиваются специализированное уникальное машиностроение Новосибирска, нефтехимия Омска, идет в гору земледельческорудный Алтай, множится выпуск химических волокон Барнаула, тракторов Рубцовска, берет новые рубежи многоотраслевая индустрия Кузбасса с ее триединой основой: уголь — металлургия — химия.

Помимо всего этого, есть еще плоская, слабо вогнутая чаша великой Западно-Сибирской низменности — таежная, заболоченная, еще недавно глухая сторона, край озер, меллительных рек, где уже добывается нефть и возникнут нефтепромыслы и города, вписанные в новые проекты. Это рождается новая нефтяная база страны, и она уже сегодня может по своим потенциальным запасам оспаривать первенство у Волжско-Уральского нефтяного бассейна... Нет, завтрашний день Сибири нельзя исчерпать никакими описаниями. Сибирь слишком огромна. Ее будущее надо всегда до во о б р а ж а т ь, как все открываемое, творимое, не имеющее конца.



Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ

★

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ МАРТИНА БОРМАНА

В один из апрельских дней нынешнего года группа советских журналистов, совершивших поездку по ФРГ, оказалась в предгорьях Баварских Альп. Миновав расположенный в живописной долине курорт Бад-Рейхенхалль, наш автобус стал взбираться вверх. Вскоре перед нами мелькнул щит с надписью «Берхтесгаден». Сам городок остался у подножья горы, а мы продолжали подъем. Минут через пятнадцать автобус остановился. Мы вышли. От шоссе шла узкая тропинка к площадке на краю обрыва. Судя по каменной стене у склона горы, здесь раньше стоял дом.

— Господа,— сказал сопровождавший нас ландрат Шольц,— здесь стоял дом Гитлера, так называемый Бергхоф. В последние дни войны он сгорел, а затем мы решили уничтожить эту руину...

В самом деле, сейчас ничто не напоминало о том, что здесь находилась резиденция человека, приведшего Германию к катастрофе и свергнувшего мир в войну. В Бергхофе было принято немало зловещих решений. Именно здесь 22 августа 1939 года, накануне начала войны, состоялось знаменитое совещание Гитлера с его генералитетом, на котором Гитлер провозгласил: «Грядет немецкое мировое господство!»

Через двадцать пять лет от Бергхофа не осталось даже развалин.

Отойдя в сторону, я заметил прямо перед площадкой дорожный знак — белый круг с красной каймой. На нем стояли слова: «Опасность катастрофы!» Разумеется, местные власти имели в виду автомобильное движение. Но трудно подобрать более подходящий щит для места, где стоял дом нацистского фюрера. Когда-то с Германией произошла чудовищная катастрофа. Но миновала ли опасность?

Да, было о чем задуматься. Но ландрат Шольц продолжал свои разъяснения:

— Здесь, сразу за домом, было несколько вилл — одна из них принадлежала министру вооружения Альберту Шпееру, ныне сидящему в союзной тюрьме Шпандау. Но основная группа домов находилась поодаль. Там, сзади дома эсэсовской охраны, был дом Геринга,— видите, где сейчас тригонометрическая вышка. Чуть ближе к дороге стоял дом Геббельса и дом Бормана. Ведь Мартин Борман был управляющий всеми владениями фюрера.

Если на месте Бергхофа еще можно обнаружить какие-то остатки фундамента, а дом эсэсовцев остался целехонек и превратился ныне в гостиницу, то от домов Геринга, Геббельса и Бормана не было и следа.

— А что, если Альберт Шпеер, отсидев свой срок, пожелает получить обратно свои владения? — спросил кто-то из нас.

Шольц рассмеялся:

— Нет, нет, он их не получит. Все это конфисковано баварским правительством.

— Значит, и Борман, если он объявится, не сможет претендовать на управление остатками Бергхофа?

— О, можете быть спокойны...

Мартин Борман — имя этого человека тесно связано с Бергхофом. Именно ему пришла в начале тридцатых годов идея купить здесь земельные участки и создать рези-

денцию фюреру. На месте крестьянского двора вырос целый комплекс строений — сам Бергхоф, здания охраны и свиты, а на вершине горы Кельштейн — домик, куда приглашали дипломатов на переговоры. Борман был горд своей идеей и заслужил себе ее осуждением шпоры у своего фюрера...

Мартин Борман — имя этого человека до сих пор блуждает по страницам мировой прессы. Борман в Перу... Борман в Бразилии... Борман в Испании... Сообщениям нет конца. Судьба этого зловещего человека — «серого кардинала» фашистского рейха — до сих пор занимает умы людей; 2 мая 1945 года он таинственно исчез, и след его потерян...

Многие авторитеты считают, что Борман жив. Недавно, работая над книгой о Бормане, которая скоро должна выйти в Политиздате, я запросил мнение нескольких специалистов. Это были: английский профессор Хью Тревор-Ропер, автор нашумевшей в свое время книги «Последние дни Гитлера»; известный берлинский публицист Юлиус Мадер; австрийский адвокат, бывший полицей-президент Вены д-р Генрих Дюррмейер. Наконец, будучи в ФРГ, я беседовал на эту тему с крупнейшим специалистом по розыску военных преступников, генеральным прокурором земли Гессен д-ром Фрицем Бауэром. Все они были примерно одного мнения: до тех пор, пока нет убедительных доказательств о том, что Борман погиб в Берлине 2 мая 1945 года при попытке прорыва, — следует предполагать, что он жив. Д-р Бауэр выразился еще более решительно:

— Я уверен, что Борман жив. Все сообщения, которые поступают последнее время, говорят: нет дыма без огня...

Но, собственно говоря, кто такой и что такое Борман? Только ли человек с этим именем, родившийся в июне 1900 года в Гальберштадте, ставший впоследствии рейхсleiterом (то есть высшим чином) нацистской партии и личным секретарем величайшего из военных преступников? Нет, Борман представляет собой нечто иное. По иронии судьбы он стал чем-то вроде Агасфера фашизма и тем самым превратился в своеобразный символ — зловещий символ того, что фашизм еще бродит по миру, что он продолжает действовать.

Едва ли имеет смысл заниматься судьбой Бормана и розыском его следов, отвлекаясь от того, что он собой символизирует. В конце концов было бы проще написать Бормана со счетов и отправить на свалку истории, куда уже давно вышвырнуты другие немецкие главные военные преступники. Но Борман сам напоминает миру о себе, как он однажды напомнил своему тестю, бывшему главному нацистскому «партийному» судье Вальтеру Буху. К Буху, благополучно проживавшему в ФРГ¹, однажды явились двое неизвестных и имели с ним долгий разговор о Бормане. После этого Вальтер Бух, изрядно недолюбливавший своего могущественного зятя, сказал своей супруге: «Хильдегард, все-таки эта свинья жива...»

Сейчас год 1964-й; прошло девятнадцать лет со дня краха фашизма. Но корни его еще не выкорчеваны, еще есть обширные районы, где снова всходит его ядовитая поросль. Нынешний фашизм выглядит несколько иначе, он трансформируется, но он есть и будет существовать, пока есть его социальные корни. Вот почему нельзя идти, подобно детективу, по, так сказать, физическим следам Мартина Бормана. Надо идти по следам духовного наследия Бормана.

НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ГИПОТЕЗА

Мы не знаем, где сейчас Борман. Мы не знаем, остался ли он жив 2 мая 1945 года. Но это не лишает нас права на «политический поиск». Ибо, как справедливо писал мне Х. Тревор-Ропер, «отсутствие доказательств о смерти Бормана должно заставить нас думать об обратном». Поэтому вполне логична рабочая гипотеза, из которой я и собираюсь исходить в дальнейшем.

Итак: что случилось — или что могло случиться, — если Борману удалось вырваться из Берлина? Последнее, кстати, не столь маловероятно, как могло бы казаться. Четыре человека шли в группе Бормана, лишь один был убит — это был врач Гитлера

¹ Бух умер в 1961 году.

д-р Штумпфеггер; двое живы и спокойно коротают свои дни в Западной Германии — статс-секретарь Науман и шофер Гитлера Кемпка. Иными словами, уравнение берлинского прорыва — это уравнение с одним неизвестным.

На вопрос же о том, что могло произойти, если Борман ушел, ответить легче. Для этого я сопоставил десятки сообщений о судьбе Бормана и попытался извлечь из них все правдоподобное. На основе этого анализа и возник в о о б р а ж а е м ы й маршрут Бормана.

...Берлин, улица Фридрихштрассе, утро 2 мая 1945 года. Борман пришел в себя после прямого попадания в танк, за которым он шел. Куда дальше? Так как к этому времени советские танки уже прошли к центру города, Борман решает двинуться вдоль полотна надземки к Лертерскому вокзалу. Борман — в штатском; в лицо его мало кто знает, и он благополучно выбирается из города. Теперь предстоит принять решение о дальнейшем пути, для чего есть два варианта. Вариант первый: на юг, в Баварию, и дальше в Австрию, в так называемую «альпийскую крепость». За этот вариант говорит много соображений: маршрут давно разработан, на нем существуют многочисленные «подставы»; на юге концентрируются все наиболее надежные люди из СС и разведки; сюда пробивается фельдмаршал Шернер со своими войсками. Наконец здесь семья Бормана, здесь спрятаны деньги, секретные архивы.

Другой вариант: пробираться на север, во Фленсбург, к Деницу. Здесь — «правительство», сюда также тянется немало войск. Сюда должен прийти Науман. Гиммлер уже здесь. Здесь Риббентроп, Кейтель, Йодль, почти все члены назначенного Гитлером «правительства», в которое входит и Борман.

Но каковы реальные шансы Деница? И не придется ли снова вести закулисную борьбу с претендующим на власть Гиммлером, который давно уже перебрался на север? Не разумнее ли немного выждать — а пока двинуться хорошо разработанным маршрутом на юг? Борман избирает первый вариант.

Этот вариант ведет его в маленькую южнотирольскую деревушку Волькенштейн, что в долине реки Греднер. Сюда еще 25 апреля приехала Герда Борман со своими десятью детьми. Здесь, в «альпийской крепости», Борман имеет возможность обсудить ситуацию: здесь Кальтенбруннер, верные люди Кальтенбруннера — Отто Скорцени, Вильгельм Хеттль; здесь же главарь бельгийских фашистов полковник войск СС Леон Дегрелль. Не менее важно для Бормана, что он может посетить небольшую пещеру близ города Целль-ам-зее, где адъютант Бормана фон Хуммель запрятал коллекцию золотых монет стоимостью в пять миллионов долларов. После этого можно продолжать путь.

К этому времени Борман узнает, что афера Деница бесславно закончилась, что Гиммлер мертв. Но рейхслейтеру не сидится в Альпах — тем более что «альпийская крепость» никому не нужна. Тогда Борман пересекает всю Западную Германию, держа курс на Киль. Возможно, он еще надеется найти здесь одну из тех подводных лодок, которые могли бы вывезти его из Германии.

Но, увы, уже поздно. Весь «доблестный флот» гросс-адмирала Деница уже в руках победителей. Борман скрывается то в Шлезвиг-Гольштейне, то в соседней Дании, внимательно наблюдая за развитием событий. События эти неутешительны: в Нюрнберге начинается процесс главных военных преступников. Гамбургское радио передает каждую неделю приметы Бормана, требуя от каждого, кто его встретит, немедленно сообщить военным властям. Поэтому до конца процесса Борман предпочитает не подкидать своего укрытия.

Кончается 1946 год. Борман начинает подготовку к «большому маршруту». Он устанавливает связь с группой эсэсовских деятелей, организовавшей знаменитый «шлюз», который ведет из Германии в Италию. Организация «ODESSA»¹ функционирует безошибочно: ведь в нее входят не только бывшие чины СС, но и влиятельные итальянские аристократы, князья церкви и даже американские разведчики. Это надежные люди; они уже позаботились о семье Бормана. К этому моменту сын Бормана Адольф Мартин уже постригся в монахи. Пройдя «первичный курс» в монастыре Феде-

¹ Сокращенное название «Организации бывших членов СС».

рау близ Филлаха (Австрия), он попал под покровительство епископа Алоиза Худала, руководителя «Фонда христианской благотворительности» в Риме; старшая дочь Бормана Уте-Ева также приняла монашество в монастыре Санта-Джулия.

...Темной августовской ночью 1947 года Борман минует австро-итальянскую границу через «нацистский шлюз» в районе Наудерс (Решенский перевал). По ту сторону границы его встречают итальянские друзья. Они предлагают рейхслейтеру самое надежное укрытие — покровительство церкви. Это предложение принимается. Борман направляется сначала в монастырь на озере Гарда, затем во францисканский монастырь в Генуе. Здесь же, в Италии, близ Мерана, он посещает одинокую могилу — на ее надгробии надпись: «Герда Борман, родилась 23 октября 1909 года; умерла 23 марта 1946 года»¹...

Но, как всегда, Борману не до сантиментов. Он занят делом. В Риме на Виа делла Паче он встречается с епископом Алоизом Худалом. Худал не только попечитель брата Мартина — в миру Адольфа-Мартина Бормана; он не только попечитель другого монаха — брата Эвери, сына Джона Фостера Даллеса. Худал — ректор колледжа святой Марии, глава «Фонда христианской благотворительности», занимающегося переправкой бывших деятелей рейха в различные страны. Худал предлагает Борману переправить его в Испанию — к Скорцени и Дегреллю или в Аргентину — к Эйхману. Последнее — самое удобное...

Такова «рабочая гипотеза», которую я могу предложить читателю с некоторой степенью правдоподобности, поскольку она содержит только то, что могло бы быть. Фамилии, адреса не выдуманы. Они упоминались в мировой печати либо в связи с самим Борманом, либо в связи с другими «исчезнувшими» заправилami фашистского рейха. Да, Борман мог двигаться по такому маршруту. Последуем по этому же маршруту и мы.

НАЧАЛО МАРШРУТА: ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН

В марте 1946 года группа советских военных журналистов выехала из Берлина через Ганновер в Киль, конечно, отнюдь не для того, чтобы искать Мартина Бормана, — совпадение маршрутов было частичным и совершенно случайным. Цель была совсем другая: по приглашению командования английских оккупационных войск мы собирались ознакомиться с положением в английской зоне. Полтора-два километра, отделяющие Берлин от границы, которая в 1946 году была еще не государственной, а так называемой «зональной», мы проделали довольно быстро. Движение по автострате почти отсутствовало, по ней шли преимущественно военные машины. Редко-редко встречался «штатский» автомобиль — какое-нибудь уродливое сооружение двадцатых годов, грозящее рассыпаться на ходу. Сама граница была весьма условной — ее обозначал только шлагбаум и военные посты. Английские постовые, любезно откозыряв, подняли шлагбаум, и мы оказались в Западной Германии.

По обе стороны грязно-снежной автостраты мелькали домишки, деревеньки, городки. Очень редко встречались разрушения: редко не потому, что их успели устранить, а потому, что в этих краях боев фактически не было. После того, как американцы взяли Рурскую область, немецкое сопротивление фактически прекратилось и войска генерала Эйзенхауэра спокойно катили по этой же автострате на восток до Эльбы, где состоялась знаменитая встреча с советскими войсками. Бомбежки затронули только крупные города, да и то не все. Остальное же осталось, как было. На высоких брандмауэрах еще красовались рекламы газет нацистского времени, рекомендовавшие жителям английской зоны читать «Фелькишер беобахтер» или «Дейче альгемайне цейтунг».

Мрачная, занесенная мартовским снегом, лежала перед нами Западная Германия 1946 года. К вечеру лишь одинокие огоньки оживляли пейзаж. Электростанции рабо-

¹ Факт смерти Герды Борман подтверждался не раз: местонахождение ее могилы известно. Но это еще мало что значит. Например, до 1963 года считалось, что начальник гестапо обергруппенфюрер СС Мюллер был убит и похоронен в Западном Берлине. Когда же вскрыли могилу, там обнаружили скелеты военнопленных.

тали плохо: угля Рурская область давала мало. Плакаты на шоссе «Топите только рурским углем», «Рурский уголь — для вас» звучали если не насмешкой, то иронией. Шел к исходу первый год оккупации, и хозяйство английской зоны находилось в полном беспорядке.

Мы несколько недель ездили по этому странному царству. Помнится поместье Кноп, недалеко от Кильского канала. Это была северная часть английской зоны, земля Шлезвиг-Гольштейн. В то время она была «притчей во языцех». Именно сюда в последние дни собралось полтора миллиона солдат и офицеров вермахта; именно здесь была резиденция гросс-адмирала Карла Деница и его псевдоправительства. О Шлезвиг-Гольштейне много писали в газетах в 1946 году, так как здесь английские военные власти предприняли попытку сохранить части вермахта под вывеской «служебных групп».

В поместье Кноп, принадлежавшем некоей г-же Хиршфельд, мы застали порядки «доброе старое» времени. Выяснилось, что здесь полным хозяином — как и до мая 1945 года — был так называемый «ортсбауэрнфюрер», то есть уполномоченный нацистской партии, которой уж как будто не существовало. Равным образом не существовало и «имперское продовольственное управление» — орган нацистского государства, ведавший вопросами сельского хозяйства. Но в земле Шлезвиг-Гольштейн сохранились и функционировали все учреждения этого «сословия». В нем работали все те же нацистские чиновники...

Трудно искать в стоге сена иголку. Я уже сказал, что весной—летом 1945 года в Шлезвиг-Гольштейне собралось ни много ни мало полтора миллиона человек бывших военнослужащих вермахта! Это обстоятельство облегчало главарям третьего рейха скрыться от правосудия. Комендант Освенцима Рудольф Хесс рассказывал перед смертью о таком эпизоде. В конце войны он получил приказ направиться в Шлезвиг-Гольштейн и явиться к Гиммлеру. 3 мая 1945 года рейхсфюрер СС принял своего верного слугу в наилучшем настроении и отдал ему приказ:

— Смешаться с частями вермахта!

Рудольф Хесс исполнил приказ — и он принял обличье «бывшего моряка Франца Ланга». Он попал в английский лагерь, затем был освобожден и из бывшего моряка превратился в крестьянина-батрака где-то близ Фленсбурга. Франц Ланг был разоблачен лишь через год — весной 1946 года.

Францу Лангу не повезло. А вот Рольфу Бергеру повезло. Он прибыл в шлезвиг-гоольштейнское местечко Хазенмоор весной 1945 года. У него были документы, свидетельствовавшие, что он, Бергер, сельскохозяйственный рабочий, потерявший все свое имущество во время войны. Он получил работу и скоро, как и все коренные шлезвиг-гоольштейнцы, работал на поле, а вечером попивал пиво в местном кабаке. У него водились деньги: видно, он кое-что сберег. Так продолжалось почти пять лет. Только в 1950 году выяснилось, что Рольф Бергер — такой же Бергер, как Хесс — Ланг. Под именем Бергера скрывался не кто иной, как рейхскомиссар Украины Эрих Кох.

Уже в то время задавали вопрос: как стало возможным, что Кох мог скрываться так долго? На этот вопрос сам Кох дал такой ответ: английские власти знали, кто скрывается под именем Бергера. Некий английский майор вел с ним долгие переговоры, причем ссылался на то, что многие высшие чины третьего рейха живут в западных зонах и сотрудничают с западными державами. Однако «высокие договаривающиеся стороны» не сошлись в условиях, и поэтому Кох был арестован.

Хесс продержался год, Кох — пять лет. А вот Рихард Бер, преемник Хесса на посту коменданта Освенцима, скрывался в Шлезвиг-Гольштейне гораздо дольше — до 1960 года. Штурмбаннфюрер СС Рихард Бер действовал по рецепту Хесса-Кох. Уничтожив в Освенциме все, что можно было уничтожить, он отправился на север Германии. Здесь он избрал своей резиденцией деревушку Заксенвальд близ Гамбурга. Его звали уже не Рихард Бер, а Карл Нейман. Он завоевал у многих симпатии своей нежной любовью к животным. Однажды Карл Нейман буквально растрогал свою соседку, фрау Бест. Он принес ей раненую птичку из леса и попросил взять птицу к себе, так как боялся, что его кошка может, не дай бог, причинить птичке неприятности. Так жил он до 1960 года — пска в его дом не явилась полиция.

— Господин Нейман, вы арестованы...

— Хорошо,— приосанившись, заявил Нейман,— я — Рихард Бер. Я бывший офицер, извольте соответственно обращаться со мной!¹

Уже в 1946 году о Шлезвиг-Гольштейне говорили как о «коричневом заповеднике». Эту репутацию он сохранил и позже. Здесь в течение четырнадцати (!) лет скрывался под чужой фамилией убийца тысяч людей профессор Вернер Хейде, здесь же — под своей фамилией — жил и живет палач Варшавы, обергруппенфюрер СС Гейнц Рейнфарт. И не только жил, а был депутатом ландтага.

Я перечислил только те факты, которые относятся лишь к Шлезвиг-Гольштейну, к одной из земель Федеративной Республики Германии. А их в ФРГ десять. Если же собрать все скандальные истории, связанные с попытками бывших видных деятелей третьего рейха укрыться от наказания, то потребуется места больше, чем простое умножение их в десять раз. Скандальная хроника Западной Германии изобилует эпизодами, смысл которых убеждает в том, что если бы такой человек, как Борман, выбрался живым из Берлина, то в ФРГ он вполне мог бы скрыться от возмездия.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ДЮССЕЛЬДОРФ...

Место действия — главный город земли Северный Рейн-Вестфалия—Дюссельдорф. Время — год 1953-й, восьмой год после краха гитлеровской Германии, четвертый год существования Федеративной Республики Германии.

...В ночь с 14 на 15 января 1953 года вооруженные отряды британской военной полиции окружают роскошную виллу в пригороде Дюссельдорфа Будерих, на улице Лерикерштрассе. Солдаты врываются в виллу, на воротах которой красуется вполне respectable надпись: «Экспортно-импортная фирма Х. С. Лухт», обыскивают дом и его обитателей; более того, они вскрывают могилу хозяина дома, похороненного во дворе. Арестовав находившегося в доме управляющего фирмы, полицейские удаляются. 15 января события продолжаются — на этот раз не в Дюссельдорфе, а в Лондоне. Руководитель отдела печати британского министерства иностранных дел на пресс-конференции, созванной в семь часов утра, сообщает, что в Дюссельдорфе арестована группа из семи высокопоставленных чиновников гитлеровской Германии, которая организовала подпольный заговор. Конфискованы четыре грузовика документов, свидетельствующие о существовании широкого нацистского заговора, нити которого ведут в Бонн. Глава заговора — д-р Вернер Науман. Вернер Науман — бывший статс-секретарь Геббельса, человек, расставшийся с Борманом на рассвете 2 мая 1945 года, своеобразный «посол» Бормана в ФРГ. Чем же он здесь занимался?

Он создал подпольную организацию, так называемый «кружок гаулейтеров», в который вошли: Густав Шеель — бывший гаулейтер Зальцбурга, имперский руководитель студенчества, согласно завещанию Гитлера — имперский министр культуры; Карл Кауфман — бывший гаулейтер Гамбурга; Йозеф Гроз — бывший гаулейтер Дюссельдорфа; Альфред Фраунзфельд — бывший гаулейтер Вены; Пауль Вегенер — бывший гаулейтер Ольденбурга; Отто Дитрих — рейхслейтер, бывший статс-секретарь Геббельса; Артур Аксманн — бывший имперский руководитель молодежи, и многие другие — рангом пониже.

Чего же хотел Вернер Науман и его «кружок гаулейтеров»? Хотел ли он возродить нацистскую партию? А может, он собирался с оружием в руках захватить власть в Бонне?

Нет. Этого Науман, как ни странно, не хотел. И для этого у него были некоторые объективные основания. Жизнь показала, что масса западногерманского населения не собиралась следовать за неонацистскими партиями, например, за партией бывшего генерала Ремера. На выборах в первый бундестаг в 1949 году все неонацистские группы получили 5,7 процента голосов, а число членов неонацистских партий составляло тридцать тысяч человек.

¹ Бера так и не судили, он умер в тюрьме в 1963 году.

Что же предлагал своим друзьям Науман?

Основная его идея была подсказана ему д-ром Ахенбахом — человеком, тесно связанным с промышленными династиями Шпрингорумов и Ханиэлей. Во время беседы с Ахенбахом в 1950 году Науман записал: «Я согласен, что Аденауэр в настоящее время для нас отнюдь не самое плохое решение. Для народа, которым управляют верховные комиссары и у которого нет уверенности, нужны такие Штреземаны. Но для того, чтобы национал-социалисты в этих условиях все-таки могли оказывать влияние на политические события, они должны вступать в СвДП (свободную демократическую партию), овладеть ею и захватить в ней власть».

Вслед за этим Ахенбах разъяснил, что речь идет не только о СвДП. Наоборот: «Бывших национал-социалистов можно будет ввести в политическую жизнь и сделать влиятельными, только если они будут действовать в рамках существующих партий» — то есть в свободной демократической, в партии Аденауэра (ХДС) или даже в социал-демократической...

Такова была цель неонацистской стратегии Наумана¹ — сформулированная человеком, принявшим эстафету от Мартина Бормана.

ПУТЬ ДАЛЬШЕ: КЕЛЬН — БОНН...

Когда декабрьским вечером 1959 года я проходил по широкому кельнскому проспекту Ганза-ринг, я и не подозревал, что через несколько дней он станет ареной событий, о которых заговорит весь мир. Проспект жил своей обычной жизнью: неслись непрерывным потоком автомашины; со звоном пробегали трамваи; толпы пешеходов торопливо шагали вдоль тротуаров, залитых ярким светом витрин и реклам. В центре проспекта, окруженная узкой полоской газона, на скромном постаменте высилась фигура женщины. Надпись гласила, что этот памятник воздвигнут в честь семи немцев, расстрелянных нацистскими палачами в последние дни третьего рейха.

В ночь на 25 декабря 1959 года памятник на Ганза-ринг был осквернен. В ту же ночь на здании кельнской синагоги появились грубо намалеванные свастики и надписи: «Вон еврею!» Не прошло и суток, как по всей Западной Германии прокатилась волна явно нацистских провокаций. В десятках городов — от Гамбурга до Мюнхена, от Касселя до Аахена — невидимые руки чертили на стенах фашистские знаки и антисемитские призывы. В те же дни нацистская волна прокатилась и по другим странам Западной Европы: по Франции, Англии, Бельгии, Голландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Испании, Австрии. Свастики появились в городах Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Аргентины.

С тех пор «кельнская волна» не повторялась, хотя об отдельных провокационных выходах западногерманская пресса сообщает довольно часто. Из зимних выступлений явно не получилось генеральной репетиции. Ее организаторы, видимо, были ошеломлены тем единодушным протестом, который вызвала «кельнская волна» во всем мире и в самой ФРГ. Она осталась эпизодом. Но это не дает основания забывать о событиях того времени и списывать их с политического счета федеративной республики. Надо сделать иное: определить место этих событий, их соотношение с другими явлениями.

В политической жизни ФРГ сталкиваются два внутренних течения: первое из них мы наблюдали уже при анализе плана Наумана. Оно состоит в том, что нацизм в его откровенной форме не может привлечь к себе широкие массы западногерманского населения. Фронтальная атака преемников Бормана не приводит к успеху. Но насколько это может служить основанием для спокойствия?

Когда я беседовал на эту тему с западногерманскими политиками и журналистами, то в их высказываниях часто звучала одна и та же заслуживающая внимания

¹ Дело Наумана так ничем и не закончилось. Английские власти передали все материалы боннскому правительству, а последнее прекратило следствие и выпустило всех на свободу. В. Науман продолжает свою политическую деятельность, Ахенбах стал депутатом бундестага.

нотка. Считая, что нацистская опасность в ее прежнем «коричневом виде» не угрожает сегодня Западной Германии, они были склонны полагать, что куда реальнее для политической жизни федеративной республики опасность, которая создается ей со стороны клерикально-реакционного курса партии Аденауэра. «Не надо искать опасность среди мертвых, надо следить за живыми», — говорил один из моих немецких друзей.

Если с первой частью его сентенции я мог позволить себе не согласиться, то вторая часть была справедлива. Решающая роль в тревожном процессе реставрации в ФРГ была сыграна «живыми» политическими деятелями современной клерикальной реакции. И вот оно, второе течение, которое я имею в виду: антикоммунизм правящих групп в ФРГ, который неизбежно приводит к реставрации нацистского прошлого.

Попытаемся поставить себя в положение некоего рядового западного немца — г-на Мюллера из Мюнхена, который еще не решил для себя, каково должно быть его отношение к германскому прошлому? В первую очередь он смотрит на линию своего правительства, на линию наиболее влиятельных политических партий и их лидеров. Что же он мог увидеть за минувшие годы?

Сначала он слышал неоднократные заявления канцлера Аденауэра о том, что с нацизмом должно быть покончено. Эти заявления вызывали у нашего воображаемого г-на Мюллера сочувствие и одобрение. Но вот г-н Мюллер стал замечать странные вещи. Хотя д-р Аденауэр проклинал нацистов на всех углах, он включил в состав своего первого кабинета нескольких бывших членов нацистской партии. В душу нашего мюнхенского немца закралось небольшое сомнение: неужели такое возможно? Но тут же сомневающегося спешили успокоить: эти министры — не военные преступники, а такие же «рядовые» нацисты, каким был и сам г-н Мюллер. Время шло — и произошел новый инцидент: Теодор Оберлендер, член ХДС, министр, вопреки всем уверениям оказался матерым военным преступником. Международный скандал приобрел такие размеры, что Оберлендера пришлось убрать, но чем дальше, тем чаще газеты стали сообщать: то в одном, то в другом ведомстве на видном посту сидят бывшие чины СС, гестапо и нацистской партии...

Многому бы могла научить нашего «колеблющегося» и практика западногерманских судов. Например, осенью 1962 года он мог прочитать сообщение федерального министерства юстиции о том, что с 8 мая 1945 года по 1962 год обвинение было предъявлено 12 846 военным преступникам. Из них было осуждено только 5425 человек (преимущественно по приговорам судов оккупационных властей!), а высшую меру, оказывается, получили лишь семьдесят пять человек. А с 1953 по 1958 год в ФРГ вообще не было судов над военными преступниками...

Машина внезапно завертелась после 1958 года — трудно сказать, почему именно в это время. Очевидно, сыграло свою роль возмущение мирового общественного мнения по поводу покровительства бывшим нацистам в ФРГ. Начались процессы — но какие! Георг Хойзер, убивший 31 400 человек, получил пятнадцать лет тюрьмы — срок, который по законам ФРГ полагается за преднамеренное убийство одного человека. Хаупштурмфюрер СС Хардер, сжигавший людей живьем, был осужден на три с половиной года. Комиссар гестапо в Латвии Цумбах, участвовавший в убийстве 827 человек, отделался четырьмя годами. Мартин Фелленц, палач 39 900 жителей Кракова, был оправдан. Оправданы были убийцы из Слуцка Лехталер и Папенкорт и десятки других. Один прокурор, проанализировав соответствующие приговоры, подсчитал, что норма боннской юстиции такова: за каждое убийство, совершенное гитлеровцами, полагается десять минут тюрьмы. Не меньше — но и ни в коем случае не больше!

Не удивительно, что у нашего «среднего» немца напрашивался такой вывод: зачем отрекаться от прошлого? Видимо, это не так уж необходимо, если этого не делают «наверху», в Бонне. И так же, как надевают старые, разношенные туфли, наш «средний» немец вновь обратился к своему старому образу мышления...

Таково то второе — гораздо более опасное и сильное — течение, которое пронизывает всю полигическую атмосферу федеративной республики.

Однажды во время Нюрнбергского процесса Герман Геринг сказал, обращаясь к американскому офицеру:

— Вы, американцы, совершаете большую ошибку вашей болтовней о демократии и морали. Вы думаете, что достаточно арестовать нацистов и наутро ввести демократию. Неужели вы думаете, что немцы хоть на гран стали меньше националистами, ежели теперь большинство получают так называемые христианские партии? Национал-социалистская партия запрещена. Что им остается другое?.. Они прячутся за рясой священников.

Это было сказано 6 июня 1946 года. С тех пор прошло много времени. Американцы, вопреки ожиданиям Геринга, не арестовали всех нацистов. Демократию они действительно ввели «наутро», поручив это дело г-ну Аденауэру. Тем более печально констатировать, что прогноз Германа Геринга сбился — если не по отношению ко всем немцам в ФРГ, то по отношению к большей части бывших нацистов. Под прикрытием христианско-демократической политики часто, слишком часто высказываются идеи, которые проповедовались в пору Гитлера и Бормана.

Однажды в Бонне произошел большой скандал — причем его свидетелями были не несколько человек, не десятки, а миллионы людей, которые вечером 12 марта 1962 года смотрели телевизионную передачу, посвященную проблемам внешней политики ФРГ. Эту передачу из серии «Политика из первых рук» вел известный комментатор Курт Вессель. В дискуссии принимали участие три журналиста — Конрад Алерс (журнал «Шпигель»), Йенс Феддерсен («Нейе Рур цейтунг»), д-р Рейс («Берлинер курир»). Пятым был известный в ФРГ политический деятель, бывший председатель Свободной демократической партии, ныне вице-президент бундестага д-р Томас Делер.

Делер — своеобразная и яркая фигура на тусклом боннском горизонте. Юрист по профессии, он вступил в политическую жизнь еще в 1923 году, когда принял участие в подавлении гитлеровского «пивного путча» в Мюнхене. В веймарской Германии он был членом так называемой немецкой демократической партии — небольшой буржуазной партии, распущенной Гитлером в 1933 году. При Гитлере Делер подвергался преследованиям и два раза попадал в тюрьму. В ФРГ судьба у него сложилась не просто: в 1949—1953 годах Делер был министром юстиции, избирался во все составы бундестага. Однако он показал себя самостоятельно мыслящим политиком: Делер осудил курс Аденауэра на раскол Германии и вооружение ФРГ и стал одним из немногих боннских оппозиционеров.

Двенадцатого марта 1962 года велся разговор о разоружении, о советских предложениях, об отношениях между ФРГ и Советским Союзом. Сначала все шло спокойно: журналисты излагали свою точку зрения. Но вот в дискуссию вступил Делер. Его спросили: как он думает, почему канцлер Аденауэр отклоняет все предложения Советского Союза, касающиеся разоружения и улучшения отношений между СССР и ФРГ?

Вот что ответил Делер (дается по тексту стенографической записи):

Делер: Я хочу ответить вам, рассказав о беседе, которая состоялась у меня недавно с послом Советского Союза Смирновым на одном дипломатическом приеме. Обращаясь ко мне, Смирнов сказал совершенно спокойным тоном: «Господин Делер, наступит ли сейчас конец тридцатилетней войне?» Затем он сказал: «Германия вот уже тридцать лет ведет против нас войну». (Голос с места: «Как так?») Он так и сказал — тридцать лет.

Сначала я попытался было превратить это в шутку, но затем понял всю серьезность его замечания. Ведь именно в июне 1932 года рейсканцлер Папен положил начало антибольшевистскому курсу. Я перечитал правительственное заявление Папена. В нем Папен уже пустил в ход нацистские тирады о большевиках и о том, что мы должны проводить «жесткий курс». Дорогой д-р Рейс, вот уже тридцать лет Германия ведет войну — горячую и холодную — против России. Ведь это же факт!

Голос с места: Господин д-р Делер, как это понимать? Тридцать лет войны! (Стенограмма отмечает гул голосов, слов разобрать нельзя.)

Делер: Дайте же мне договорить. Самым ужасным, отвратительнейшим образом Германия вела войну, в том числе идеологическую войну, против «большевистских недочеловеков». Затем в 1941 году началась горячая война. У меня горькое чувство,

что после 1945 года мы снова продолжаем эту холодную, идеологическую войну — мы, а также и Запад в самом широком понимании этого слова... Идеологическая война продолжается, и она ведется до сегодняшнего дня. Ее вели Кеннан, Фостер Даллес, а до них — Дин Ачесон. (Шум, неразборчивые реплики.)

Делер попал в точку: антикоммунизм — вот зловещее наследие, которое многие западногерманские политики переняли как эстафету от Гитлера. И этим определяется смысл политического развития ФРГ.

Итак, судьба наследия Мартина Бормана в Западной Германии очень сложна и, я сказал бы, развивается в двух плоскостях. Первая из них — то, что принято называть «коричневым подпольем» и «праворадикальными группами». Здесь преемники Мартина Бормана потерпели поражение: сорок тысяч в рядах «праворадикальных групп» — это в семьдесят пять раз меньше, чем было в партии Гитлера во время ее прихода к власти.

Будет ли так всегда? «Когда наши оппоненты однажды поймут, что знают о нас слишком мало, — будет слишком поздно», — зловеще предрекал как-то глава «немецкой имперской партии» Вильгельм Мейнберг. Невольно вспоминаются слова Геринга, сказанные им перед смертью в Нюрнберге Гессу: «Вы увидите, этот кошмар пройдет, и вы будете фюрером Германии»...

Как-то я беседовал о судьбах нацизма с Иоганнесом Р. Бехером — большим поэтом и мудрым человеком, пережившим в Мюнхене рождение нацистской партии, участником борьбы с гитлеризмом в тридцатых годах, борцом за демократическое развитие послевоенной Германии.

— Если нацизм родится вновь, — сказал тогда Бехер, — то он родится в новом облике. Если германские монополии захотят повторить опыт Гитлера, они будут вынуждены искать другую маскировку. Кроме всего прочего, надо учитывать различие экономических ситуаций Германии двадцатых годов и ФРГ пятидесятых годов нашего века. Тогда Германия была повергнута в глубокий экономический кризис и Гитлер мог апеллировать к массам, в первую очередь к мелкой буржуазии, обещая всем спасение от кризиса. Теперь Западная Германия — на гребне экономической конъюнктуры; оснований для радикализации масс нет. Остается большой вопрос: что произойдет, если конъюнктура резко упадет? Какие политические силы используют такую ситуацию? Я не исключаю, что тогда родится совсем другая неонацистская партия, совсем иная, чем весь этот сброд из лагеря Ремера...

Через много лет я беседовал в Гамбурге с известным писателем и публицистом Эрихом Куби. Он повторил ту же мысль:

— Дьявол всегда является в новом облике!

У политических проблем есть свой внутренний порядок, своя очередность. Проблема неонацизма — не единственная и на данном этапе политического развития не главная для ФРГ. Над Западной Германией нависают сейчас другие, более реальные опасности в облике политики НАТО, реваншистских притязаний боннских «ультра», в облике бундесвера и его генералов, в облике всего, что зовется антикоммунизмом. Но каково ни было бы перевоплощение прошлого, за ним, как на рентгеновском снимке, проступают знакомые очертания той эпохи, которая, казалось, кончилась в 1945 году.

Касается ли этот диагноз только Западной Германии? Продолжим наше путешествие по следам Бормана и пересечем южную границу федеративной республики.

ЧЕРЕЗ БАВАРСКИЕ АЛЬПЫ

Пейзажи западногерманской земли Баварии и австрийской земли Зальцбург трудно различить. Это те же величественные Альпы, которые неизменно приводят в восторг туристов. Да и граница здесь в некотором смысле условна: на дорогах земли Зальцбург, пожалуй, больше автомашин с западногерманскими номерами, чем с австрийскими. Со всей ФРГ в живописные горные районы Австрии — Зальцбург, Тироль, Каринтию — устремляется поток туристов, чему немало довольны владельцы австрийских го-

стиниц, бензоколонок, дорожных ресторанов. От Зальцбурга шоссе идет в знаменитый район Зальцкаммергут — район высокогорных озер, окруженных густыми лесами, спускающимися с заснеженных склонов.

Журналисты — испорченный народ. Им трудно отвлечься от своего ремесла даже в таких чудесных уголках. Для меня, например, район Зальцкаммергут был не только диковинной «коллекцией озер», но также частью той пресловутой «альпийской крепости», в которую нацистские главари пытались превратить идиллическую Западную Австрию весной 1945 года.

В те дни нацисты вспомнили об озерах Зальцкаммергута. К ним и к заброшенным соляным копям потянулись автотранспорты. В частности, местные жители запомнили, что в ночь на 29 апреля на дно озера Топлиц-зее были опущены около пятидесяти ящиков с золотом и документами. Работы по затоплению ящиков проводили сами эсэсовцы, а также узники концлагерей, которых вслед затем эсэсовцы «ликвидировали».

Тайны трудно сохранять — даже если это тайны третьего рейха. Слишком много людей принимало участие в операциях близ Топлиц-зее, чтобы они остались достоянием лишь их руководителей. Поэтому сразу после войны в Зальцкаммергуте появились туристы особого рода. Они чуждались людей, а по ночам выбирались на гладь Топлиц-зее и соседних озер, чтобы, облачившись в водолазные костюмы, спускаться на дно.

Например, в 1947 году был арестован один из таких «искателей жемчуга». Во время допроса выяснилось, что это штурмбаннфюрер СС Хельмут фон Хуммель, адъютант Мартина Бормана. Хуммель разыскивал тайники, которые были заложены Борманом для своего собственного пользования. При допросе Хуммель не уточнил: хотел ли он сам поживиться за счет своего шефа или выполнял какое-то задание. Но появление бормановского адъютанта говорило о многом: недаром здесь счастья искал не один Хуммель. В 1959 году на Топлиц-зее работала группа западногерманских водолазов. Она вытащила двадцать ящиков, содержимое которых осталось неизвестным.

С этого момента обстановка в районе озера стала беспокойной. То и дело здесь появлялись группы водолазов. Одни погружались тайком ночью, другие пытались счастье, имея на то официальное разрешение. Были среди этих лиц бывшие нацисты, были антифашисты, были просто авантюристы. По тихому Зальцкаммергуту как бы прокатывалось «эхо войны», напоминая о давно ушедшем прошлом. Но ушли ли эти времена для Австрии навсегда?

...Однажды в Вене мне случилось попасть на очень странное собрание. Происходило оно близ старинного дворца Шенбрунн, располагавшегося в английском секторе оккупации Вены. Местом собрания оказался средней руки ресторан, который был расположен в большом саду, недалеко от дворца. Обыкновенно перед такими летними ресторанами столики расставляют под открытым небом. Но сегодня — то ли из-за ненастной погоды, то ли потому, что столы были нужнее внутри основного здания, — сад был пуст. Когда я зашел внутрь, то понял, что второе предположение оказалось правильнее. Здесь ожидали много гостей — на слет «судето-немецкого землячества». Сходились они медленно. Усаживались за столики, принимались пить пиво. Духовой оркестр улаждал их слух военными маршами. причем многие с удовольствием отбивали такт пивными кружками. Вскоре зал был полон. У дверей расположились полицейские и молодые люди в стандартных кожаных пальто, с отличной военной выправкой.

Но вот после очередного марша на подмостки вышел оратор. Он не представился собравшимся — видимо, потому, что в розданной всем программе стояло: «Главный оратор г-н Вагнер, член парламента». Какого парламента? Выяснилось, что парламента довоенной Чехословакии.

Вот какие откровения можно было услышать из его уст:

«Гитлер — великий и значительный человек, наш спаситель!» (Вопль восторга в зале.)

«Чехи — отребье человечества, некультурный, дикий народ!» (Бурные аплодисменты.)

«Переселение судетских немцев — историческая несправедливость, которую надо исправить с оружием в руках!» (Крики: «Правильно!», «Браво!» Всеобщая овация.)

«Сенат Соединенных Штатов Америки, перед которым я выступал, согласен с моей точкой зрения». (Длительные аплодисменты, выкрики: «Очень хорошо!»)

Я стал свидетелем удивительной метаморфозы: уважаемые господа и дамы на глазах превращались в диких зверей. Они не кричали — а рычали; не стучали по столам — а колотили кулаками в припадке бешенства. Молодые люди в кожаных пальто, стоявшие у дверей, вопили во всю глотку «браво!».

Впоследствии, когда мне пришлось повидать в Западной Германии подобные сходки значительно большего размера (например, в 1958 году в Штутгарте), я понял, что у реваншизма есть свои масштабы. Конечно, куда г-ну Вагнеру и его молодчикам в кожаных пальто до некоторых боннских министров и их реваншистской гвардии! Но при всем различии у них было и общее: это была встреча с прошлым, причем на австрийской земле!

Как только что описанное сборище в Вене повторяло в малых масштабах то, что происходило в Западной Германии, так и Австрии — в уменьшенных масштабах — пришлось перенести некоторые политические болезни, свойственные Западной Германии. 5 февраля 1945 года в Австрии была создана первая неонацистская организация — так называемый «Союз независимых». С самого начала союз дал понять, какой платформы он придерживается. «Союз независимых», — писала газета «Неей фронт», — не скрывает, что национал-социалистская идея народной общности является одной из его основ». Лидером союза стал бригадефюрер СС Рейнталер — министр в кабинете Зейс-Инкварт. В 1955 году он реорганизовал союз в партию — так называемую «Австрийскую партию свободы» (АПС).

В отличие от своих западногерманских близнецов, АПС не имела в своих рядах (во всяком случае — в руководстве) крупных нацистских тузов типа Наумана, Оберлендера или Рейнефарта. Председатель партии г-н Петер — нацист «среднего масштаба», и вокруг него собрались подобные же деятели. Всего в составе правления АПС — человек двадцать пять бывших деятелей НСДАП, СС и вермахта.

В отличие от неонацизма германского австрийский неонацизм начал с особых позиций: это была кампания против австрийского нейтралитета и австрийской независимости. Партия провозгласила в качестве своего основного лозунга «общность с Германией». Вот, к примеру, фразы из решения одного из съездов АПС: «Национальная политика АПС преследует две цели. Это включение Австрии в будущую Европу и сохранение германского характера нашей страны, то есть воспрепятствование попыткам оторвать Австрию от германской народной и культурной общности». А чтобы не было неясности, во имя каких целей АПС хочет «не отрываться от германской общности», другая резолюция разъясняла: «Главной задачей... АПС является показ необходимости борьбы против мировой империи разрушительных сил большевизма».

Пангерманская пропаганда и до 1938 года была главным козырем нацизма. Сейчас она снова ведется — на этот раз в западногерманском варианте. Конечно, болтая о «германской общности», лидеры АПС и не думают вспоминать, что сейчас есть две Германии и одна из них навсегда порвала с нацизмом и империализмом. Нет, их привлекает иная Германия — Германия солдатских союзов и реваншистских сходок, Германия прошлого.

Фракция АПС была единственной, голосовавшей «против» в тот знаменательный день, когда парламент принял закон о вечном и добровольном нейтралитете страны. Это голосование «каиновой печатью» лежит на АПС. До сих пор ее лидеры стараются как-то откреститься, смягчить впечатление от этого дня. Я имел случай беседовать в 1960 году с заместителем председателя АПС и лидером ее парламентской фракции г-ном Гредлером, который с места в карьер стал уверять меня, что его партия голосовала против закона о нейтралитете, но не против нейтралитета.

— Как это понимать?

— Видите ли, — отвечал Гредлер, — мы просто не были согласны с некоторыми частностями, с некоторыми формулировками...

— Какими?

— Во-первых, мы не согласны с тем, что нейтралитет Австрии добровольный; во-вторых, мы против того, что он должен быть постоянным...

Вот так частности! Чего бы стоил нейтралитет Австрии, если бы любое правительство могло бы его отменить?

Австрийские неонацисты исправно копируют своих боннских мэтров. Западногерманские солдатские «землячества» располагают соответствующими филиалами по всей Австрии, и не раз бывало так, что тихие австрийские городки становились местами сборищ военщины со всей ФРГ и Австрии.

Облик австрийского неонацизма сложен. Иногда он приобретает совершенно необычные формы. Например, Отто фон Габсбург, экс-претендент на австро-венгерский престол, считает себя жертвой фашизма. Когда в годы войны он жил в Соединенных Штатах, Габсбург не раз выступал с гневными статьями в адрес Гитлера и даже грозился создать «Австрийский легион». Но когда война окончилась, Отто фон Габсбург быстро нашел общий язык со всеми преемниками фашизма. С американскими, немецкими и венгерскими реакционерами он сговорился на почве пресловутого плана реставрации Австро-Венгерской монархии под американской опекой. Главной базой Габсбург избрал Мадрид, где создал свой центр — так называемый Европейский центр документации и информации (СЕДИ). Сам же он расположился в Баварии, близ западногерманско-австрийской границы.

Отто давно уже строил планы своего возвращения в Австрию, не без основания полагая, что вокруг него могут сконцентрироваться все антиреспубликанские силы. И вот в 1963 году свершилось, казалось, невероятное: несмотря на наличие закона, запрещающего возврат последыша ненавистной династии, административный суд дал Отто Габсбургу разрешение на въезд. Это решение было подобно взрыву бомбы: тихая Австрия взволновалась. Правое крыло коалиционной «народной партии» поддержало Габсбурга; все остальные партии выступили против. Чуть-чуть не развалилась правительственная коалиция, но Габсбурга в страну не пустили.

Опасность возврата Габсбурга миновала, но реакция активизировалась в другой области. Австрия неожиданно стала ареной террористических актов. Казалось, времена взрывов и убийств здесь давно миновали. Однако нет: был взорван памятник тирольскому национальному герою Андреасу Хоферу в Иннсбруке. Затем последовал взрыв памятника Республики близ австрийского парламента, обстрел здания самого парламента, попытка взорвать памятник советским воинам на венской площади Шварценбергплац. Эти неонацистские провокации носили куда более опасный характер, чем «кельнская волна» зимы 1959—1960 года. Но нити вели все туда же — в Западную Германию, в Мюнхен и Штутгарт. Там находятся специальные центры, организующие террористические акты на австрийской земле.

Вот что говорит об австрийском неонацизме ветеран антифашистской борьбы, председатель Коммунистической партии Австрии Йоганн Коплениг:

«Иногда приходится слышать возражение, что неонацизм в настоящее время не представляет серьезной опасности, поскольку в довоенное время самым большим стимулом для фашизма был тяжелый экономический кризис, тогда как теперь экономические условия коренным образом изменились. Без сомнения, кризисы и безработица служили благоприятной питательной средой для фашизма; однако они были не единственной и даже не решающей причиной роста фашизма между мировыми войнами. Решающими были ненависть к революционному рабочему движению, антимарксизм и антибольшевизм, как их тогда называли, а также планы мирового господства германского крупного капитала и германского милитаризма. В Австрии особенно большую роль играли великогерманская идеология и пропаганда аншлюса, для которой широко открывала двери теория, будто Австрия — это второе германское государство. Почвой, на которой ныне произрастает неонацизм, является прославление гитлеровских времен и фашистского вермахта, распространение немецко-национальной идеологии, подавление австрийского национального самосознания и пропаганда аншлюса, прикрытая лозунгом «объединения Европы», а также бешеный антикоммунизм и антисоветчина. Все это более или менее открыто отражается в деятельности Австрийской партии свободы, но проповедники указанных идей имеются также и в обеих правительственных партиях».

...Да, «эхо войны» разносится не только по берегам Топлиц-зее. Оно напоминает о себе и в Вене, и в Зальцбурге, и в Линце. Нейтральной Австрийской республике не так уж много лет, но ей с большим трудом приходится сбрасывать с себя груз прошлого.

ЗА АЛЬПАМИ И ПИРЕНЕЯМИ

...Темной весенней ночью кто-то постучался в дверь дома на окраине австрийской деревушки Наудерс. Это последний населенный пункт перед итальянской границей, проходящей по Решенскому перевалу. На стук в дверь появился хозяин.

— Андреас?— спросил один из четырех пришедших.

— Входите,— ответил хозяин.

— Я от Педро,— сказал ночной гость.

Хозяин молча вынул из шкафа оторванную половину открытки с видом Наудерса. У гостя оказалась вторая половина от той же открытки — проверка окончилась. Той же ночью Андреас провел через границу тех, кто пришел от Педро. Правда, произошла небольшая неувязка: группа наткнулась на австрийского пограничника. Трое бежали, один попался, но и его пограничник отпустил. Вскоре все четверо очутились в итальянской деревне Решен, где их ожидал Педро.

Дальше маршрут четырех неизвестных был таков: Генуя, францисканский монастырь и Рим. Здесь они попали в объятия своих старых друзей, членов подпольной организации «ODESSA».

— Это был Мартин Борман?— спросите вы.

Нет, это был Адольф Эйхман. Все обстоятельства мною не выдуманы, а взяты из описаний бегства Эйхмана, которое он совершил в 1950 году. Возможно, что этим путем двигался и Мартин Борман.

Что такое «ODESSA»? Эта организация, название которой не имеет ничего общего с нашим городом, а лишь представляет собой аббревиатуру ее полного наименования — «Организация бывших членов СС», была создана сразу после войны. С итальянской стороны ее возглавил князь Пинателли, а также такие деятели бывшей фашистской партии, как Альмиранте, Миродуре, Дальезе. Немецкие эсэсовцы командировали в «ODESSA» оберштурмфюрера СС Франца Шпеглера, бывшего в свое время офицером службы безопасности (СД) в Италии. Шпеглер был большим другом Клары Петаччи — любовницы Муссолини, окончившей свою карьеру рядом с Муссолини, повешенной, так же как и он, за ноги. «Партийных» фюреров в «ODESSA» представлял бывший гаулейтер Вестфалии Хартман Даутербахер, одновременно являвшийся членом наумановского «кружка гаулейтеров».

Что же касается итальянских фашистов, то для них «ODESSA» была одной из первых организаций, вокруг которой концентрировались обломки фашистского режима. С благословения Ватикана (связь с которым осуществлялась через уже упоминавшегося монсеньера Алоиза Худала) итальянские фашисты использовали «ODESSA» не только на благо своих немецких коллег, но и для себя самих — как своеобразную «базу сбора».

...Не успели еще итальянские патриоты расправиться с итальянскими фашистами, как их духовные наследники принялись за работу. Собственно говоря, эту работу начал сам Муссолини. После того, как Отто Скорцени «выкрал» его из Аbruцких гор, где обанкротившийся дуче находился под весьма слабой охраной войск правительства Бадольо, Муссолини основал марионеточное государство — так называемую «Итальянскую социальную республику». В просторечии итальянцы именовали ее «республика Салò» — по имени маленького городка Салò на озере Герда, где обосновался Муссолини. Сня «республика» просуществовала недолго — с осени 1943 по весну 1945 года. Но когда Италия окончательно сбросила с себя оковы фашизма, на поверхности ее политической жизни уже в декабре 1944 — феврале 1945 года появились воспитанники «социальной республики». Это были бывшие фашисты, основавшие движение «Уомо квалонкуэ»¹ и журнальчик под тем же названием. Деньги на журнал дал фашист-миллионер

¹ В переводе с итальянского — «человек с улицы», рядовой человек.

Скалер, а некий Гульельмо Джанини постарался придать этому движению откровенно скандальный характер.

Неофашисты хотели запугать народ. Но Италия — не ФРГ; здесь реакции не удалось подавить прогрессивные силы. Борцы Сопротивления, руководимые коммунистами, давали решительный бой реакции. Первая атака была отбита, неофашизму пришлось предпринимать очередное перевоплощение. Новое имя звучало так: Итальянское социальное движение (МСИ). День основания — 31 декабря 1946 года. Основатели — группа фашистов из муссолиниевской «социальной республики», которые самим названием своей партии напоминали о том, кто их вдохновитель. Одним из председателей этой партии стал фашистский маршал, палач Эфиопии, военный министр Муссолини Грациани. Правда, в 1950 году его приговорили, как военного преступника, к двенадцати годам тюремного заключения. Но маршалу пришлось пробыть за решеткой всего три месяца, после чего он счел себя вполне достойным стать лидером МСИ. После Грациани партию возглавлял князь Боргезе, также ходивший в фаворитах Муссолини.

Итальянское социальное движение стало наследником партии Муссолини; в стране начались открытые выступления — погромы, вывешивание фашистских флагов, взрывы бомб, демонстрации. МСИ не гнушалось и политическими убийствами. Когда в 1948 году МСИ собралось на свой конгресс в Генуе, один из ее лидеров — де Марсанич — выступил с открытой проповедью возрождения «корпоративного государства» и заявил, что МСИ — наследник «республики Салò».

Таков был дебют МСИ. Но это «движение» встретило активное сопротивление прогрессивных сил народа и не смогло стать сколько-нибудь влиятельным. В его рядах, как утверждают их лидеры, якобы шестьсот тысяч человек, но эта цифра явно завышена. В 1958 году МСИ получило на выборах 1,4 миллиона голосов и двадцать четыре места в парламенте. Возможно, в условиях ФРГ это было бы немало; однако для Италии эти цифры были не столь значительны.

В этой ситуации МСИ могло рассчитывать на успех, только блокируясь с крупными буржуазными партиями. В отличие от последователей Вернера Наумана итальянские фашисты избрали не «инфильтрацию», а путь открытых действий. В 1960 году МСИ испробовало свои силы на этом поприще. Оно блокировалось с демо-христианским деятелем Тамброни, обещав ему поддержку в парламенте. Результат? Вся трудовая Италия вышла на улицу. Правительство Тамброни пало.

Сейчас МСИ «выведено в резерв». Значит ли это, что оно перестало быть опасным? Разумеется, нет. Оно существует, как существуют его подпольные вооруженные отряды. Могут сложиться такие условия, что крупной буржуазии Италии потребуются услуги МСИ или другой неофашистской партии.

Однако, как и в Западной Германии, неофашизм — это не только МСИ или другие, более мелкие неофашистские группировки. Деятели социалистической партии Лелио Бассо писал в начале 1964 года: «Если мы не сможем различать преходящие свойства фашистской опасности от постоянных, то рискуем впасть в ошибку и будем ждать наступления фашизма в тех же формах, что и в 1922 году. Это значит не видеть, что сегодня фашизм наступает в других формах, другими путями: он приспособляется к 66-м годам и скрывается внутри партии, которая именуется себя демократической».

Западный мир — мир политических абсурдов. В нем уживаются самые удивительные противоречия, сегодняшний день соседствует со вчерашним и даже с позавчерашним. Если в Италии попытки вернуть фашизм наталкиваются на решительное сопротивление народа и терпят крах, то совсем недалеко, за Пиренеями, фашизм продолжает существовать как официальная государственная форма.

Отправился ли Борман в Испанию? Это один из вопросов нашей гипотезы. Но для значительного числа видных чинов третьего рейха это была не гипотеза, а аксиома. С весны 1945 года Мадрид стал приютом для сотен деятелей нацистской партии, СС и абвера. Мы знаем, например, как попал в Испанию друг Бормана полковник СС, фюрер бельгийских фашистов Леон Дегрелль. В самом конце войны он сел в самолет (это было 7 мая 1945 года) и перелетел через всю Западную Европу до испанского города Сан-Себастьян. Здесь самолет Дегрелля совершил «вынужденную посадку», сломав

шасси. Дегрелль очутился в больнице, откуда вскоре «исчез в неизвестном направлении». Испанские власти разводили руками: действительно, Дегрелль был в Сан-Себастьяне, но, увы, исчез. Бельгийскому правительству, требовавшему выдачи военного преступника Дегрелля, пришлось удовольствоваться этими заверениями.

Куда же исчез Дегрелль?

Из Сан-Себастьяна он перебрался в поместье дона Эдуардо Эцкуэра, богатого помещика и по совместительству давнего агента главного управления имперской безопасности. Два эсэсовца нашли общий язык и общего покровителя — герцогиню Элизу Валенсийскую. Вскоре Дегрелль стал владельцем экспортно-импортной фирмы на проспекте Корталеа в Мадриде. Предмет экспорта этой фирмы был несколько необычен — Леон Дегрелль занимался инструктажем американских военных представителей в Мадриде, обучая их ведению партизанской войны.

Таков был путь Дегрелля в Испанию, где он живет до сих пор, шеголяя при торжественных выходах орденами, полученными из рук Гитлера. Известен путь в Испанию и другого видного эсэсовца — Отто Скорцени. Он подробно описан в книге талантливого немецкого публициста Юлиуса Мадера, переведенной на русский язык, что избавляет меня от необходимости рассказывать о Скорцени.

В чем же причина такой наглости господ Скорцени и Дегрелля? Одна причина ясна — это покровительство генерала Франко, в царстве которого бывшие эсэсовцы чувствуют себя в безопасности. Но есть и другая причина. Скорцени и Дегрелль занимаются в Мадриде не только экспортом и импортом. Они — полномочные представители той сети легальных, полуполициальных и нелегальных центров неонацизма, которые созданы в Мадриде.

Основной из этих центров возглавляет сам Скорцени. Этот центр координирует деятельность отдельных организаций по всей Западной Европе. Именно поэтому Скорцени блуждает по свету — его видят то во Франции, то в Италии, то в ФРГ, то в Ирландии.

В Испании обосновался еще один видный деятель нацистского подполья — штандартенфюрер СС Эуген Дольман, человек с небезыntenесным прошлым. Бывший переводчик Гимmlера (с итальянского), он с 1939 года был в составе немецкого посольства в Риме. Здесь он завязал тесные связи с фашистскими кругами и особенно с римской «золотой молодежью». В конце войны он стал личным представителем Гимmlера в Италии, участвовал в контактах с американцами. Во времена «республики Сало» был назначен на пост начальника немецких полицейских войск и после войны нашел приют у своих бывших друзей. Как и его коллега Скорцени, Дольман разъезжает по миру — бывал он и в Дюссельдорфе у Вернера Наумана, и в других городах ФРГ; он был активным членом организации «ODESSA» и выполнял не раз ее секретные задания.

Несколько иные функции выполняет Дегрелль. Он в отличие от Скорцени и Дольмана побавляется разъезжать по миру, памятуя о смертном приговоре, вынесенном ему в Бельгии в 1947 году. Но зато он служит связным между нацистами вчерашними и сегодняшними.

Но этими деятелями не исчерпывается список «преемников» третьего рейха в Мадриде. Там уже давно существует так называемый «Мадридский геополитический центр», который в отличие от Скорцени и Дегрелля занимается не практической, а «идеологической деятельностью». В этом центре разрабатываются долговременные планы, намечаются общие задачи неонацистского подполья.

Еще один центр — это организация беглых предателей из стран Юго-Восточной Европы, которой руководил ныне покойный (он умер в 1959 году) глава хорватских усташей Анте Павелич. Далее, в Мадриде функционирует «центр связи» бывших балканских фашистов, французских эсэсовцев и испанских фалангистов. Этот центр занят оказанием помощи французским «ультра», и с испанской стороны в нем главную роль играет бывший министр иностранных дел зять Франко Серрано Суньер.

Так называемая «организация Паук» («Шпинне») занимается устройством побегов эсэсовцев из тюрем ФРГ — ею, например, было подготовлено бегство сообщника Хейде — Бонс в Аргентину, эсэсовца Цех-Нентвига из брауншвейгской тюрьмы в Швей-

царию; этот же «Паук» устраивает таинственные убийства в ФРГ — он «убрал» начальника личной охраны канцлера Петерса, когда было разоблачено его эсэсовское прошлое.

Наконец в Мадриде же действует упоминавшийся выше СЕДИ — «Европейский центр документации и информации» — во главе с Отто Габсбургом. В нем Испанию представляет уже не отставной министр, а «второй человек в государстве» — генерал Аугустин Муньос Грандес.

В отличие от тех стран, по которым мы путешествовали раньше, ситуация в Испании предельно проста. Здесь нет проблемы неонацизма, ибо существует сам фашизм. Здесь бывшие чувствуют себя настоящими.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАЛАНС

...Наш европейский маршрут, проложенный по следам Мартина Бормана, подошел к концу. Но прежде, чем отправиться за океан, нам необходимо рассмотреть еще несколько «европейских» проблем. Фашистское наследие Мартина Бормана, к сожалению, не носит характера инфекции, которая распространяется только там, где побывал или мог побывать ее носитель. После краха третьего рейха его палачины укрылись не только в ФРГ, Австрии, Италии и Испании. Старый Свет не мал — и осколки третьего рейха разлетелись всюду, где только бывшие нацисты рассчитывали на убежище. Известен даже такой парадоксальный случай, когда один эсэсовец нашел себе приют... в Израиле. Это был заместитель коменданта лагеря смерти Терезин Герман Шмидт. Под именем д-ра Александра Фирча он поселился в городе Аскалоне, служил в городской больнице, затем открыл собственную практику. Прожив в Израиле более десяти лет, он направился в Аргентину, лишь после чего выяснилось, что д-р Фирч — эсэсовец, разскаживаемый как военный преступник. Шутка? Нет, насмешка над здравым смыслом, которая возможна лишь благодаря тому, что буржуазный мир не хочет порвать со страшным прошлым.

Швеция, Дания, Финляндия, Швейцария — таков далеко не полный список стран, в которых после войны были задержаны бывшие нацисты. А сколько их осталось незадержанными?! Но еще более тревожное явление — возрождение идей национал-социализма в ряде стран Западной Европы, в том числе в тех странах, где Гитлер и его дивизии даже не побывали. Проблема европейского неонацизма с каждым годом становится острее. Если бы сейчас в канцелярии Мартина Бормана решили составить список неонацистских организаций в странах Западной Европы, то возник бы длинный список, в котором фигурировали бы почти все страны западной части континента:

Англия: «Британский Союз» сэра Освальда Мосли, получающий на выборах около пяти процентов голосов; «Национальный фронт» Эндрю Фонтэйна; «Национал-социалистическое движение» и «Лига защиты белых» Колина Джордэна.

Бельгия: «Фонд святого Мартина» — организация бывших эсэсовцев, «Движение гражданского действия» (МАС) во главе с Тириаром и Тейхманом, «Центр контрреволюционных исследований и организаций» в Турне, «Бельгийское социальное движение».

Голландия: «Национально-европейское социалистическое движение», которое ныне действует под названием «Нидерландские архивы консервативной революции» (Пауль Ван Тинен); ХИНАГ — объединение бывших голландских служащих войск СС; «Европейский молодежный союз»; «Нидерландское молодежное объединение».

Франция: ОАС и ее филиалы по всей стране, «Французское народное движение», «Революционная патриотическая партия», «Национальное революционное движение», «Цитадель», «Международный центр культурных связей», «Молодая нация», «Партия народа», пужадисты, «Бывшие борцы за Алжир», «Бывшие борцы за Индокитай».

Швейцария: «Новый европейский порядок» (Гастон Арман-Ги Аматруз), «Народная партия».

Швеция: «Новое шведское движение» (Пер Энгдаль), «Шведский национальный союз», «Северная имперская партия».

Дания: «Датское реформистское движение».

Финляндия: «Финское социальное движение», «Финская национальная молодежь», «Вьелесапу» (бывшие эсэсовцы).

Норвегия: «Союз социального обновления», «Организация помощи участникам войны».

Девять стран — да к ним еще ФРГ, Австрия, Италия, Испания, с которыми мы познакомились раньше! Борман мог бы остаться довольным, и для доклада покойному фюреру у пропавшего рейхслейтера был бы неплохой материал. Кроме того, Борман мог бы доложить фюреру о существовании в Мальме (Швеция) международного центра организации «Европейское социальное движение». Это «движение» регулярно собирает на свои конгрессы фашистов со всего мира — то в Риме, то в Милане, то в Венеции, то в самом Мальме.

Мартин Борман всегда был большим мастером составлять доклады Адольфу Гитлеру. Но, увы, это мастерство не помогло спасти гитлеровскую диктатуру. В наше время расчеты преемников Бормана и Гитлера могут быть столь же хитроумны, как в свое время расчеты и доклады их духовных отцов. Но разве это может опаста неофашизм?

Анализируя нынешнюю картину неофашизма, не следует терять историческую перспективу. Не следует забывать, что современные фашистские партии — это не массовые движения, а лишь маленькие группки. При этом они действуют в условиях огромного разворота прогрессивных сил, не идущего ни в какое сравнение с тем, что было в тридцатых годах. Замыслы фашистов оказались своеобразным бумерангом: они больше всего ударили по самому фашизму. Попытка Гитлера, Муссолини и квислингов всех сортов повернуть вспять колесо истории закончилась чудовищным провалом. Те, кто хотел уничтожить социализм, оказались уничтоженными — физически и морально. Народы Европы прошли жестокую школу, познав на собственном опыте, что такое фашизм.

Нет слов, в резерве европейского фашизма есть новые приемы, есть определенные силы. «Монополистический капитал, — говорится в Программе КПСС, — все явственнее обнажает свою реакционную, антидемократическую сущность. Он не мирится даже с прежними буржуазно-демократическими свободами, хотя лицемерно и провозглашает их... Финансовая олигархия прибегает к установлению фашистского режима, делает ставку на армию, полицию, жандармерию, как на последний якорь спасения от гнева народа...» Потерю многих своих позиций фашизм компенсирует за счет более тесного контакта с милитаризмом, с буржуазным государством. Пример ОАС во Франции показал, как быстро фашистская организация может облечься в военную форму. На генералов и их дивизии рассчитывают и западногерманские неофашисты, и американские нацисты. В то же время искуснее становится маскировка фашизма, его приспособление к нынешним «легальным» формам буржуазного государства. Фашистская опасность не становится меньше от того, что у ее носителей меньше шансов овладеть массами. Аргументы человеческой логики не действуют на этих господ.

Это особенно заметно, если пересечь океан, следуя по воображаемому маршруту Мартина Бормана.

ТАМ, ГДЕ СКРЫВАЛСЯ ЭЙХМАН

Когда в 1947 году Адольф Эйхман получил от епископа Худала в Риме паспорт на имя Рикардо Клементы, он обратился в аргентинское консульство с просьбой о въездной визе. Виза вскоре была выдана, и через месяц Эйхман сошел с корабля в Буэнос-Айресе. Здесь ему было не очень трудно устроиться: во-первых, аргентинские власти не интересуются прошлым прибывающих в страну иммигрантов; во-вторых, в Аргентине нет системы строгой регистрации паспортов; в-третьих, здесь много немцев, и еще один

приехавший из Европы немец мог быстро найти себе место. Эйхман поселился в пансионате, расположенном в одном из пригородов Буэнос-Айреса, поступил механиком на небольшой завод. Вскоре он провел процедуру натурализации: сдал анкету (в которой, как впоследствии выяснилось, не было ни одного правильного ответа), сдал отпечатки пальцев и через два месяца стал гражданином Аргентины. В 1952 году к нему приехала жена с детьми (под своей фамилией).

Западногерманский журнал «Штерн», рассказывая об этом, иронически замечал, что если кто-либо хотел бы найти Эйхмана, «то ему понадобились бы лишь время и деньги, чтобы не спеша последовать за семьей Эйхмана». Теперь известно, что этого не сделала ни американская контрразведка, которая однажды допрашивала Веру Эйхман, ни западногерманская юстиция, которая, как считалось, искала Эйхмана. Остается добавить, что едва ли кто-либо последовал по следам детей Мартина Бормана: ведь его сын Мартин уехал в Италию, а затем в Конго, а сын Генрих — в Южную Америку...

Но вернемся к Аргентине. Эта страна пользовалась в «коричневых кругах» неплохой репутацией. Почему? Во-первых, здесь жило много немцев, из которых пятьдесят тысяч были гражданами третьего рейха. Во-вторых, одиннадцать тысяч из них в свое время находились под прямым контролем «Заграничной организации» НСДАП, возглавляемой гаулейтером Вильгельмом Боле. В-третьих, в годы войны здесь была неплохая база разведки адмирала Канариса. Наконец здесь давно существовали собственно аргентинские фашистские организации.

Понятно, что уже в конце 1944 года в Аргентине стали появляться деятели нацистского режима, рассчитывавшие на убежище, тем более что во многих банках Буэнос-Айреса ими были заблаговременно открыты солидные счета. Были приняты и другие меры, в частности — по линии разведки и СС. Значительную роль в этом сыграл действовавший в Берлине «Иbero-американский институт» — центр, направлявший нацистскую деятельность в Латинской Америке.

Кто прибыл в Аргентину в это время? Среди «иммигрантов» числились два любимых асса Гитлера — полковник Ганс-Ульрих Рудель и генерал-майор Вальтер Галланд. Оба быстро получили места испытателей в военно-конструкторских бюро. Такое же место получил видный авиастроитель д-р Танк. О них все знали, ибо это были «почетные гости». Но были гости и другого рода: Адольф Эйхман, эсэсовский врач лагеря Освенцим Иозеф Менгеле¹, его коллега д-р Клинггенфус, гитлеровский наместник в Словакии Ян Дурчанский, голландский фашист Вилем Слусис, он же Вильгельм Сассен, и многие, многие другие. С этого времени начался процесс диффузии нацизма импортного и фашизма доморощенного.

...В тот день, когда Адольфа Эйхмана приговорили к смерти, на улице Буэнос-Айреса была найдена девятнадцатилетняя студентка Грасиэла Нарциса Сирота. Она подверглась зверскому нападению: ее тело было испещрено порезами в виде крестов и свастики; в руку была вложена записка, говорящая, что это месть за Адольфа Эйхмана. Так впервые на шумела подпольная вооруженная организация аргентинских нацистов «Такуара».

Члены «Такуары» проходят тщательную военную подготовку, для чего созданы специальные базы близ Буэнос-Айреса (одна из них находится в трех километрах от международного аэропорта), а также в провинциях Санта-Фе и Кордова (кстати, Кордову сейчас называют «аргентинским Нюрнбергом» — так много там немцев).

¹ Иозефа Менгеле официально разыскивают органы юстиции ФРГ, что не помешало ему в 1959 году официально принять парагвайское гражданство и стать сеньором Хосе Менгеле. Парагвайские власти заявили, что «им неизвестно» прошлое Менгеле, но если бы даже он оказался эсэсовцем, то все равно не подлежал бы выдаче как парагвайский гражданин. Вальтер Рауфф, бывший начальник отдела у Кальтенбруннера и изобретатель «душеубки», чуть было не пал жертвой своей жадности. Проживая в Чили, он узнал, что бывшим чинам вермахта в ФРГ выплачивают пенсии. Рауфф решил, что он не хуже других, и послал в Вонн соответствующее ходатайство. Однако именно в это время в ФРГ шел процесс, на котором имя Рауффа упоминалось как имя виновника смерти 180 тысяч человек. Рауфф пенсии не получил и даже был арестован. Однако впоследствии власти Чили отказались выдать его и освободили палача.

Там, где митинги прогрессивных организаций,— туда спешат отряды такуаристов, чтобы устроить погром и резню. Они убивают коммунистов, прогрессивных рабочих деятелей. Полиция питает непреодолимую привязанность к такуаристам: их не арестовывают. Кроме полиции, у «Такуары» есть и другие покровители: иезуиты, американские дипломаты и разведчики. В деятельности «Такуары» невооруженным глазом можно заметить почерк немецких нацистов. Действительно, среди ее военных инструкторов немало бывших офицеров СС. Тот же Эйхман был под опекой «Такуары»; в доме на окраине Буэнос-Айреса, который охраняли такуаристы, скрывался доктор из Освенцима, палач Иозеф Менгелс...

«Такуара» — не единственная фашистская организация в Аргентине. В стране существует «Гвардия националистического восстановления», возглавляемая Хуаном Карлосом Кориа. Эта организация, официально введшая в своих рядах фашистское приветствие, находится под покровительством католической церкви. Идеолог «Гвардии» — священник Хулио Мейневиль, автор антисемитских книг, который в годы войны был связан с немецким посольством в Аргентине. Так обстоят дела в Аргентине.

А что происходит в других странах южноамериканского континента?

Нельзя забывать, что еще задолго до начала второй мировой войны германская разведка и «Заграничная организация» нацистской партии обратили внимание на Латинскую Америку. В Бразилии жило 600 тысяч немцев, из них 80 тысяч немецких подданных и 1700 членов НСДАП; в Чили — 30 тысяч немцев (7 тысяч подданных Германии, 600 членов НСДАП); в Парагвае — 9 тысяч немцев. Цифры по Аргентине мы уже приводили. Понятно, что этих людей в Берлине рассматривали как кадры для «пятой колонны». НСДАП вела активную пропаганду среди своих соотечественников. В сентябре 1941 года председатель комиссии конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности (тогда она занималась действительно такой деятельностью) Мартин Диез заявил: «Германия имеет в Южной Америке около одного миллиона человек, организованных в роты и батальоны, их легко превратить в солдат».

Так было в годы войны. А сейчас? В своей книге «Фашисты и нацисты сегодня» Деннис Эйзенберг начинает обзор южноамериканского фашизма с Аргентины и затем переходит к Колумбии. Здесь в 1946 и 1950 годах были зарегистрированы фашистские демонстрации. В Боготе одетые в военную форму молодчики разгромили еврейские магазины, а в Меделине организовали шествие в память казненных главных военных преступников.

В Бразилии, где живет около одного миллиона немцев, все время нарастает волна расизма и фашизма. Сюда также забралось немало непрошенных «иммигрантов». Кто они? В 1958 году, во время одной фашистской демонстрации, был задержан человек, который прибыл в Бразилию после войны. Его имя Герберт Цукурс, он один из организаторов расправы с еврейским населением в Латвии. В Сан-Паулу полиция «наткнулась» на Курта Венделя — руководителя геббельсовских радиопередач на Бразилию во время войны, а также на Максимилиана Эстау Шмидта, работавшего в войну на Геббельса. У Цукурса в Бразилии оказались хорошие ученики. Губернатор штата Гуанабара Карлос Ласерда создал террористическую организацию МАК («Антикоммунистическое движение»), выступающую с лозунгом «Убей коммуниста». Чем это отличается от лозунгов третьего рейха? Только тем, что пишется не на немецком, а на португальском языке...

В Уругвае нацистские группы так же, как и в Аргентине, решили «дать бой» из-за Эйхмана. Они вышли на улицы в униформе, с криками «хайль!». В 1962 году нацистские банды, финансируемые местной и американской реакцией, организовали нападение на редакцию левой газеты «Популар». В Боливии еще до войны действовала так называемая «Социалистическая фаланга», поддерживавшая связи с гитлеровской Германией и фашистской Италией.

В Чили существует целая серия чисто фашистских организаций, в том числе «Чилийское антикоммунистическое действие» и «Прочилийское движение». До войны в стране действовала фашистская партия — «Авангардистская народная социалистическая партия», затем она исчезла, чтобы в 1963 году возникнуть в образе молодежного «национал-социалистического движения». Это движение не только подражает гитлеровцам,

оно просто копирует их. Эмблема движения — свастика, форма — коричневые рубашки, лозунг — «Нацизм спасет Чили». Правда, «чилийский фюрер» Франц Пфейфер копирует не только Гитлера. На ку-клукс-клановский манер себя он называет «великим драконом», своих помощников — «малыми драконами».

Все эти факты говорят, что Борман вполне мог бы обосноваться в Латинской Америке: логика событий вполне оправдывает многочисленные сообщения о пребывании Бормана в различных странах Южной Америки.

Но дело не только в Бормане, дело серьезнее. Речь идет о новом полигическом процессе, который стимулируется правящими классами южноамериканских стран и их империалистическими покровителями с общей целью сдерживать исторические сдвиги, происходящие на континенте. «Дрейфующий континент» — так сейчас называют Южную Америку, которая после долгих лет пребывания под колониальным игмом США «сдвинулась» с мертвой точки. Ветры XX века наконец подули и в западном полушарии. Там, где, казалось, народы навеки были осуждены на прозябание под игмом диктаторских режимов военных хунт и американских монополий, стали происходить необыкновенные события. Первые подземные толчки произошли в Гватемале, затем последовало «извержение вулкана» на Кубе, политические землетрясения в Панаме, Венесуэле. Хотя смысл и размах событий в этих странах был различен — направление было одинаково...

Немудрено, что в этой ситуации хозяева Южной Америки немало озабочены судьбой своих колониальных владений. В известной степени здесь разыгрывается такой же кризис власти, какой переживала германская буржуазия в конце двадцатых — начале тридцатых годов, из которого она вывела выход в нацистской диктатуре. Американский империализм сейчас не прочь использовать фашистские колонны для спасения своих позиций в Южной Америке, что объективно совпадает с планами тех неисправимых, которые забрались сюда после 1945 года.

Экспорт фашизма? Вполне возможный вариант, поскольку на политическом рынке международной реакции нацизм представляет собой весьма ходкий товар. Специалисты по латиноамериканским делам из государственного департамента США и ЦРУ, которые испытали немало разочарований в Южной Америке, сейчас готовы прибегнуть и к помощи эсэсовских консультантов. Аргентинский коммунистический журнал «Нуэстра палабра» писал: «Нет никакого сомнения в том, что существование фашистских банд по обе стороны Ла Платы — не местное явление. Нет, это политика, диктуемая США».

Иными словами: никакой Мартин Борман и даже сам Гитлер с десятком рейхслейтеров не смогли бы обеспечить себе убежища в южноамериканских странах и затем заняться здесь организацией фашистского движения, если бы это не совпадало с генеральным курсом Соединенных Штатов и их южноамериканской социальной агентуры. В свое время кто-то из хозяев знаменитой американской монополии «Дженерал моторс» сказал: «То, что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для Соединенных Штатов». Руководители колониальных монополий США сейчас провозглашают: «То, что было гибельным для народов Европы, должно быть хорошо для Южной Америки». Издательский смысл этого софизма быстро распознают прогрессивные силы и широкие массы стран «дрейфующего континента».

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Облик Мартина Бормана шестидесятых годов многообразен. Даже по тому условному и ограниченному маршруту, который мы избрали, можно было видеть самые различные его преображения. В одной стране он снял коричневую рубашку, чтобы стать добпорядочным защитником христианских идеалов, в другой, наоборот, демонстративно напяливает повязку со свастикой. Черты лица Мартина Бормана стерлись, но зато остались слишком хорошо известные черты той идеологии, которая проповедовалась нацизмом, и той политической практики, которая огнем и мечом осуществлялась в годы гитлеровской диктатуры. Ведь нельзя забывать, что в главной стране капиталистического мира, о которой одним из ее писателей было сказано: «У нас это невозмож-

но!» — в этой стране не только возникла нацистская партия Линкольна Рокуэлла, но и идет широкое наступление фашиствующих элементов.

Ни в одном из сообщений западной печати не выдвигалась версия о пребывании Бормана в Соединенных Штатах — и нам следовало бы завершить свое путешествие, не пересекая границу США. Но политические процессы границ не знают. Сейчас во всем мире с полным правом говорят об «американизации фашизма». Многие явления в жизни США говорят о том, что крайне правые элементы готовы черпать опыт своей демагогии в самых грязных, коричневых источниках. Во всяком случае между расизмом Гитлера — Бормана и расизмом американским уже существуют прямые параллели.

В этих условиях судьба того Бормана, который родился 17 июня 1900 года и исчез 2 мая 1945 года, право, отступает на второй план. В конце концов какая разница — жив Борман или нет? Куда существеннее вопрос о судьбе тех идей и той политики, символом которых он является.

Фашизм не феномен только немецкой или итальянской истории. Это социальное явление. Фашизм у власти — это «открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала» — такова исчерпывающая формула, данная в Программе КПСС. Когда же фашизм уже или еще не у власти — это значит, что элементы финансового капитала держат фашизм в резерве, исподволь пробуя возможности для его активизации.

Сейчас происходит своеобразный процесс «дробления» фашизма. Буржуазия той или иной страны — в соответствии со своими классовыми интересами — использует какие-то элементы фашизма. Как правило, к полной форме, к тоталитарной диктатуре гитлеровского типа стараются прибегать возможно реже и в крайней ситуации: опыт Гитлера научил даже международные монополии!

Но даже каждый в отдельности элемент фашизма крайне опасен. Ведь надо учитывать, что мы живем в ядерную эпоху, когда даже небольшая провокация может привести к невообразимым последствиям. «Минитмены», добравшиеся до ракетной кнопки, сумеют свергнуть мир в термоядерную катастрофу, а неофашисты из какого-либо «Итальянского социального движения» или ОАС и прочих ему подобных организаций способны спровоцировать в любой западной стране серьезные столкновения, которые могут вызвать цепную реакцию.

Уроки истории проходят без результата только для тех, кто не хочет их замечать. Зато для передовых сил общества уроки истории служат источником для их укрепления. Разгромив гитлеровский фашизм, они увидели сами и показали всему миру, что даже такая страшная форма фашизма может быть уничтожена. Что же говорить о сегодняшнем дне, когда победители Гитлера стали в сотни раз сильнее — морально и материально?

Говорят, что мертвые хватают живых. Но если живые захотят, они смогут отбросить мертвых со своего пути. Такая судьба должна постичь главного немецкого военного преступника Мартина Бормана — мертвого или живого, вместе с его зловещим наследием.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ И ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

Италия

«Nuovi argomenti» («Новые темы»). Roma, №№ 67—68, marzo—giugno, 1964.

С начала шестидесятых годов тема взаимоотношений между культурой и «индустриальным обществом», взятая в различных ракурсах и вариациях, почти не сходит со страниц итальянской печати. В общем, речь идет о кардинальных проблемах: остается ли в центре современной литературы человек, как отражается в искусстве сегодняшняя реальность, какова роль художника в условиях быстро изменяющегося мира. Но это — именно «в общем», так как в ходе дискуссии естественно возникают конкретные, порою специфически итальянские вопросы, а иногда спор перебрасывается в другие области, затрагивая темы общественной морали, психологии, философии искусства.

Недавно редакторы журнала «Нуови аргументи» Альберто Моравиа и Альберто Кароччи выпустили специальный номер. В нем они обратились к некоторым деятелям культуры с десятью вопросами на тему «Неокапитализм и литература» и здесь же опубликовали полученные ответы. Первый вопрос гласит: можно ли провести параллель между взаимоотношениями «известной части современной литературы» («новый роман», «магнитофонный роман»¹ и т. п.) с неокапитализмом и взаимоотношениями итальянских «герметиков» с фашистским режимом Муссолини. Второй вопрос: можно ли, в плане культуры, провести параллель между коммунизмом и реформацией, с одной стороны, и неокапитализмом и контрреформацией — с другой. Суть третьего вопроса сводится к следующему: «Для марксизма целью человека является человек. Для неокапитализма целью человека является производство (и потребление). Лежит ли это различие в основе антигуманизма «нового романа» и современной литературы вообще?» Два следующих вопроса: обязательно ли идеологии «процветания»² соответствует формалистическая и консервативная литература и когда и каким образом «человек начал исчезать из романа?»

Смысл шестого вопроса: заинтересован ли неокапитализм в том, чтобы литература занималась преимущественно сама собою, а не им, неокапитализмом. Седьмой вопрос привожу текстуально: «Техника «нового романа» и вообще самой современной литературы очень напоминает технику современного промышленного производства. В современной литературе человек является частицей мира, которого он не знает и который не знает его, подобно тому как рабочий на современном заводе не знает завода, а тот в свою очередь не знает этого рабочего. В современной литературе человек есть вещь среди множества вещей. Кроме того, уничтожение психологии свидетельствует о том, что в современной литературе персонаж не только объективно является вещью, что допускало бы еще наличие психологии, но создает, что он — только вещь, а это убивает всякую психологию. А разве не таково же положение рабочего на современном предприятии?» Как видим, это не просто коротко сформулированный вопрос,

¹ Насколько известно, термин «магнитофонный роман» изобретен итальянцами. Очевидно, подразумевается необработанная, непосредственная, как бы специально исключаящая момент отбора «звукзапись» жизни.

² Идеологи «неокапитализма» называют современное буржуазное общество «государством процветания», «благополучия» и т. д.

но пространное рассуждение, как бы предвосхищающее возможный ответ. Примерно так же составлены почти все другие вопросы. Так, в восьмом в связи со школой «нового романа» говорится, что в действительной жизни человек «все больше становится простым связующим звеном между производством и потреблением», и спрашивается, не этим ли обстоятельством объясняется призрачный характер персонажей школы «нового романа».

Кто-то из итальянских критиков довольно зло, но метко сказал, что наступает момент, когда какая-нибудь тема становится модной, и это не идет на пользу спору. В самом деле, создается впечатление, что редакторы журнала «Нуови аргументи», стремясь углубить анализ важных проблем и действительно наметить немало интересных граней, кое в чем попали в плен схоластики, и некоторые их послышки представляются принципиально неверными. Возможно, журнал в какой-то мере сознавал слабость своей позиции (а может быть, это «сработало» подсознание: ведь недаром Моравиа очень любит Фрейда!), потому что в девятом вопросе спрашивается, не носят ли дискуссии, ведущиеся сейчас в литературе, чересчур отвлеченный и академический характер. Последний вопрос — очень земной и довольно существенный: в какой мере неокapитализм оказывает влияние не на литературу в целом, а на литераторов, взятых каждый в отдельности, предлагая им посты, гонорары, стипендии, создавая для них всяческие синекюры и устанавливая другие формы непосредственной связи.

Большинство из семнадцати деятелей культуры, ответивших на анкету «Нуови аргументи», внесли в нее существенные поправки, игнорируя одни вопросы, по-своему формулируя другие. Редакции пришлось выслушать немало резких замечаний со стороны участников обсуждения. Известный писатель Элио Витторини подчеркнул самое слабое место: неверную интерпретацию самого понятия «неокапитализм», эластичной формулы, в которую нелегко вложить точное политическое содержание. В самом деле, в анкете неокапитализм выступает как совершенно самостоятельная общественная формация, качественно отличающаяся от «классического» капитализма не меньше, чем тот, например, отличается от феодализма.

Однако, несмотря на неверность исходной позиции, которая в известной мере предопределила судьбу дискуссии, сказано было немало интересного. Особенно важным представляется вопрос о судьбе человека, живущего в странах неокапитализма. К этому настойчиво обращались авторы «Нуови аргументи»: гуманизм и антигуманизм — лейтмотив большинства выступлений. К слову говоря, участники обсуждения редко ссылались на примеры из итальянского искусства. И вообще дело не во французском «новом романе» и не в итальянском неовангардизме, — это частности, грани литературного процесса и, пожалуй, не такие уж значительные. Речь идет о несравненно более важных вещах.

* * *

За последние годы мы присутствуем при сильнейшем идеологическом наступлении неокапитализма, пытающегося создать свою систему духовных ценностей, используя при этом могущественный рычаг — средства так называемой массовой культуры. Один из участников обсуждения «Нуови аргументи», литературовед Габриеле Бальдини, высказывает по поводу взаимоотношений неокапитализма с культурой любопытные мысли. Он пишет:

«Некоторые экспериментальные формы современного романа приобретают смысл, если рассматривать их в связи с неокапитализмом, но лишь в известной степени. Неокапиталистическая «цивилизация», нивелируя вкусы и способность усваивать произведения искусства, требует от этого искусства максимального упрощения. Оно должно избегать всяких сложностей... В самом деле, в изобразительных искусствах и в музыке сегодняшняя продукция гораздо проще и легче усваивается, или, лучше сказать, «потребляется», чем это было несколько десятилетий тому назад. Абстрактная и информальная живопись, так же как додекафоническая, электронная и конкретная музыка, — это проявление художественного языка, значительно упрощенного в сравнении с традиционным... Нет сомнения, что «магнитофонный» роман, картина, на которой с несколько портновским изяществом расположены пятна, либо гладкая поверхность изборождена линиями, лента с записью различных комбинаций звуков или механическое

фортепьяно — несравненно проще для усвоения и понимания, нежели роман Стендаля или Достоевского, симфония Бетховена, квартет Брамса, портрет Дега или пейзаж Коро».

Тезис «Нуови аргументи» насчет того, что человек превращается в простое звено между производством и потреблением, вызвавший протест некоторых участников анкеты, Бальдини, видимо, разделяет. Впрочем, он делает одну оговорку: это представление кажется ему одновременно и чересчур пессимистичным и чересчур оптимистичным. Пессимистичным потому, что не принимаются во внимание бесконечные скрытые возможности, таящиеся в человеке, и оптимистичным потому, что... «нельзя предвидеть, что произойдет в будущем: все может оказаться еще страшнее, чем можно предположить». Что кроется за этими словами? Пресловутая психология атомного века? Во всяком случае — смятение. Человек-«потребитель» наряду с материальными благами неокapиталистической цивилизации «потребляет» суррогаты искусства, освобождаящие его от обязанности думать и даже чувствовать. А что будет потом?

Бальдини не считает, что существует прямая зависимость «новых форм романа от неокapитализма», правильнее говорить об аналогиях, совпадениях. Не такова концепция Джорджо Кузателли. Он пишет: «Мне кажется, что, рассуждая трезво, надо исходить из наличия непосредственного влияния, которое неокapитализм оказывает на литературу... Даже если допустить, что писателю удается полностью освободиться от воздействия социально-экономических потребностей, обуславливающих его работу,— все равно он имеет дело с читателями (вернее сказать, с потребителями), уже... подготовленными к тому, чтобы искать в книге нечто, соответствующее образцам, заранее установленным культурной индустрией». Образцы эти отнюдь не исчерпываются наиболее легкими жанрами (бульварным романом или фантастическим рассказом), напротив, они достигают «благопристойного и вместе с тем фальсифицированного уровня так называемой официальной литературы». Сюда же большей частью относится литература особого рода, занятая судьбой обезличенного человека, быющего в тенетах жестокого мира. Эта литература отличается отчаянным экспериментализмом формы: новый роман, магнитофонный роман, неодадаизм и т. д. По убеждению Кузателли, такая литература оказывает важнейшую услугу «культурным операциям неокapитализма»; именно поэтому «благонамеренная» пресса так охотно ведет дискуссии о технических и формальных проблемах романа, тем охотнее, чем туманнее и дальше от конкретной реальности романы, претендующие на то, чтобы изображать эту реальность.

Мне кажется, что, хотя Кузателли сделал несколько метких замечаний, его схема грешит все же несколько наивным, чтобы не сказать вульгарным, социологизмом. Может быть, легче спорить и разоблачать, исходя из такого прямолинейного представления об идейной противнике, но ведь в действительности все обстоит несравненно сложнее, прежде всего во взаимоотношениях литературы и общественной формации, в рамках которой она развивается. Пьер Луиджи Контесси пишет по этому поводу, что лингвистическая, культурная традиция, политические и социальные требования окружающей среды, материально-технические средства общения с публикой — все это оказывает влияние на развитие литературы и искусства. Хотя вряд ли может быть доказано, что эти разнообразные факторы непосредственно влияли на художественное качество отдельных произведений, бесспорно, что они оказывали влияние на идеологический характер этих произведений, на их стиль, в какой-то мере определяли их успех или провал. «Существуют сильнейшие внеэстетические факторы,— продолжает Контесси,— которые участвовали и продолжают участвовать в эволюции искусства, и мы считаем, что это необходимо и законно».

У Контесси встречаются любопытные суждения об эволюции буржуазной демократии и о создании в «массовом обществе» массовой культуры. Он считает, что в связи с возникновением мощных средств распространения массовой культуры, вызванных к жизни техническим прогрессом, положение литературы в обществе изменилось: наличие культурной индустрии, использующей для «убеждения, воспитания и информации» радио, телевидение и т. д., превращает литературу в искусство для элиты. Она не утрачивает полностью свои функции, но они изменяются. Контесси как формулирует основной вопрос анкеты: «Существует литература, из которой исчез человек как персонаж,

представляющий определенное мироустройство. Мы находимся на пути к созданию антигуманистических литературных форм, которые все больше отрываются от нашей цивилизации. Насколько неокapиталистическое общество может способствовать, с одной стороны, изоляции, с другой — дегуманизации литературы?»

Контесси рисует мрачную картину окружающей действительности: «Мы обнаруживаем, что общество благосостояния населено людьми, у которых стандартизованы потребности, стремления, привычки; их жизненный опыт совпадает, история каждого повторяет историю всех остальных, все единообразно, нет никаких неожиданностей, кроме тех, что зависят от сил природы. Это происходит потому, что само общество стремится устроить жизнь отдельных людей в соответствии со средними потребностями, средними стремлениями, средними привычками».

По мере того как все внимательнее вчитываешься в материалы «Нуови аргументи», напряжение возрастает. Контесси заявляет, что безликий персонаж рождается не в литературе, а в мире, где живут люди. Ему вторит Роберто Роверси: «Человек начал исчезать из романа тогда, когда он начал исчезать из мира». Гуидо Гульельми пишет: «Человек в неокapиталистическом обществе существует как потребитель, то есть является частицей продукции, одним из компонентов капитала»... Антонио Сакка утверждает: в истории есть периоды, когда человек верит в себя, и периоды, когда он в себя не верит. В наше время человек чувствует себя маленьким и безличным. Буржуазная мораль умерла или стала неприемлемой, люди как индивидуумы презирают сами себя. Причем все: «Мыслящий буржуа презирает себя потому, что не знает, зачем жить, или чувствует свою вину, или сознает, что его общественному укладу пришел конец. Мелкий буржуа презирает себя потому, что он постоянно встревожен, потому что его положение непрочное и драматично... Пролетарий презирает себя и потому, что он, быть может, превратится в мелкого буржуа, и потому, что вынужден жить в пока еще не изменившихся условиях, поставленный в ограниченные рамки, которые не может более выносить. Те, кто презирает себя, тяготеют к исчезновению». И — рефрен: «Человек умер. Индивидуум разрушен и является сейчас всего лишь потребителем. Он потребитель потому, что все остальное разрушено, и, следовательно, единственной сохранившейся формой активности, оставшейся на его долю, является потребление». Но Сакка идет еще дальше: «Если все находится в состоянии кризиса и человек презирает себя — налицо депрессивное состояние человека. Но, если сегодня человек депрессивен, он неизбежно становится также маньяком. Иными словами, чем глубже депрессия, тем сильнее стремление избавиться от нее. Это маниакальное состояние сегодняшнего человека выражается в потреблении. Сегодня человек стремится потреблять, ибо это — думает он — поможет ему что-то преодолеть и побороть и таким образом вновь обрести зеру в себя».

Это уже начинается апскалипсис! А впрочем, Антонио Сакка лишь девел до какой-то почти ирреальной грани мысли и чувства, в которых признаются многие другие участники анкеты, да и не только они. За последние годы литераторы особенно много пишут о неврозах, психозах, патологических реакциях, внушениях, самовнушениях. Можно привести немало таких примеров. Есть такой роман — «Мемориал», автор его — Паоло Вольпони. Это одна из книг, вызвавших в Италии оживленные отклики и споры. Герой романа — молодой рабочий Альбино, довольно ограниченный, слабохарактерный, малоразвитый человек, верующий католик, чурающийся политики, — страдает туберкулезом и настоящей манией преследования. Роман любопытный, со сложной системой символов и намеков. В нем, безусловно, есть мотив обвинения по адресу общества, той самой «индустриальной цивилизации», в которой живет Альбино, — но все это зашифровано. Есть другой роман — «Вспышка ярости», одно из самых спорных произведений Джованни Арпино. Здесь выведен классический «треугольник» (муж, жена и любовник), но не в буржуазной, а в рабочей среде. И эти люди, в сущности, только жертвы неокapиталистического общества, недаром Маттео (муж), сбежав из больницы, ломает телевизор, холодильник, мебель как символы холодного материального благополучия, не дающие счастья (своеобразный бунт «потребителя» материальных и духовных ценностей «общества благоденствия»). А в романе «Горькая жизнь» Бьянчарди герой, живущий в сердце «экономического чуда» — Милане — кричит: «Я знаю, вы скажете, что это всего лишь история одного невроза»...

Подобные свидетельства итальянских деятелей культуры — и участников обсуждения, и авторов романов, а также психологов, социологов и других — говорят о страшном мире. Фон: стандартная культура, стандартное мышление, стандартные вкусы, стремления и привычки, полнейшая обезличенность людей, низведенных до уровня какой-нибудь шестеренки. А на этом тусклом, единообразном фоне — психозы, неврозы, патологические комплексы...

Все это для современного буржуазного общества — верно, ненадуманно. Но в то же время — это только часть правды. Жизнь гораздо богаче, многограннее такого восприятия. И психология человека, отказывающегося быть винтиком стандартной машины, — такая же реальность, как и психология обезличенного человека.

Но вернемся к «Нуови аргументи». Альберто Моравиа предпочел высказать свои мысли не в виде ответов на анкету, а в форме предисловия к ненаписанному роману. Это восемь страниц журнального текста под заголовком «Вечность природы и индустриальная вечность». Моравиа пишет с остроумием, изяществом и блеском, но при этом нельзя не заметить, что текст предисловия и многие формулировки анкеты, как раз наиболее сложные и затемненные, полностью совпадают. Таким образом, на Моравиа в большой степени лежит ответственность за то, что обсуждение серьезных вопросов отчасти превратилось на страницах «Нуови аргументи» в изощренную интеллектуальную игру. Естественно, что о выступлении Моравиа надо рассказать подробнее хотя бы потому, что в нем мы ясно различаем «идеолога» анкеты.

Статья начинается с того, что Моравиа смотрит короткометражный документальный фильм: размножение сардин. Увеличенная до огромных размеров самка плавает в море и мечет икру. Возникает аналогия: природа действует по методу серийного производства. Или же, уточняет писатель, современные заводы бессознательно подражают природе. Параллель: миллионы икринок, из которых большинство погибает и лишь немногие превращаются в «совершенно одинаковых» сардин, и миллионы «совершенно одинаковых» шведских спичек. Вывод: «Громадное сходство между природой и индустриальным обществом... Единственная разница заключается в том, что индустриальное общество производит для потребления, а потом опять производит, и так — до бесконечности: производить и потреблять. А природа идет от рождения к смерти и от смерти опять к рождению, и опять-таки бесконечно чередуются рождения и смерти. Разница не такая уж существенная, больше на словах. По существу производство и потребление, рождение и смерть — синонимы, что, впрочем, подтверждается самим языком индустриального общества: мода «рождается и умирает», платье называют «творением», автомобиль имеет «жизнь» и, следовательно, как подсказывает логика, также и смерть.

Так вот, пока Моравиа, как он рассказывает, смотрел документальный фильм и рассуждал о сходстве между природой и индустриальной цивилизацией, ему пришло в голову, что сардина может служить конкретным символом вечности. Эта вечная жизнь природы, эти циклы (рождение — смерть — рождение) полны глубочайшего смысла, они трагичны, но прежде всего величественны, торжественны и красноречивы. Современная индустрия тоже претендует на вечную жизнь чередующихся циклов производства и потребления. Но почему же в отличие от вечности природы «индустриальная вечность» воспринимается нами как нечто безумное, абсурдное, смертельное? «В общем, — пишет Моравиа, — почему тот факт, что солнце все время возвращается, чтобы светить в небе, наполняет нас радостью, а другой факт, по существу ничем от него не отличающийся, — факт, что каждое утро выходит газета, вызывает в нас, едва он привлекает наше внимание, чувство тоски и смятения? Мы думаем: солнце будет всходить, когда нас уже не будет, долгие-долгие века, и мы испытываем одновременно ужас и восторг. Но когда мы думаем: газета будет продолжать выходить, когда нас уже не будет, долгие-долгие века, все с теми же черными заголовками на тех же белых страницах, с такими же фотографиями и коммерческими объявлениями, — мы испытываем, напротив, чувство возмущения и недоверия, словно перед лицом чего-то невыносимого и абсурдного. А между тем это так: подобно тому как солнце будет всходить еще долгие века, и газета (если какая-нибудь катастрофа не сметет человечество с лица земли) — почему бы газете не выходить ежедневно сейчас, и через десять, и через сто веков? В самом

деле, как мы уже сказали, современная индустрия великолепно научилась имитировать природу — придумав свою собственную вечность... не имеющую никакой цели».

Проследим дальше за ходом мысли Моравиа: прежде, в доиндустриальную эру, когда люди не начали еще соперничать с природой, «история делалась человеком для человека и имела своей целью человека, то есть помогала ему жить и верить в свое назначение». Но индустриальная вечность имеет своей целью не человека, а самое себя, поэтому у человека исчезает жажда жизни и возникает стремление к смерти. И как могло бы быть иначе? — спрашивает писатель. Индустриальная вечность вся состоит из вещей, которые не могут существовать долго и обречены на гибель. Человек не глуп, он отдает себе отчет в том, что газета умирает через два часа после своего появления на свет, а коробка спичек — через двадцать четыре часа. Человек понимает свою собственную роль и свое положение в индустриальном обществе. «И когда человек осознает, что живет в мире, целью которого он, человек, не является, у него возникает жажда смерти».

Мы уже встречали эту ноту трагической обреченности человека, живущего в «индустриальном неокapиталистическом обществе», в выступлениях других участников дискуссии. Может быть, потому, что Моравиа перевел все это в систему образов (сардины, спички, газета), нота эта звучит у него еще более явственно. Но вот тема газеты начинает обыгрываться в блестящем стиле Моравиа-публициста: газета представляется ему идеальным символом вечности, которую сумела создать индустриальная цивилизация, соперничая с природой. «Среди всех выпускаемых серийно предметов газета кажется самым совершенным, самым значительным, самым сложным. Действительно, это массовый продукт, изготавливаемый для массы, это бесконечное число совершенно одинаковых экземпляров. Газета эфемернее любого другого продукта серийного производства. Теоретически она живет двадцать четыре часа, но в действительности умирает уже в самый миг своего рождения, поскольку новости, сообщаемые ею, мертвы уже в момент публикации газеты, вытесненные другими, более свежими новостями. И наконец газета делается из недолговечного материала, из бумаги низкого качества, которая, как известно, потом опять перерабатывается и используется до бесконечности».

Но все это — только подступ к теме. К очень близкой Моравиа теме отчуждения, обезличенности. — в самом деле, вель гуманизм писателя очень своеобразен: редко-редко в его книгах встретишь непосредственное, не пропущенное сквозь фильтр рассудка, морализирования и иронии, проявление живого чувства. И в романах Моравиа, и во многих его рассказах — хотя бы в отличном, но жутком рассказе «Автомат» — проявляются эти присущие ему особенности. И вот мы читаем: «Подобно тому как газета индустриальный продукт — самая серийная вещь из всех, существующих в мире, газетная статья в свою очередь — самый серийный интеллектуальный продукт из всех, производимых человеческим умом. Действительно, статья пишется для того, чтобы ее прочли миллионы торопящихся и большей частью малокультурных людей. Следовательно, она должна быть сделана из предельно легко усвояемого интеллектуального сырья, если можно так сказать — заранее разжеванного и переваренного; в общем, нечто вроде словесной тюри, которую проглатываешь, не думая и не замечая».

История с газетой — отличная находка, и Моравиа продолжает ее обыгрывать. Журнальная статья — более или менее совершенный механизм, детали более сложной машины — газеты. Да, потому что газета — это машина для чтения. В самом деле, каково назначение любой машины? Сохранить время и труд человека. А газета — это как раз машина, которая требует лишь кажущегося усилия при чтении. В действительности, преподнося человеку разжеванные и переваренные материалы, газета, можно сказать, сама читает за читателя. Да и читать-то, собственно, нечего, так как статьи состоят из механически соединенных одна с другой фраз. Человек пробегает глазами слева направо и сверху вниз белый лист бумаги, испещренный черными значками, и спокойно выбрасывает газету: она прочтена «Машина сработала, дала читателю иллюзию, в которой он нуждался, иллюзию, будто он информирован в событиях, совершившихся в мире за последние двадцать четыре часа».

И наконец-то Моравиа приносит слово, которого мы ждали: газета — это «социальная машина», такая же, как кино, телевидение, как любые другие машины

культурной индустрии. А что такое социальная машина? Это машина, которая в конечном счете помогает производить серийных людей, всех одинаковых, идущих к одной цели — к индустриальной вечности, основанной на цикле производства и потребления. «Таким образом, ротационные машины (а они настоящие, подлинные машины) серийно производят интеллектуальную машину — газету, которая в свою очередь, пользуясь механизмом автоматического чтения, производит серию читателей, то есть в конечном счете людей».

Вот какую картину страшного мира, поистине страшного, нарисовал Моравиа. Как ни странно, этот большой писатель, который не раз заявлял, что считает себя марксистом (или во всяком случае приверженцем марксистской философии), воспринимает современное индустриальное общество как нечто цельное, неразделимое. Классов как будто бы вообще не существует. Нет об этом речи и в самой анкете, хотя она, как мы видели, насквозь политизирована, так и пестрит: марксизм, коммунизм, капитализм, фашизм, неокapитализм, индустриальная революция, производство, потребление. А человек? Мы уже знаем: человек — бесцветная, безликая, ничтожная жертва массовой культуры, потребитель, вещь среди множества вещей, что-то вроде «совершенно одинаковых» сардин или «совершенно одинаковых» шведских спичек. По-видимому, это опять психология атомного века?

Но в хоре пессимистов и скептиков раздаются и иные голоса. Для того чтобы у читателя сложилось правильное представление о дискуссии в «Нуови аргументи», надо рассказать о выступлениях Ренцо Россо и Элио Витторини. Оба они, видимо, не попали в плен «десяти вопросов», не устремились в заманчивые дебри абстракций и подошли к теме со своей собственной меркой.

Ренцо Россо прежде всего считает, что в самом термине «неокапитализм» присутствует невольное апологетический момент. По его убеждению, сущность сегодняшнего капитализма ничем не отличается от сущности вчерашнего, и нельзя говорить о происшедших изменениях, как о каком-то общем продвижении вперед. Ренцо заявляет, что «нейтральное» отношение ко всем этим вещам невозможно и, прежде чем рассуждать о надстройках, следует точнее определить, каков базис. Он выдвигает любопытный тезис: «Сейчас как-то не принято называть капитализм его собственным именем». Капитализм прячется за институтами, организациями, течениями мыслей, религиями — это очевидное доказательство его абсолютной аморальности. Он выступает как «экономика свободного рынка», «прогресс в свободе», «защита демократии», «свободный мир», «христианские ценности» и даже как «Спротивление», — все это потому, что большинство людей в мире рассматривает его как нечто постыдное.

О выступлении Элио Витторини выше мельком уже упоминалось. Этот крупный писатель-гуманист (наши читатели знают его по превосходной повести «Эрика и ее братья») вместе с Итало Кальвино возглавляет альманах «Менабо», на страницах которого в 1961 году началась дискуссия на тему «Индустрия и литература». И сейчас именно Витторини решительно напомнил о том, что общество разделено на классы и существует такой важнейший фактор социальной жизни, как классовая борьба. Витторини замечает, что если сегодня, в условиях так называемого неокапитализма, жизненный уровень рабочих возрос, — это объясняется отнюдь не тем, что сами капиталисты приняли такое хитроумное решение. Причина совсем иная: в игру вмешалось сильное и организованное рабочее движение. Именно объединенные рабочие, особенно в развитых капиталистических странах, внесли поправку в законы капиталистической эксплуатации. В самом деле, пишет Витторини, «неокапитализм остается капитализмом в самом архаическом и абсолютном смысле слова» во всех тех сферах общественной жизни, где классовая борьба не принудила его еще к уступкам и перестройке, например — в сфере потребления.

* * *

Мы уже говорили о том, что «неокапитализм» ведет идеологическое наступление, пытаясь создать и утвердить систему духовных ценностей, которая могла бы помочь ему в борьбе за души людей. Нет сомнения в том, что он максимально использует все средства распространения массовой культуры: телевидение, кино, радио, иллюстрированные еженедельники, выходящие огромными тиражами, и т. д. Если уж сама католи

ческая церковь широко пользуется всеми этими вещами, всячески модернизирував классические формы пропаганды, то «лаичи» (миряне) от нее никак не отстают. Мне кажется, что мысль Габриеле Бальдини о сознательном упрощении искусства, поставленного на службу пропаганде, очень интересна. Большею частью мы встречаемся с другим тезисом — относительно рафинированности искусства и литературы, пользующихся поддержкой правящего класса. Может быть, здесь правильно будет сказать не «или — или», но «и то и это», — предельное упрощение и предельная изысканность могут быть различными гранями одного и то же процесса.

Формулировки «анкеты» в этих вопросах кажутся мне несколько наивными, а порою искусственными. В самом деле, разве не искусственна произвольная аналогия между коммунизмом + реформация и неокapитализмом + контрреформация? Кое-кто отверг этот вопрос, некоторые со знанием дела анализируют литературу и искусство барокко в сопоставлении с некоторыми формами неоавангардизма. Думается, что это может представлять интерес только для специалистов. Анкета несколько раз затрагивала школу нового романа, но вряд ли и эта тема заслуживает такого пристального внимания. Известный итальянский критик и литературовед Витторио Страда давно уже заметил, что незачем раздувать значение этой школы, а «мода» на нее начинает как будто проходить, несмотря на присуждение Натали Саррот премии Форmentor.

Нет смысла сейчас подробно говорить и об итальянском неоавангардизме — о нем тоже немало спорили участники дискуссии, — но стоит вкратце рассказать, о чем идет речь. В октябре 1963 года в Палермо состоялась конференция новой литературной группы, назвавшей себя «группа 63». С основным докладом выступил единственный пока прозаик группы Эдоардо Сангуинетти, автор романа «Итальянское каприччо». До выхода в свет этого романа Сангуинетти печатал только стихи. Издательство сопровождало роман довольно развязной рекламой, в которой говорилось, что автор — «самая необычайная фигура в молодой итальянской литературе». Повествование, ведущееся от первого лица, все время идет в двух планах — реальном и ирреальном. Натуралистически выписанные сцены чередуются с воспоминаниями, игрой подсознания и т. д. Кроме героя романа и его жены, существует масса персонажей, фигурирующих не под именами, а под буквами: «А», «Л», «Ж», «К», «Г»... В романе встречаются интересные образы, есть внутренний драматизм отдельных ситуаций, неожиданные метафоры, нервный, напряженный ритм. Сангуинетти, по-видимому, человек одаренный, но переплетение нескольких планов и преобладание эротических и ирреальных мотивов делают его поэтику неоправданно усложненной и назойливо рафинированной.

В своем докладе Сангуинетти заявил, что к традиционной литературе принадлежат почти все крупные современные писатели. «Литература авангарда» решительно противостоит традиционной. Говорить о какой-то общей идейной позиции «группы 63» пока не приходится. Один критик остроумно заметил, что эта группа «находится сейчас в поисках идеологии». Многие ее участники дали понять, что считают себя марксистами, однако один из них отрицал обязательно идеологический характер литературы, другой утверждал, что искусство находится вне времени, третий — что традиционная литература основывается на познании жизни, а авангардистская — на воображении. Вокруг «группы 63» в Италии поднялась большая шумиха. Скetch одного из ее членов, Микеле Перрьера, озаглавленный «Скольжение», стал считаться своего рода манифестом группы. Скetch построен на том, что человек хочет сесть на стул, но это ему никак не удается: мешают некто, сидящий за письменным столом. Этот некто символизирует «власть имущих» в литературе и в культуре вообще. Встреча в Палермо была воспринята многими итальянскими критиками как «бунт». Не ясно, однако, против кого он направлен. Моравиа обвинил «группу 63» в «неоформализме». В печати не прекращается полемика, ведущаяся, однако, не на лучшем уровне. Мне кажется, что и в «Нуови аргументи», кроме отдельных метких замечаний, ничего важного об итальянском неоавангардизме не было сказано. Да, пожалуй, иначе и не могло быть, потому что — пока во всяком случае — это течение не играет видной роли в литературном процессе.

Итак, отказавшись от подробной информации и анализа споров второстепенного характера, вернемся к самому главному: к начатому серьезному разговору о судьбах

людей в неокapиталистическом обществе. Это, повторяю, не только итальянская тема, она имеет несравненно более широкое значение.

Нет сомнения, мы живем в сложную и трагическую эпоху: перед современным человеком и, в частности, перед интеллигенцией встают проблемы, на которые нелегко дать ответ. Но в попытках решить эти проблемы можно занимать разные позиции: пассивно-фаталистическую и активную, единственно достойную человека. Деятели итальянской культуры, к которым мы относимся с искренним уважением, живут в стране, где накал политических страстей исключительно высок, где массы вопреки схемам, вопреки «индустриальной цивилизации» отнюдь не ведут себя, как «вещь среди множества вещей». И хочется сказать им: в вашей стране каждые политические выборы превращаются в сражение. Ваши рабочие проводят упорные и успешные забастовки, в том числе забастовки солидарности, ваши студенты захватывают здания университетов, у вас существует почти двухмиллионная коммунистическая партия, самая сильная из компартии Западной Европы, увлекающая за собой громадные людские массы.

Опять это слово. Да, массы. Массы, которых действительно пытаются нивелировать, подкупить, усыпить, используя для этого разнообразнейшие средства экономического воздействия, богатый опыт «социальной» демагогии, очень сильное (наивно было бы это отрицать!) влияние «массовой культуры». Но в то же время — нельзя забывать — это массы, помнящие Соппротивление, берегущие его этические ценности, это мыслящие люди, способные на высокие чувства и самоотверженные поступки, люди, которым предостойт — мы в это глубоко верим — осуществить «итальянский путь к социализму».

Велика ответственность, лежащая на деятелях культуры. «Нуови аргументи», как читатель помнит, ставят вопрос о прямом, непосредственном влиянии и давлении, которое неокapитализм оказывает на писателя. Элио Витторини написал в связи с этим так: «Между экономической системой и литературным произведением всегда остается пространство, дающее человеческому уму возможность воспользоваться присущей ему способностью критически мыслить... Система — в определенный исторический период — это еще не все. Есть также нечто другое. Есть силы, стремящиеся разрушить ее. И в пространстве, лежащем между системой и литературным произведением, человек волен считаться или не считаться также с силами, которые хотят разрушить эту систему. И в конце концов он не жертва и не герой, не человек-одиночка, действующий в этом пространстве. Он действует как человек, примыкающий к той или иной культурной линии. Он разделит ее заслуги или ее вину в зависимости от того, сумеет ли он — вместе с нею — устоять или же подчинится».

Мысль выражена четко и емко. Лучшие представители итальянской интеллигенции в период фашизма не подчинились. Сейчас враг не носит черных рубашек и никто не пускает в ход дубинок (разве что полиция побалуется иногда слезоточивыми бомбами). Сейчас даже «как-то не принято называть капитализм его собственным именем». И вот сейчас-то, может быть, еще труднее устоять перед мифом, перед маскировкой, перед соблазнами цивилизации неокapиталистического общества, перед теориями «атомного века».

Скептицизм присущ многим интеллектуалам, и это, конечно, законно. Пессимизм можно понять, и порою он кажется оправданным. Но если не подчиниться, как говорит Витторини, если помнить о шкале настоящих духовных ценностей, надо начисто позабыть о человеке, низведенном до уровня «потребителя». Надо думать о справедливом переустройстве общественной жизни, о создании демократической культуры, которая приобщит массы к высокому, а не стандартизированному искусству. Надо, преодолевая инерцию схоластических споров, мыслить большими категориями. И — пусть рафинированные эстеты и изощренные социологи простят такой нанвный и старомодный язык — надо верить в бессмертие человеческого духа.

Цецилия КИИ.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ АРХИВОВ

Продолжая публикацию материалов, посвященных сорокалетию «Нового мира», мы предлагаем вниманию читателей письма в редакцию советских писателей — авторов и сотрудников журнала.

Публикуемые ниже письма В. Александровского, В. Вересаева, Ф. Гладкова, Б. Лаврентева, И. Майского, Н. Огневи, Б. Пастернака, М. Пришвина, В. Саянова, Л. Сейфуллиной, А. Серафимовича, И. Соколова-Микитова, А. Толстого, И. Уткина, О. Форш, В. Фриче, А. Чапыгина адресованы редактору журнала В. П. Полонскому, одно из писем А. Н. Толстого — соредктору Полонского И. И. Скворцову-Степанову.

Публикация подготовлена Н. И. Дикуншиной. В некоторых письмах сделаны небольшие сокращения, отмеченные отточиями в квадратных скобках. Подлинники писем хранятся в фонде В. П. Полонского в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ). Переписка А. Н. Толстого с Полонским хранится в фонде А. Н. Толстого в отделе рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького.

1

23 октября 1930 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Крайне жестокие обстоятельства для меня заставляют обратиться к Вам со следующим: Вы как лично и как поэта знаете меня, вероятно, с 917 г., во всяком случае с гражданской войны, когда Вы работали в «Красноармейце»¹. Я работал с начала революции (и даже до — несмотря на мои молодые годы) честно и добросовестно и был и сейчас остаюсь на своем посту, т. е. быть простым солдатом. Никогда я не позволял себе из-за литературной «карьеры» подставить ближнему ногу, как это практикуется сейчас. Мои достижения и результаты были мизерные, но они все-таки были. Из сегодняшней литературы (исключая Д. Бедного) я первый стал работать в «Социал-демократе», в 1917 г. в «Правде», «Известиях». Вы это знаете. НЭП меня подорвал — не в смысле разочарования, а в смысле вынужденного отступления. И я «поэтически» заболел, — после героики 1917—1920 гг. стало душно. Я мало работал, и работал, как человек, которого разум заставляет работать, но не вдохновение. Это недостаток, но что же делать? Трудно было опускаться с высот революции. Мне трудно было писать, и я писал мало.²

Тов. Полонский! Я это Вам написал для того, чтобы Вы помогли мне, я больше ни к кому не могу обратиться... Я не могу сейчас послать Вам хороших стихов, их у меня нет, — не до этого, но когда я смогу встать на ноги, — я смогу в самом близком будущем отработать Вам...³

В. Александровский.

Василий Дмитриевич Александровский в конце двадцатых годов часто печатался в «Новом мире» (стихи «Отъезд», «Года» — 1926; «Встарь», «Тише, сердце! Не бейся так звонко...» — 1927; «Выюга» — 1928; «Карусель» — 1929; «Брауниинг» — 1930).

¹ «Красноармеец» — еженедельный журнал, выходил с 1919 года. В годы гражданской войны издавался литературно-издательским отделом политотдела Реввоенсовета республики.

² Настроения, о которых пишет В. Александровский, были характерны в годы нэпа для ряда поэтов, в частности для тех, кто входил, как и В. Александровский, в группу «Кузница» (М. Герасимов, Н. Полетаев, В. Кириллов). О подобных настроениях В. И. Ленин говорил в 1922 году на XI съезде РКП(б): «У нас даже поэты были, которые

писали, что вот, мол, и голод и холод в Москве, «тогда как раньше было чисто, красиво, теперь — торговля, спекуляция». У нас есть целый ряд таких поэтических произведений» (В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 33, стр. 252).

¹ В 1932 году в «Новом мире» были напечатаны стихи В. Александровского «Спит лирика» и на «Полустанке».

2

24 октября 1926 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Летом я больше занимался ремонтом возвращенной мне крымской моей дачки, чем писанием. Писал же, как всегда летом, начерно, и этот полусырой материал теперь обрабатываю. Писал почти исключительно детские и отроческие свои воспоминания. О стиле и характере их можете судить по напечатанному в Вашем журнале рассказу «Три» и очеркам, напечатанным в 8 кн. «Недра». Если для Вас такого рода писания подходят, то могу в декабре или январе дать листа на полтора—два. Заглавие — «Из детских лет» (воспоминания) ¹.

Есть у меня еще три статейки о Пушкине — «П. и Евпраксия Вульф», «Княгиня Нина» (П. и Закревская) и «Таврическая звезда» (о стихотворении «Редеет облаков...»). В сумме все три — около печатного листа. Они были мною даны Гершензону 1½ г. назад для затеянного им сборника «Пушкинист», — издание не состоялось, и я получил статьи обратно. Но они, по-моему, слишком специальные и скорее подошли бы к «Печати — революции» ².

Вот все, что могу предложить.

Преданный В. Вересаев.

Викентий Викентьевич Вересаев был связан с «Новым миром» на протяжении многих лет. Здесь печатались его очерки и рассказы, главы из романа «Сестры» и прочее.

¹ Рассказ «Три (Из отроческих лет)» В. Вересаева печатался в «Новом мире» в 1926 году (№ 5), «Из детских лет (Воспоминания)» — в 1927 году (№№ 4, 5).

² В 1927 году в «Новом мире» (№ 1) под заголовком «Заметки о Пушкине» были опубликованы статьи «Пушкин и Евпраксия Вульф» и «Княгиня Нина».

3

17 мая 1927 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Сегодня сдал свою рукопись для немедленной отсылки Вам. У меня — обычные сомнения и робость к своей работе, все кажется, что она никуда не годится. Прочтите и скажите откровенно. Иногда кажется, что сделано не дурно и язык неплохой, а чаще прихожу в отчаяние. Перед большой работой, которую я уже начал, это — последний рассказ. Читал двум приятелям — находят, что превосходно, а я не верю.

Заглавие несколько пряное, но не смог найти другого.

Временами чудится, что от рассказа пахнет морем и солнцем, а фигуры совсем живые. А, м. б., это только у меня внутри ¹.

Если рассказ найдете нужным печатать, то я хотел бы, чтобы он прошел только в двух книжках. В нем — около 5 листов. На днях я уезжаю на Днепрострой, а от туда — на юг. Вероятно, пробуду вне Москвы месяца четыре. Ваш ответ Замошкин ² или Вера Константиновна ³ сообщит моей жене, а она уж — мне.

Успех «Цемент» в Германии и Австрии — огромный. Издание разошлось полностью, перепечатывался он в 34 газетах. Целые вороха восторженных отзывов. Такие отзывы даже — в буржуазных газетах. «Рур-эхо» сделало рекламу на больших листах. Роман переведен на чешский, греческий, итальянский, переводится на французский.

Желаю всего доброго.

Крепко жму руку.

Ваш Фед Гладков.

Аванса я не взял, т. к. не знаю, как обернется дело с рукописью. Если будет благоприятно, попрошу редакцию выдать деньги жене. А то — когда приеду.

Федор Васильевич Гладков в 1925 году был литературным секретарем «Нового мира». После выхода из редакции постоянно печатался в журнале («Старая секретная», «Пьяное солнце», «Трагедия Любаши», роман «Энергия» и другие).

¹ Речь идет о рассказе «Пьяное солнце». Печатался в «Новом мире» (№№ 8, 9, 1927).

² Замошкин Николай Иванович — в двадцатые годы литературный секретарь «Нового мира», один из постоянных критиков журнала.

³ Вера Константиновна Белоконов — сотрудница редакции журнала.

4

9 февраля 1929 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

В дополнение к моему письму с личными делами разрешаю себе порекомендовать Вашему вниманию прилагаемую поэму молодого питерского поэта Павла Лукницкого¹.

Вещь эта была прочитана Садофьевым, Тихоновым и мною, и мы все сошлись в мнении, что она свежа, остра, интересна как по своеобразному материалу, так и по крепким формальным качествам, выявляющим в авторе задатки настоящего поэта.

Т. к. в Ленинграде при наличии одного только журнала, да и то тихо чахнувшего, довольно трудно устроить большую вещь начинающего автора, я посылаю поэму Вам, рассчитывая на радушие «Нового мира» к способной молодежи.

С товарищеским приветом

Бор. Лавренев.

Борис Андреевич Лавренев в двадцатые годы печатался в «Новом мире» сравнительно редко. Позднее, с 1954 года до своей смерти (1959), Б. А. Лавренев был членом редколлегии «Нового мира». Публикуемое письмо является дополнением к письму от 6 февраля, в котором Б. Лавренев благодарил В. П. Полонского за напечатание в январской книге журнала за 1929 год его повести «Белая гибель».

¹ Возможно, речь идет о поэме П. Лукницкого «Саботаж». В «Новом мире» поэма не публиковалась. Отрывки из поэмы печатались в журнале «Звезда» (№ 7, 1929).

5

Токио, 29 июня 1928 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Только теперь получил возможность начать реализацию своего обещания писать Вам. До сих пор все больше присматривался и изучал Японию. Но теперь первые стадии на этом пути уже пройдены, и появилась охота переносить свои мысли и впечатления на бумагу.

Посылаю сейчас статью о «Японском империализме в Китае». Тема и интересная и актуальная. Материал в большинстве совершенно свежий и почерпнутый из первоисточников (имею в виду часть, касающуюся японских интересов в Китае). Вышла статья немножко длинной — около 2 печатных листов, но предмет статьи обширен и сложен, да и оригинальный материал не хотелось слишком урезать. В дальнейшем обещаю писать короче. Думаю раз в 2—3 месяца присылать Вам статью¹ [...]

Как живете? Как работаете? Журнал Ваш читаю, нравится. По-видимому, он становится лучшим литературным журналом в Москве.

Скоро увидите японский театр «Кабуки» — он очень интересен. Стоит побывать. Каюсь, в том факте, что этот театр нынче едет в СССР, в сильной степени повинен я².

Пока всего лучшего. Давайте о себе знать.

Крепко жму руку.

Ваш И. Майский.

Очерки, статьи и воспоминания Ивана Михайловича Майского неоднократно печатались в «Новом мире».

На письме сделана пометка И. И. Скворцова-Степанова: «В редакцию «Нового мира». Срочно!»

¹ Статья И. Майского, выступившего под псевдонимом И. Тайгин, «Японский империализм в Китае» печаталась в «Новом мире» (№№ 8, 9, 1928).

² Старинный японский театр «Кабуки» гастролитировал в Советском Союзе в августе 1928 года.

6

3 апреля 1930 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Захотелось вдруг отвлечься от текущих дел и написать несколько страничек о прошлом... о блестящем прошлом нашей революционной мысли и революционной печати. Не найдете ли возможным пустить эту вещичку в майской книжке «Н. М.»? Если бы, однако, по каким-либо причинам в «Н. М.» она напечатана быть не могла, — предоставлю Вам право найти для ее помещения подходящий орган¹.

Еще одно. Я знаком с историей нашей социалистической мысли, но я все-таки не специалист в этом вопросе. А ведь за последние годы как раз в данной области было проделано очень много ценного и интересного (в том числе и лично Вами). Так вот, если бы Ваш опытный глаз усмотрел, что в какой-либо фразе или абзаце «Страниц прошлого» имеются какие-либо погрешности против истины — не откажите внести исправление.

Сообщите, что сделаете с очерком [...]. Гонорар пусть получит сестра, которая, как я на днях только узнал, работает теперь под Вашим руководством.

Крепко жму руку.

И. Майский.

¹ Статья И. М. Майского «Страницы прошлого (Кю дню печати 5 мая 1930 г.)» была напечатана в № 5 «Нового мира» за 1930 год.

7

Кисловодск, 7 августа 1928 г.

Уважаемый и дорогой Вячеслав Павлович!

От А. Н. Толстого узнал и сообщил мне А. К. Воронский о том, что Вы решили вернуться в «Новый мир»¹.

Приветствую это Ваше «прятие мира» и выражаю твердую надежду на то, что с Вашим возвращением расцветет в «Мире» полнокровная и полноценная русская литература!

Per aspera — ad astra!
Per Olchovia et Ingulia ad Polonia!
*E pug si tuove!*²

А. К. Воронский присоединяется к приветствию и дружески жмет Вам руку.

С тов. приветом

Н. Огнев.

В 1928 году в «Новом мире» печаталась вторая часть «Дневника Кости Рябцева» Ник. Огнева.

¹ В начале 1928 года В. П. Полонский был заменен в редакции «Нового мира» С. Ингуловым, однако уже летом 1928 года И. И. Скворцов-Степанов пригласил В. П. Полонского вновь редактировать журнал.

² Через тернии — к звездам!
Через Ольхового и Ингулова — к Полонскому!
И все-таки она вертится!

8

1 июня 1927 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

У меня к Вам большая личная просьба. Введите, пожалуйста, в должное русло работу подателя Н. Н. Вильяма¹ в Большой Советской Энциклопедии. Я видел и знаю две его статьи для словаря. Обе они удачны и содержательны. По моему мнению, для недоразумений, которые у него случились с заместителями П. С. Когана², не должно бы быть никаких оснований. П. С. заказал ему статью о Гельдерлине на 6000 знаков. Он статьей был удовлетворен. По отъезде П. С., при расплате Вильяму говорят, что о Гельдерлине была предположена статья лишь на 1000. Статья о Верфеле встретила замечания, которые просятся в Ваш Скобеевский литературный ларек³. Между тем у Вильяма работа выравнивается, он уже, и очень быстро, вошел в требующийся тон. Его обязательно надо поддержать, и, Вячеслав Павлович, очень р е ш и т е л ь н о.

Жалею, что не увижу Вас на этих днях, по приезде.

Я ухожу, и на этот раз окончательно, из Лефа. Вероятно, я оформлю это в виде письма к В. В.⁴ Вы знаете, как я его люблю и продолжаю ценить — метафизическим авансом. Вот часть письма, имеющая отношение к Вам и к статье⁵. Вы должны мне оставить свободу ее толкования, лишь под этим условием, даже при резкости, эта часть не только не обидна для Вас, а, м. б., даже и наоборот. Кроме того, таково и мое истинное понимание. Дальше под словом «Вы» надо, значит, разуместь Маяковского. Предшествует мотивировка выхода... «Только вне лефовского понимания поэта смею напомнить, что поэт не есть психологический тип, в своей общности реконструируемый из метафор, как из частных дознаний, и из образов, как из реальных стечек с людьми отдаленных эпох. Бессмыслица, проникающая значительную часть статьи В. Полонского в Нов. мире, не может не быть сознательной. Нельзя предположить, чтобы критик и редактор забыл о границе, отделяющей переносный смысл от — во всех отношениях — непереносного. Утверждаю, что это вопиющий по своей рискованности выпад против сильнеешего, что есть в нашей литературе за последнее десятилетие, гораздо шире и больше того, чем он может казаться. Это не только правомерная самозащита человека, пользующегося оружием нападающих. Это защита всей литературы, всей той, среди которой числится и «Облако в штанах», от лефовских методов, не слышавших о таком произведении. Таким, каким Вы получились у Полонского, и должен выйти поэт, если принять к руководству лефовскую эстетику, лефовскую роль на диспуте о Есенине, полемические приемы Лефа, больше же и прежде всего лефовские художественные перспективы и идеалы. Честь и слава Вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана именно на Вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Существование Лефа, как и раньше, считаю логической загадкой. Ключом к ней перестаю интересоваться».

Разрыв этот для меня нелегок. Они не хотят понять меня, более того, хотят не понимать. Я останусь еще в большем одиночестве, чем раньше. Буду в конце июня в Москве, хочу с Вами повидаться. Не оставьте Вильяма без поддержки.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак.

Борис Леонидович Пастернак — в двадцатые годы один из постоянных авторов «Нового мира». Здесь были напечатаны главы из поэм «Девятьсот пятый», «Лейтенант Шмидт», «Спекторский», многие стихотворения.

Принетствуя «Новый мир» в связи с его десятилетием, Б. Пастернак писал: «Кажется, чуть ли не с первого литературного рождения журнал вел меня, воспитывал и переделывал к лучшему» («Новый мир», № 12, 1934).

¹ Н. Н. Вильям-Вильмонт — литературовед, критик.

² В. П. Полонский заведовал отделом литературы, искусства и языковедения в Большой Советской Энциклопедии, П. С. Юган — подотделом иностранной литературы.

³ Речь идет о юмористических заметках «Нового мира», называвшихся «Фрол Скобеев. Литературный ларек». Существовали в 1927 (№№ 2, 5, 7, 12) и 1928 годах (№№ 3, 10).

⁴ В. В. Маяковскому.

⁵ В. Л. Пастернак имеет в виду статью В. П. Полонского «Критические заметки. Блеф продолжается» («Новый мир», № 5, 1927). Полемика между В. П. Полонским и «Новым Лефом» началась с выступления В. П. Полонского в «Известиях» со статьей «Леф или блеф?» (25 и 27 февраля 1927 года). В № 3 «Нового Лефа» был опубликован «Протокол о Полонском» — выдержка из стенограммы заседания сотрудников «Нового Лефа» 7 марта 1927 года с участием В. Маяковского, С. Третьякова, Н. Чужака, В. Шкловского, Н. Асеева и других. Статья В. Полонского явилась ответом на этот «Протокол». В. Полонский верно оценивал лефовскую эстетику, но несправедливо и упрощенно характеризовал поэзию Маяковского как иллюстрацию ошибочных теорий «Лефа».

О своем уходе из «Лефа» Б. Пастернак позднее писал: «Долгое время я допускал соотнесенность с «Лефом» ради Маяковского, который, конечно, самый большой из нас. Летом я написал в редакцию письмо о категорическом выходе с просьбой его напечатать. Оно напечатано не было. Сильнейшее мое убеждение, что из «Лефа» первому следовало уйти Маяковскому, затем мне с Асеевым» (ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 24, л. 1—2).

Переславль-Залесский. Усадьба Ботик.
25 января 1926 г.

Благодарю Вас, глубокоуважаемый тов. Полонский, за Ваше любезное, почти дружеское, письмо. Вы правы относительно А. К. Воронского, которого никак нельзя обижать уже по одному тому, что во время литературного пожара он выносил мне подобных на своих плечах из огня¹. Но я стал бояться «Красной нови» по двум причинам: во-первых, очень это видное место, а я люблю писать под шумок, во-вторых, в «Красной нови» очень увлекаются журнальностью материала. Мне в «Красной нови» за очерк текущей жизни в три-четыре страницы платят, как за лист художественной прозы, так что всегда искушение оборвать роман, написать очерк. Но горе в том, что, написав очерк, я возвращаюсь к роману только через год, а то и больше. Так случилось, когда, вследствие нужды в средствах существования, я оборвал писание «Кашеевой цепи», чтобы написать небольшой очерк о башмачниках, я так увлекся Башмаками, что почти два года ими только и занимался². Так что видите, я не из-за выгоды хотел засесть в «Новый мир» на скромный паек в 100 р. Ваше предложение тоже меня не устраивает, потому что, в сущности, тоже берет меня целиком, а оплата в 250 р. если не сегодня, то завтра будет нормальной платой для всех. Давайте условимся так: я буду писать за 250 р. без всяких договоров. Звено «Кашеевой цепи» (совершенно законченная повесть) «Юность Алпатова» от 3—4-х листов будет мной представлена через месяц³. Половина этой повести уже имеется в редакции. Вы можете ее печатать теперь с риском перерыва на месяц или же по представлении всей рукописи. После того я буду Вам посылать новые материалы, потому что 250 р. при возможности во всякое время перехватить какие-нибудь 100—200 р. аванса — хорошие условия. Если же Вы не согласны, то пусть будет 200 р., но тогда мое сотрудничество будет случайным. Я думаю, Вы согласитесь, потому что, в сущности, это Ваше же предложение, только без бумажных обязательств и которые все равно писателя не удерживают. Для «Красной нови» я буду вновь обдумывать «Календарь природы» и начну это, вероятно, весной⁴.

У меня есть к Вам просьба. Еще во время журнала «Жизни» я написал рассказ «Халамеева ночь». Сосновский принял его, и ему даже в голову не пришло, что рассказ нецензурный. Но «Жизнь» закрылась⁵. Я отдал рассказ Воронскому. Это время было самое трудное для Александра Константиновича: рассказ был уже сверстан, как вдруг ему показалось, что он его скомпрометирует. Он ему очень нравился, хотел исправить, но сконфузился и бросил. Не возьметесь ли Вы провести этот рассказ, хотя бы с Вашими комментариями. Если Вы рассказ возьмете, то при встрече с Александром Константиновичем скажите ему, а то он, хотя и совершенно забыл о нем, когда увидит в печати, может поморщиться. Мне кажется срок в полтора года достаточный, чтобы я мог распоряжаться рассказом. Но все-таки лучше, если скажете...⁶.

Еще раз благодарю за письмо и уверяю Вас, что некоторое расстройство в моем и Вашем предложении не изменяет моей готовности поддерживать своим материалом и Новый мир и Красную ниву.

С глубоким уважением

Михаил Пришвин.

Р. S. Передайте Н. П. Смирнову, что Ваше письмо меня удовлетворило и потому на мое последнее письмо он может не отвечать.

Михаил Михайлович Пришвин был связан с «Новым миром» на протяжении многих лет. Здесь были напечатаны крупнейшие его произведения: «Кашеева цепь», «Корабельная чаща», «Фацелия», «Неодетая весна», рассказы, вошедшие затем в различные сборники («Ленин на охоте», «Одинокий журавль», цикл рассказов о ленинградских детях и др.).

¹ А. К. Воронский редактировал «Красную новь», журнал, печатавший в двадцатые годы писателей, которые тогда назывались «полутчиками» и подвергались ожесточенным нападкам в журналах «На посту», «Октябрь» и других.

² Речь идет о книге «Башмаки» (М.—Л. ГИЗ. 1925). «...Я убедился... — писал впоследствии М. Пришвин, — что художник может сделаться исследователем жизни не случайно, «по вдохновению», а так же, как и научные исследователи по поручению Академии или

как мне пришлось исследовать башмачный промысел по поручению Организационного бюро при Госплане» (М. Пришвина, Собрание сочинений, М.—Л. ГИЗ, т. 4, 1928, стр. 7).

² «Юность Алпатова» — очередное звено «Кашеевой цепи» — печаталась в №№ 2—5 «Нового мира» за 1926 год

¹ «Календарь природы» — новеллы и очерки М. Пришвина о временах года. В «Красной ниве» в 1926—1928 годы были опубликованы: «Верный», «Любовь Ярика», «Теплые места», «Солнцворот» и другие.

² Первый и единственный номер журнала «Жизнь» вышел в 1924 году под редакцией Л. Сосновского, Д. Бедного и В. Фриче.

³ Рассказ «Халамеева ночь» в «Новом мире» не был опубликован по просьбе самого М. Пришвина.

Ю

29 мая 1926 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

деньги, тысячу рублей, я получил, большое, большое Вам спасибо. Вера Константиновна сказала мне, что я совсем не должен был «Новому миру», и это устранило некоторое смущение, которое осталось у меня, когда я, собрав всю свою храбрость, выговорил Вам страшную сумму аванса. Это имело, однако, ту хорошую сторону, что в другом месте, в «Рабочей газете», мне было уже совсем не страшно попросить еще тысячу, и так у меня получились две тысячи, на которые я куплю себе жилище вблизи от Москвы. Мне кажется, что если бы собрать всю истраченную мной энергию на жилищный вопрос в течение последних 8-ми лет, то Советская Россия вполне могла бы на нее завести еще другого Пришвина. Вот теперь приходится придумывать какой-то новый жанр для «Рабочей газеты» в неделю двести строк. Я это выдумую и вероятней всего даже прославлюсь и создам о себе новое недоразумение. Но все-таки есть несколько людей, таких, как Вы, знающих, что не из этой же ерунды я состою. Несмотря на все трудности, создавшиеся с покупкой жилища, будьте уверены, что к 1 января мой роман пойдет в «Новом мире». Кроме того, летом я доставлю цепь миниатюр, подобных «Собакам»¹.

Вы меня спрашиваете, что мне не нравится в «Новом мире». Я пересмотрю журнал, обдумаю и напишу. У меня сложилось такое представление, что это счастливый журнал и Вы счастливый редактор, так что вот, напр., «Комар» Шишкова явно плохой рассказ, а вышло между другими ничего, как-то весело. Мне думается даже, что история с рассказом Пильняка пойдет на пользу «Новому миру». Я думаю, что когда разберутся в этом слоне, сделанном из мухи, то станет весело и у нас еще немного прибавится литературной свободы, которую теперь уже невозможно удержать никакими искусственными мерами.

Я говорю о мухе, превращенной в слона на основании продолжительной беседы с А. К. Воронским, ущемленным этой историей до крайности. Было больно, что такой полезный лит. деятель, такой честный коммунист, такой хороший человек мучится из-за таких пустяков².

Мне было очень важно узнать от Вас, что юность Алпатова напомнила Вам и Вашу юность, это значит, что я подхожу правильно к своей задаче изобразить истоки революции анализом души русского интеллигента, которого по правде, кажется, еще никто у нас не изображал и не мог, потому что до срока невозможно было нам смотреть на самих себя. Вот и у Горького тоже в «Деле Артамоновых» удивительно как обегается анализ интеллигента-сектанта.

Ну вот пока, Вячеслав Павлович, на этом я кончу. Еще раз очень благодарю Вас за деньги и непременно в скором времени напишу Вам подробно и о «Новом мире», и о некоторых своих соображениях по поводу организации оживленного отдела внутренней жизни страны.

Искренне преданный Вам

Михаил Пришвин.

¹ «Любовь» — пятое звено «Кашеевой цепи», печаталось в № 1 «Нового мира» за 1927 год. В 1927 году в журнале печатался рассказ «Нерль» (№ 6).

² Речь идет о «Повести непогащенной луны» Б. Пильняка опубликованной в «Новом мире» (№ 5, 1926). Повесть была посвящена А. К. Воронскому.

17 мая 1927 г.

Дорогой Вячеслав Павлович,

у меня ноет аппендикс (старая моя болезнь: бомба в кишке), я ем простоквашу, напрягая все силы, чтобы избежать операции. Вот почему, не зная чем все это кончится, я буду говорить только о том, что у меня есть. Вчерне у меня готово звено «Зеленая дверь», которое представляет из себя такую же мельную повесть листа в 2 1/2, как и «Тюрьма»¹. Я эту повесть представляю Вам, как говорил, точно 1 августа, она в таком виде, что если и зарежут хирурги — пойдет. Я остерегаюсь давать ее раньше, потому что в связи с работой над дальнейшими частями все более и более является необходимость в маленьких переменах. Итак, это не журавль, а 1-я синица (вторая синица: небольшой острый рассказ вроде «Нерли», но не из собачьего мира, а из коровьего, называется «Коровья вера»: для июля, к июню пришло в «Новый мир»²). Об остальном буду говорить, простите, как о журавлях: если здоровье позволит, я надеюсь, что, сдавая 1 августа «Зеленую дверь», я буду в том же виде, как сейчас «Зеленая дверь», иметь новое звено «Vir ornatissimus gussus», а когда это сдам — новое любовное звено и, наконец, брачное (все должно кончиться свадьбой)³. Мои звенья печатайте между другими романами, когда хотите, ведь мой роман весь разрывной и по замыслу, вспомните, что он начался («Кашеева цепь») года 4 тому назад в «Красной нови»⁴. Моя тысяча верных читателей пойдет со мной из журнала в журнал, из года в год: это мое Берендеево царство.

Вы не очень тужите о недостатке материала высшей добротности. Виноваты не Вы и не мы, а «переходное» время. В нашей русской природе бывает высший момент напряжения творческих сил, когда утренняя заря на западе сходится с вечерней — вот теперь: в 1 час ночи рассветает на западе, утренняя заря берет вечернюю и ведет ее на восток. Так и в искусстве для творчества необходим момент схождения зорей, тайное ночное единение. Не будем же унывать и подчинимся 1-му закону Берендеева мира: «помирать собирайся — рожь сей!»

Крепко жму руку.

Михаил Пришвин.

Кроме «Нивы», «Нового мира», нигде ничего не печатаю, получаю деньги за собрание, проживаю все на роман.

¹ «Тюрьма» — очевидно, условное название предшествующего звена «Кашеевой цепи», получившего в журнальной публикации заголовок «Любовь». (Впоследствии это звено называлось «Государственный преступник».) Звено «Зеленая дверь» печаталось в «Новом мире» в 1927 году (№№ 11, 12).

² Рассказ «Коровья вера» в журнале не был напечатан.

³ Первоначальное название следующего за «Зеленой дверью» звена в журнальной и последующих публикациях называлось «Юный Фауст», опубликовано в № 4 «Нового мира» за 1928 год. В том же году в «Новом мире» появились другие звенья романа М. Пришвина: «Брачный полет» (№ 5), «Положение» (№ 6), «Живая ночь» (№ 7).

⁴ Первые звенья «Кашеевой цепи» — «Голубые бобры», «Маленький Каин», «Второй Адам» — печатались в журнале «Красная новь» (№№ 3, 4, 5, 7, 1923).

Загорск,
5 июня 1931 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

На Ваш официальный запрос по поводу организации отдела «Трибуна» или «Дневник писателя» (названия одинаково хороши и общепризнаны) разрешите мне ответить в интимном порядке: писать есть о чем, сил у меня накопился большой избыток, но если я напишу чересчур сильно, то ведь могу рассердить какого-нибудь «критика», так, что он процитирует что-нибудь из моих сочинений, тенденциозно подберет тексты, разъяснит, вспомнит из прошлого и, напечатав в своем подвижном и безгранично более влиятельном, чем «Новый мир», органе, закроет двери влиянию моих сочинений на читателя. Вследствие этого разрешите мне немного подождать, я посмотрю

рю, как будут писать в «Трибуне», соображу, откуда писатели будут брать благодать для свободного слова, в простоте ли художественного темперамента или из более холодного, но зато верного источника. Смотря по характеру благодати, я соображу свои статьи, причем во всяком случае, конечно, я очень сочувствую Вашему начинанию и желаю «Новому миру» всякого успеха.

Искренне преданный

Михаил Пришвин.

13

(Без даты)

Дорогой Вячеслав Павлович!

Не знаю, как выразить мне Вам свою благодарность за то, что в свое время Вы помогли мне заняться делом, к которому я призван. Вы мне помогли больше всех, кого я встречал на своем литературном пути в последние десять лет. «Новый мир» явился мне прямо отдушиной, и я считаю — это был единственный журнал за десять лет, который без скуки можно было читать. Я получал много писем из учительских недр, из самой глухой провинции, убеждающих меня, что журнал и мои рассказы проникли глубоко. Мне очень больно, что обстоятельства так неблагоприятно сложились против Вас. Мне совестно, что я, увлеченный выполнением своего жизненного долга, так отошел от ближайших задач общественной и политической жизни, что не могу за Вас заступиться.

Все, что я могу сделать, это поблагодарить Вас и пожелать скорейшего Вашего возвращения к журналам¹.

С глубоким уважением и любовью

Михаил Пришвин.

¹ Очевидно, письмо написано в связи с уходом В. П. Полонского из «Нового мира» в 1928 году. О В. П. Полонском М. Пришвин писал в романе «Кашеева цепь», звено «Как я стал писателем», глава «Встреча с редактором» (М. Пришвин, Собрание сочинений в шести томах, т. I, М. 1956).

14

18 августа 1928 г.

Уважаемый тов. Полонский!

Тов. Левин, заменяющий Логанского в Ленинградском представительстве «Известий», сообщил мне, что Вы предложили деятельней, чем прежде, сотрудничать в «Новом мире», просили лучшие из моих стихов для «Нового мира» и т. д.

Честно признаю, что и раньше Вы внимательно относились к моим стихам, и потому с удовольствием принимаю Ваше предложение, несмотря на то, что наши литературно-политические взгляды во многом расходятся.

Установить точно, какие мои стихи будут «лучшими», мне, как автору, понятно, очень затруднительно; поэтому, ежели иногда буду присылать стихи неудачные, не стесняйтесь их возвращать: я обижаться ни в коем случае не буду.

Если сможете, ответьте, хотя бы через секретаря, на адрес Ленинградского представительства, Логанскому, для меня.

В. Саянов.

Р. С. Понятно, что отборные свои стихи я буду присылать не только «Нов. миру», но и «Октябрю», с которым я связан и лично и организационно.

Виссарион Михайлович Саянов в двадцатых годах был членом РАПП, органом которой в Москве являлся журнал «Октябрь». В двадцатые годы стихи В. Саянова постоянно печатались в «Новом мире».

15

Ленинград,
10 июня 1931 г.

В редакцию «Нового мира».

1. Образование отдела «Дневник писателя» считаю необходимым, так как наряду с другими мероприятиями этот отдел может содействовать включению писателя в публицистическую работу.

2. Лучшим названием, по-моему, будет «Дневник писателя», «Трибуна» — хуже:

у читателя (да и у сотрудника тоже) это неизбежно ассоциируется с дискусионностью, полемикой и т. п. вещами; делать же отдел только полемическим — и лишне: очень часто писатель будет публицистически раскрывать замысел произведения, не вдаваясь в полемику и не занимаясь самозащитой.

3. Материал для «Дневника» — статьи, посвященную вопросам поэзии, смогу прислать к концу июля.

В. Саянов.

16

19 октября 1927 г.

Глубокоуважаемый Вячеслав Павлович!

Благодарю Вас за Ваше письмо. Я искренне хочу сотрудничать в «Новом мире», но моя беда в том, что я немощую уже два года. После «Каин-Кабак» ничего не написала. Недавно и начала рассказ, работу прервало сильно просроченное обязательство перед газетами. Больше затягивать уже нельзя, я должна дать описание моей поездки в Европу. Закончив его, я примусь за начатый рассказ. Он уже отдан тов. Воронскому для какого-то альманаха. Следующая моя работа будет сдана в «Новый мир», если Вы захотите ее принять. Срок указать трудно. Боюсь, что не раньше декабря. Предположений, гем и прекрасных намерений для дальнейшего писания у меня много. Что выйдет, не знаю, не решаюсь хвалиться вперед. Если можно, включите меня в число сотрудников Вашего журнала без наименования произведения.

С искренним уважением

Л. Сейфуллина.

Лидия Николаевна Сейфуллина неоднократно печаталась в «Новом мире». В 1926 году в журнале появился ее роман «Каин-Кабак» (№№ 4, 6). В 1929 году — рассказы «Выхваль», «Расплата».

17

6 апреля 1927 г.

Дорогой Вячеслав Павлович,
говорил и обещал дать свою вещь¹ к концу марта и не успел. Работаю над ней. Пришло через 4 недели.

С коммунистическим приветом

А. Серафимович.

¹ Очевидно, речь идет о романе «Борьба» А. С. Серафимовича, отрывок из которого опубликован в № 12 журнала за 1927 год.

18

14 декабря 1931 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Я оставил у Николая Павловича¹ — до Вашего возвращения — рукопись «Путешествие на ледоколе «Малыгин»². Меня интересует судьба ее, о которой ничего не знаю.

Я теперь затеваю путешествие на персидскую границу — в край зимующей птицы и рыболовных промыслов. Будущий год хочу целиком посвятить поездкам по промыслам и описыванию их. Крепко надеюсь на содействие «Нового мира». Буду очень обязан, ежели вы подтвердите эту мою надежду.

• Жму крепко руку.

И. Соколов-Микитов.

Фотографии к «Малыгину» могу прислать. Очень прошу, распорядитесь о деньгах (я, кажется, не все еще получил за «Седова»)³. Сижу без денег и без дров.

Рассказы и очерки Ивана Сергеевича Соколова-Микитова постоянно печатались в «Новом мире».

¹ Николай Павлович Смирнов — сотрудник редакции «Нового мира».

² Очерк «Путешествие на ледоколе «Малыгин» печатался в «Новом мире» в 1932 году (№ 1).

³ «Рассказы о походе «Седова» и «Море, люди, дни (Из книги «Поход Седова»)» И. С. Соколова-Микитова печатались в №№ 6, 9, 10, 11 журнала за 1931 год.

23 апреля 1927 г.

Дорогой Вячеслав Павлович, вчера я отправил Вам письмо на адрес редакции, не сообщив, что Вы получите его только после праздников. К 3 мая я готовился слать Вам 2 листа романа. Но теперь, после Вашего письма (от 20 апреля), я хочу несколько изменить план моей работы.

Дело в том, что мне совершенно необходимо для пейзажа, для художественных деталей поехать теперь же в Ростов н/Д., Новочеркасск и Екатеринодар (в особенности). В тех местах я никогда не был. Затем, летом я должен буду проехать на Украину (Гуляй-Поле, Елизаветград, разные узловые станции, Белая Церковь).

То, что вы не настаиваете на печатании романа в июньской книжке, даст мне возможность несравненно художественнее и правдивее написать многие страницы. Я решил сделать так: теперь же, до Вашего отъезда в санаторий, я вышлю Вам один лист с четвертью для ознакомления. (Кошка уже не в мешке.) До первого июня вы будете иметь еще 2½ листа. Вы начнете печатать роман с июльской книжки, имея всегда в запасе листа два¹.

Весь август месяц я не буду работать над романом.

Я думаю, что вы согласитесь с таким планом. Тем более что роман меня страшно увлекает и я боюсь одного — комканья [...]

Крепко жму Вашу руку.

Алексей Толстой.

Творческая биография Алексея Николаевича Толстого со второй половины двадцатых годов и до конца жизни писателя была связана с журналом «Новый мир». Здесь впервые увидели свет почти все крупные произведения писателя: вторая и третья части трилогии «Хождение по мукам», «Петр I», «Черное золото», рассказы, очерки, статьи.

¹ Речь идет о второй части романа «Хождение по мукам». Роман печатался в «Новом мире» с июля по декабрь 1927 года и в №№ 1, 2, 5—7 журнала за 1928 год.

29 апреля 1927 г.

Дорогой Вячеслав Павлович, конечно, роман можно начать печатать с июня. Но тогда я не смогу съездить на юг и дать живого пейзажа и тех деталей в портретах лиц, которые получаются только благодаря натуре. Ведь я безвыездно сижу в Питере 2 года. Уверю Вас, что ни что другое не руководит мной, когда я прошу Вас перенести печатание на июль.

К 1 августа Вы будете иметь не 7—8 листов, а 12—14, даю Вам слово. Я совершенно необычно увлечен романом и «иду на рекорд на класс».

Одновременно с этим пересылаю Вам то, что у меня написано. 5 мая уезжаю на юг. В дороге буду работать, и к 1 июня Вы получите еще листа 1½—2. На июнь и июль я кладу по 4 листа в месяц.

Во всяком случае до конца года Вы проведете роман. Это чрезвычайно важно и Вам и мне.

Убедительная просьба, Вячеслав Павлович, до Вашего отъезда, до 5 мая, пришлите мне 400 рублей. На них я поеду на юг (Тамбов—Саратов—Царицын—Екатеринодар—Новочеркасск—Ростов—Ленинград).

Еще раз прошу Вас помнить, что мной сейчас (в переносе романа на июль) руководит только художественный интерес.

Трудность романа огромна (размеры, охват), но еще труднее это сделать из материала гражданской войны, разворачивающегося в хронологической последовательности, не литературно-исторический очерк, а роман, т. е. превратить все это в ткань искусства.

Вот почему мне так важна сейчас эта поездка на юг. Без нее я страшусь сухости, засухи.

Жму Вашу руку.

Алексей Толстой.

А. Н. ТОЛСТОЙ — И. И. СКВОРЦОВУ-СТЕПАНОВУ

30 июня 1927 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Иван Иванович, только что приехал с дачи и прочел Ваше письмо¹. Оно меня очень обрадовало и укрепило — стало быть, тот точ, который я с таким трудом искал, художественная концепция романа — производит нужные мне впечатления. Роман только-только разворачивается. Он охватит всю революцию и эмиграцию. Хватило бы у меня только сил. 2-ю часть трилогии (т. е. то, что началось печатанием) я разобью на две, а может быть, и на три законченных книги листов по 16 в каждой, иначе придется комкать и без видимой причины жертвовать грандиозным материалом.

Посылаю Вам не 30 страниц, как обещал, а 21. Причина та, что я захворал очень тяжело не то малярией, не то лихорадкой и 5 дней пролежал в жару. Это случилось, кажется, на другой день, как я Вам отправил телеграмму. Иначе — я бы исполнил обещание.

Зато за июль я пришлю 4 листа.

За время писания мне придется делать поездки на места действия. Это дает 50%, если не больше, материала. Не забывайте, что участники на местах дьявольски придиричивы и будут шуметь из-за каждой неточности. Чем больше точности в деталях, тем художественнее, лучше, не говоря уже о том, что книжный материал дает только схему, а насыщает ее глаз и ухо и ощущение.

Мне кажется справедливым просить Вас об увеличении моего гонорара до 400 рублей за лист. Сделанная уже мной поездка (вместе с секретарем) обошлась мне в 500 рублей, и из-за нее у нас дома этот месяц очень тугой.

Сейчас я намечаю поездку на Украину, в места погромов и походов атаманов и Петлюры. Затем — Архангельск. Крым. Зимой — в Париж и т. д. [...]

Еще раз спасибо Вам за прекрасное письмо.

Вячеславу Павловичу я не пишу, т. к. не знаю — где он. Если он в Москве — кланяйтесь ему и скажите, чтобы написал.

Ваш Алексей Толстой.

¹ И. И. Скворцов-Степанов в письме А. Н. Толстому высоко оценил вторую часть «Хождения по мукам». Поддержка И. И. Скворцова-Степанова была особенно важна писателю, так как у В. П. Полонского роман вызвал известные сомнения. А. Н. Толстой горячо отстаивал художественную концепцию романа. См. его исключительно интересное письмо В. П. Полонскому от 4 мая 1927 года, напечатанное в десятом томе собрания сочинений писателя (Гослитиздат, 1961, стр. 107—111).

31 декабря 1928 г.

Дорогой Вячеслав Павлович, во-первых, с Новым годом, желаю Вам всего доброго и большого успеха.

«19-й год» я ни в каком случае писать не раздумал. Я хотел поговорить с Вами в Москве, когда был там перед праздниками, но Вы были в отъезде, как мне сказали по телефону, а выйти сам и узнать точнее я не мог, т. к. все почти пребывание пролежал в сильной ангине в гостинице «Метрополь». Бррр...

Хотел я поговорить с Вами вот о чем: мое непосредственное ощущение и убеждение (логическое) заставляет меня погодить месяца три-четыре с печатанием романа. Я боюсь, т. е. я боюсь той оглядки в романе, которая больше всего вредна. «18-й год» я писал безо всякой оглядки, как историческую эпоху, а в «19-м году» слишком много острых мест, и нанострейшее — это крестьянское движение — махновщина и сибирская партизанщина, которые корнями связаны с сегодняшним днем. А эти гочки связи сегодняшнего дня крайне сейчас воспалены и болезненны, и отношение к ним беспокойное... Вот пример: Вячеславу Шишкову зарезали в ЗИФе 20 листов, а уж что может быть лояльнее Шишкова. Вы знаете, что «18-й год» вышел в Госиздате недели три тому назад и, кажется, уже распродан, среди читателей успех очень большой.

Но—ни одной строчки отзывов в печати. Как будто такого явления не существует. Это настораживает... Кроме того, все, ну буквально все, даже такие люди, как Тарле, мне говорят: обождите немного. И я решил обождать до весны, с тем чтобы начать печатать роман с сентябрьской книжки. Я уверяю Вас, что такая небольшая задержка только благодетельна для качества романа. Мы же все знаем, как быстро рассасываются у нас болезненные точки: вопрос сегодня ставится в ударном порядке, из-за него ломают себе ноги, а через 3—4 месяца он переходит в хронический и писать о нем можно, не оглядываясь при каждом слове.

Дорогой Вячеслав Павлович, я вас не подведу, как никогда не подводил, кроме этого одного раза, но на то были причины почти стихийного порядка: я вдруг понял (в ноябре) — печатанье с январской книжки главы о Махно (5 листов) было бы похоже на историю Иванушки-дурачка, который на похоронах пошел впрыскаду, а на свадьбе — со святыми упокой. И я прав — уже сейчас чувствуется разряжение грозовой атмосферы, а в сентябре роман пройдет как по маслу.

В самое ближайшее время я постараюсь дать Вам рассказ в 1 лист. А Вы поймите меня и не сердитесь и верьте в мою искреннюю любовь к Вам.

Ваш Алексей Толстой.

23

24 февраля 1930 г.

Дорогой Вячеслав Павлович, мне кажется, Вы будете довольны «Петром», — лучшего я не писал. Но это так трудно, что иногда приходишь в отчаяние. Нужно переварить и освободиться (простите за сравнение) от огромного количества материала.

Сейчас я кончаю 1-ую главу. Всего в романе будет шесть или пять глав. Первая наиболее трудная и ответственная. В Москве я буду 25 марта и хотел бы Вам прочесть вслух написанное.

Когда начать печатать роман? Я боюсь, что ежемесячно будет трудно подавать материал — слишком не хочется спешить и писать наспех. Поэтому возможны два выхода. или Вы объявите, что роман печатается через книжку. Или Вы накопите материал, скажем, сразу книги на три.

Во всяком случае 25—26 мы увидимся и поговорим.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш А. Толстой.

«19-й год» я ни в каком случае не забросил, я продолжаю собирать материалы¹. И Вы увидите, что окажусь прав в том, что несколько повременил с ним.

¹ Намерение А. Н. Толстого сразу после окончания второй части «Хождения по мукам» приняться за написание следующей части «19-й год» тогда не было осуществлено.

В конце 1928 года А. Толстой начал работу над романом «Петр I», о чем сообщил В. П. Полонскому в письме от 6 ноября 1928 года: «Это очень интересно и очень созвучно современности. Это будет неожиданно и уместно, и никто не будет бодать ни меня, ни Вас. По «19-му году» у меня собран огромный материал, все наготове, но я боюсь, боюсь и не напрасно...» (Отдел рукописей ИМЛИ, фонд А. Н. Толстого, № 6230/21).

Роман «Петр I» А. Н. Толстого печатался с № 7 по № 12 журнала за 1929 год и с № 1 по № 7 за 1930 год.

24

10 сентября 1930 г.

Дорогой Вячеслав Павлович, недавно я вернулся из поездки по югу и там самым твердым образом решил немедленно начинать «19 год». Это буквально социальный заказ. Нет человека, нет организации, собрания, библиотеки, где мне не задали бы вопрос о «19 годе». Интерес к этому будущему роману действительно острый. И я почувствовал, что если теперь же не выполню этого заказа, то совершу непоправимое упущение.

Теперь — о трудностях. Мне удается их обойти. Я возьму фрагменты вместо всей картины, как пытался делать в «18-м годе». Будут Париж, гыл. Доброармин, Махно,

Григорьев, Одесса, фрагменты Сибири, Волга, Царицын, Кавказ, период — от ноября 18. года по декабрь 19.

Что Вы можете сказать о моих предположениях? Делая перерыв на один год с «Петром», я не потеряю, а приобрету много свежести для «Петра». А упусти я сейчас «19 год» — будет невозвратно. Таково мое очень прочное чувство [...]

Крепко жму Вашу руку.

А. Толстой.

25

17 августа 1927 г.

Дорогой Вяч. Павлович!

товарищ Алтаузен принес мне посвященные стихи, я считаю, что их качество настолько высоко, что их надо напечатать в «Новом мире» и именно в октябрьском номере. Стихи, по-моему, прочно талантливы¹.

Я помню наш угорь и посылаю эти стихи.

Жму Вашу руку

и желаю Вам на пути побольше приятностей и голубых глаз.

Ваш *И. Уткин.*

Р. С. У меня были «друзья» из «Красной нови» — я повторил то же, что и при Вас Раскольникову².

И. У.

Иосиф Уткин в двадцатых годах часто выступал со своими стихами на страницах «Нового мира». Здесь печатались также отрывки из его поэм «Милое детство», «Повесть о рыжем Мотэле».

¹ Стихи Д. Алтаузена, о которых идет речь в письме, в «Новом мире» не печатались.

² Ф. Ф. Раскольников в середине 1927 года стал редактором журнала «Красная новь» вместо освобожденного от работы в журнале А. К. Воронского.

26

5 февраля 1931 г.

Уважаемый Вячеслав Павлович,

извините, что отвечаю с промедлением. Была в Детском Селе, куда полученные письма мне не удосужились переслать.

В том, что Вагбаросса — не Вы, — сомнения у меня, конечно, не было. Я только думала, по скромности, что вы на мой счет разделяете барбароссиную идиосинкразию.

Благодарю за опровержение. Давно ценя Вас как подлинного и галантливого редактора, а не составителя журнала, с искренним удовольствием пришло Вам, как только напишу что-нибудь стоящее. Сейчас до апреля я с головой в символистах.

Грядущее сотрудничество с Вами скрепляю (плохая, скажете, порука) «Сумасшедшим кораблем». Вышло Вам его на память, как только он сам выйдет из издательства писателей.

До свидания.

Ольга Форш.

Ольга Форш печаталась в «Новом мире» сравнительно редко.

Роман «Сумасшедший корабль», печатавшийся в 1930 году в «Звезде» (отдельное издание — в 1931 году), подвергался серьезной критике в печати тех лет.

27

[Конец 1926 — начало 1927 г.]

Вячеслав Павлович!

Посылаю статейку о книге Синклера — касательно американской литературы¹.

Может быть, пригодится для «Нового мира».

С приветом

В. Фриче.

Р. С. На машинке не успел переписать.

¹ Речь идет о статье В. М. Фриче «Искусство Мамоны», напечатанной в № 2 «Нового мира» за 1927 год.

12 марта 1930 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Несколько раз Вы обращались ко мне дать литературный материал и устно и письменно, и я молчал — дать было Вам нечего. Теперь я обращаюсь к Вам с предложением принять мою рукопись (если подойдет).

Рукопись автобиографического типа, 1-я часть напечатана в журнале «Звезда» — «Жизнь моя». Это повесть или роман, но автобиографического характера, от «я». Не скрою от Вас, что редакция журнала «Земля советская» убедительно просила эту мою вторую и независимую часть рукописи «По тропам и дорогам» дать им для издаваемого «ЗИФом» альманаха, и «ЗИФ» через своего редактора И. Макарова известил меня, что рукопись им понравилась и пойдет во II альманахе, ибо написано ее 6 листов и не до конца — у них находится пять печатных листов [...]

Если согласны ознакомиться, то в срочном порядке прошу Вас известить меня, и я вышлю Вам пять листов рукописи для ознакомления. Если же такой материал для Вас не подходящий, то, конечно, отвечать не будете. В первой части «По тропам и дорогам» — как, ставши писателем, я добивался и ходил по редакциям и знакомился с людьми, и тут же кое-какие события и сцены.

Ваш *А. Чапыгин*.

Роман Алексея Павловича Чапыгина «По тропам и дорогам» в «Новом мире» не печатался.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К 60-летию со дня рождения Николая Островского

1

Отзыв Виктора Кина о романе «Рожденные бурей»

В октябре 1936 года Н. А. Островский писал директору Издательства художественной литературы Н. Н. Накорякову: «Ваше письмо и копию отзыва Виктора Кина получил... Редактором «Рожденных бурей» должен быть глубоко культурный человек — партиец. Скажу больше, и — это должен быть самый лучший Ваш редактор. Я ведь имею на это право. Если В. Кин — это автор романа «По ту сторону», книги, которую я люблю (хотя с концом ее не согласен), то это был бы наиболее близкий мне редактор» (Собр. соч., т. 3, стр. 353—354). Желание Островского исполнилось. редактирование его книги в Издательстве художественной литературы было поручено Виктору Кину. В 1937 году «Рожденные бурей» вышли в серии «Роман-газета» под редакцией и послесловием В. Кина.

Письма Н. Накорякова и В. Кина Н. Островский, по его словам, «принял хорошо». Они понравились ему «отсутствием банальных комплиментов и ненужной патоки». «А то за реверансами трудно разглядеть свои недостатки, а их безусловно немало», — писал Островский. К критическим замечаниям В. Кина Н. Островский отнесся с большим вниманием. В частности, фраза: «Я никогда не лгу», — гордо ответил Раймонд». была заменена другой: «Вы, наверно, редко встречаетесь с людьми, которым можно верить», — сухо ответил Раймонд» (Собр. соч., т. 2, стр. 202).

О книге Островского «Рожденные бурей»

В новом романе Н. Островский проявил бесспорные и крупные дарования. Он уверенно владеет сюжетом и умеет создавать интересные сюжетные положения — такова, в частности, блестящая сцена, когда Птаха отбивается в котельной от легионеров: он смело вводит большое количество действующих лиц, умело расставляет их, хорошо очерчивает характеры.

Роман интересен: он завладевает вниманием читателя до самого конца книги.

Интересна и тема книги. По первой части трудно составить заключение о всем масштабе событий. Однако уже теперь можно сказать, что это — первая в нашей литературе книга о возникновении панской Польши и о борьбе польских и украинских трудящихся за советскую власть. Исключительно сложные условия, в которых происходила эта борьба, — немецкая оккупация и эвакуация немцев после революции в Германии, националистические тенденции в Польше, петлюровщина на Украине — все это делает книгу интересной и с чисто познавательной точки зрения.

Книгу можно издать в том виде, как она сейчас, подвергнув ее только редакторской правке. Однако мне кажется, что в интересах самого Островского и его читателей было бы подвергнуть роман авторской переработке.

Прежде всего следует избегать избитых, стертых и тем самым потерявших силу действия на читателя слов и определений. «Лукаво искривленные карие глаза», «гнетущее чувство тревоги», «вызывающе яркие губы», «растерзанная в клочья, красивая мечта» — эти обороты и определения (а их в книге много) должны быть сняты и заменены другими, более свежими, более характерными для писателя. Этот недостаток касается не только выражений, но и описаний чувств. Душевные движения действующих лиц выражаются условными литературными приемами: они в гневе «сжимают кулаки», от страха у них «белеют губы», при тяжелых известиях у них «черная гень пробегает по лицам» и т. д. Необходимо найти более своеобразные, более индивидуальные выражения чувств.

В этом же направлении следует подумать и о характерах. Книга бесконечно выиграет, если в ней будет больше сцен, подобных сцене в котельной. В этой сцене отчаянная и бесстрашная натура Птахи выражена замечательно сильно, уместно, в рамках драматической, но правдивой ситуации. Напротив, сцена, когда молодые партизаны сторожат захваченных заложниками графинь Могельницких, кажется ненужной и в некоторых подробностях натянутой. В частности, неприятное впечатление производит поведение Раймонда. («Нас обменяют? Это вы правду сказали?» — мгновенно проснулась притворившаяся спящей Стефания. «Я никогда не лгу», — гордо ответил Раймонд).

В этой сцене комсомолец Раймонд несколько рисуется. Вообще автору следует подумать над образом Раймонда. В нем много неестественного, натянутого благородства, он излишне романтичен и красив в поступках. Автору следует очень внимательно и осторожно проследить, чтобы гордость молодого и смелого рабочего не переходила в спесь и рисовку.

Значительно слабее, нежели мужчины, выведены женщины. Олеся и Сарра очерчены неясно, неотчетливо, им не хватает индивидуальности.

Следует также поправить сцену восстания. Ее следует развернуть, дополнить сильными эпизодами, сделать более красочной.

Наконец ряд более мелких замечаний (помеченных в рукописи) надо совместно обсудить с автором.

Виктор Кин.

2

Письмо Л. Н. Берсенева — Н. М. Мирцеву

Почти в самом конце романа «Как закалялась сталь» Н. Островский рассказывает, как секретарь райкома партии латыш Вольмер направляет к больному Павлу Корчагину «профессора по части радио» коммуниста Льва Берсенева. В прошлом Берсенов — крупный партийный работник, активный участник гражданской войны, а теперь вынужден — в силу тяжелого заболевания туберкулезом — перебраться в приморский городок и стать районным нотариусом. С первой же встречи Корчагин и Берсенов стали друзьями. «Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад».

Затем Островский изображает, как Берсенов устанавливал Корчагину радио, как его помощники лазили по крыше, укрепляли мачту антенны, а сам Лев «монтажникчал в квартире», как «в сумерки зажглись в комнате три «микро» и «Лев торжественно подал Павлу наушники, как «катушка вариометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос: «Слушайте, слушайте, говорит Москва...» и т. д. (Собр. соч., т. I, стр. 395—397).

Лев Николаевич Берсенов — реальный человек, выведенный в романе «Как закалялась сталь» под собственной фамилией. Известны письма Н. Островского к Берсенову. Среди них есть телеграмма из Москвы от 4 апреля 1936 года такого содержания: «Выступаю шестого девять сорок вечера транслирует РЦ-3 Передай маме. Устрой слушание. Коля» (Собр. соч., т. 3, стр. 304). Речь идет об известном выступлении

Н. Островского на IX съезде комсомола Украины, которое транслировалось по радио из московской квартиры писателя 6 апреля 1936 года.

О впечатлении, которое это выступление произвело на Берсенева, и рассказывается в публикуемом нами письме.

Сочи, 6/IV—36 г.

Товарищ Мирцев!

Только сейчас прослушал выступление Коли на Украинском съезде комсомола. Трудно передать вам словами те волнения и те чувства, которые возбудили во мне и его замечательная речь и его такой дорогой голос. Вздурораженный до дна, я сегодня долго не засну, буду думать о нем, о его удивительной жизни, о его сегодняшней речи.

«Слушайте, слушайте, говорит Москва...»

Маленький аппарат ловил на свою антенну шестьдесят станций мира. Жизнь, от которой Павел был отброшен, врывается сквозь стальную мембрану, и он ощутил ее могучее дыхание.

Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсенов улыбнулся». («Как закалялась сталь»).

С того времени, товарищ Мирцев, прошло немало времени. Я успел поседеть, а Николай («Павел») возмужать и вырасти в героя страны.

Сегодня я слушал его взволнованную, горячую речь, сегодня «катушка вариометра» принесла мне его замечательный, дорогой голос из Москвы. Я принимал эту речь на ту самую антенну, на ту самую мачту, которые когда-то поставил «Павлу». Я слушал его голос в той самой комнате, в которой когда-то лежал и боролся за жизнь, за работу этот, как тогда казалось многим, мечтатель, этот исключительный человек, теперь признанный всеми, вынесенный миллионами нашей молодежи на гребень пролетарской славы.

Антенна и мачта уцелели. Тот маленький приемничек, что связал «Павла» с миром, куда-то исчез. Его заменил сегодня другой, тот самый, в получении которого с завода вы приняли такое горячее участие. Из Колиных писем я знаю, что и сегодняшнюю прекрасную передачу организовали и обеспечили тоже вы.

Вот это и заставило меня сейчас же взяться за перо, сердечно, от всей души поблагодарить вас и пожать вашу товарищескую руку.

Берсенов.

Подлинники настоящих публикаций хранятся в отделе рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького. Публикацию подготовила А. П. Антоненкова.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ

★

ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН ЛЕРМОНТОВА

Царство истины есть обетованная земля, и путь к ней — аравийская пустыня.

В. Г. Белинский. Герой нашего времени.
Сочинения М. Лермонтова.

1

Время, следовавшее за 1825 годом, было жестоко и мрачно. «Понадобилось не менее десятка лет,— пишет Герцен,— чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении поработанного и гонимого существа». Высшее общество при первом же ударе грома, разразившегося над его головой после 14 декабря, быстро «растеряло слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве. Русская аристократия уже не оправилась в царствование Николая, поразе ее цветения прошла; все, что было в ней благородного и великодушного, томилось в рудниках или в Сибири»,— те, что остались,— «испуганные, слабые, потерянные» — были мелки, пусты; дрянь alexandrovского поколения заняла первое место: они малопомалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались... Казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки». Всюду, насколько хватало глаз, медленно текла «глубокая и грязная река цивилизованной России, с ее аристократами, бюрократами, офицерами, жандармами, великими князьями и императором,— бесформенная и безгласная масса низости, раболепства, жестокости и зависти, увлекающая и поглощающая все...»

Эту повседневную реальность можно было презирать, но с нею грудно было не счи-

таться. Она напоминала о себе настойчиво и ежечасно, она вставала глухой мертвой стеной на пути лучших стремлений, благороднейших помыслов; для мысли, пробивавшейся сквозь нее к истине, она тайла множество опасных ловушек и безнадёжных тупиков — все в ней было приспособлено к тому, чтобы служить надёжным кладбищем свободного сознания. Торжествующий, укоренившийся, казалось, навсегда распорядок жизни всероссийской казармы-канцелярии отнимал всякую веру в целесообразность служения добру, в грядущее его торжество.

Удивительно ли, что судьбы большинства образованных, мыслящих людей эпохи оказались поразительно сходными?

Положение тех, кому выпало жить в эпохи, подобные николаевской, достаточно хорошо известно, и кажется, знаменитая формула Герцена определяет его вполне и точно: «Цивилизация и рабство — даже без всякого лоскутка между ними, который помешал бы раздробить нас физически или духовно меж этими двумя насильственно сближенными крайностями! Нам дают широкое образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира, а потом кричат: «Оставайтесь рабами, немлыми и пассивными, иначе вы погибли!»...»

Разве трагизм этой ситуации не уготавливает одну и ту же безотрадную судьбу всем, кто не находит, как говорит Герцен, «ни малейшего живого интереса в этом мире низкопоклонства и мелкого честолюбия»,

но, однако же, именно в этом обществе принужден влачить свое существование? На что мог употребить свои силы, свою жизнь, чем мог наполнить свое существование человек, которому единственным результатом борьбы представлялось бессмысленное погребение заживо в казематах какой-нибудь крепости, а служить для того, чтобы выслуживаться, он все-таки не желал, как не желал и опуститься до полного одичания, погибнуть в кабаках или в домах терпимости?..

Каждая эпоха рождает свой господствующий тип человеческой личности — в том числе и среди умственно развитой, мыслящей его части. И сходные эпохи — сходных героев. Господствующим типом эпох безвременья, особенно таких, что длились долго и отличались особенной мрачностью, всегда был тот тип человеческой личности, который известен у нас, в истории русской общественной мысли, под горьким названием «лишнего человека».

Григорий Александрович Печорин, с которым познакомилось русское общество в 1839—1840 годах, всецело принадлежит, конечно же, к этому типу. Перед нами молодой, двадцатипятилетний человек, бесцельно разменивающий свою жизнь в «страстях пустых и неблагодарных», с отчаянием задающий себе один и тот же мучительный вопрос: «Зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения...»

Герцен писал о своем поколении — том поколении, к которому принадлежал и Печорин: «...все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками. Цивилизация нас губит... заставляет переходить от чудачества к разгулу, без сожаления растрачивать наше состояние, наше сердце, нашу юность в поисках занятий, ощущений, развлечений, подобно тем ахенским собакам у Гейне, которые, как милости, просят у прохожих пинка, чтобы разогнать скуку. Мы занимаемся всем: музыкой, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом, чтобы только рассеяться, чтобы забыть об угнетающей нас огромной пустоте».

Печорин не предается мистицизму, не занимается музыкой, не изучает философию или военное искусство. У него деятельная

душа, требующая движения, воли, энергического жизневыявления, — он предпочитает подставлять лоб чеченским пулям, он готов на все, чтобы похитить пригланувшую ему горянку и добиться ее любви, он планомерно и изобретательно преследует молоденькую княжну Мери, он развлекается кознями своих врагов, рискует жизнью ради мелькнувшего вдруг желания проверить на собственном опыте, есть ли и вправду фатальное предопределение судьбы...

Но что же и это все, если не поиски какого-то выхода, если не попытка как-то рассеяться, забыть об угнетающей «огромной пустоте»? Печорина тоже преследует скука; тяжелый, пронизательный взгляд его, который «мог бы казаться дерзким, если бы не был столь равнодушно спокоен», скользит по окружающим с холодным безразличием, и сознание, что жить такой жизнью вряд ли «стоит труда», оставляет ему утешение разве лишь в горькой иронии над самим собой: «А все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!»

Да, и судьбой своей, безотрадной и горькой, и всем складом внутреннего мира Григорий Александрович Печорин принадлежит своему времени. Типический характер последекабристской эпохи, «лишний человек» тридцатых годов — таким он прочно закрепился в нашем сознании еще со школьной скамьи, таким привычно представляем мы его себе... В этом нет ничего удивительного.

Но ведь столь же привычным, кажется, стало уже для нас и то чувство некоего снисходительного сожаления, с которым говорим мы о Печорине и его собратьях, — не так ли?

Еще бы!.. Эти «лишние люди» не сумели найти достойного применения своим силам, тогда как применение это можно было найти!.. Мы ведь отлично знаем теперь, что, как ни ужасна была моровая полоса, протянувшаяся за 1825 годом, время это для русского освободительного движения даром не пропало. Мы знаем, что если оно и казалось тогда мертвым безвременьем, то только казалось, и Герцен был прав, сказав, что хотя будущие поколения «не раз остановятся с недоумением» перед этим «гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли», однако мысль, в сущности, не прерывалась: «по-видимому, поток был остановлен, Николай перевязал артерию, но

кровь переливалась проселочными тропинками».

Да,— столетняя историческая перспектива, открытая нашему сегодняшнему взору, позволяет увидеть достаточно отчетливо, что и «Философическое письмо» Чаадаева, и статьи Полевого, и теоретические споры в кружках Станкевича и Герцена, и литературно-критическая публицистика Белинского — все это было именно движением вперед, упорным и неостановимым, что по всем этим «проселочным тропинкам» передовой мысли шло духовное развитие общества, подготовившее революционный подъем шестидесятих годов. И что из того, что людям николаевской эпохи увидеть это было значительно труднее?..

Конечно, мы всегда готовы принять во внимание это смягчающее их вину обстоятельство. Мы понимаем, что в этом была не только вина их, но и беда: подспудная, совершавшаяся, как говорит Герцен, глубоко под поверхностью общества работа передовой мысли давала знать о себе глухо и редко, видимые проявления ее могли казаться и действительно казались по большей части лишь случайными и запоздалыми отголосками давно усмирненной бури, прощальным приветом прошлого, но не ободряющим залогом будущего. И сохранить в себе веру в это будущее вопреки всей безотрадности реальных, ежедневных впечатлений, найти в себе силы если не для прямой политической борьбы, то для деятельного труда во имя грядущего торжества истины, свободы, гуманности — было делом чрезвычайно трудным. Для этого нужно было не только благородное сердце. Для этого нужно было пройти долгий и мучительный искус мысли, нужно было достигнуть той глубины и ясности исторического предвидения, при которой вера в будущее обретает надежную основу выношенного убеждения: нужно было суметь увидеть реальные пути борьбы и служения истине. Мы понимаем, что пример лучших людей николаевской эпохи, сумевших увидеть эти пути, это пример очень немногих,— полагать, что все могли стать Белинскими, Герценами и Огаревыми, было бы наивным доктринерством.

Но ведь все же пример этот существует, он перед глазами!.. Вооруженные сегодняшним нашим знанием исторической перспективы, мы не упускаем возможности укоризненно сравнить «лишних людей» тридцатых

годов с теми, кто даже и в те беспроблемные годы сумел найти пути борьбы с гнусной российской действительностью и сумел прожить жизнь достойно и осмысленно...

Что ж,— не будем спорить: несомненное историческое превосходство лучших людей эпохи над Печориним и его собратьями и в самом деле очевидно. Но вот ведь вопрос: означает ли оно, что нам и вообще можно отставить в сторону жизненный опыт «лишних людей» за его малозначительностью, не утруждать себя поисками чего-либо ценного и поучительного в нем, раз уж история оставила нам куда более высокие и благородные образцы духовного героизма людей того времени? Только ли того заслуживают горькие судьбы Печоринных и Онегинных, чтобы отнестись к ним лишь как к исторически характерному факту, требующему в лучшем случае сочувственного понимания и объяснения, но полностью ушедшему в прошлое?

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,
Ни гением начатого труда.

И прах наш, с строгостью судьи и
гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом...

Чувства, заставившие Лермонтова написать эти строки, вынести этот жестокий приговор своему поколению, понятны. Но что же,— неужели и нам, сегодняшним людям, остается обратиться к поколению Печорина лишь такое же беспощадное «нет», воспользоваться горьким, негодующим призывом поэта как формулой окончательного приговора? Неужели и вправду прошло это поколение по жизни «без шума и следа»? Неужели в страданиях и сомнениях «лишних людей» и в самом деле нет «мысли плодovitой», а духовный опыт прожитой ими жизни так ничего и не оставил человечеству? Неужели же таков и герой знаменитого лермонтовского романа?..

2

Отчетливо помню то странное, беспокойное ощущение, с которым я читал в первый раз «Героя нашего времени»,— это было, как, видимо, и у многих других, в восьмом классе средней школы — «согласно програм-

ме». На уроках мы препарировали образ Печорина как своего рода наглядное пособие, призванное «закрепить» в нашей памяти схему исторической эволюции эпох: двадцатые годы — пора радужных надежд, революционного энтузиазма, декабристских идей; тридцатые — крушение иллюзий, разочарование в революционных идеалах, пессимизм и отчаяние. В качестве приспособленной для этой цели образной иллюстрации Печорин предстал перед нами примером незаурядного по своей «природной одаренности» человека, не нашего в условиях тридцатых годов приложения своим благородным стремлениям, не сумевшего вырваться из-под мертвящего влияния светского общества и превратившегося поэтому в «умную ненужность», в «нравственного калеку». Закрепить за лермонтовским героем соответствующее место в галерее «лишних людей» — где-то между Онегиным, с одной стороны, и Бельтовым, Рудным, Обломовым, с другой, — к этому, в сущности, все и сводилось, этим все и объяснялось.

Но как могли все эти и подобные им объяснения помочь мне разобраться в том странном чувстве, которое вызывал во мне лермонтовский герой? В том живом, непосредственном ощущении какой-то неясной, но несомненной причастности всего, что происходило с Печорным и в Печорине, к моей собственной жизни, словно все, что думал и чувствовал герой (хотя и странно и невозможно это было себе представить), — все это точно так же мог бы думать и чувствовать и я сам...

Казалось бы, откуда было взяться этому ощущению — юность живет отнюдь не расщепленным, и к печоринскому разочарованию в жизни мы не питали, разумеется, ни малейшей склонности. Да оно было нам и не очень понятно: каким реальным опытом сердца могли мы, безусые школяры, уловить жизненную наполненность горького печоринского скепсиса? Что могло дать нам знакомство с жизненным опытом человека, жившего сто лет назад, если и собственный — наш жизненный путь был еще весь впереди? Нас поражали резкие, странные афоризмы Печорина, нам ужасно нравилось ошарашить учителя каким-нибудь рискованным откровением вроде: «Я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого...» и т. д. Но мало что приоткрывало нам действительное, реальное содержание этих афоризмов — мало что напол-

няло их для нас живой, горячей плотью и кровью. Жизненная философия Героя Нашего Времени — если бы вообще хоть что-то понимали в ней — воспринималась нами, естественно, в высшей степени наивно и умозрительно.

А все-таки внутренний, духовный контакт был, несомненно был!.. Вопреки всему, вопреки полнейшей как будто бы несовместимости жизненных принципов лермонтовского героя с нашим собственным реальным опытом, — все-таки был этот человек чем-то удивительно близок, была в нем какая-то несомненная притягательная сила, какое-то будоражащее душу, загадочное, но властное обаяние. Оно-то и заставляло нас повторять мысли, которых мы не могли до конца понять, и даже подражать чувствам, которых мы не способны были еще испытывать...

Нет, это было не просто обаяние сильной личности, крупного, яркого характера, всегда способного взволновать юношеское воображение. И не просто то гипнотическое очарование, которым притягивает к себе человеческий ум, особенно юношеский, все непонятное, загадочное, необычное, непознанное. Это было, бесспорно, пусть не очень отчетливое еще, но явственное ощущение высокой духовной значимости и важности соприкосновения с теми жизненными истинами, что таились в «магическом кристалле» лермонтовского романа. Это было непосредственное, еще не осознаваемое нами действие той истинной поэзии, что сквозила во всем облике Печорина и составляла как раз главную тайну обаяния этого беспритного скитальца далеких и чуждых нам времен...

Да, школа не очень заботилась о том, чтобы разъяснить секрет этого непосредственного, живого притяжения и обаяния — разве лишь постольку, поскольку предлагала нам произвести привычную классификацию «положительных» и «отрицательных» черт героя. И грустно думать, что, видимо, у многих и многих бывших школьников, после того как они вышли из дверей школы, никогда уже не возникало желания вновь вернуться к «Герою нашего времени». Сколько «лишних» и «не лишнего» литературных героев, прошедших сквозь строй подобной школьной «проработки», надолго, если не навсегда, утратили для многих и многих из нас свою привлекательность!..

Конечно, даже и в такой «обработке» какая-то доля действительного содержания романа все же доходила до нас. Тем более

нельзя сказать, чтобы историко-социологический взгляд на характер лермонтовского героя и вообще был обоснователен или малопродуктивен,— я не случайно начал статью именно с этой темы, хотя и рисковал несколько наскучить читателю повторением хорошо известных ему положений.

Однако и самое искреннее стремление к благородному историзму может обернуться плоским историческим комментаторством. лишь только теряется из виду живая связь времен: А что могла сказать нам здесь наша школьная иллюстративная социология? Да и одна ли школьная? Что уж греха таить — по большей части предпочитает хранить гробовое молчание на этот счет и та часть учебного нашего литературоведения, что при всей своей академической осанке так и не сумела вырваться из школьных пеленок...

«Героя нашего времени» причисляют к шедеврам мировой классики. Но если это и вправду так—значит, «история человеческой души», созданная Лермонтовым,— отнюдь не только некий исторический источник, по которому мы можем представить себе живую жизнь тридцатых годов прошлого столетия. Она не может не жить и в нашей сегодняшней духовной культуре. Шедевры, как известно, не умирают: если герои далекого прошлого остаются живыми и близкими нам, если роман или повесть, написанные сто, двести, триста лет назад, читаются и сейчас с живейшим интересом и сердечным волнением,— значит, есть в них нечто такое, что не ушло в прошлое с историей, значит, какой-то стороной своей отшумевшей жизни они живут и сегодня, участвуют в сегодняшних наших спорах и поисках...

3

С какой же точки зрения интересен и значителен для нас сегодня опыт жизни, прожитой главным героем лермонтовского романа?

Чтобы ответить на этот вопрос, нет нужды ходить далеко и строить умозрительные конструкции, придавая роману какое-то особое, специальное освещение. Нужно просто прочесть роман — но прочесть действительно с полным вниманием.

Начнем хотя бы с композиции — знаменитой «первернутой» композиции лермонтовского романа. Чем оправдано это особое построение, в чем его смысл?

Обычный ответ на этот вопрос такой: Лермонтов строит свой роман с тем расчетом, чтобы обеспечить постоянный интерес читателя к х а р а к т е р у Печорина, определенную последовательность раскрытия психологии и героя. Он как бы ведет читателя по своеобразным ступеням все большей и большей полноты этого психологического выявления его натуры: сначала, в «Бэле», мы знакомимся с Печорным лишь через рассказ Максима Максимыча, человека «простого» и не способного, конечно, понять и объяснить нам его до конца; затем, в «Максиме Максимыче», — несколько дополнительных психологических штрихов, увиденных уже глазами рассказчика, но еще более «заинтриговывающих»; затем «Тамань», где Печорин уже и сам чуть-чуть приоткрывает свой внутренний мир; и наконец «Княжна Мери», где характер героя, его психология раскрываются уже во всей своей полноте.

Правда, при таком объяснении получается некоторая неувязка с «Фаталистом», где психологически Печорин не показывает нам себя как будто бы ни с какой новой стороны и к характеру его, как это отметил в свое время еще Белинский, не прибавляется ни одной новой черты. Но и из этого затруднения находят обычно выход, указывая, что хотя повесть и не добавляет ничего нового к характеру Печорина, но все же усиливает общее впечатление своим мрачным колоритом, служа как бы завершающим эмоциональным штрихом рассказа о Герое Нашего Времени...

Спору нет — все это так. Но только ли так? Разве «ступенчатая» последовательность раскрытия психологии Печорина, составляя внутреннюю «интригу» композиции романа, и сама не содержит в себе в свою очередь некую новую «интригу» — настойчиво не ведет читателя к вопросу, который встает перед ним тем неотвязнее и острее, чем лучше узнает он Печорина, чем полнее вырисовывается перед ним характер лермонтовского героя? И разве как раз в «Княжне Мери» — то есть там, где характер Печорина перестает уже быть для нас загадкой и мы видим его во всей полноте его психологических проявлений,— разве в «Княжне Мери» этот новый интригующий вызов читателю не достигает своего кульминационного напряжения?..

Давно признано, что главный психологический «перв» характера Печорина, главная внутренняя пружина, направляющая его

жизнь, его побуждения и поступки,— индивидуализм. Общим местом лермонтоведения давно уже стало и то, что именно эта психологическая доминанта печоринского характера выступает в романе как главный объект художнического внимания Лермонтова и что интерес Лермонтова к индивидуализму Печорина прямо связан с задачей раскрыть характер Печорина именно как типический характер «лишнего человека» тридцатых годов.

Но вполне ли обнимается этим внутренняя «программа» обращения Лермонтова к индивидуалистическому варианту «лишнего человека»?

Роман начинается двумя повестями, которые показывают нам едва ли не самые яркие образцы печоринского равнодушия ко всему на свете, «кроме себя». Несчастливая судьба Бэлы, вырванной из родного гнезда, поплатившейся жизнью лишь за то, что она приглянулась Печорину; безграничный, поистине сатанинский эгоизм этого человека, способного ради удовлетворения своей прихоти изуродовать чужую жизнь, играть судьбой другого; потом «Максим Максимиич» — эта возмущающая нравственное чувство сцена прощания Печорина с бывшим товарищем, где Печорин выказывает такое бессердечие и душевную черствость и где так обидно за бедного Максима Максимиича, получившего в награду за свою преданность лишь холодную вежливость и безразличие!.. Перед нами действительно крайняя степень индивидуалистического равнодушия ко всему на свете, кроме себя!..

«Тамань» вновь подтверждает это впечатление, но и здесь тоже — хотя на этот раз Печорин сам рассказывает о себе — мы видим его еще как бы со стороны, только в его поступках, позволяющих нам всего лишь догадываться о том душевном потоке, что течет в них и питает их. И лишь в последней, венчающей повесть фразе звучит какая-то новая, глухая еще, но многое предвещающая нота: «Что случилось с старухой и бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих!..»

И вот наконец «Княжна Мери», «журнал» Печорина, «исповедь души человеческой» — этот откровенный, беспощадно правдивый рассказ о самом себе, этот трезвый, неличемерный отчет перед собственной совестью, безбоязненное, проникающее до самых глубин души обнажение ее сокровенных движений, ее верований и мечтаний. Что же ново-

го открывает нам «Княжна Мери» в индивидуализме Печорина?

Да,— здесь снова индивидуалистическая природа печоринского характера выказывает себя на каждом шагу: изощренная изобретательность, с которой Печорин преследует молоденькую княжну, не имея намерений ни жениться, ни соблазнить ее,— просто для того лишь, чтобы испытать то «необъятное наслаждение», что таится «в обладании молодой, едва распутившейся души», этого «цветка», лучший аромат которого достается лишь тому, кто сумеет сорвать его первым — сорвать и, «подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!»; расчетливое и столь же изобретательное глумление, несчастной жертвой которого оказывается пустой и ничтожный, но, в сущности, ни в чем не повинный мальчишка Грушницкий... Все это еще более усиливает первоначальное впечатление, окончательно убеждает нас в правильности поставленного диагноза. Да, перед нами индивидуализм.

Но всмотримся: здесь это впечатление — уже не просто объективный вывод из поступков Печорина. Здесь индивидуализм Героя Нашего Времени предстает перед нами уже и в некоем новом качестве — смутное предчувствие, возбужденное «Таманью» и заключающей ее жутковатой фразой, оправдывается. С каждой новой страницей дневника Печорина мы все отчетливее сознаем, что Печорина никак не отнесешь к тем людям, характер жизненного поведения которых складывается произвольно, «стихийно», являя собой всего лишь порожденную этими условиями устойчивую, но малоосознанную норму морали. Печорин сходит к нам со страниц своего дневника подлинным сыном своего времени — времени поисков и сомнений, напряженной, лихорадочной работы мысли, все и вся подвергающей разъятию, анализу, пытающейся проникнуть в самые истоки «добра и зла». Плоть от плоти и кровь от крови своего поколения, Печорин находится в постоянном раздвоении духа; тяжелая печать рефлексии, постоянного самоанализа лежит на каждом его шаге, каждом движении. «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» — говорит он о себе сам. И мы видим, с какой трезвой ясностью отдает он себе отчет в характере своих поступков и побуждений,

как верно понимает смысл малейшего движения собственной души. Мы видим, что индивидуалистическая природа его поступков — отнюдь не секрет для него самого. Она вполне им осознана.

Более того, на каждом шагу мы убеждаемся, что здесь перед нами не просто некое пассивное самосознание, умение признаваться себе в тайных пружинах своих поступков, но и гораздо более устойчивая, последовательная жизненная позиция. Мы видим, что перед нами — принципальная программа жизненного поведения.

«Идея зла,— замечает Печорин на одной из страниц своего «журнала»,— не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идею — создания органические, сказал кто-то; их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие». И он не только не устает действовать, но не страшится и откровенно формулировать свое кредо,— и вот уже мы читаем в его дневнике признание, где формула эта отточена до предельной отчетливости и остроты: «Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы»...

Да, в любой ситуации Печорин обнаруживает себя перед нами человеком, не просто привыкшим смотреть на страдания и радости других только «в отношении к себе», но и вполне сознательно идущим по этому пути ради того, чтобы хоть как-то, хоть на время забыть о преследующей его «скуке», о гнетущей пустоте существования. Он действительно — и вполне сознательно — «ничем не жертвует» для других, даже для тех, кого любит,— он любит тоже «для себя», «для собственного удовольствия».

Правда, у него нет и полной внутренней убежденности, что именно индивидуалистический символ веры есть истина,— он подозревает о существовании иного, «высокого назначения» человека, допуская, что он просто «не угадал» этого назначения.

Но реальностью, единственной реальностью, пока не «угадано» нечто другое, остается для него именно этот принцип — «смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе». И он повторяет вновь и вновь это «правило», он развивает на его основе целую теорию счастья как «насыщенной гордости» («Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не

имея на то никакого положительного права,— не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость»),— по всему видно, что «правило» это кажется ему единственно надежным и реалистическим...

Таким предстает перед нами Печорин в «Княжиих Мери».

Но ведь тем самым мы действительно оказываемся перед новой, не менее «интригующей» загадкой!..

Чем яснее мы видим, что Печорина никак нельзя назвать «стихийным» индивидуалистом, чем больше мы убеждаемся в том, что каждый шаг его, каждое движение «взвешены» и проверены мыслью, тем настойчивее встает перед нами вопрос: какая же логика убеждений, какой путь мысли привели Печорина — человека, привыкшего во всем отдавать себе отчет, все подвергать холодному и трезвому анализу, все выводить из исходных оснований,— к признанию в качестве основного правила жизни — правила «смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе»?

Разочарование в возможности проявить себя на общественном поприще? Вывод, что раз уж любые действия во имя высоких общественных целей обречены, остается жить только «для себя»?

Что ж, логика подобных объяснений нам достаточно хорошо знакома. Но задумывались ли вы о том, читатель, что обыденность мерки, которая прилагается к Печорину при такого рода «оправдании» его индивидуализма, свидетельствует лишь о сомнительной привычке считать вполне естественным, «житейским» делом отступление от любых идеалов, раз их сегодняшнее осуществление «тактически» невозможно? Задумывались ли вы о том, что если несчастная Бэла, простодушный и преданный Максим Максимыч, наивная и чистая, не испорченная еще светом Мери расплачиваются лишь за то, что Печорин презирает общество, отвергнувшее его,— значит перед нами просто мелкая месть попранного самолюбия, оскорбленного тщеславия — ах, раз обстоятельства не дают мне достойно удовлетворить мое честолюбие, раз светская чернь не заслуживает того, чтобы обращаться с ней по-людски, так пусть же страдают за это все, кто только ни попадется на пути?!.

Если бы и вправду к Печорину можно было применить эту постыдную мерку, пе-

ред нами был бы, конечно, уже не Печорин, а духовный пигмей, циник, знающий о существовании истинных идеалов человеческого поведения, но — просто потому, что жить согласно их требованиям трудно, — плюющийся на них во всем, даже в частной своей жизни...

Нет, здесь явно не хватает какого-то звена, какой-то последней решительной черты, способной объяснить нам действительные истоки печоринского демонизма. «Княжна Мери» не дает нам еще ответа на вопрос, который как раз в этой повести и встает перед нами особенно неотвязно и настойчиво.

Такова внутренняя «интрига» печоринского сознания, развернутая перед нами композицией романа. Остается только сказать, что последнее, недостающее ее звено и есть тот самый как раз «Фаталист», которому отводится, как правило, роль всего лишь некоего завершающего эмоционального штриха, призванного концентрированно выразить общее «настроение» романа своим мрачным колоритом...

Да, все не так просто. И «Фаталист» — отнюдь не «довесок» к основной, самостоятельно значимой части романа. В известном отношении он занимает в системе повестей «Героя нашего времени» ключевое положение, и без него роман не только потерял бы в своей выразительности, но во многом утратил бы и свой внутренний смысл. Вся логика повествования, весь ход развертывающегося композиционного его построения подготавливают постепенно, шаг за шагом, необходимость появления этого последнего и решающего звена, — «Фаталист» заключает роман, как своего рода «замковый камень», который держит весь свод и придает единство и полноту целому...

Перечтем же еще раз эту заключительную повесть цикла и задумаемся в ее смысл.

4

На одном из обычных офицерских вечеров у майора С***, рассказывает Печорин, зашел спор о фатальном предопределении человеческой судьбы. Спорили долго и горячо, пока наконец один из офицеров, Вулич, человек странный и замкнутый, не предложил пари: «К чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или

каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?»

Печорин принимает вызов — «утверждаю, что нет предопределения», — пари составляется, Вулич идет в спальню майора и снимает со стены пистолет. Суматоха, крики, но Вулич отстраняет удерживающих его приятелей и предлагает Печорину подбросить вверх карту. Печорин исполняет требование, карта медленно опускается на стол, — Вулич спускает курок... Осечка! Новые крики, споры: «Слава богу!.. не заряжен...» — Вулич снова взводит курок, прицеливается в фуражку на стене. Выстрел — фуражка пробита в самой середине...

И вот Печорин возвращается домой пустынными переулками станицы. События вечера, решительность Вулича, его выстрел произвели на него сильное впечатление. Он даже сказал в конце концов Вуличу, когда тот спросил у него, верит ли он теперь предопределению, — «верю». Сказал, хотя при этом ему и трудно было бы ответить на вопрос, заданный другим участником спора: «...если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?»

Но вот он возвращается теперь домой; сознание, затуманенное иллюзией «доказательства», силой эмоционального потрясения, обретает привычную ясность — и от прежнего «верю» не остается и следа. Раздумья Печорина спокойны, ироничны; уверенный, отчетливый ход мыслей выдает их привычность, давнюю выношенность. «...Месяц, полный и красный, как зарево пожара, — пишет Печорин в своем «журнале», — начал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж? эти лампы, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником!»

Да, признается Печорин, после выстрела Вулича он поверил предопределению, — «доказательство было разительное, и я, не-

смотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею». Но, тут же замечает он, «я остановил себя вовремя на этом опасном пути, и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не верить слепо, отбросил метафизику в сторону...»

И потом, позднее, уже после того, как еще раз по странной прихоти мысли он вздумал испытать предопределение, поставив на карту собственную жизнь, в «журнале» снова появляется ироническое: «После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем, или нет?.. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..»

И как бы бросая гордый вызов этой слепой вере, лишаящей человека внутренней свободы, Печорин ясно и четко формулирует свое истинное кредо: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера; напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает...»

Как видим, «Фаталист» и в самом деле раскрывает нам Печорина с существенно новой и важной стороны. Оказывается,— «рефлексия» Печорина куда более серьезна и глубока, чем это представляется поначалу... Оказывается,— и в этом тоже Печорин до конца верен своему времени—времени, подвергнувшему пересмотру коренные вопросы человеческого существования, во всем пытавшемуся идти «с самого начала», времени небывалого доселе, напряженнейшего интереса к важнейшим философским проблемам,— времени, когда, по выражению Герцена, «вопросы становились все сложнее, а решения менее простыми». Печорин тоже, как видим, пытается идти «с самого начала», пытается решить вопрос, которым действительно все «начинается».

Это вопрос о тех первоначальных основаниях, на которых строятся и от которых зависят уже все остальные человеческие убеждения, любая нравственная программа жизненного поведения. Это вопрос о том, предопределено ли высшей божественной волей назначение человека и нравственные законы его жизни или человек сам, своим свободным разумом, свободной своей волей определяет их и следует им.

Разве не таков смысл проблемы, которая

заклучена в раздумьях Печорина о «людях премудрых»?..

Последуем, однако, за дальнейшими размышлениями героя.

Итак, собственная позиция Печорина отнюдь не свидетельствует о его приверженности к традиционному мировоззрению, о симпатиях к наивной вере «людей премудрых». Напротив, как это явствует из едкой иронии его по отношению к ним, в разрешении проблемы он склонен идти скорее путями атеистического сознания — или во всяком случае такого, которое не признает вмешательства высшей воли в дела человеческие и оставляет вопрос о боге открытым, не имеющим значения для остальных вопросов человеческой жизни. В этом — отметим кстати — он тоже подлинный герой тридцатых годов: и в самом интересе его именно к этой «начальной» дилемме, и в том, как он ее разрешает, звучат явственные отзвуки тех духовных исканий, которые были характерны для тридцатых годов, через которые прошли все лучшие люди его поколения — в том числе и такие, как Белинский и Герцен, Огарев или Бакунин. Ироническое отношение Печорина к философии «людей премудрых» прямо связано у него, как видим, с утверждением права человека на самостоятельность решений: он называет «колею» предков «опасной», он видит, что она отнимает у него свободу воли, и предпочитает «решительность» характера, основанную на праве человека «сомневаться во всем». Он сознает в себе единственного творца своей судьбы и потому-то и дорожит своей свободой как высшей ценностью: «Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою... поставлю на карту... но свободы моей не продам».

Но вот вопрос: какие же пути открываются перед человеком, которому смешно и представить себе, что «светила небесные принимают участие в наших спорах»? Разум его отбросил эти сказки, рабская вера в предопределенность судьбы и нравственных законов жизни развеялась,— он сам оказывается единственным богом и законодателем всех жизненных норм, он сам должен придать какую-то осмысленность своему конечному смертному существованию. Какую же иную философию жизни может он предложить взамен отброшенной веры?

Вспомнив о «людях премудрых», посмеявшись над их верой в то, что «светила небесные принимают участие» в человеческих

делах, Печорин продолжает: «Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немим, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам для блага человечества... и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...»

Вот она, самая трудная проблема атеистического мировоззрения, вполне отчетливо сознаваемая, как видим, Печориным, встающая перед ним действительно во весь рост!..

Печорин не случайно сопоставляет веру и неверие, «людей премудрых» и их «потомков». Способность к добру, к «великим жертвам для блага человечества», к служению этому благу есть только там, где есть убежденность в истинности, конечной оправданности этого служения. Раньше людям премудрым эту убежденность давала именно вера в то, «что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием», что «жертвы для блага человечества» освящены именно конечной целью жизни — бессмертием и блаженством человеческой души в загробном мире добра и справедливости. Но что может сказать о цели человеческой жизни тот, кто утратил эту веру?

Да, он может мужественно сказать себе, что, стало быть, смысл жизни следует искать только в самой жизни, что раз уж человеку отпущен какой-то срок земного существования, ничто не может опровергнуть его права прожить этот срок всей полнотой заложенных в нем сил, способностей, стремлений и запросов. Он может сказать себе, что раз судьба его свободна от предопределения, стало быть, он сам творец своей жизни, стало быть, он — по самой природе своей — суверенное и свободное существо.

Но ведь весь вопрос в том как раз и стоит — в чем же эта мера полноты человеческой жизни? В каких свободных проявлениях своей человеческой природы обретает ее человек? Как может убедиться челове-

ский разум, что служение общему благу есть непереносимое ее условие?..

Вспомним, как много позднее тургеневский нигилист Базаров заявляет своему приятелю Аркадию Кирсанову в ответ на его экзальтацию и громкие фразы: «...ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?»

Как ни опошлена эта проблема всевозможными мешанами, прикрывающими свое ничтожество тем, что было трагической загадкой для людей масштаба Базарова, она не становится от этого менее серьезной. Через нее не может перешагнуть, не дав ответа, ни один человек, стремящийся к осмысленности своего существования. И не однажды возвращалось к ней великое искусство. Не она ли, к примеру, вставала перед Гамлетом в его мучительных раздумьях о человеческом бытии? Не одной ли из гордых, но обманчивых иллюзий ее разрешения было рождено знаменитое пушкинское:

Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для
либреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданными искусствам и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.

— Вот счастье! вот права...

Да, эта труднейшая проблема свободного сознания составляла мучительный предмет раздумий не одного поколения выдающихся мыслителей, и на ней споткнулся не один великий ум!.. Она может вставать перед людьми в разных обликах, но суть — глубинная, настоящая суть ее — именно в определении тех всеобщих и бесспорных оснований, в силу которых человеческий разум способен признать, что добро, «благородные стремления», «жертвы для блага человечества» — это и в самом деле необходи-

мое условие человеческой жизни, действительная ее истина и мера ее полноты.

С этой проблемой и сталкивается лицом к лицу Печорин, отвергая наивную веру «предков», не принимая религиозного принципа оправдания добра...

Находит ли он пути ее позитивного разрешения?

Увы, как свидетельствуют его раздумья — положение его безотраднo и бесперспективно. Горькое признание Печорина в том, что его поколение в отличие от «людей премудрых» не способно «к великим жертвам для блага человечества», доказывает, что ему нечего поставить на место той спасительной веры в провидение, что была для «предков» стимулом «благородных побуждений». Отбрасывая религиозный миф, Печорин не в состоянии вместе с тем и противопоставить ему какой-либо иной позитивный нравственный принцип, указать на какие-то иные, реальные и разумные, основания, в силу которых можно было бы признать, что гуманизм есть действительная истина человеческой жизни...

Что же остается?

Остается единственный вывод: раз так, раз уж необходимость добра представляется в высшей степени проблематичной, если не просто призрачной, то почему бы и не встать на ту точку зрения, что и в самом деле — «все позволено»? Остается действительно ведь только одно — единственно «бесспорная», очевидная реальность: собственное «я». Остается именно индивидуализм — в тех или иных его формах, вплоть даже и до той, что обозначена знаменитой формулой героев Достоевского. Остается принять именно собственное «я» в качестве единственного мерила всех ценностей, единственного бога, которому стоит служить и который становится тем самым по ту сторону добра и зла...

Закономерная эта логика настолько очевидна, что ее сумел уловить в свое время даже и не столь уж проникательный Шевырев. Нельзя не признать, что он попал, что называется, в самую точку, когда в злобном своем доносе на «Героя нашего времени» специально обратил внимание на то, что источник всех «возмутительных» принципов Печорина — именно в его безверье...

Таковы истоки печоринского индивидуализма.

Конечно, указывая на них, нужно пом-

нить прежде всего о реальных условиях эпохи. Именно она сказала здесь решающее свое слово, именно она сделала все для того, чтобы люди, подобные Печорину, пришли к индивидуалистическим принципам жизненного поведения. Этим она определила историческую конкретность Печорина — в другие эпохи, благоприятные для «благородных стремлений», наэлектризованные массовой готовностью к «великим жертвам» для блага человечества, жизненные судьбы людей, не менее глубоких, чем Печорин, складывались совсем иначе.

Это так. Но для нас важно подчеркнуть в данном случае именно то, как и каким образом определила эпоха этот выход к индивидуалистическому кодексу нравственности. Важно видеть, что он совершился в результате глубоких и мучительных мировоззренческих исканий — как прямое их следствие, через них и благодаря им. Без этого посредствующего и высшего звена, заключающего в себе объяснение того, почему индивидуалистическая программа жизненного поведения оправдана и принята Печоринным, мы рискуем и вообще ничего не понять в Герое Нашего Времени. Придется признать, что правы именно те, кто унижает и оскорбляет Печорина, рассуждая о нем по законам рабской логики «тактического» ренегатства, тогда как все здесь неизмеримо сложнее, глубже, и внутренний ход мысли, толкнувший Печорина к индивидуалистическим нормам жизни, как раз принципиально враждебен этой постыдной логике. Тут счет идет не на рабские копейки, не по рыночному курсу сделок с собственной совестью. Тут дело жестокое и серьезное, тут платят жизнью, а не существованием, душа проходит безднами действительного ада, и перед нами истинная и высокая трагедия, а не балаганный фарс. Глубинный, безысходный скепсис, всеобщее и полное отрицание, разъедающее сомнение в истинности добра вообще, в самой правомерности существования гуманистических идеалов, — вот действительный крест печоринской души, ее гнетущая ноша...

Смысл «Фаталиста», принципиально важное значение его для понимания образа Печорина и всего романа в целом в том как раз и состоит, что, обращая нас к этим мировоззренческим истокам печоринского индивидуализма, заставляя нас понять его как определенную концепцию жизни, он заставляет нас тем самым и отнестись к пе-

печоринскому индивидуализму именно с этой точки зрения прежде всего — не просто как к психологии, не просто как к исторически-показательной черте поколения тридцатых годов, но и как к мировоззрению, как к философии жизни, как к принципиальной попытке ответить на вопрос о смысле жизни, о назначении человека, об основных ценностях человеческого бытия. Он требует, чтобы именно под этим углом зрения прежде всего мы и рассмогредли жизненный путь лермонтовского героя, оценили итоги того детальнейшего, пристальнейшего анализа печоринской души, того неутомимого вглядывания в каждое движение сердца, в каждый шаг героя, которым до сих пор поражает читателя знаменитый роман Лермонтова.

Иными словами, он требует, чтобы мы поняли роман Лермонтова как философский роман, ибо постановка вопроса, которую он диктует нам, и есть та самая постановка вопроса, которая характерна как раз для философского романа и в принципе отличает его от романа социально-бытового...

Да, роман Лермонтова по праву может быть назван первым философским романом в истории русской литературы. Родоначальником той великой традиции напряженнейшего интереса к коренным вопросам человеческого существования, которой может гордиться русская художественная культура и которая достигла своей вершины в романах Толстого и Достоевского. Вот вывод, который необходимо следует из «Героя нашего времени», из того, как показывает нам Лермонтов истоки печоринской психологии.

Конечно, от будущих вершин «Героя нашего времени» отделяет еще очень многое — целая эпоха развития русской художественной и философской мысли. И то, что в романах Достоевского, например, будет развернуто во всей сложности, противоречивом богатстве и расчлененности, что сделает его романы подлинными драмами идей, у Лермонтова едва еще намечено.

Но намечено. И уже достаточно определено. Настолько определено, что никак нельзя не признать, что в нескольких страницах «Фаталиста» уже содержатся, в заре, многие важнейшие философские проблемы, которые встанут в центре внимания Толстого и Достоевского. Да и только ли в этих страницах, самих по себе, дело? Дело

именно в том особом повороте, который придают они читательскому восприятию всего романа в целом, требуя понять «историю души человеческой», созданную Лермонтовым, в ее глубинном философском содержании.

Случайно ли подводит нас «Фаталист» к необходимости встать на эту точку зрения? Следует ли отнести этот результат лишь за счет воздействия объективной логики развития образа Героя Нашего Времени или есть здесь и определенный «умысел» автора?

Не рискуя утверждать категорически, но, кажется, последнее предположение не лишено оснований. Во всяком случае объяснить как-то по-другому факт появления «Фаталиста» — и при том в качестве заключительной части романа — довольно трудно.

Но так или иначе, хотел того Лермонтов или нет, было ли выявление той внутренней логики образа Печорина, на которую мы обратили внимание, вполне осознанной заботой автора или она проступила независимо от его воли, — достаточно и того, что она объективно присутствует в романе. Именно с ней связана прежде всего живая жизнь «Героя нашего времени» в сегодняшней духовной культуре. Ибо как ни ценен для нас роман Лермонтова в качестве художественного документа эпохи, но рассмотреть жизненный путь Героя Нашего Времени с более широкой и общей точки зрения, оценить его принципиальную гуманистическую значимость и содержательность — задача еще более важная и далеко не ушедшая, не потерявшая смысл для нашего времени.

5

Ценность, человеческое содержание духовного опыта Печорина... Но мрачный скепсис, безысходность отрицания, неспособность найти реальные, без обращения к помощи божественного провидения, обоснования гуманизму — что во всем этом поучительного и важного?..

Что ж, легче всего, конечно, отнестись и к этому скепсису, и к этой неспособности признать истинность гуманизма всего лишь как к недостатку ума и проницательности. Проще всего посчитать Печорина за некоего школьника, не выучившего как следует урока, не пожелавшего овладеть накопленной премудростью и пусившегося — по собственному недомыслию, верхоглядству и

незрелости — во все тяжкие, в доморощенный дилетантский скепсис.

Но, сказал бы Белинский, — отнесясь так к Печорину, не придем ли мы «не в свое место», не сядем ли за стол, за которым нам «не поставлено прибора»?.. Легче всего обвинить человека за то, что он не пришел к истине. Но каждый ли из обвиняющих может сказать, что он знает эту истину? И если даже уверен, что знает, — знает ли он ее в действительности?

Сложность проблемы, которая встает перед Печориным, отбросившим наивную веру «людей премудрых», отнюдь не иллюзорна. Она оказалась роковой не для него одного, и мы знаем, что даже и десятилетиями позже, мучаясь над ее разрешением, Достоевский пришел к выводу, что «если нет бога, то нет и добродетели».

Да, современники Печорина — такие, как Герцен, Белинский, Огарев, — сумели увидеть, что «бог» и «добродетель» — вещи отнюдь не взаимосвязанные. Они сумели найти обоснование гуманистическому мировоззрению в самой природе общественного человека, сумели понять, что как существование человеческого общества, так и полнота жизни отдельного человека, полнота здоровых проявлений его природы невозможны без «жертв и подвигов», без «благородных стремлений». Поэтому они и оказались способны посвятить свою жизнь служению высокому общественным целям, найти пути борьбы с гнусной действительностью.

Но, во-первых, даже и они пришли к этому уже тогда, когда Лермонтова не было в живых, — время, пролежавшее между тридцатыми и сороковыми годами, никак не сбросишь со счета. Белинский писал свою статью о «Герое нашего времени», все еще исповедуя «примирение с действительностью».

Во-вторых же, — и это главное — революционный гуманизм сороковых годов выработался отнюдь не в стороне от того взгляда на жизнь, который отличает Печорина и, как говорил Белинский, «сильно симпатизирующего с ним» Лермонтова. Разве не прошел этот гуманизм в своем формировании ту же стадию сомнения и отрицания, разве момент развития человеческого духа, запечатлевшийся в романе Лермонтова, не составил необходимейшего звена в его становлении?

«Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение

Пушкина с Лермонтовым, — писал Герцен. — Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаянием и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды; он не жертвовал собой, ибо ничего не требовало этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действительность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что».

Вспомним же, как после трезвой и глубокой этой параллели, говоря о наследии Лермонтова, Герцен замечает: «Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, — то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов... влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения».

Таково свидетельство одного из крупнейших мыслителей девятнадцатого века, великого русского гуманиста и революционера. И разве мы не знаем, какое влияние оказал этот лермонтовский скептицизм, тяжесть которого он «влачил» во всех своих мечтах и наслаждениях, на другого великого русского гуманиста и революционера — Белинского? Разве не послужило творчество Лермонтова одним из важнейших факторов, заставивших Белинского порвать с пресловутым «примирением»?

Да, важно уметь видеть несостоятельность индивидуалистического скепсиса Героя Нашего Времени как общего мировоззрения, как философии жизни. Важно уметь видеть его ахиллесову пяту и владеть ключом к проблемам, перед которыми он остановился в отчаянии. Но столь же важно по достоинству оценить и все действительное, огромное его значение как момента позна-

ния истины, как необходимого позитивного звена в истории формирования подлинного гуманизма.

Печорин смеется над всем на свете; для него не существует святынь, во всем он умеет найти тайное присутствие зла, добродетель бледнеет под его тяжелым, пронизательным взглядом, и род людской выступает перед нами из этого беспощадного судилища не заслуживающим особого доверия и уважения. Это несправедливо и жестоко? Конечно, — именно как жестокое преувеличение, мрачная односторонность. Но не лучше ли, не мужественнее ли даже и такое преувеличение сладкой кашицы моралистических проповедей и призывов, добреньких иллюзий религии, прекраснодушных упований розового гуманизма, все свои надежды возлагающего на пресловутую «непорочность» исконной человеческой природы, наивной легенды о всеобедительной власти добра над злом, об обязательности и несомненности его всегдашнего и конечного торжества?

У Печорина нет веры, нет идеала? Но, во-первых, не забудем, что он и сам страдает от этого, тоскует о «высоком» назначении человека, которого он «не угадал». В его скепсисе нет ни тени того самодовольства, что отличает всякого рода несостоявшихся гениев, с наслаждением оплевывающих все на свете и видящих в слюнявом брюзжании свое превосходство над «толпой». Скептицизм Печорина не циничен — он истинное его страдание, в нем жажда выхода, жажда идеала.

Во-вторых же, согласимся с тем, что и самый пленительный идеал похож на мыльный пузырь, если он — всего лишь «нас возвышающий обман», убавлющая сказка, если в нем нет крепкой связи с действительностью, трезвого знания ее реальной природы. Печорин не ниже, а неизмеримо выше «людей премудрых» не потому только, что отбросил их наивную веру в божественное предопределение. Он выше их потому, что его отрицание, его взгляд на жизнь составляет неизмеримо более высокую и зрелую ступень овладения действительной истиной жизни, действительным знанием человеческой природы, чем любая нравственная программа любой религии. И настоящее и самое важное значение этой ступени заключается именно в том, что она расчищает дорогу новому — свободному и мужественному,

трезвому и глубокому гуманистическому мировоззрению.

В этом смысле именно сама всеобщность отрицания, сама безысходность скепсиса в высшей степени перспективны и знаменательны. В них залог и гарантия серьезности и ответственности мировоззрения, которое способно сменить индивидуалистический скепсис Печорина и противопоставить себя ему. Ибо — и в этом-то и состоит завоевание — печоринский скепсис начисто и исключает возможность идиллии. Человека, заглянувшего так глубоко в тайное зло мира, в бездны собственной души и сумевшего мужественно признать и принять как трезвый факт то, что он увидел, уже не завлечешь утешительной сказкой о будущем возмездии, не соблазнишь добренькой выдумкой о конечной гармонии, не убедишь в возможности возрождения человечества через нравственное самосовершенствование и спасение души. Он не пойдет на это, и в этом не только его мучение, но и его достоинство, его сила. Он может тосковать по былой вере предков, завидовать их цельности и убежденности, признавать известные нравственные преимущества веры и конечное торжество добра, в его божественную предопределенность и истинность. Но возвращение назад для него невозможно: «низкие истины», открывшиеся его трезвому, беспощадному взгляду и питающие его презрительный скепсис, не сбросишь со счета. То, что однажды познано, остается при человеке уже навсегда — оно может быть лишь дополнено и переосмыслено последующим знанием, но не отброшено.

Потому-то не «отменишь» попросту и мировоззрение, которое выразилось в индивидуалистическом скепсисе лермонтовского героя, хотя оно и несостоятельно как мировоззрение. Его можно, как говорят философы, только «снять». Ему можно противопоставить только такое мировоззрение и такой идеал, которые включают в себя все его обретения и дают ответ на все его проблемы. Для этого же — прежде чем может идти сколько-нибудь серьезная речь о действительном идеале, — как раз и нужно научиться той безбоязненной и бескомпромиссной трезвости взгляда, которая одна может дать нам действительное знание человеческого сердца и которая как раз и отличает знаменитый лермонтовский роман и его героя. А говоря шире — и вообще весь тот

этап развития человеческой мысли, порождением и выражением которого на русской почве явился «Герой нашего времени». В конце концов не следует забывать, что это была действительно целая эпоха духовного развития человечества, имевшая всемирно-историческое значение, и мир должен был пройти через этот этап, пройти эту школу сомнения и отрицания, расстаться с романтическими иллюзиями прошлого, прежде чем выйти к рубежам действительно зрелых и реалистичных гуманистических идеалов. Великая очистительная роль этого этапа — при всех его жестоких мизантропических издержках, при всей чудовишной односторонности его скептического отрицания — именно в освобождении от всякого идеальничания, демагогии, фальшивой приподнятости и взвинченности, в прощании с добренькими иллюзиями розового гуманизма, с романтической экзальтацией.

«Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина?.. Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..»

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины».

Эти лермонтовские слова из «Предисловия» к роману можно поставить эпитафией к тем страницам истории художественной культуры человечества, к которым принадлежит и «Герой нашего времени». В них — высшее оправдание «тяжкого груза» скептицизма, разгадка непреходящего значения его обретений.

Конечно, «горькие лекарства, едкие истины» — пища не слишком приятная. «К несчастью быть слишком пронзительным, — писал Герцен о Лермонтове, — у него присоединилось другое — он смело высказывался о многом без всякой пошлости и без прикрас... Люди гораздо снисходительней относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве». Вспомним, как даже и Белинский в ужасе отшатнулся от Печорина, когда тот, предвидя, что после

его поцелуя княжна «проведет ночь без сна и будет плакать», записывает в своем «журнале»: «Эта мысль мне доставляет необъяснимое наслаждение: есть минуты, когда я принимаю Вампира... А еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия!»

«Этой последней черты мы решительно не понимаем», — восклицает Белинский. «Она кажется нам преувеличением, умышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою...»

Но это единственный случай, когда горькое лермонтовское лекарство смутило Белинского: даже и «примиренный», он отлично и глубоко понимал действительное нравственное значение этих «едких истин», их очистительную силу.

«Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь?..»

А ведь есть необъяснимое наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы».

Приведа это признание Печорина (мало чем, отметим кстати, отличающееся от только что цитированного), Белинский произносит страстный монолог в защиту и оправдание Героя Нашего Времени. Вот эти замечательные слова:

«Так вот причины, за которые бедная Мери так дорого должна поплатиться!.. Какой страшный человек этот Печорин! Потому, что его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девушка! «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!» — хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа: но вы-то из чего хлопчете? за что сердитесь? ..Не подходите слишком близко к этому человеку, не нападайте на него с такой запальчивой храбростию: он на вас взглянет, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенных лицах ваших все прочтут суд ваш. Вы предаете его апафеме не за пороки, — в вас их

больше и в вас они чернее и позорнее, — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которой он говорит о них. Вы позволяете человеку делать все, что ему угодно, быть всем, чем он хочет, вы охотно прощаете ему и безумие, и низость, и разврат, но, как пошлину за право торговли, требуете от него моральных сентенций о том, как должен человек думать и действовать и как он в самом-то деле и не думает и не действует... И зато ваше инквизиторское аутодафе готово для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть действительности прямо в глаза, не опуская своих глаз, называть вещи настоящими их именами и показывать другим себя не в бальном костюме, не в мундире, а в халате, в своей комнате... в домашнем расчете с своей совестью...

Наш век гнушается этим лицемерством. Он громко говорит о своих грехах, но не гордится ими; обнажает свои кровавые раны, а не прячет их под нищенскими лохмотьями притворства. Он понял, что сознание своей греховности есть первый шаг к спасению. Он знает, что действительное страдание лучше мнимой радости. Для него польза и нравственность только в одной истине, а истина — в сущем, то есть в том, что есть».

Ну, а наш сегодняшний век — разве и он не гнушается подобным лицемерством мундиров и бальных нарядов? Разве и для него польза и нравственность — не в одной только истине?..

Ни одно серьезное мировоззрение, претендующее быть философией жизни и нравственным требованием, не может не быть основано — если только оно действительно хочет быть серьезным — на глубоком и трезвом знании действительной меры человеческой природы, ее действительных возможностей, сил и запросов. Здесь разрушительно опасны и грозят самыми катастрофическими последствиями всякое принижение, всякая дань мизантропии или презрительному скепсису. Но столь же отвратительны и катастрофичны всякая натянутость, идеальничание, экзальтированная панвность и прекрасодушие. Той трезвостью, тем умеренно видеть вещи в их настоящем свете, что свойственны Печорину при всей гипертрофии его отрицания, он близок нам, сегодняшним людям, он наш предшественник и союзник. И здесь мы с полным основанием можем видеть одно из

самых ценных обретений, которые дало ему освобождение от наивной веры «людей премудрых», осознание в себе суверенного и свободного существа, своим собственным разумом постигающего смысл бытия и предписывающего себе критерии и нормы жизни...

6

Но хороша свобода, скажут мне, если ее реальным выражением становится демонизм, освобождение от любых нравственных обязательств, принципы крайнего индивидуализма, стоящего над добром и злом!..

Что ж, замечание справедливое. Но суд над печоринским индивидуализмом — дело отнюдь не такое простое, как кажется на первый взгляд. Даже и в части осуждения — мы еще будем иметь случай убедиться в этом. А пока — прежде чем сказать ему свое «нет» — не стоит ли задуматься о том, что ведь и сама по себе свобода воли, самостоятельность решений, обретенные человеком, осознавшим свою суверенность, — обретение поистине огромное? Не стоит ли задуматься о том, что в этом тоже — один из «секретов» обаяния лермонтовского героя?..

Сфера жизни, в которой Печорин может проявить свободу воли и действовать суверенно, — чудовищно, до предела сужена. Она попросту ничтожна.

Более того, и само нравственное содержание поступков, которые совершает Печорин в этой единственно доступной его свободной воле сфере жизни, тоже никак не вызывает симпатии. Добролюбов обвинил в свое время Печорина в склонности к безделью, в нежелании найти себе настоящее дело, «подумать о том, куда девать свою душевную силу». Это несправедливо и внеисторично. Но когда он пишет, что Печорин «проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерется без надобности», — в словах этих много горькой правды.

И все же Белинский куда более прав, когда говорит о Печорине. «Ла, в этом человеке есть сила духа и могущество воли... в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него...»

Заметим, во-первых, что уже и в самом ничтожестве занятий Печорина есть парадоксальное достоинство, ставящее его неизмеримо выше людей, занятых куда более существенными «практическими» делами. Да, он выказывает отвагу в пустяках, ссорится без надобности, влюбляет в себя неопытную девицу, не имея в виду ни соблазнить, ни жениться на ней. Он ничего не ждет от жизни и ничего от нее не требует, ни к чему не стремится. «Его характер — или решительное бездействие, или пустая деятельность», — справедливо говорит о нем Белинский.

Но что же — он стал бы выше в наших глазах, и мы хоть частично удовлетворились бы, если бы он преследовал в своих действиях какую-нибудь практическую цель — ну хотя бы стремился если не жениться на княжне Мери, то соблазнить ее или мечтал об очередной звездочке на эпюлетах, как Грушницкий?..

Всеобщность отрицания, полнейшее отсутствие всякого желания чего-то добиваться, бескомпромиссный разрыв всех связей с обществом, могущих поставить его в какую-либо зависимость, — короче, полное и действительное неприятие жизни, которой живет презираемое им общество, — вот та непроходимая черта, которая отделяет его от всякого рода Грушницких, у коих разочарование — всего лишь поза, и презрение к жизни — модное притворство. Именно здесь — один из главных источников его обаяния и его человеческой значительности, ибо в полноте его отрицания — масштаб и его запросов, мера тех притязаний, за невозможностью удовлетворения которых ему не нужно от жизни никаких мелких подачек. Лучше уж драться без надобности и бесцельно волочиться за девицами. Не следует забывать, что бывают эпохи, когда даже само ничтожество занятий становится героичным, являя собой вызов рабству и подлости.

Конечно, — в Печорине ничто не выдает присутствия каких-либо общественных интересов. Лермонтов, правда, и не принуждает своего героя высказываться по политическим вопросам — два-три глухих намека, не более. Но дух скептицизма, неверия, отрицания, резко сказывающийся во всем внутреннем складе Печорина, в жестокой холодности его беспощадных афоризмов, в самом его уходе всецело в «частную» жизнь, — говорит сам за себя. Он не Онегин, который

мог еще и толковать об Адаме Смита, и удивлять окрестное барство своими либеральными нововведениями, для которого была открыта еще дорога к декабризму, который жил во времена, когда идеалы еще не были разъяты скепсисом и люди искали пути служения им. У Печорина другая судьба.

Но разве судьба эта и безразличие это к общественным вопросам аполитичны? Разве он выказывает хоть малейшую склонность идти проторенной дорожкой светской черни?

Да, он служит, он офицер — как это «прилично» молодому светскому человеку, — но он отнюдь не выслуживается. И когда он говорит: «Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами», — понять, какое честолюбие он имеет в виду, нетрудно: палачи, лизоблюды, доносчики, продажные шкуры преспокойно делали в те времена карьеру, добивались и власти и могущества, и никакие обстоятельства им не препятствовали в этом. Когда он говорит, что, стремясь добиться счастья и славы, он только зря потратил время на учение и науки, потому что «самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким», — он именно и признается в своей неспособности быть таким же ловким невеждой, как другие. Мы видим, как это видел в свое время уже Белинский, что «он и даром бы не взял того счастья, которому завидовал у этих других х...»

И не случайно офицерная литературная критика с таким ожесточением набросилась на роман Лермонтова, едва только он успел появиться в печати. «Печорин не герой нашего времени!» — иступленно голосил неизвестный Шевырев. «...Если явления, подобные Печорину, типичны для Западной Европы... то в России этой болезни нет!» Причина его «томительной скуки» и «апатии» — «в западном воспитании, чуждом чувству веры!» Он принадлежит «миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада»!..

Прием этот, ставший впоследствии усилиями крепостников и прочих мракобесов излюбленным методом политического доноса, был, конечно, употреблен патриархом российского охранительного клана отнюдь не сгоряча: сила удара, нанесенного российскому режиму реализмом Лермонтова, была слишком очевидна. Недаром Николай I находил роман «отвратительным», показывающим «большую испорченность

автора»: «Это то же преувеличенное изображение презренных характеров, которые находим в нынешних иностранных романах. Такие романы портят нравы и портят характер».

Еще бы!.. Показать, что тоска, скука, неприкаянность, пессимизм характерны для лучших, мыслящих людей, живущих в государстве, призванном демонстрировать образец идеального общественного устройства, процветающего волей просвещенного монарха, — какой деспотический режим способен отнестись спокойно к подобной пощечине? Показать как героя времени человека, какой предпочитает умереть со скуки, но не служить «на благо отечества»!..

«Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это, — говорил Герцен, — при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции».

Так обстоит дело с общественным смыслом «ничтожности» печоринских занятий, проявлений его «свободной воли». И уже поэтому в индивидуалистической свободе Печорина есть зерно действительной истины, искра подлинной человеческой поэзии.

Но дело не только в этом.

Лишь осознав себя суверенным существом, человек способен утвердить себя как человека. Как ни мало подлинного счастья приносит Печорину его стремление всегда и всюду действовать по собственному разумению и собственной воле, как ни ложно употребляет он эту обретенную им внутреннюю свободу побуждений, все же нельзя не признать, что она сообщает любому его поступку то неуловимое качество, которое в самых пошлых ситуациях не позволяет назвать Печорина пошляком и заставляет сохранять к нему уважение.

Вам кажется, что, преследуя княжну Мери, стремясь насытить свою «ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути», Печорин слишком часто напоминает этакого записного «покорителя сердец», прожженного ловеласа и интригана? Но не забудьте, с какой беспощадной по отношению к себе откровенностью признается Печорин во время последнего свидания с княжной в истинном характере своих побуждений, какой гордый вызов заключен в этом нежелании скрашивать их жестокий и страшный смысл каким-либо «приличным» объяснением, выставляющим его в более или менее выгодном свете!..

Определяя в свое время условия, наибо-

лее благоприятные для развития героических характеров, Гегель относил их к эпохе, когда индивидуальность не была еще скована цепями общественного права. В героях древности он видел людей, свободно распоряжающихся своей судьбой, несущих на своих плечах всю тяжесть ответственности за свои поступки. Герои, писал он, «суть индивидуумы, которые по самостоятельности своего характера и руководясь своим произволом, берут на себя бремя и совершают весь поступок». Герой «весь нераздельно отвечает за все те последствия, которые получаются из его действий», тогда как сейчас, в цивилизованном нашем обществе, замечает Гегель, «совершив запутанный и разветвленный поступок, каждый ссылается на всех других и, насколько это только возможно, отбрасывает от себя вину», оправдываясь обстоятельствами, общественными условиями и т. п., заставившими поступить его так, а не иначе. «Самостоятельный, крепкий и цельный героический характер не хочет делить вины и ничего не знает об этом противопоставлении субъективных намерений объективному деянию и его последствиям», — он действует всегда по собственному почину и, не разделяя вины и искупления, отвечая «за все свое деяние всей своей индивидуальностью», всегда готов заплатить за полноту своих притязаний жизнью.

Да, как ни парадоксально это кажется на первый взгляд, но и в облике Печорина есть тоже нечто истинно героическое. Герой Нашего Времени — герой не просто в специфически-литературном смысле слова. И недаром Лермонтов закончил свое «Предисловие» к «журналу Печорина» следующими словами: «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю».

Как ни ничтожны и даже ни безнравственны поступки Печорина, его «демонизм», — в них есть гордость убежденная, последовательность свободно избранного и бескомпромиссно ответственного перед совестью принципа. Печорин никогда не будет прятать ни от себя, ни от других истинный характер своих побуждений, он не унижит свои принципы лицемерием или отступничеством, он всегда готов отвечать за них перед всем миром. И пусть сфера его свободных волеизлияний никак не напо-

минает то «героическое состояние мира», о котором писал Гегель. Так же, как и классические гегелевские герои, Печорин не ищет себе оправдания ни в чем, не сваливает своей вины на обстоятельства или на кем-то выданное разрешение — он сам подлинный творец своей судьбы, какова бы она ни была, и может гордиться этим. В этом гордом веянии суверенного человеческого духа, в этой безраздельной полноте ответственности за свои поступки, которую Печорин берет на себя перед всем миром, он человек, действительно достойный называться человеком. И нам, людям двадцатого века, людям, верящим в торжество на земле подлинно гуманистического идеала, это ясно более, чем кому-либо. Разве не составляет одну из важнейших фаз развития гуманистической личности это самоутверждение человека как человека, это обретение им в себе свободной, суверенной личности? Гуманизм без свободы не существует и не может существовать.

7

Но и свобода человека становится высочайшей человеческой ценностью только на путях гуманизма. Нет этого сочетания — и она может оказаться свободой самых античеловечных, противоречащих природе человека проявлений, свободой умирания в человеке человека. И это тоже подтверждает опыт жизни Печорина, ибо, как ни ценны и ни близки нам те истинные обретения, что есть в этом опыте, он не может быть истинным в своей цельности.

Указать на эту ненормальность, осудить индивидуализм Печорина как жизненную программу, как философию жизни не составляет уже для нас, сегодняшних людей, особого труда. В этом преимущество не наших личных интеллектуальных способностей, а нашего времени. Так стоит ли злоупотреблять этим преимуществом и клеймить человека, и без того жестоко расплатившегося собственной жизнью, безысходностью ее трагизма за свои заблуждения? Не лучше ли, поняв природу этих заблуждений, оценить значительность тех истин, на которые они нам указывают, и отдать должное реализму и проницательности Лермонтова, сумевшего через пристальный и неутомимый анализ движений печоринской души обнажить перед нами эти истины?..

Всмотримся — на протяжении всего рома-

на Печорин неустанно демонстрирует верность своему принципу: принимать страдания и радости других только в отношении к себе, как «пищу», поддерживающую его душевные силы. Вторжение «в мирный круг честных контрабандистов», вырванная из родной семьи и брошенная Бэла, упорное преследование княжны Мери, ее обманутая любовь, смерть Грушницкого, холодное пари с Вуличем, где ставкой жизнь человека, — и вправду словно «топор в руках судьбы», словно «орудие казни!» И «всегда без сожаления», всегда и во всем — лишь «для себя, для собственного удовольствия...»

Но что же? Каковы результаты?

«Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою...»

Ну, а как с декларированным «первым моим удовольствием» подчинять «моей воле все, что меня окружает»? Насколько подтверждено то уверение, что «возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха» — «первый признак и величайшее торжество власти», что «быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права», — «самая... сладкая пища нашей гордости», и что счастье и есть не что иное, как «насыщенная гордость»?

Да. Печорин не устает «подчинять своей воле все окружающее», служить «причиной страданий и радостей» других, «не имея на то никакого положительного права», и, следовательно, недостатка ощущения «насыщенной гордости» у него нет. Но где же второй член тождества — счастье?

Увы, вместо счастья — утомление и скука. Попытки обмануть себя разнообразием насыщающей гордость «пищи» не дают результата — оказывается, что к жужжанию чеченских пуль можно привыкнуть почти так же, как к писку комаров, а невежество и простосердечие дикарки так же надоедают, как и кокетство знатной барышни... И даже в лучшем из забвений — истинной и глубокой женской любви — настоящего забвения все же опять-таки нет: ведь и ее дары, поглощаемые как пища для поддержания душевных сил, в сущности, уже не дары, а заранее взвешенное удовольствие. При известном житейском опыте в них нет с этой точки зрения никакой новизны: холодный рассудок, ведущий счет добытому, заранее знает порядок этих наслажде-

ний, длительность и насыщающую способность каждого из них. «Она недовольна собой; она себя обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть — вот что скучно!»

И жизнь становится «пустее день ого дня», и если и продолжаешь жить, то разве лишь из любопытства: все «ожидает чегото нового... Смешно и досадно!»

Каждый шаг Печорина — словно издевательская насмешка судьбы, словно камень, положенный в протянутую руку. Каждый шаг его с неумолимой последовательностью доказывает, что полнота жизни, свобода самовыявления невозможны без полноты жизни чувства, а полнота чувств невозможна там, где прервана межчеловеческая связь, где общение человека с окружающим миром идет лишь в одном направлении: к тебе, но не от тебя.

Нет, видимо, счастье — это все же не насыщенная гордость, и быть причиной страданий или радости другого — иллюзорное удовольствие, если ты не имеешь на это никакого «положительного права». Ибо право свое на это ты можешь ощутить только тогда, когда заплатил за него равной монетой, когда обращенные к тебе ненависть, любовь, нежность, восхищение, страх, озлобление, преданность, признание достаются тебе не как случайный и незаконный, полученный не по адресу дар судьбы, а завоеванный твоей собственной любовью, нежностью, ненавистью, мужеством и преданностью. Иначе, когда в дарах этих нет твоей собственной крови, отзвука твоих собственных чувств, возвращения тебе затрат твоего собственного сердца — нет и удовлетворения. Человек — это по самой своей природе «общественное существо» — не приспособлен для самоизоляции, для замкнутого существования в себе самом. Радости и страдания других действительно нужны ему, как пища, но они становятся действительной пищей его жизни лишь тогда, когда они рождены как ответный и равный отклик, когда они получены в процессе того межчеловеческого общения, критериями которого являются именно добро, благородство стремлений, справедливость, равенство, невозможность быть счастливым, не давая счастья другому.

И как решительно подтверждает это вопреки выкладкам печоринского рассудка уже и самый опыт немногочисленных радостей его души! Нет, душа его не вовсе «ис-

порчена светом» — это напрасное обвинение, обвинение не по адресу. Она-то как раз, поскольку она живет, и не может заглушить в себе действительных своих потребностей. Она помнит, что именно былой «пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни». Вопреки всем уверениям Печорина, что он лишь для собственного удовольствия добивается любви молоденькой княжны Мери, душа его страстно жаждет истинной, зависимой влюбленности, и Печорин с удивлением ловит себя на том, что ждет встречи с Мери. «Наконец, они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужели я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать».

Он уверяет себя, что постоянная привязанность — всего лишь «жалкая привычка сердца». Но он вынужден признаться, что его, пожалуй бы, удовлетворила эта «жалкая привычка». Он смеется над своей «глупой» природой, но с трепетом вслушивается в невольные, манящие какой-то неясной надеждой движения своего сердца. И не без радостного удивления он чувствует, что при возможности потерять Веру она становится для него вдруг всем, становится дороже всего на свете!.. «Уж не молодость ли со своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять?..»

Белинский был прав, сказав о нем: «Пусть он клеветает на вечные законы разума, поставившая высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клеветает на человеческую природу, видя в ней один эгоизм... Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы...»

Благодатный дождь не оросил засохшую землю — Печорину не суждено было понять этот внутренний голос человеческой природы и пойти за ним. Верный сын своего времени, вечный мученик разума, послушный только его приговорам, Печорин остался пленником своего рокового убеждения: только победа мысли, увидевшей, обосновавшей и признавшей правомерность и необходимость иного пути, чем индивидуализм, могла бы освободить его от тяжких вериг нравственного кодекса индивидуализма, а именно этого-то как раз и не произошло. И потому, хотя избранный им путь и не принес ему счастья, и он сам это сознает и стра-

дает от внутренней пустоты, от скуки, от невозможности ощутить себя живущим действительной полной жизни, он остается верен все-таки именно этому пути: ничего другого, что могло бы казаться более бесспорным, разумным, способным выдержать холодный и трезвый суд разума, он не видит. Голос сердца, его естественных потребностей не успел еще озарить его догадкой, что именно он и есть голос истины. Истина — действительная истина, вобравшая в себя все обретения, всю трезвость его нынешнего взгляда на жизнь, — осталась для него закрытой. Он сумел отбросить иллюзорный гуманизм религиозного сознания, но истины иного — высшего, действительного — гуманизма не обрел...

Что ж, истина — вещь дорогая. За нее платят иной раз и жизнью. И чтобы добыть ее, иной раз нужны усилия многих поколений. Одной жизни на это может и не хватить.

Но зато всякая жизнь, бывшая действительным поиском этой истины, навсегда входит в духовный опыт человечества. И если историей своей жизни Печорин указал на путь к этой истине тем, кто с сочувствием, состраданием, с напряженнейшим интересом, захваченный беспощадной откровенностью и предельной искренностью, выслушал его исповедь, то не достаточное ли это оправдание его горькой судьбы?

Повторяю, вполне может быть, что истина эта не вполне осознана даже и самим Лермонтовым, — недаром еще Белинский отметил в свое время, что «хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство». Эта близость автора к герою, сказавшаяся в том, что «он не в силах был отделиться от него и объективировать его», справедливо была оценена Белинским как художественный недостаток романа и как причина некоторой неопределенности, «недоговоренности» его общей идеи. Это так. И все же объективная логика реалистического изображения достаточно определена. Она говорит сама за себя.

Историей жизни Печорина Лермонтов рассказал нам, читателям, о том, что путь индивидуализма противоречит природе человека, ее действительным запросам. Он еще раз убедил нас, что полные и высшие радости, подлинную полноту жизни живая человеческая душа начинает обретать лишь

там, где связь между людьми строится по законам добра, благородства, справедливости, гуманизма. Он поведал нам о том, что только на этом пути свобода воли, самостоятельность решений, обретенная человеком, осознавшим свою суверенность, раскрывает свою истинную цену. Так же — как и трезвость мысли, реалистичность взгляда на мир, глубокое и трезвое знание человеческого сердца.

* *
*

Таковы итоги рассказанной нам Лермонтовым «истории души человеческой». Итоги, которыми дарит нас объективная логика романа, его реализм. Итоги, в которых выразились трагически противоречивые, но несомненные завоевания передовой гуманистической мысли тридцатых годов прошлого века.

Впрочем, — мне могут заметить, что взгляд на Печорина, изложенный выше, уже устарел. Моя статья была сверстана, когда появилась работа А. Титова «Лермонтов и «герои начала века» («Русская литература», № 3, 1964), из которой следует, что Печорин — вовсе не «лишний человек» тридцатых годов, не представитель поколения последекабристской эпохи, а декабрист. Один из тех, кто случайно уцелел после разгрома восстания и чью психологию и идеологию следует понимать именно как психологию и идеологию декабриста. Доказательства? Разумеется — «Лермонтов был связан по рукам и ногам цензурными условиями и не мог, следовательно, прямо указать на декабристское прошлое своего героя». Но разве, раскрывая психологию Печорина, романист не чувствовал «себя намного свободнее, поскольку здесь он оперировал уже гораздо более тонкими категориями, подчас неуязвимыми для цензуры»? И вот, обращаясь к этим «тонким категориям», к этим «намёкам», которыми «оперировал» Лермонтов, А. Титов «расшифровывает» «заднюю мысль», «декабристский смысл романа», «не разгаданный» даже Белинским. И мы с удивлением спрашиваем себя, как же это раньше мы не догадались, что, заявляя о своем намерении уехать куда-нибудь подальше, в Америку или в Аравию (но только не в Европу), Печорин выражает не просто обычное для людей его склада отвращение к лицемерной европейской цивилизации, но «приоткрывает перед читателем один из сокровенных уголков своей

души, выдает — хотя и косвенно — свои декабристские убеждения» (известно ведь, что «демократический строй Соединенных Штатов Северной Америки большинство декабристов признавало образцом для своих собственных конституционных проектов...»). При помощи такого же рода сопоставлений мы обнаруживаем, что под «бурями и битвами», о которых говорит Печорин, сравнивая себя с матросом разбойничьего брига («его душа сжилась с бурями и битвами...»), он имеет в виду, конечно же, восстание декабристов, а под «предками», что были способны к «великим жертвам для блага человечества», — декабристов. Что сам он — «возможный участник» восстания и «лично пережил крушение дворянской революции». И что принадлежит он к той «связанной с движением группе лиц», которая «по тем или иным причинам» не обладала «стойкостью и последовательностью политических взглядов»...

Ну что ж, скажет читатель, статья выдержана, стало быть, в традициях той литературоведческой школы, которой принадлежит честь открытия, что Клеопатра из «Египетских ночей» Пушкина — это свобода, ее любовники — декабристы, а их ложе — Сенатская площадь. Справедливо. Но если бы дело сводилось только к этому, о статье вряд ли нужно было бы в данном случае упоминать. Показательно в ней другое — стремление автора всеми силами уйти от рассмотрения действительных проблем романа, действительного содержания образа Печорина, — хотя бы даже с помощью и таких вот псевдонаучных изысканий. Лишь бы только не остаться лицом к лицу с холодным скепсисом Печорина, с его индивидуализмом и эгоизмом, лишь бы избавить себя от необходимости ответить за него перед судом современности!.. Разве это не показательная тенденция?

И еще. Как видим, статья А. Титова спорит — и агрессивно спорит — с тем взглядом на Героя Нашего Времени, который видит в нем именно человека последнего кабристской эпохи — эпохи сложной, трагически противоречивой. Но отнюдь не бесплодной. Это очевидно. Но как спорит А. Титов? Очень странно. Называются имена тех или иных исследователей, исповедующих неуютную нашему оппоненту точку

зрения, — один, другой, третий. Но полноте, разве эта точка зрения — их собственное изобретение? А где же Белинский и Герцен?

Здесь статья А. Титова тоже, к сожалению, показательна для определенной тенденции. Она вызывает желание сказать: вы хотите спорить? Извольте. Но будьте любезны — с открытым забралом. Вопрос для нашего времени слишком серьезный, чтобы можно было делать вид, будто и не существует традиции мысли, начало которой положили великие современники Лермонтова.

Живая связь этой мысли с нашей сегодняшней гуманистической концепцией человека, с проблемами жизни современных людей несомненна. Так же, как несомненна значимость для нас духовных поисков героя лермонтовского романа, поисков, в которых выразились в се об щ и е моменты жизни человеческого духа, ибо те проблемы, что стояли перед героем романа и толкали его на путь исканий, — это проблемы, имеющие действительно непреходящее значение, и перешагнуть через них не может ни один человек, сознательно выбирающий свой жизненный путь. В том числе и человек, видящий в коммунизме «возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человеческому», «подлинное разрешение противоречий между человеком и природой, между человеком и человеком, между индивидом и родом».

«Такой коммунизм, — как сказано у Маркса, — = гуманизму». И с позиции «такого коммунизма», как «завершенного гуманизма», не может быть, разумеется, никаких сомнений в высочайшей значительности для нашего сегодняшнего времени гуманистических исканий прошлых эпох.

Такой коммунизм вбирает в себя весь многовековой опыт развития гуманистической природы человека. Он — подлинный наследник всех завоеваний предшествующей культуры гуманизма, он — действительно «завершенный гуманизм».

Потому-то и живут живой, полнокровной жизнью в сегодняшней нашей духовной культуре далекие герои прошлых эпох, воплотившие собой извечный поиск человеком человека в самом себе. Потому-то и сохраняют для нас все непосредственное, живое значение и духовные искания лермонтовского героя.



В. КАВЕРИН

★

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

(К 70-летию со дня рождения)

1

Он был мягкий, уступчивый, подчас нерешительный человек. Но могучая воля исследователя, сурово и непреклонно стремящегося к цели, не оставляющего в стороне ни одного самого ничтожного факта, если он может служить делу, видна в его рукописях, написанных твердым, поражающим своей определенностью почерком. Многое в его архиве еще не разобрано, но когда удастся проследить главную мысль, десятки других, на первый взгляд незначительных, выстраиваются — и становится ясно, что весь этот беспримечный труд произведен для того, чтобы написать две или три строки романа.

«Дело идет о маленьком абиссинце, который попал в Россию, во Францию, снова в Россию, женился на пленной шведке, капитанской дочке, пошли дети, и четырнадцать абиссинских и шведских сыновей все стали русскими дворянами.

Так началось русское Ганнибалство, веселое, сердитое, желчное, с шутками, озорством, гневом, свирепостью, русскими крепостными харамами, бранью, нежностью, любовью к пляскам, песням, женщинам...» (Рукопись).

Так в старой конторской книге Юрий Тынянов начал свой роман «Пушкин» — с главы о Ганнибалах, от которой — так же как и от многих других — он впоследствии отказался. Если перевернуть конторскую книгу и начать чтение с последней — а теперь опять с первой — страницы, вы встретитесь с автобиографическими рассказами Тынянова. Первый рассказ начинается так:

«Я родился в 1894 г. в городе Режице,

часах в 6 от мест рождения Михозлса и Шагала и в 8 от места рождения и молодости Екатерины I. До войны город был Витебской губернии, теперь Латвийский. В городе одновременно жили: евреи, белорусы, великорусы, латыши, и существовало несколько веков и стран. В староверском скиту тек по желтым пескам ручей, звонили в било (отрезки рельсов; колокола были запрещены), справляли на бешеных конях свадьбы. Потом разводились, и тогда тоже мчались на конях, загоняли их. Там ходили высокие русские люди XVII века; старики носили длинные кафтаны, широкополые шляпы; бороды были острые, длинные, сосульками. Пьянства случались архаические и опять-таки кончались ездой. «Конь разнес» — это было еженедельное событие. Однажды хмельного старика конь нес до Двинска (203 версты).

Я помню на ярмарках, на латышских кермашах (старое немецкое слово: *Kermesse*) этих высоких людей и их жен в фиолетовых, зеленых, синих, красных, желтых бархатных шубках. Снег горел от шуб. Все женщины казались толстыми, головы не по гелам малыши.

Они были верны в дружбе. Отец молодым врачом жил у старовера. Он посадил в саду яблоню. Каждый год, десятки лет, приносили нам яблоки с Тыняновки: «Кушай, Аркадьевич». Люди уходили из скита в город — печниками, малярами, плотниками. Случалось, печники возвращались миллионщиками. Звали всех этих высоких людей по-птичь: Синица, Соловей, Воробей. Помню, напротив, сад печника с павлинами, которые грубо кричали...

Я застал еще в городе мистерии. Сапож-

ники и хлебопеки надевали бумажные костюмы, колпаки, брали в руки фонарь, деревянные мечи и ходили вечерами по домам, представляя смерть Артаксеркса.

На свадьбах бывали бадханы, шуты. Они объедались и опивались; все смотрели на них, раскрыв рты, хохотали долго, валились под стол, хватали друг друга за руки, повторяя, объясняя, тыча пальцем в шута. В городе было много сумасшедших; они бегали по улицам. Ими забавлялись, как было принято на востоке в XVIII веке. У каждого было свое лицо, свой характер, роль, неожиданности. Их любили, как шутов на свадьбе.

Окраины города звались Америкой, и жители их — американцами. Это была другая страна. Нищета превзошла там понятные пределы, и люди оттуда уезжали в Америку. Я помню воющих, как по мертвым, женщин на дебаркадере вокзала, уходящий поезд и жандарма со строгим удовлетворенным лицом, притворяющегося, что не слышит. Оставшиеся жили в этой Америке; они жили более в Америке, чем где бы то ни было...

Там водились шарманщики. Они выходили в город на драку с мясниками; помню предводителя мясников — горбатого, толстого, с выпученными глазами, с острой бородкой, с раздутыми ноздрями нахала, с медленными, плавными движениями. Дрались они оглоблями. Дрались и одиночки — «посадские» (древний вид хулигана); помню, как спал в пыли однорукий приземистый человек — Мишка Посадский, его стриженую голову, тонкий песок. Посадские дрались камнями, так же как мастеровые; их возили в участок городовые; они сидели в ногах у городовых все в крови, точно покрытые свежей краской или освежаванные; извозчики помахивали кнутиками, везли медленно; городовые не платили.

Лавочки проводили жизнь в тщеславии. Вместо вывесок на многих дверях висела еще красная тряпица («красный товар») или заячья шкурка («меха»)...» (Рукопись).

Так Тынянов вглядывался в жизнь маленького городка, думая о книге, которую он писал медленно, возвращаясь к работе с перерывами в годы. Мир взрослых, его странная непоследовательность показаны в автобиографических рассказах со всей свежестью и остротой детского зрения. Время детей и время взрослых протекает с разной быстротой. Ни драки между мясниками и

шарманщиками, ни средневековые мистерины не удивляют взрослых, жизнь которых идет своим чередом.

В той же конторской книге удалось разобрать заметки, относящиеся к отцу Юрия Тынянова, известному в городе врачу, которого — как я убедился, приехав нынешним летом в Резекне (бывшую Режицу), — до сих пор помнят и любят...

«...По вечерам, когда в столовой никого не было, а мать куда-нибудь уходила, он осматривал комнату косым, скучным взглядом, не замечая меня. Вздохнув, он запускал руку в карман и осторожно, как бы нехотя, но с любопытством разворачивал бумажки, раскладывал на столе медяки: больные заворачивали монеты в бумажки. В бумажках попадались пуговицы, даже соль. Он ждал этого, он медленно огорчался...»

«Он яростно читал газеты; больных он принимал, как промежутки между известиями.

— Ого, — говорил он, — шутка сказать: Япония... Войдите!

Он принимал больного, громко говоря с ним, как с глухим, повторяя самые простые слова, как маленькому, писал рецепт, отпускал больного и заканчивал:

— А Япония... становится великой державой! Шутка сказать!

Отдыхая, он покрывался газетой — от мух. Так с ней и не расставался.

Прошлогодние газеты клались на стол в приемной.

Все радовались, когда приходил штабс-капитан. Штабс-капитан называл себя шнапс-капитаном, ему было лет восемьдесят, у него на шее болталась медалька за турецкую войну; у него были бакены, которые носили все военные и полицейские эпохи Александра II. Он усаживался в приемной, брался за газеты, пропускал все очереди. Потом в кабинете начинался громкий разговор:

— Как поживаете? — кричал отец.

— Не поживаю, а доживаю, — медленно и ясно говорил штабс-капитан. — Слыхали? Англия? Сделала представление. Чрезвычайно любопытное убийство в Петербурге. Но полиция не найдет. Она на ложном следе. Арестована жена. При чем тут жена?

Отец возражал, соглашался, уступал. Штабс-капитан говорил:

— А во вчерашней газете пишут: открыт новый способ лечить холеру. Турция что-то шевелится...

Штабс-капитан терпеливо и медленно рассказывал отцу прошлогодние новости. Больные ждали. Жаловался он на старость и летнюю жару, и отец прописывал ему рецепт. Он наслаждался!» (Рукопись).

Работая, Тынянов как бы прислушивался к своему детству, которое шло за ним медленно, но неуклонно. Если бы не было этого детства (и этих набросков, случайно сохранившихся в архиве писателя, добрая половина которого погибла в годы ленинградской блокады), мы, вероятно, не прочли бы тех страниц в романе «Пушкин», где первое дыхание поэзии налетает на маленького Александра, как ветер в Юсуповом саду в жаркое, полуденное время: «Стволы были покрыты мхом, как пеплом; хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне, слова приходили ему на ум. Сам того не зная, он долго бессмысленно улыбался и прикасался к белым грязным коленям. Они были безобразно холодные. Тогда, ленивый, угрюмый, он брел к пруду, к няньке Арине».

Не были бы написаны и те страницы, где маленький Пушкин бродит по дому неловко, бочком, замечая и понимая то, чего не понимают взрослые. Не было бы семейных вечеров, когда становилось ясно, что «у дома и у родителей были разные лица: одно — на людях, при гостях, другое — когда никого не было». Ни разговоров о политике, о войне, о государе. Ни внезапного восклицания одного из гостей: «А французы-то нас бьют да бьют!», напоминающего рассуждения «شناпс-капитана». Не было бы отрывистых и быстрых, без разбора, чтений — тайком, в отцовском кабинете. Словом, не было бы в нашей литературе детства Пушкина, написанного с бесценной подлинностью, потому что Тынянов знал, что «никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда» (Автобиография).

2

Я поступил в псковскую гимназию в том году, когда Юрий Тынянов кончил ее. Он был дружен с моим старшим братом и часто бывал в нашем доме. Отзвуки жизни старшего поколения доносились до меня то горячими спорами о Гамсуне и его лейтенанте Глапе, то стихами Блока, то гимназическими любовными историями — и жизнь

брата и его друзей представлялась мне загадочной, сложной, необыкновенной.

Это впечатление романтической приподнятости нарушалось в моем тогдашнем представлении лишь одним членом «компании» — Юрием Тыняновым. Среди этих юношей, кончавших гимназию, много занимавшихся и успевавших одновременно влюбляться, проводить ночи в лодках на реке Великой, решать философские проблемы века, — он был и самым простым, и самым содержательно-сложным. Он был веселее всех. Он заразительно хохотал, передразнивая товарищей, подражая учителям — и вдруг уходил в себя, становился задумчив, сосредоточен.

Он писал стихи. Но главным делом, которому еще в гимназии Тынянов решил посвятить жизнь, была история русской литературы.

Глубокая, всепоглощающая любовь к нашей литературе была основной чертой всей жизни Тынянова. Лишь поняв и объяснив ее, можно понять и объяснить его жизнь. И наука его, которой он не переставал заниматься, уже будучи известным романистом, была, в сущности, не чем иным, как жадным стремлением изучить русскую литературу, открыть и объяснить чудо этой литературы.

Я мало встречался с ним в те годы, когда он был студентом Петербургского университета, и знаю об этом периоде главным образом по его же рассказам. Его учителями были замечательные ученые, оставившие глубокий след в истории русской литературы и русского языка. Он слушал одного из крупнейших лингвистов начала века Бодуэна де Куртенэ. Он был учеником гениального Шахматова, маленького человека с тихим голосом, поражавшего всех своей необычайной скромностью: выслушав Тынянова, который был тогда на первом курсе и хотел посоветоваться с Шахматовым по поводу своего реферата, он сказал: «Да, да. Я тоже все собираюсь заняться этим вопросом».

Впоследствии, когда многое было пересмотрено, когда оказалось, что время испровергло многих богов литературной науки, Шахматов по-прежнему оставался для Тынянова открывателем нового, ученым, умевшим соединять бесконечно далекие научные понятия и постигающим истину на путях их скрещений. Однажды Тынянов рассказывал мне, как в 1918 году пришел в

университет на лекцию Шахматова. В аудитории, кроме него, было еще два или три студента. Это не остановило профессора, и он начал свою лекцию, как всегда, в назначенный час. Он читал, не замечая времени; электричества не было, стало темнеть, и Тынянов, записывавший каждое слово, вынужден был писать все более и более крупными буквами. Наконец стемнело совсем, короткий зимний день кончился, но лекция продолжалась. Я видел среди бумаг Тынянова эту лекцию, записанную в полной темноте — огромными буквами, по два-три десятка слов на странице.

Да, Тынянов никогда не порывал с лучшими традициями русской науки, но беря и с любовью отбирал из нее все, что могло помочь новому поколению филологов, среди которых он был, без сомнения, самым вооруженным бойцом. Он учился у известного С. А. Венгерова, о грандиозных затеях которого всегда отзывался с глубоким уважением, хотя и предвидел, что они не будут доведены до конца. Вот что он писал в набросках автобиографии, которую я нашел в его архиве: «Венгеров был старый литератор, а не университетский профессор... Этот семинар скорее напоминал литературное общество, чем студенческие занятия. У Венгерова читали обо всем, и он всем интересовался. Руководитель с седой бородой вмешивался в споры, как юноша... Он научил нас работать над документами, рукописями. У него были снимки со всех пушкинских рукописей Румянцевского музея. Он давал их изучать каждому, кто хотел».

Работая в этом семинаре, Тынянов стал заниматься Кюхельбекером, о котором в то время знали только одно — что он был другом Пушкина и что лицейские друзья смеялись над его стихами. Страхов писал Толстому в 1878 году: «У него (Семевского.— В. К.) оказалось большое собрание ненапечатанных стихов и прозы Кюхельбекера и его дневник. Куча тетрадей произвела на меня самое привлекательное и грустное впечатление. Но я побоялся труда и времени, которые будет стоить чтение и обдумывание этих рукописей. А ведь Вы хвалили Кюхельбекера?»

Тынянов не побоялся труда и не пожалел времени. Он был первым человеком, который прочитал это собрание стихов и прозы Кюхельбекера и впоследствии опубликовал их.

«Кюхельбекер трогателен», — ответил Страхову Толстой. Именно эта «трогательность» Кюхельбекера, его человечность, его неловкое, неуклюжее, но алмазно-чистое стремление к справедливости привлекли внимание Юрия Тынянова к этой тогда полностью забытой фигуре. Он стал изучать Кюхельбекера и изучал его, в сущности, всю жизнь. Он написал о нем большую работу, главы которой читал на заседании пушкинского семинара. В 1918 году эта первая научная работа Тынянова вместе с его бумагами и библиотекой сгорела в Ярославле во время белогвардейского мятежа. Впоследствии он разыскал почти все написанное Кюхельбекером и издал собрание сочинений этого неровного, но интересного поэта. Он написал о нем роман, ставший любимым чтением для детей и взрослых, роман, который один, по мнению Горького, «гасит всю сухую бессильную болтовню не только одного Мрежковского».

3

В 1919 году студент первого курса, служивший в студенческой столовке хлеборезом, поэт и частый посетитель московского «Кафе поэтов», я бродил по военной, заваленной снегом Москве с туманной головой и неопределенным, но страстным стремлением поразить человечество: чем — неизвестно, но непременно поразить, и как можно скорее! Тынянов, приехав из Петрограда в командировку, нашел меня и уговорил переехать к нему. Сам не знаю, почему мне пришлось по душе эта мысль. Может быть, потому, что город Пушкина, Петра, Медного Всадника, декабрьского восстания был одним из тех городов, которые стоило завоевать, тем более что в Москве мне не удалось добиться признания даже той маленькой поэтической группы, которая называлась, не помню — «Зеленое кольцо» или что-то в этом роде, и в которую входили самые разнообразные люди, в том числе даже будущий известный врач-гинеколог.

Тынянов стал работать переводчиком во французском отделе Коминтерна, едва только тот был создан. Об этом стоит упомянуть, потому что в то время, когда развертывалась гражданская война, когда почти ни одно учреждение не работало — всюду царил саботаж, — поступление на советскую службу, да еще в Коминтерн, было не случайностью, а поступком.

Мне кажется, что работа в Коминтерне дала ему очень многое. Десятки необыкновенных людей прошли перед его глазами. Он встречался с деятелями международного революционного движения, и я помню, с каким волнением рассказывал он мне о горячих боях, в которых участвовал Марсель Кашен и другие.

Его первая книга «Достоевский и Гоголь» вышла в 1921 году и была посвящена доказательству того, что в «Селе Степанчикове» Достоевский высмеивал, пародировал гоголевские «Выбранные» места из переписки с друзьями». Уже в этой небольшой книге сказались характерные черты Тынянова как будущего писателя. Он не только увидел, но прочел Гоголя в главном герое «Села Степанчиковова», а прочтя, нашел тысячи подтверждений своей необыкновенной догадки. Поучающая «высоко нравственная», морализирующая фигура Фомы Опискина была поставлена рядом с Гоголем, и это неожиданное соседство оказалось приговором религиозному ханжеству «Выбранных мест из переписки с друзьями».

С интуицией художника Тынянов умел читать текст, нащупывая в нем внутреннюю, затаенную жизнь. Страницы, по которым равнодушно скользили глаза, открывались перед ним в новом, глубоком значении, становились вдруг ясными, живыми. Подчас не прибегая к свидетельствам современников, он умел находить в литературе картину борьбы направлений, той борьбы за «новое зрение», о которой он впоследствии написал в статье о Хлебникове: «Но есть литература на глубине, есть жестокая борьба за новое зрение, с бесплодными удачами, с нужными сознательными «ошибками», с восстаниями решительными, с приговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом деле бывают подлинные, не метафорические. Смерти людей и поколений».

Именно эта борьба за новое зрение была главной темой Тынянова в истории литературы. Ей посвящены его лучшие статьи — «Архаисты и Пушкин», «Пушкин и Тютчев» и многие другие.

Взгляните на эти статьи спокойным и беспристрастным взором — прошло много лет после того, как он расстался с последней из них — о Грибоедове, напечатанной уже после его смерти в «Литературном наследстве». Да, в некоторых есть склонность к терминологическим абстракциям. Но подавляющее большинство его научных работ

полны такой глубины, такого художественного восприятия литературы минувших лет! Я уже не говорю о том, какие драгоценные наблюдения сделаны в этих статьях, каждая из которых могла бы стать обширным исследованием неизученной области русской литературы. При этом у него никогда не было и тени педантизма, ложной гордости, стремления показать «ученость».

Почему-то принято думать, что в Тынянове как бы соединились два человека — исследователь и художник, что в его литературной биографии «художество» спасало его от ложной науки. Это кажется мне глубоко неверным. Художник всегда был очень силен в исследовательских работах Тынянова, а романы его были бы невозможны без того глубокого разреза истории, который он производил умным ножом исследователя. Он не стал бы романистом, если бы не был знатоком истории литературы, мастером исторического изучения, умевшим сопоставлять бесконечно далекие факты и делать из них выводы, неожиданно и блистательно опровергающие готовые представления.

Да, Тынянов был художником, когда, читая Пушкина или Катенина, он на основании едва заметного поэтического пунктира восстанавливал тайную, глубоко запятанную литературную полемику, сложнейшую историю их отношений. Он умел разгадывать новое не так, как раскрывают шифр, а так, как изучают почерк — с психологической глубиной.

4

В 1923 году Тынянов — уже семейный человек — служил корректором в Госиздате. Он окончил Петроградский университет, был оставлен при кафедре русской литературы, что в те времена равнялось аспирантуре. Но о дальнейшей работе в университете нечего было и думать. В ту пору факультетом еще руководили почтенные, но весьма консервативные люди, для которых история русской литературы кончалась Жуковским и Пушкиным. Тынянова в свою дистиллированную, академическую среду они не пустили бы. Да и не пустили!

Именно тогда и произошла изменившая многое в его судьбе встреча с Корнеем Чуковским. В своих воспоминаниях Чуковский рассказал о том, как был задуман и написан «Кюхля», и я не стану повторять этой известной истории. Добавлю только,

что наряду с внешними обстоятельствами, заставившими Тынянова приняться за прозу, были и другие, внутренние. Вот что он писал об этом в своей не опубликованной при жизни автобиографии: «В 1925 году написал роман о Кюхельбекере. Переход от науки к литературе был вовсе не так прост. Многие ученые считали романы и вообще беллетристику халтурой. Моя беллетристика возникла, главным образом, из недовольства историей литературы, которая скользила по общим местам и неясно представляла людей, течения, развитие русской литературы. Такая «вселенская смазь», которую учиняли историки литературы, понижала произведения и старых писателей. Потребность познакомиться с ними поближе и понять глубже — вот чем была для меня беллетристика. Я и теперь думаю, что художественная литература отличается от истории не «выдумкой», а бóльшим, более близким и кровным пониманием людей и событий, бóльшим волнением о них. Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда. «Выдумка» — случайность, которая не от существа дела, а от художника. И вот, когда нет случайности, а есть необходимость, начинается роман. Но взгляд должен быть много глубже, догадка и решимость много больше, и тогда приходит последнее в искусстве — ощущение подлинной правды: так могло быть, так, может быть, было».

В «Кюхле» Тынянов впервые подошел к историческому документу как художник: «Есть документы парадные, и они врут как люди, — писал он впоследствии. — У меня нет никакого пиетета к «документу вообще». Человек сослан за вольподумство на Кавказ и продолжает числиться в Нижнем Новгороде, в Тенгинском полку. Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его. И не полагайтесь на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его...»

Но самое совершенное знание материала, как известно, не создает еще художественного произведения. В «Кюхле» был создан характер. Писатель и революционер, «пропавший без вести, уничтоженный, осмеянный понаслышке», как писал Тынянов о Кюхельбекере в предисловии к собранию его сочинений, ожил перед нами во всей правде чувств, со всей трогательной чистотой своих надежд и стремлений. «Кюхля» — это роман-биография, но, идя по следам

главного героя, мы как бы входим в портретную галерею самых дорогих нашему сердцу людей — Пушкина, Грибоедова, Дельвига, и каждый портрет — а их очень много — нарисован свободно, тонко и смело. Везде чувствуется взгляд самого Кюхельбекера. Подчас кажется, что он сам рассказывает о себе, и чем скромнее звучит этот голос, тем отчетливее вырисовывается перед нами трагедия декабристов. Быть может, именно в этой скромности, незаметности и заключается сила характера, нарисованного Тыняновым.

В 1957 году роман вышел во Франции. «Вы откроете для себя не только Вильгельма и декабристов, но и великого писателя, — пишет Пьер Дэкс. — ...В нашу душу переходят боль, гнев, жгучее убеждение, что Кюхля завещал нам силу и волю, которые он потерял. Мы выходим из романа, пожираемые этой беспримерной страстью».

На последних страницах романа Кюхельбекер показывает жене на сундук с рукописями: «Поезжай в Петербург... это издадут... там помогут... детей определить надо». Этот сундук с рукописями впоследствии действительно попал в Петербург и долго находился в распоряжении одного из сыновей Кюхельбекера. Не знаю, какими путями, но в 1928—1929 годах к рукописям получил доступ некий антиквар, который, узнав, что Тынянов собирает все написанное Кюхельбекером, стал приносить ему эти бумаги, разумеется, по градации: от менее к более интересным. Тынянов тратил на них почти все, что у него было, и постепенно «сундук» перешел к нему.

Я помню, как в письме Туманского к Кюхельбекеру он нашел несколько слов, написанных рукою Пушкина. Это было торжество из торжеств!

5

В «Кюхле» Грибоедов нарисован бегло. Но и этот беглый портрет останавливает внимание своим несходством с готовым, сложившимся еще в школьные годы представлением об авторе «Горя от ума». Откуда взялось это представление? Произошло ли оно от скудных предисловий к академическим изданиям «Горя от ума», авторы которых откровенно признавались, что «трудно восстановить духовный облик Грибоедова» (Н. К. Пиксанов), или от понятия «классик», которое всегда было как

бы броней непогрешимости, скрывавшей от нас подлинную жизнь? Кто знает? Впоследствии в цитированной выше автобиографии Тынянов писал: «Я стал изучать Грибоедова — и испугался, как его не понимают и как не похоже все, что написано Грибоедовым, на все, что написано о нем историками литературы».

В свое время некоторые критики объявили «Смерть Вазир-Мухтара» мрачной, пессимистической книгой, хотя книга о трудной жизни и страшной смерти Грибоедова едва ли могла быть особенно веселой. Отдавая должное таланту Тынянова, они упрекали его в нарочитой усложненности образа Грибоедова, в субъективистском истолковании истории. На деле же не Тынянов усложнил историю, «а его критики пытались ее упростить», — справедливо замечает по этому поводу в своей вступительной статье к сочинениям Юрия Тынянова Б. Костелянец.

Известная мысль Ленина о трех поколениях, действовавших в русской революции, под рукой Тынянова впервые нашла художественное воплощение. В этом смысле «Смерть Вазир-Мухтара» дополняет и объясняет социальную картину декабрьского движения, нарисованную в «Кюхле». Что касается оценки психологической, в которой главную роль играет авторское чувство, определяющее позицию Тынянова-историка, то оно в полной мере выражено в предисловии к «Смерти Вазир-Мухтара», где проведена беспощадная грань между людьми двадцатых и тридцатых годов. «Людьми двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их... Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемешалась кровь! Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут».

Это — о страшной жизни Грибоедова, того Грибоедова, который не верит в удачу декабрьского движения и который падает в обморок от ненависти при виде Майбороды, предавшего декабристов.

Было бы, конечно, странно, если бы Тынянов поставил перед собою задачу доказать, что трагедия 14 декабря внушила русскому обществу надежду на лучшее будущее и вообще носила оптимистический характер. В таком случае роман «Смерть Вазир-Мухтара» был бы свидетельством

еще одной ложной концепции, от которых историки в наши дни не знают, как и освободиться.

В «Смерти Вазир-Мухтара» перед нами друг декабристов, отравленный горечью их неудач. Перед нами не хрестоматийный классик, заслуживший вечную благодарность потомства, но автор запрещенной комедии, не увидевший ни печати, ни сцены. Перед нами Грибоедов, у которого «в словесности большой успех», Грибоедов, разговаривающий со своею совестью, как с человеком. О «Горе от ума» в романе говорится мало, и вместе с тем весь роман — это как бы огромный психологический комментарий к гениальной комедии. Все ясно — и причина, по которой она, в сущности, осталась единственным произведением Грибоедова, и тот кажущийся парадоксальным факт, что автор этой комедии, распротранявшейся декабристами в целях политической пропаганды, стал полномочным министром — «Вазир-Мухтаром».

С пронизательностью тонкого дипломата в романе вскрыты интриги английской миссии, направленные против русского влияния в Персии. Кажется очевидным, что эта сторона романа основана на особенно тщательном изучении исторических документов — стоит только представить себе, какую политическую ответственность брал на себя Тынянов, рисуя деятельность британских резидентов при шахском дворе в Тегеране. Между тем лишь недавно, уже в наши дни, с выходом в свет книги С. В. Шостаковича «Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова» (М. 1960) стало ясно, насколько точна была художественная интуиция Тынянова. «Весною 1828 года, во время пребывания Грибоедова в Петербурге, там «случайно» оказался один из активных противников русского влияния на Среднем Востоке капитан Кемпбелл, секретарь британской миссии в Тавризе». Тынянов, без сомнения, знал об этом. Но он не знал, что «при встрече с Грибоедовым в Петербурге Кемпбелл бросил русскому посланнику весьма недвусмысленное предупреждение: «Берегитесь! Вам не простят Туркманчайского мира!»

«Там, где кончается документ, там я начинаю... — писал Тынянов. — Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ или не дошел до него, за его неизменным».

Именно так, с изумительной интуицией был угадан Грибоедов-дипломат — фигура, историческое значение которой лишь теперь в полной мере доказано исследованием С. В. Шостаковича.

«И полковник Макдональд проводит вечера напролет, запершись наглухо в кабинете с доктором Макнилем, который спокоен, как всегда» («Смерть Вазир-Мухтара»). Теперь мы знаем, о чем они говорили.

«И, как всегда, доктор Макниль остался в комнате, когда увели маленьких принцев и ушла мать. Вошли, осторожно ступая, три евнуха, как три шахских мысли: Манучехр-Хан... Хосров-Хан... и Мирза-Якуб... Они сидели неподвижно на коврах и разговаривали. Потом доктор Макниль пошел на второй визит к Алаяр-Хану... к Зилли-Султану, сыну шахову, губернатору тегеранскому.

Вот и все, что известно об этих визитах доктора Макниля» («Смерть Вазир-Мухтара»).

Теперь о них известно гораздо больше. Вот что сказано в книге С. В. Шостаковича: «Многотысячная толпа, в полном смысле слова потерявшая всякий человеческий облик, омывшая руки в крови защитников миссии, штурмом берет дворы британского посольства, убивает русских (находившихся там.— В. К.), грабит русское имущество в британской миссии и одновременно бережно относится к имуществу, составлявшему британскую собственность... Мыслимо ли вообще представить, чтобы сами обезумевшие фанатики во время резни русских четко отличали бы «дружественное» — британское от «вражеского» — русского, если бы не было среди них подстрекателей и вожжков, надлежащим образом наставленных организаторами разгрома русской миссии. Недаром Макниль писал своей жене в феврале 1829 года: «Я не сомневаюсь, что был бы в Тегеране в такой же безопасности, как и везде».

Мне хочется привести обратный случай в работе Тынянова — когда не отсутствие, а наличие достоверных по видимости документов искажало историческую картину. Работая над «Смертью Вазир-Мухтара», он был поражен историей Самсон-Хана. История эта была разработана известным археологом А. П. Берже, автором многочисленных авторитетных трудов по истории Кавказа. Тынянову показалось странным, что

Самсон-Хан, солдат-дезертир русской армии, в работах Берже показан как дворянин, случайно поступивший на службу к иностранному правительству: во время русско-персидской войны он будто бы отказался от участия в войне и уехал из Тавриза. По Берже получалось, что русский батальон дезертиров не выступил против русской армии. «Я решительно ничего не мог сделать с этой конфетной историей, — рассказывал Тынянов в статье для сборника «Как мы пишем». — И не пробовал. У меня не было под рукой никаких документов, опровергающих Берже, и все-таки я не мог писать вместе с Берже. Мне почему-то представлялся все время какой-то попечитель учебного округа эпохи Александра III, где-то, в какой-то гимназии уверяющий гимназистов, что «даже закоренелые преступники, и те, почувствовав раскаяние...» Бахадеран в ханском халате, убивший свою жену, как-то хмурился и не соглашался на свои горячие национальные чувства. Начальник гвардии не может отказаться от военных действий. И как персы позволили бы этому своему генералу пить кофе и шербет, когда их били? Разве из недоверия? Но батальон дезертиров, эти дезертиры, многожды битые и прогнанные сквозь строй — и ненавидящие строй, который их обидел, так-таки «не пожелали», «отказались» и т. д.? Нет. И сознательно, не имея документов, опровергающих Берже, я написал об участии Самсона и его солдат в битвах с русскими войсками и не чувствовал угрызений совести. А потом, уже после того как напечатал это, роюсь в каких-то второстепенных материалах, наткнулся на краткую записку генерала (кажется, Красовского), в которой тот требовал подмоги, потому что на левом фланге насаждают на него русские измешники. А насчет того, что Самсон уезжал из Тавриза во время войны, этот факт подтвердился. Но уехал он из Тавриза — в ставку персидского главнокомандующего Аббаса Мирзы».

Как свободно, хочется отметить, пишет Тынянов о своей работе! С каким изяществом! Можно подумать, что она не стоила ему такого уж большого труда. Но в глазах становится темно, когда вы открываете любую его рукопись с бесчисленными зачеркнутыми, восстановленными и вновь зачеркнутыми вариантами, проверенную беспощадностью историка и великой любовью к русской литературе.

6

Принимаясь за эту статью, я не представлял себе, как трудно мне будет писать о Тынянове. Это прежде всего объясняется тем, что мы были очень близки, и, вспоминая о нем, пытаюсь вновь оценить то, что он сделал, я невольно теряюсь, пытаюсь отделить важное от второстепенного, окруженный теми подробностями, которые в целом составляют жизнь, но которые интересны и важны только для меня одного.

Как рассказать, например, о том, что это был человек необыкновенного душевного веселья, которое сказывалось решительно во всем — и прежде всего в тонком остроумии, оставившем свой след только в семейных альбомах да еще в знаменитой «Чукоккале».

На каждую годовщину литературной группы «Серапиевы братья» он неизменно являлся с шутивным стихотворением в «одическом», высокопарном стиле. Одно из них, относящееся ко второй годовщине 1 февраля 1923 года, начиналось так:

Се красные собрались лики
Средь яств и брашен и убранств.
Зачем сей сонм? Сей вопль великий?
И клики радостных пианств?

Конечно, се Серапиевы
Идут неверною стопой
Почтить торжественно в день оный
Младый, двухлетний возраст свой...

И кончалось:

Итак, bibendum, или пей,
Иль просто пей, пока ты пьющий.
А Гофман в гробе мирно спи,
И жизнью пользуйся живущий.

Шуточные стихи, пародии, меткие, запоминавшиеся эпиграммы легко «вписываются» в тыняновский облик, потому что это был человек, дороживший ощущением легкости, живого общения, безопасности, свободы, обладавший редким даром перевоплощения, смешивший друзей и сам смеявшийся до колик, до упаду. Как живого видели вы перед собой любого из общих знакомых, любого из его героев. Ему ничего не стоило мгновенно превращаться из длинного, растерянного, прямодушного Кюхельбекера в толстенького, ежеминутно пугающегося Булгарина. Он превосходно копировал подписи. В архиве сохранился лист, на котором рядом с роскошной и все-таки канцелярской подписью Александра

Первого написано не крупно, быстро, талантливо, добродушно: «Поезжайте в Сухум. Антон Чехов».

Отмечая годовщину со дня смерти Льва Лунца, он написал ему письмо о друзьях, о литературе: «...Вы, с вашим умением понимать и людей и книги, знали, что литературная культура весела и легка, что она не «традиция», не приличие, а понимание и умение делать вещи нужные и веселые. Это потому, что Вы были настоящим литератором, много знали, мой дорогой, мой легкий друг, и в первую очередь знали, что «классики» — это книги в переплетах и в книжном шкафу и что они не всегда были классиками, а книжный шкаф существовал раньше них. Вы знали секрет, как ломать книжные шкафы и срывать переплеты. Это было веселое дело, и каждый раз культура оказывалась менее «культурной», чем любой самоучка, менее традиционной и, главное, гораздо более веселой...»

Если бы я был историком литературы, я бы непременно занялся отношениями между Тыняновым и Маяковским, который лучше, чем кто бы то ни было, умел «срывать переплеты и ломать книжные шкафы». Маяковский, встретившись с ним после выхода «Кюхли», сказал: «Ну, Тынянов, поговорим, как держава с державой». Тынянов писал о Маяковском как о великом поэте, возобновившем грандиозный образ, утерянный со времен Державина, чувствующем «подземные толчки истории, потому что и сам когда-то был таким толчком». Это ничуть не мешало ему шутить над «производственной атмосферой» Лефа. В его бумагах сохранился «Сон» — острый и одновременно добродушный шарж на редакционные совещания в Лефе.

«Мне снился сон, что я сотрудник Лефа и что Владимир Владимирович Маяковский спросил меня басом:

— Это вы — Тынянов, который, кажется, пишет исторические романы?

— Я... — ответил я трусовато.

— Что же вы — маленький или, может, вы позабыли, что мы в 1924 году с Чужаком обнародовали, что этого не должно быть? — спросил несколько сурово Владимир Владимирович.

— Я позабыл, — ответил я как можно простодушнее, все еще желая, чтоб меня похвалили.

Я действительно как-то позабыл о Чужаке.

— Загоскин, Мордовцев и Толстой тоже писали исторические романы,— сказал Владимир Владимирович, жуя папиросу.— Ничего нового. Садитесь, пейте чай.

Я сел на стул, но Владимир Владимирович легонько меня одернул:

— Не сюда. Это Брик.

Клянусь, никого на стуле не было.

«Ах, так вот он Брик, вот как он выглядит»,— подумал я, ошарашенный. Вот тебе и стул.

— Товарищи,— сказал Владимир Владимирович,— я долго вас слушал. Теперь мое слово. Никакой литературы. Согласны?

— Согласны,— сказала стриженная, как мальчик, барышня.

— Идите в газету.

Я почувствовал беспокойство. В какую? Я написал десять листов. Молчать нужно.

— В какую,— сказал я,— иди?

— Да не в какую, а вообще — газета,— сказала мне терпеливо барышня, похожая на мальчика.

— Тынянов, вы печатались в газете? — спросил меня Виталий Жемчужный.

— Иногда. Статьи. Объявления,— сказал я беззвучно.

— Объявления — это же в Моссельпром,— сказал мне Виталий Жемчужный.— Вы совсем начинающий. Молодняк.

Он слегка потрепал меня по плечу.

Вдруг один еще совсем молодой мальчик, к удивлению моему, возразил:

— Мы уже были. Не пускают. Говорят: не нужно.

— Как это не нужно? — сказал Виталий Жемчужный.— Это же социальный заказ.

— Они говорят, что мы не умеем.

Все засмеялись. Я тоже хотнул не без сарказма (может, простят роман?).

— Тогда пишите путешествия, как Витя,— сказал Владимир Владимирович.

— Но ведь, кажется, Карамзин уже...— вдруг пискнул я. Это у меня сорвалось. Барышня на меня посмотрела так, что я заерзал на стуле...

Но мальчик опять смело возразил:

— А если мне билета не на что купить?

Это был молодняк. Я посмотрел на него во все глаза и приободрился.

— Да, как с билетом? — спросил я смело

— Кирсанов,— сказал ему Владимир Владимирович,— сиди у себя на Варварке и опиывай ее. У тебя получится Париж. Родченко же описал.

— Товарищи,— сказала барышня,— полу-

чен социальный заказ из типографии: править корректуры прозой.

— Я вам слова не предоставил,— сказал Владимир Владимирович.— Пейте чай, если вы сотрудник. Когда в 1926 году мы вели борьбу с Полонским, мы решили: дисциплина на заседаниях. Пейте чай. Я сейчас буду читать новые стихи.

— Но ведь, кажется, Пушкин уже писал стихи? — пролепетал я, думая о том, что все-таки мое дело пропало. Да и молодняком быть не так сладко.

— Если бы жил Пушкин, мы бы его пригласили сотрудником в Лэф,— сурово ответил мне мой друг, Виктор Шкловский.

Я сразу почувствовал, что Пушкина приплел не к месту.

— То-ва-ри-щи,— покрыл нас басом Владимир Владимирович.— Я читаю стихи. Сначала идут условия, потом официальный отдел. О найме квартир прочтет Николай Николаевич. Это сначала, а потом...

Я сидел, слушал новые стихи Владимира Владимировича и думал, что было бы с Пушкиным, если бы старик вдруг отказался от сотрудничества в Лефе? Николай Асеев написал бы тогда «Путеводитель по Пушкину». Пушкин бы запил. Брошу я к чертовой матери романы! И я сильно захлопал, потому что Владимир Владимирович кончил официальный отдел. Потом Владимир Владимирович прочитал о Пушкине, потом о Лермонтове. Это были стихи.

Тут я испугался и задом — в переднюю.

По дороге задел этажерку и извинился. Может быть, Брик?»

Веселый, добрый, вежливый человек, любивший шутки и эпиграммы, Юрий Тынянов прожил незаслуженно-мучительную жизнь. Он рано и тяжело заболел — это было неудачей личной, несчастьем, касавшимся его и его близких. Но были другие, общие несчастья. Придя к нему однажды осенью 1937 года, я нашел его неузнаваемо изменившимся, похудевшим, бледным, сидящим в кресле с бессильно брошенными руками. Он не спал ночь, перебирая свои бумаги, пытаясь найти письмо Горького, глубоко значительное, посвященное судьбам русской литературы,— еще недавно мы вместе перечитывали его. Теперь его мучила мысль, что он сжег его нечаянно вместе с другими бумагами, в которых, разумеется, не было ничего преступного,— как это делали многие, почти все, не зная, что может случиться в ближайшую ночь. Я кинулся доказы-

вать, что письмо найдется, что он не мог его сжечь.

— Нет, мог,— сказал он с отчаянием.— Я не знаю, не вижу, что делаю. У меня голова помутилась.

И он заговорил о невозвратимой гибели архивов, свидетельств истории, собиравшихся десятилетиями,— бесценных коллекций, в которых отразилась вся частная жизнь России.

— Не только люди, память гибнет,— сказал он.

Ни прежде, ни потом, в самые трудные годы, я не видел его в таком отчаянии. Всегда он держался спокойно, с достоинством писателя, не забывающего, что он работает в великой литературе.

Письмо так и не нашлось.

7

Подчас казалось странным, откуда взялось такое тонкое постижение человеческой души во всех ее малейших изгибах у человека, жившего, в сущности говоря, комнатной жизнью? Болезнь рано ограничила возможности его поездок, да и самые поездки были связаны с попытками устоять против тяжелой болезни, которая терзала его много лет и свела наконец в могилу.

Но контраст между малым жизненным опытом и психологической глубиной его книг только видимый, кажущийся. Это был человек, который умел из наблюдений, подчас совершенно ничтожных, делать неожиданные, далекие выводы. Тифлис в «Смерти Вазир-Мухтара» написан по историческим материалам, но когда Тынянов приехал в Тифлис в 1938 году, перед его глазами открылся тот город, который он выстроил в своем воображении. Как известно, Кювье восстанавливал скелет доисторического животного по одной его кости. Так для Тынянова достаточно было одной подробности, чтобы восстановить весь строй — исторический, этнографический, лексический, к которому она относилась.

Меня поражало то богатство ассоциаций, то сопоставление бесконечно далеких подробностей, явлений, идей, которое было характерным для его таланта и которое помогало ему, не выходя из кабинета, широко и смело рисовать картины жизни петровского времени, двадцатых и тридцатых годов прошлого века, жизнь Пушкина, пятидесятых годов.

И еще одна черта, равно характерная для него как писателя и человека: он умел слышать тот шум времени, который доступен лишь деятелю, ясно представляющему себе движение истории, ход и столкновение исторических величин.

Не следует думать, что Тынянов был погружен в исторические изучения и лишь там находил источники своего вдохновения. Сила его как раз и заключалась в том, что это был человек глубоко современный, превосходно понимавший мировое значение новой полосы в истории России. Нет никаких сомнений в том, что произведения его не могли быть созданы в другое время. Исторические судьбы страны волновали его всю жизнь, и это волнение пронизывает его книги, написанные о далеких временах и тем не менее глубоко современных. «Ощущение нашей страны как страны великой, сохраняющей старые ценности и создающей новые,— главный двигатель работы и историка литературы и исторического романиста»,— писал Тынянов.

Мне еще не удалось установить, было ли опубликовано интервью Тынянова о своей работе, относящееся, по-видимому, к 1938 году. Вот что говорил он о необходимости борьбы литературы с фашизмом: «Фашизм должен быть разоблачен с начала до конца, во всех его проявлениях и теориях. В частности, писатель, работающий на историческом материале, должен разоблачить пышную, но лживую генеалогию фашизма, которую он, как истый выскочка, затыкает дыры своего мешанского происхождения. Их предки не Вотан и не варвары, не Цезарь и не Помпей, а убогие погромщики и позором покрытые колониальные авантюристы XIX века.

Не древнего происхождения сжигание книг на костре: это проделал в 1817 году старонемецкий дурень Ян в Вартбурге; даже книжки остались, в сущности, те же: он жег книги друга Гейне, Иммермана, теперь жгут самого Гейне.

Ветеринарные домыслы, полнейшая философия и фантастическая генеалогия должны оправдать разбой неслыханного размера.

Долг писателей — разрушить до основания это убогое сооружение. Писатели должны быть готовы сменить оружие пера на оружие в буквальном смысле.

Среди западных писателей есть некоторые, напоминающие салтыковский персонаж Дю-Шарно, который «начал объяснять пра-

ва человека и кончил объяснением прав Бурбонов». Борьба должна вестись и против этих пособников фашизма, будь то пособники по слабости, или по отсутствию волн, или из жажды самосохранения».

Сила исторической прозы в том, что она нужна своему времени, связана с ним и является его отражением. Почему в годы Великой Отечественной войны вся страна кинулась читать «Войну и мир»? Потому что в этой книге написано не только о том, как мы победили, но кто — мы, и почему мы снова непременно должны победить. Так, читая романы Тынянова, мы — русские середины XX века — видим себя со всеми нашими радостями и печальями, надеждами и размахом.

8

Кто не знает рассказа «Подпоручик Киж», обобедшего весь мир, переведенного на множество языков, рассказа о том, как ошибка писаря, нечаянно написавшего вместо «подпоручики же» — «подпоручик Киж», — послужила поводом для создания мнимого человека? В машине павловского государства с ее канонизированными законами существования достаточно описки, чтобы из нее вышла андерсеновская тень, которая растет, делает карьеру, занимает все большее место в сознании и наконец распоряжается судьбами беспрекословно-послушных мертвому ритуалу людей.

Параллельно Тынянов рассказал историю поручика Синюхаева, который благодаря другой, прямо противоположной, ошибке выбыл из числа живых и был записан мертвым. Нигде не перекрещиваясь, не переплетаясь, две истории ведут читателя в самую глубину той мысли, что для мертвой правильности канцелярского мышления не нужен и даже опасен живой человек.

Этот рассказ, написанный с лаконичностью латинской прозы, в тридцатых годах был единодушно признан одним из значительнейших явлений в нашей литературе.

Подпоручик Киж стал именем нарицательным, стал символом холодного, равнодушно-казенного отношения к жизни. Это имя и до сих пор можно встретить в сатирической заметке, в публицистической статье, направленной против бюрократизма. Но значение рассказа глубже. В упоминавшемся наброске автобиографии Тынянов писал «После романа о Грибоедове я написал несколько рассказов. Для меня это были в

собственном смысле рассказы; есть вещи, которые именно рассказываешь как нечто занимательное, иногда смешное. Я работал тогда в кино, а там так начинался каждый фильм и так находились детали». Это замечание относится, мне кажется, к рассказу «Малолетний Витушишников». Как и в «Подпоручике Киж», Тынянов из множества больших и малых событий, составляющих жизнь огромной страны, выбирает самое малое: на этот раз «государственное потрясение» в России Николая Первого возникает и молниеносно развивается по той причине, что фрейлина Нелидова «отлучила императора от ложа». Но и это незаметное, ничтожное, замкнутое событие оказывается тесно связанным с другими, все более крупными, доходящими наконец до «исторической катастрофы». Так, стройно работающий «электромагнетический аппарат» николаевской эпохи открывается во всей своей мнимой значительности и ложном величии.

Исторические рассказы Юрия Тынянова проникнуты иронией — по видимости добродушной, а на деле язвительной и горькой. Я бы сказал — быть может, это покажется странным, — что в них есть нечто чаплинское — то соединение гротеска и трагедии, обыденного и невероятного, смешного и печального, та бессмысленность, против которой не только трудно, но опасно бороться.

9

Повесть «Восковая персона» стоит несколько в стороне от других произведений Тынянова, хотя несколько не уступает им ни в конкретности исторического воображения, ни в силе, с которой нарисованы деятели петровского государства. Она порою трудна для чтения; она написана как бы от имени человека петровского времени, когда в русский язык ворвалось множество иностранных слов подчас в неожиданных и причудливых сочетаниях. Это были слова, еще как бы неловко и неуверенно чувствовавшие себя в чужом языке и вместе с тем необычайно резко окрашивавшие разговорную речь того времени. Нужно было глубоко проникнуть в лексику петровской эпохи, чтобы воспроизвести ее на страницах «Восковой персоны».

Но стилистическая новизна и острота этой повести заключается не только в том, что в ней воспроизведен язык петровской эпохи. Эти языковые средства помогли Тынянову

создать характеры, поразительные по своей точности и простоте. Таков Меншиков с его потерей представления о том, что его окружает, с его страхом перед огромностью того, что находится под его неограниченной властью, с его любовью к «даче», то есть к взятке, которая мила ему именно своей конкретностью, определенностью, осязаемостью. Такова Екатерина, как и оставшаяся деревенской девкой, погруженная в мир поразительно ничтожных интересов. Таков наконец сам Петр, умирающий, распростертый в одиночестве на своем холодном ложе, вокруг которого с каждым часом образуется пустота, простирающаяся далеко, граничащая с крушением всего, что он сделал, доходящая до тех пределов, которые он некогда завоевал с «великим тщанием и радением».

Нельзя не согласиться с Б. Костелянцем, который считает, что в этой повести Тынянов «отвергает идею, будто народ живет вне истории». С более глубокой позиции, завоеванной советской литературой в ходе своего развития, он видит взаимосвязь между тем, что творится на «авансцене» истории и на ее «задворках». На «авансцене» истории идет «неслыханный скандал», идет «ручная и ножная драка» между Меншиковым и Ягужинским, перзыми людьми государства. А на «задворках» в народных низах рождаются силы, которые стремятся уйти и уходят из-под власти феодально-бюрократической государственности.

«Восковая персона» проникнута ужасом перед тем полным уничтожением человеческого достоинства, которое заставляло брата доносить на брата, которое в самом предательстве находило счастье, восторг, самоупоение. В повести рассказана история двух братьев — Якова, одного из «монстров и натуралий» петровской кунсткамеры, и Михаила, «солдата Балка полка», каждая мысль которого определена сознанием того, что он — не кто иной, как солдат этого давным-давно не существующего «Балка полка».

Выше я упомянул о «современности» Тынянова, о том, что его исторические произведения важны для понимания того, что происходило в мировой истории XX века. Ограбленный, отданный под власть политических дельцов, интригующих друг против друга, Иран недавнего прошлого встает со страниц «Смерти Вазир-Мухтара». Но самой «современной» книгой Тынянова — и не

только современной, но предсказавшей некоторые явления недавнего прошлого, — была, без сомнения, «Восковая персона».

Вспомним сцену, где умирающий Петр остается наедине с генералом-фискалом Мякинниным, который, всю ночь сославляя списки, сидит в камерке рядом со спальней, а наутро спрашивает Петра (шепотом, на ухо): «А как скажешь, сечь ли мне одни только сучья?» Лишь на второй вопрос: «А и скажешь ли — наложить топор на весь корень?», он получает ответ: «Тогда глаза раскрылись и тонкий голос, с трещиной, сказал Алексею Мякиннину:

— Тли дотла».

И Мякиннин отсчитывает головы на счетах: «А девяносто две кости были — девяносто две головы».

Солдат «Балка полка» доносит на мать, обоих пытаются, потом отпускают изуродованных, и «они пришли, каждый своей дорогой, к своему повосту, и у повоста встретились и, не глядя друг на друга, пошли к дому». Подозрительность как основа отношений, борьба за власть, слепота, бессмыслица террора — вот что встает перед нашими глазами.

Повесть называется «Восковая персона» потому, что после смерти Петра художник Растрелли создает его восковое подобие. Фигура встает, когда к ней приближаются, и поднимает руку. И одним кажется, что покойный император приветствует их, а другим, что он гневно указывает на дверь. Фетиш создается, чтобы продолжал действовать страх, который был сильнейшим оружием петровского государства. Восковой император властвует над разрушающимся хаосом его великих дел до тех пор, пока и его не ссылают в кунсткамеру, к другим «монстрам и раритетам».

10

Эта статья представляет собою лишь попытку дать литературный портрет Юрия Тынянова. Я ничего не написал, например, о том, что он сделал в кино. Между тем его перу принадлежат несколько первоклассных сценариев: «Шинель» — по Гоголю, «Ася» — по повести Тургенева, оставивших заметный след в истории нашей кинематографии. Он работал с Козинцевым и Траубергом, с Герасимовым и Ивановским, и эти известные режиссеры с любовью вспоминают

недолгие, но плодотворные годы общения с ним.

Я ничего не написал о переводах Гейне, которыми Тынянов исподволь занимался всю жизнь. Он перевел «Германию», «Невольничий корабль», многие лирические и сатирические стихи; ни одно собрание Гейне не обходится теперь без этих первоклассных переводов.

Неоднократно печаталось письмо Горького к Тынянову в связи с выходом «Смерти Вазир-Мухтара». Не знаю, можно ли выразить с большей силой признание таланта исторического романиста, чем это сделал Горький, оценивая портрет Грибоедова: «Должно быть, он таков и был. А если и не был — теперь будет». Эти слова определяют, в сущности, основную задачу самого жанра исторической прозы.

Я был у Горького вместе с Тыняновым, кажется, в 1931 году. Шел разговор о создании «Библиотеки поэта», а в сущности — о генеральном пересмотре всей русской поэзии. Можно смело назвать Тынянова рядом с Горьким в этом огромном, еще продолжающемся деле. Но они говорили и о другом. Горький знал, что в двадцатых годах Тынянов работал в кинематографии, и уговаривал его вернуться к этому делу.

II

Начиная «Пушкина», Тынянов думал, что этой книгой будет закончена трилогия — Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин. К новой книге он приступал издали, настороженно, неторопливо. Но не огромность задачи смущала его. Он в полной мере сознавал всю ответственность, ложившуюся на плечи писателя, который осмеливается создать роман, охватывающий всю жизнь Пушкина, — роман, в то время как у нас еще и до сих пор нет историко-литературной монографии, решившей эту задачу.

«Эта книга — не биография, — писал Тынянов в черновике предисловия, сохранившегося в его архиве. — Читатель напрасно стал бы искать в ней точной передачи фактов, точной хронологии, пересказа научной литературы. Это — не дело романиста, а обязанность пушкиноведов. Отгадка часто заменяет в романе хронику происшествий — с той свободой, которую издавна, по старинному праву пользуются романисты. Научная биография этим романом не подменяется и не отменяется. Я бы хотел в этой книге при-

близиться к художественной правде о прошлом, которая всегда является целью исторического романиста».

В интервью, которое я цитировал выше, задача определена еще точнее: «Свой роман я задумал не как «романизованную биографию» (biographie romancée), а как эпос о рождении, развитии, гибели национального поэта. Я не отделяю в романе жизни героя от его творчества и не отделяю его творчества от истории его страны».

В первых вариантах роман начинался с Абиссинии, с предков Пушкина, с петровского арапчика. Тынянову показалось, что эти главы не удались, и работа была отложена надолго. Он вернулся к своему замыслу лишь через год, решив идти вслед за пушкинским планом автобиографии, который относится к 1830 году и публикуется обычно под названием «Программы записок». Эта «Программа» вся помещается на одном листочке и представляет собой настолько краткий перечень событий жизни Пушкина, что некоторые параграфы оставались для исследователей загадкой. «Программа», как известно, доведена лишь до 1815 года.

Нужно было любить и понимать Пушкина, как любил и понимал его Тынянов, чтобы расшифровать эти загадки, эти начатые и брошенные фразы, эти фамилии, которые можно прочесть так или иначе. «Мои неприятные воспоминания», — пишет Пушкин. Какие воспоминания? О чем? «Нестерпимое состояние», — пишет он. Чем оно вызвано? Как его объяснить? Тынянов заново прочел этот маленький текст и положил его в основу первой части своего романа. Так, из строчки: «Юсупов сад. — Землетрясение. — Няня» — вышла удивительная по своей силе глава, в которой угаданы первые движения души маленького Пушкина, те движения, в которых уже виден будущий гениальный поэт.

Случалось, что самое глубокое знание материала все-таки не давало Тынянову возможности нарисовать историческую картину со всей полнотой. «Представление о том, что вся жизнь документирована, — ни на чем не основано: бывают годы без документов. Кроме того, есть такие документы: регистрируется состояние здоровья жены и детей, а сам человек отсутствует. И потом сам человек — сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более глав-

ное. Ну, и приходится заняться его делами и договаривать за него, приходится обходиться самыми малыми документами. Важные вещи проявляются иногда в мимолетных и не очень внушительных формах. Даже большие движения — чем они сначала проявляются на поверхности? Там, на глубине, меняются отношения, а на поверхности — рябь или даже — все, как было» (сборник «Как мы пишем»). Так, опираясь на ничтожные данные, на то, что можно назвать лишь тенью поступка, мысли, чувства, он угадывал главное и строил на нем свое повествование.

Такой «тенью» была любовь Пушкина «к неизвестной», любовь, «необычайная по силе, длительности, влиянию на всю жизнь, им самим не названная» (Ю. Тынянов). Многие исследователи (Гершензон, Щеголев) пытались угадать имя женщины, которую тайно и безнадежно любил Пушкин. Назывались имена Голицыной, Раевской. Прочтя по-своему лицейские элегии, сопоставив рассказы, записанные Бартеневым, изучив отношения Пушкина и Карамзина, Тынянов пришел к выводу, что этой любовью Пушкина была Екатерина Андреевна Карамзина. Он высказал гипотезу, что к ней относится посвящение «Полтавы», что создание «Бахчисарайского фонтана» связано с воспоминанием о Карамзиной, с ее рассказом. Он объяснил их последнее свидание, когда за час до смерти Пушкин позвал Карамзину, когда, прощаясь, она перекрестила его издалека, а он сказал: «Подойдите ближе и перекрестите хорошенько». И лишь окончательно убедившись в своей правоте, Тынянов стал писать об утаенной любви, прошедшей через всю жизнь Пушкина от лица до смерти.

В архиве С. М. Эйзенштейна нашлось его письмо Тынянову — глубокое и оставшееся новым — в понимании цвета, который был бы не «раскраской, а внутри-необходимым драматургическим фактором» в кинематографии: «Дорогой и несравненный Юрий! С громадным удовольствием прочел, сидя в доме отдыха в горах на китайской границе, Вашего Пушкина. В свое время меня в полный восторг привела Ваша гипотеза, изложенная в «Безымянной любви», и развитие этой темы здесь не менее увлекательно. Восторг этот имел и свой *persönliche gründe*.» (Рукопись).

Пораженный догадкой Тынянова, Эйзенштейн решил поставить фильм, посвящен-

ный Пушкину и его утаенной любви. В письме с необычайной отчетливостью раскрыта живописная гамма будущей картины: «Петербург последнего периода с выпадающим цветовым спектром, постепенно заглатываемый мраком. В темном кадре лишь одно, два цветовых пятна. Зеленое сукно игрального стола, желтые свечи ночных приемов Голицыной... И полный тон концовки с гробом, увлекаемый в ночь... Игра цветовых и музыкальных лейтмотивов выростала сама собой. Не хватало для сценария главного лейтмотива, что для фильма такого «персонального» типа просто необходимо... И тут дружеская рука указывает мне на Вашу «Безымянную любовь». Вот, конечно, тема. Ключ ко всему (и вовсе не только сценарно-композиционный). И перед глазами сразу же все, что надо... Так или иначе (если Вас не отпугивает тон и соображения моего к Вам послания), очень прошу «считать Вашего Пушкина» в изложенном разрезе сценария «за мной».

Думаю, что Тынянов с радостью согласился бы работать с Эйзенштейном, и можно не сомневаться в том, что роман о Пушкине нашел бы глубокое воплощение. Но письмо не было отправлено. Оно заканчивается припиской (от 4 января 1944 года): «Узнал, что Тынянов — умер. Письмо не отправил. Переделаю в статью: «Запоздавшее письмо».

В предвоенные годы мы виделись очень часто, почти каждый день. Я приходил к нему, мы шли гулять. Но неделя за неделей все короче становились наши прогулки: до Сенатской площади (он жил на улице Плеханова), до Адмиралтейства, до Казанского собора, до садика с воронихинской решеткой. Перед войною он уже с трудом спускался с лестницы, и случалось, что, постояв во дворе, мы возвращались обратно.

Тяжелая болезнь — рассеянный склероз, против которого до сих пор не найдены средства, — лишила его душевной бодрости, энергии, живого интереса ко всему, что происходило в стране, в литературе. Он принимал участие в литературных делах ленинградских писателей, и мнение его считалось золотым, неоспоримым.

Незадолго до войны ленинградские писатели устроили торжественный вечер, о котором стоит упомянуть, потому что это был

в сущности, единственный вечер, когда обшественная любовь и глубокое признание Тынянова выразились с запомнившейся силой.

Он был строго требователен в вопросах литературных и никогда не боялся какой же строгой требовательности по отношению к себе. Любовь его к русской литературе была любовью к родине — этой мыслью было проникнуто все, что говорилось в тот вечер. И можно смело сказать, что вся его трудная, полная страданий жизнь была проникнута этим высоким чувством.

Во время войны, в тяжелых условиях эвакуации, он дрожащей рукой писал третью часть своего последнего романа. Он знал, что умирает, но ему хотелось, чтобы в этой третьей части юность Пушкина была рассказана до конца.

...Пушкина высылают. Белой ночью, которая яснее, чем день, он прощается с Петербургом, как с живым человеком «Его высылали. Куда? В русскую землю. Он еще

не видел ее всю, не знал. Теперь увидит, узнает. И начиналось не с северных медленных равнин, нет — с юга, с места страстей, преступлений. Голицын хотел его выслать в Испанию. Выгнать. Где больше страстей? Он увидит родину, страну страстей. Что за высылка! Его словно хотят насильно завербовать в преступники. Добро же! Он уезжал. Вернется ли? Застанет ли кого? Или повернет история? Она так быстра» И дальше: «Он знал и любил далекие страны как русский. А здесь он с глазу на глаз, лбом ко лбу столкнулся с родною державой и видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не известное — все она, родная земля..»

Прошаясь с жизнью, писал Юрий Тынянов прощанье Пушкина с юностью. Но мужеством проникнуто каждое слово. «Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет, как стихи». Это было написано, когда все ниже клонилась голова, все чаще прерывалось дыхание...



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Долгополов. На переломе лет. — **В. Жданов.** В поисках нового — **Ф. Светов.** За кулисами цирка. — **Л. Лившиц.** Условие обязательное. — **В. Гоффеншефер.** Хорошее — только совершенствовать! — **М. Злобина.** Воспитание чувств.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Д. Щербаков. Десять лет которые потрясли Волгу. — **Ю. Капусто.** Письма с войны. — **И. Иноземцев.** Идеи, поиски, решения... — **В. Азерников.** Информация из первых рук

Литература и искусство

НА ПЕРЕЛОМЕ ЛЕТ

Наби Хазри. Когда мне сорок... Стихи и поэма. Авторизованный перевод с азербайджанского. Баку, 1964. 214 стр.

Сорок лет — возраст, когда подводятся итоги прожитым десятилетиям, додумывается то, что не было додумано раньше, а в словах и суждениях видна зрелость, которой могло и не быть еще десять лет назад. Пустых слов, банальных мыслей, скороспелых суждений люди не простят человеку в сорок лет.

Стихи Наби Хазри проникнуты ощущением времени, в которое он живет. Это стихи-раздумья, в них бьется живая мысль. Но в них есть и другое, не менее важное для поэта и поэзии качество: в свои сорок лет поэт сберег любознательность и способность свежо воспринимать многообразие и красоту мира.

Стихи Наби Хазри по-восточному многокрасочны. На них лежит печать породившей их культуры, в которой склонность к философским обобщениям и размышлениям всегда сочеталась со стремлением уловить прелесть мгновения, ощутить всю полноту земного бытия. Вот одно из лучших стихотворений сборника: высокое поэтическое

содержание связано в нем с обычными для восточной поэзии формами выражения. Поэт решаете взглянуть на свою судьбу как бы со стороны, воображает себя в смертный свой час, чтобы с особой остротой передать любовь к родной земле.

Тот, кто не любит родину свою,
и кто чужой в своем родном краю,
и кто труслив за край родной в бою, —
дыханьем землю не согрев, уйдет.
Уйдет гусей крикливых караван
туда — на побережья теплых стран,
и этот пышный утренний туман,
свой белый парус распустив, уйдет.

Был ваш Наби на родине родным,
гуманом пыльным не был ночевым,
но все-таки случится это с ним:
последний раз дыханьем своим
обнимет эту землю и уйдет.

Окажись итоги, к которым пришел поэт к концу четвертого десятка лет, менее значительными, не будь в книге таких стихотворений, как «Сердце», «Вселенная моя», философского цикла «Скорьбь Физули» и

многих других хороших стихов, название сборника могло бы показаться претенциозным и неоправданным. Но именно эти — лучшие — стихи сборника делают его заметным явлением советской поэзии.

Наби Хазри размышляет о жизни — о духовной жизни человека своего поколения. Он не боится остаться наедине с самим собою. Взгляд его, обращенный в глубину человеческой души, находит там всякий раз что-то ценное и значительное, открывает стороны, не затронутые другими поэтами. Он очень по-своему воспринимает окружающее, любит родной край сыновней любовью, переживает общие радости и беды, как свои собственные.

Олицетворением мятежности чувств поэта, неутоленной жажды познания служит в сборнике образ Каспийского моря. Он проходит через всю лирику Наби Хазри, становится высоким символом в поэме «Сумгайтские страницы». Каспий в стихах Наби Хазри никогда не бывает умиротворенным и спокойным. Поэт любит этот его нрав, его характер и говорит о нем, как о живом:

А море бьется в берега,
как может только сердце биться.

«Сумгайтские страницы» — лирическая поэма. Это не повесть или рассказ в стихах — это цепь раздумий, навеянных пребыванием в родном городе, неузнаваемо изменившемся за последние годы. Лирический монолог лишь изредка перебивается вставными новеллами повествовательного типа (таков, например, «Дневник молодого каменщика»).

Поэма Наби Хазри — это поэма о молодом городе, созданном руками советских людей, но это и поэма о духовном росте людей после разоблачения культуры личности Сталина, исповедь поколения, к которому принадлежит сам поэт. Те ее части, где речь идет о возникшем на берегу Каспия городе, читаются с интересом; нас подкупает взволнованный голос поэта, повествующего о грандиозных преобразованиях на азербайджанской земле. Вдохновенно написана и глава «Наши дали». Но вот как исповедь поколения, как осмысление нашего недавнего прошлого поэма не во всем удовлетворит читателя. Воображаемому диалогу Джафара Джабарлы и Самеда Вургуня — известных деятелей азербайджанской культуры, тени которых

тревожит поэт, — явно не хватило глубины, содержательности, хотя речь у них идет о вещах весьма значительных.

Наби Хазри — поэт очень искренний, поэт с открытой душой. Его герой — многогранный человек, ему доступно понимание сложности живой природы, о чем свидетельствуют такие стихи, как «Сердце», «Звезда — губительница караванов», «Когда журавли возвращаются» и другие. Но иногда, стремясь к вынятности и четкости поэтических выводов, он невольно упрощает сказанное им самим же. Так получилось в стихотворении «У тишины есть собственный язык...». По-настоящему хороши начальные строфы, где о тайнах природы говорит настоящий поэт, для которого, кроме поэзии, кажется, нет на свете другого дела:

У тишины
есть собственный язык.
У каждой ветки сломанной —
свой крик.
У каждого осеннего листа —
своя любовь, раздумья и тоска.

Прислушайся к течению воды
и приглядишься к свечению звезды.
Нет, не случайно шепчется вода!
Нет, не случайно светится звезда!
Хотел бы я,
чтоб каждый мне внимал,
чтоб я эйлаги вам напоминал.
Чтоб черный ветер
и морской прибой
я вам напоминал собой!

Я слушаю природу. Я молчу.
Я, как она, привидным быть хочу...

А вот вывод, итог, ради которого написано все стихотворение, — обращение поэта к природе:

Ты солнечна, могуча и чиста,
но ты без человека —
сирота!

Итог оказался ниже, зауряднее, проще стихотворения. Мысль о том, что только человек способен одухотворить природу, что голько живое восприятие может дать ей вторую жизнь, — не нова. Мысль эта могла бы звучать лишь в том случае, если бы поэт попытался передать ее глубже и по-своему.

И в других случаях Наби Хазри не всегда удается удержаться на той поэтической высоте, которой отмечены лучшие стихи сборника. Не задерживает внимания «Могилы Рафаэля». Стояло ли, в самом деле, поме-

шать в сборник стихотворение, в котором о Рафаэле сказано лишь то, что он «отвергал поддельность красок ложных» и «любил он жизнь и ею был любим»?

Очень бледными, описательными представляются и стихотворения «Озеро Ильмень», «Эльбрус», «Мугань», «Песня о Черном море».

И, однако, когда закрываешь книгу, главным остается впечатление, что Наби

Хазри поэт талантливый и вдохновение для него не такой уж редкий гость. И если ему что мешает, то это инерция тех лет, когда восторженные восклицания порой принимались за высокую поэзию.

В лучших своих стихах Наби Хазри решительно преодолевает эту инерцию, говорит звучно и самостоятельно, думает о жизни всерьез.

Ленинград.

Л. ДОЛГОПолов.



В ПОИСКАХ НОВОГО

Ираклий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки. «Художественная литература». М. 1964. 608 стр.

Просматривая оглавление этой книги, читатель — чего доброго — может подумать, что перед ним главы детективного романа: «Утраченные записки», «Сокровища замка Хохберг», «По ущельям Терека и Арагвы», «Пакет из Стокгольма»... И надо сказать, что ошибка читателя будет не столь уж велика и во всяком случае извинительна. Ибо в работе литературоведа, о которой идет речь, несомненно, присутствуют как элементы беллетристики, так и элементы детектива.

После широко популярной «Загадки Н. Ф. И.» нас уже не удивит «Пакетом из Стокгольма». Такова уж особенность того нового жанра, который утвердил в нашем литературоведении Ираклий Андроников, неутомимый в своем стремлении прочесть зашифрованные страницы жизни великого поэта, разгадать тайны, которыми еще недавно была окутана эта короткая, исполненная трагизма жизнь, а также полнее раскрыть истоки лермонтовского творчества, его теснейшую связь с русской исторической действительностью.

Этим целям как нельзя лучше отвечает свободный литературный жанр, избранный исследователем: обычно это «рассказы литературоведа», в которых исчезает сухость привычных научных изысканий, интересных только специалистам, а взамен появляется увлекательное повествование, посвященное не только самому предмету изучения, но и описанию тех приемов и путей, какими шел автор к своей цели. Пожалуй, именно в этом и заключено своеобразное обаяние андрониковских «исследований и находок».

Впрочем, если говорить о последней книге Ираклия Андроникова, то вряд ли можно дать единое и строгое жанровое определение вошедших в нее работ. В этом отношении книга отличается разнообразием и даже некоторой пестротой, что во многом отвечает авторскому замыслу: «...в находке важно, — читаем мы в предисловии от автора, — не только ее содержание, но и то, как она обнаружилась. Надобно сказать и о людях, которые вам помогли. И тут получается не просто исследование, а, скорее, репортаж или очерк в сочетании с исследованием».

В соответствии с этим мы находим в книге и серьезные историко-литературные работы, посвященные важнейшим произведениям Лермонтова («Смерть поэта», «Бородино», «Вадим»), и путевой очерк («По ущельям Терека и Арагвы»), где автор описывает свою поездку по кавказскому маршруту Лермонтова, во время которой ему удалось уточнить этот маршрут, установить места, запечатленные на живописных полотнах и рисунках поэта, выполненных с натуры; здесь же — обширное исследование («Лермонтов в Грузии»), а рядом занимательный рассказ о поисках забытых рукописных мемуаров, оставленных одной из современниц Лермонтова («Утраченные записки»); обстоятельный анализ фольклорных истоков лермонтовской поэзии (глава «Поэтическая апофеоза Кавказа») чередуется с очерками-репортажами о недавней поездке автора в Западную Германию, о неизвестных стихах, обнаруженных в средневековом замке в Баварии, о лермонтовских документах и рисунках, хранящихся у мюнхенского

искусствоведа («Сокровища замка Хохберг»), о рисунке, найденном в Швеции («Пакет из Стокгольма»).

А порой — среди солидных цитат, строго академических ссылок на источники и различных текстологических наблюдений — перед нами внезапно возникает знакомый образ Андроникова-рассказчика, и мы как бы слышим с эстрады отрывки из его устных рассказов; вот разговор с ленинградским «великим архивистом» И. А. Бычковым по поводу «утраченных записок»:

«Я ему:

— Иван Афанасьевич, у вас нету случайного записок Веры Ивановны Анненковой?

Иван Афанасьевич, по обыкновению своему схватив посетителя за руку, бежит, стуча каблучками, как ежик, маленький, скособоченный, подслеповатый, седенький, вокруг мраморного Нестора-летописца работы М. М. Антокольского, — и меня влечет за собой:

— Вас интересуют записки Веры Ивановны Анненковой, урожденной Бухариной?.. Как же, как же! Я знаю — интереснейшие записки!.. Их у меня в отделении нет — не поступали ко мне...

И, выбросив мою руку из своей, дает понять, что аудиенция и консультация окончены».

В книгу включены также — кроме перечисленных глав — несколько небольших этюдов, затрагивающих частные вопросы, связанные с изучением Лермонтова и особенно его окружением: рассказ о поисках некоей Марии Бартеновой, которую автор обнаружил среди светских знакомых поэта, вписавшего в ее альбом два стихотворения; заметки о выдающемся кабардинском деятеле Кодзокове, с которым Лермонтов встретился в Пятигорске за год до смерти: сообщение о свидании поэта с генералом Ермоловым в Москве зимой 1841 года и о том, что вскоре после этого свидания были написаны очерк «Кавказец» и стихотворение «Спор», навеянные встречей с опальным генералом (раньше эти факты не сопоставлялись).

Особняком стоит в книге ее последняя глава «Судьба Лермонтова» — популярный очерк жизни и творчества поэта. Написанный живо, содержащий превосходный анализ отдельных произведений (например, «Спора»), очерк этот вполне достоин пера своего автора. И тем не менее он кажется необязательным, даже инородным в книге,

столь богатой свежими наблюдениями, осененной духом поисков нового. Если книга в целом как бы подводит итог многолетней работе исследователя, то заключительная глава вряд ли может считаться итоговой по отношению ко всей книге. Читатель невольно обращает внимание на то, что многие эпизоды жизни Лермонтова, некоторые оценки его стихов и прозы нашло в предыдущих главах куда более полное, а порой исчерпывающее истолкование.

Вот, например, описание дуэли и смерти Лермонтова. После интересной главы «Строки из писем 1841 года», содержащей обширный документальный материал о дуэли и откликах современников на это событие, читатель обращается к главе «Судьба Лермонтова» и находит там весьма беглое сообщение о той же дуэли, из которого, разумеется, нельзя узнать ничего нового: ведь только что прочитаны «строки из писем», где уже все сказано и где к тому же приведены и новые любопытные «строки» — например, из недавно обнаруженного письма Татьяны Бакуниной (сестры М. А. Бакунина); со слов очевидца, приехавшего из Пятигорска, она сообщает, что Лермонтов «почти поневоле шел... на дуэль, этот страшный дуэль, и там уже на месте сказал М[артынову], что отдает ему свой выстрел, что причина слишком маловажна, слишком пуста и что он не хочет стреляться с ним. Но М[артынов] непременно требовал, оба прицелились, Лермонтов повернул пистолет в сторону, а тот убил его».

Одна из характерных особенностей исследовательской манеры Ираклия Андроникова — широкий охват темы, материала, позволяющий вовлечь в круг изучения весьма разнообразные, порой самые неожиданные факты и документы, исторические и биографические данные, сведения из области русской дворянской генеалогии, наблюдения историко-литературного и текстологического характера. Именно этот широкий принцип позволил ему заново и едва ли не исчерпывающим образом разработать тему «Лермонтов и Кавказ», занимающую одно из главных мест в книге (ей посвящены четыре главы).

В итоге многолетних разысканий автор сделал немало. Вот что он сам говорит об этом: «Выяснена обстановка на Кавказе в тридцатых годах прошлого века и обстоятельства, сопровождавшие службу Лермонтова в Нижегородском полку. Изучена

кавказоведческая литература и следственные документы по делу о заговоре 1832 года, прослежены биографии десятков людей и их генеалогические связи, подняты послужные списки, просмотрены истории полков, приказы по Отдельному Кавказскому корпусу, протоколы Тифлисской городской думы, восстановлены адреса, использованы записки военных и путешественников, труды геологов, фольклорные записи, литературоведческие исследования, отчеты альпинистов и многие другие источники. Повторены кавказские маршруты Лермонтова. Сопоставлены и приняты во внимание не только сколько-нибудь значительные, но даже и мельчайшие факты. Изучение замыслов Лермонтова, возникших в 1837 году или по его возвращении из Грузии, заставило обратиться к событиям войны 1812—1814 годов, к восстанию декабристов, к истории кавказской войны... В результате всех этих разысканий добыты новые данные об источниках зрелых творений Лермонтова, зародившихся во время его путешествия по Грузии и скитаний по Северному Кавказу, — «Демона», «Мцыри», отчасти «Героя нашего времени», «Даров Терека», «Казачьей колыбельной песни», «Спора», «Тамары», «Свиданья», очерка «Кавказец», сказки «Ашик-Кериб»...

Давние работы И. Андроникова на эти темы, ныне обновленные и расширенные, позволяют нам теперь по-новому взглянуть на скрытый подтекст лермонтовской поэзии и не отвлекаясь, а вполне наглядно представить себе, что ее постоянным, органическим источником был фольклор, устное народно-песенное творчество. Опираясь на собранный по крупицам обширный материал, Андроников показал также, сколь велик был живой интерес Лермонтова к поэзии и культуре грузинского народа и других народов Кавказа. Кроме того, с помощью остроумных догадок и сопоставлений исследователь — уже в биографическом плане — расширил наше представление о кавказских связях Лермонтова, ввел в круг его тифлисских знакомых новых людей: грузинского поэта Александра Чавчавадзе (автор убедил нас в том, что Лермонтов не мог не бывать в его имени Цинандали), писателя-просветителя Ахундова, который учил — не мог не учить! — Лермонтова азербайджанскому языку; Нину Чавчавадзе, вдову Грибоедова, также способствовавшую сближению русской и грузинской культур.

Здесь мы уже коснулись второй важнейшей темы книги — исследований в области биографии, куда входят и розыски новых людей и фактов, и пересмотр устоявшихся мнений, и заново прочитанные письма, и погоня за лермонтовскими реликвиями, разбросанными по всему свету, и многое другое. Здесь Андроников особенно неистощим и многообразен. Он весь в движении, в поисках. Одна за другой возникают перед ним сложнейшие задачи (кто не стал бы перед ними в тупик?):

«Итак, дальнейшие розыски следовало посвятить изучению семьи Ивановых и круга их ближайшей родни».

«Надо искать архив Мердер. Он мог попасть в Румянцевскую (ныне Ленинскую) библиотеку. Не попал».

«Как же узнать, в чей альбом вписал Лермонтов два из самых лучших своих стихотворений?»

«...это не объясняет нам, через кого были связаны Верещагина, Лермонтов и Шан-Гирей с семьей Солнцевых — предков моих гостей. Это еще придется выяснять путем настойчивых поисков».

И так чуть ли не на каждой странице. Кого только нет среди бесчисленных действующих лиц этой книги, среди тех, кого автор привлекает к соучастию в своих поисках! Здесь мелькают и генерал-лейтенант А. А. Игнатьев, и инженер из министерства торговли В. И. Соловьев, и французский хирург Пьер Струве, и библиограф И. Ф. Масанов, и разные наши современники, связанные далеким родством с Лермонтовым и его современниками, и лица, случайно оказавшиеся обладателями неких сокровищ и самой судьбой посланные на встречу тому, кто их ищет...

Нельзя не удивляться той изобретательности и энергии слепопыта, с какими Андроников разыскивает нужных ему персонажей прошлого, их предков и потомков, выясняет отдаленные степени родства («С Пашковым Лермонтов находится в близком родстве. На тетке Пашкова был женат двоюродный дед поэта — Арсеньев»), устанавливает служебные связи и отношения, исследует родословные... Все это делается серьезно и увлеченно — настолько, что эта увлеченность порой кажется даже несколько чрезмерной. Иной раз, может быть, стоило скрыть от читателя какую-то часть черновой работы, потраченной на поиски той или иной подробности, безвест-

ного имени, ибо читатель не всегда может с легкостью отделить важное от второстепенного, и не всегда он ясно себе представляет, в какой степени необходимо обнаружить следы того или иного дальнего родственника поэта. Слов нет, ученый увлекает читателя описанием своих трудов и поисков, но в иных случаях читателю недостает уверенности в том, что эти поиски так уж необходимы.

Исследователю нужно установить, кому принадлежал недавно найденный в Ленинграде альбом, где рукой Лермонтова вписаны два его стихотворения. Данных мало: хозяйку альбома звали Мария. Начинаются поиски. Все известные знакомые поэта, носившие это имя, по разным причинам не подходят. Автор предлагает нам еще целый список придворных дам, включающий двадцать шесть имен; хотя все они Марии, но опять-таки не идут к делу. Затем наше внимание привлечено к некоей Марии Пашковой: на нескольких страницах с помощью целой системы доказательств автор убеждает нас в том, что хозяйка альбома пайлена. И вот мы уже верим в это непоколебимо. Как вдруг читаем: «И все-таки это не Пашкова! В альбоме есть запись, свидетельствующая о том, что до 1846 года он принадлежал незамужней Марии... А Пашкова замужем с 1829 года!» К чему же тогда весь сыр-бор? А потом оказывается, настоящая-то Мария, обладательница альбома, давно уже известна автору: ее зовут Мария Бартенева, она фрейлина и сестра знаменитой певицы Прасковьи Бартеновой, с которой Лермонтов также встречался в Петербурге.

И еще один случай. По ходу дела среди множества разных имен на странице 57 упоминается имя штаб-капитана Федора Печорина. Прямых данных о его знакомстве с Лермонтовым нет. Но автор не может удержаться, чтобы не обратить внимания на «близость его фамилии к фамилии лермонтовского героя, гвардейского офицера Печорина, появляющегося на страницах романа «Княгиня Лиговская» в 1836 году». А нужно ли, важно ли это наблюдение? Вряд ли! Тем более, что в другом месте книги приводятся известные слова Белинского, который, сопоставляя имена Онегина и Печорина, связывает их с Онегой и Печорой и в самой фамилии лермонтовского героя

усматривает признак «исторической преемственности».

Все это, разумеется, мелочи, известные издержки той благородной одержимости, которая ведет автора к новым и новым поискам. Однако указать и на эти мелочи, как мне кажется, входит в обязанности рецензента. В целом же разыскания историко-биографического характера, предпринятые Ираклием Андрониковым, уже принесли свои плодотворные результаты; они ввели в научный обиход множество ценных фактов, новых сведений, заполнили немало «белых пятен» и создали — вместе с работами других советских исследователей Лермонтова — прочную основу для будущей подлинно научной биографии великого поэта. Достаточно сказать, что на страницах новой книги о Лермонтове впервые увидели свет (в отрывках) такие ценные документы, как наконец-то найденные записки В. И. Анненковой (поиски начались еще в 1936 году), как неизвестное письмо Е. А. Верещагиной к дочери в Германию, содержащее живые зарисовки семейного быта, окружавшего Лермонтова после возвращения из первой ссылки, как новые стихотворные тексты и рисунки Лермонтова, доставленные из Западной Германии благодаря усилиям автора. Эти и другие первоклассные материалы доставят истинную радость всем, кто любит Лермонтова и знает, как трудно такие материалы добываются.

В заключение хочется еще раз напомнить, что изучение биографии Лермонтова тесно сплетено в работах Ираклия Андроникова с анализом его поэтического творчества. Очень важно, что в своем стремлении отыскать биографическую или просто жизненную основу того или иного лермонтовского сюжета, образа исследователь не впадает в наивный биографизм, хотя это легко могло бы случиться. Его спасает именно широта понимания своей задачи. Он своим самобытным и довольно сложным путем идет от биографии к творчеству, умело воссоздавая историческую и бытовую обстановку, помогая глубже проникнуть в самую суть произведения, восстановить его творческую историю (наглядный пример — блестящий анализ «Смерти поэта»). Нет сомнения, что на этом пути исследователя ждут новые поиски и новые находки.

В. ЖДАНОВ.

ЗА КУЛИСАМИ ЦИРКА

Виктор Драгунский. Сегодня и ежедневно. Повесть. Журнал «Москва», № 4, 1964.

Люди делятся на тех, кто любит цирк, и на тех, кто его разлюбил, став взрослым. Потому что дети всегда бредят цирком. А потом все, что радует одних: запах арены, мишура, блески, улыбка и бодрость несмотря ни на что, спортивная легкость, радостная безвкусица, бравурная музыка, темп, темп, темп — все это, восхищающее одних, других раздражает. И те и другие по-своему правы. Цирк можно любить или не любить. И как всякое подлинное чувство, оно приходит или уходит вопреки логике: люблю — и весь разговор!

Контраст между клоунской маской — неподвижным белым лицом с огромным улыбающимся ртом, вытарашенными глазами — и живым усталым лицом человека, иногда глубоко страдающего в то самое время, когда его профессиональная работа награждается аплодисментами и хохотом беззаботно развлекающегося райка, — этот контраст всегда привлекал художников... О цирке писали Чехов и Куприн. Гениальная маска Чаплина чуть ли не полстолетия заставляет человечество смеяться и плакать.

Виктор Драгунский, автор ряда известных книг для детей, назвал свою новую повесть «Сегодня и ежедневно». Вместе с героем, вернувшимся в Москву после долгого отсутствия, мы попадаем в цирк, пройдя «служебным ходом». Мы стоим за кулисами, в «коридоре смерти» — восемь шагов между парадным занавесом, «работающим на зрителя», и старой занавеской, «обшарпанной и затерханной». Мы проникаемся волнением клоуна, как давно не вдыхавшего запах родных кулис, смотрим вместе с ним в разошедшиеся фалды занавеса и видим, как совсем юная Валя Нетти крутит финальную комбинацию трюков от самого оркестра к форгангу: рундат — флик-фляк — сальто-мортале («Это была ее бисовка, или, как говорят у нас, де капо...»). И нас начинают уже завораживать все эти удивительно праздничные и непонятные слова: «форганг», «флик-фляк», «де капо»!

Читатель вспоминает свои детские ощущения, кажется, слышит цирковой марш, ему передается волнение героя «перед тем невероятным и удивительным, что ждет... там, за красным занавесом, на маленьком, усыпанном опилками кругу, перед смею-

щимся, грохочущим, ревушим и рукоплещущим празднеством, перед тем, что было, есть и пребудет во веки веков — цирк, цирк, цирк!»

Цирк с его закулисной стороны — работа, непростые отношения между людьми: дружба и неприязнь — все то, о чем понятия не имеют «ревущие и рукоплещущие» вокруг арены зрители, — словно бы начинает раскрываться перед нами... Герой умело, ловко вылечивает заболевшую слониху. И его воспоминания о том, как он с этой слонихой познакомился и ее полюбил, и то, как он готовит ей слоновью дозу лекарства, укладывает Ляльку, как ей тяжело и трудно — эта внимательно и точно написанная сцена убеждает: автор в цирке человек не случайный, он знает и любит то, о чем пишет.

Герой повести — клоун Николай Ветров, известный цирковой артист, пользующийся уважением товарищей, любимый и признанный зрителями, с первых же страниц настраивает нас на серьезный лад. Герой много говорит и размышляет о задачах и целях своего искусства. Я прошу извинить меня за длинные цитаты, но они очень важны для понимания замысла повести В. Драгунского.

«Высший смысл моей жизни, — размышляет Ветров. — ...Сегодня и Ежедневно. Я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются, я снимаю парик, иду в душ, сорок минут перерыва, я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются... и все сначала, и в этой железной мерности есть то высокое, что делает меня Человеком среди Людей. Сегодня и Ежедневно встают к пылающим и гудящим печам сталевары, Сегодня и Ежедневно выходят на вахту матросы, Сегодня и Ежедневно тренируются космонавты и припадает к окулятору телескопа голубой астроном... Сегодня и Ежедневно идет представление на выпуклом манеже Земли, и не нужно мрачных военных интермедий! Дети любят смеяться, и мы должны защитить Детей! Пусть Сегодня и Ежедневно вертится эта удивительная кавалькада радости, труда и счастья жизни, мы идем впереди со своими хлопушками и свистульками, мы, паяцы и увеселители. Но тревога все еще живет в нашем сердце, и сквозь музыку и песни мы кричим всему миру очень важные и серьезные слова «Защищайте детей! Защищайте детей!»

Здесь речь идет о, так сказать, идейной нагрузке работы клоуна, о том, что, по мысли Ветрова, должно нести его искусство, и о том, что оно для него значит. А вот то, как он представляет себе это искусство: «Я... стараюсь строить свое выступление так, чтобы люди не надо мной смеялись, а мне, моей выдумке, моему озорству, моему умению видеть смешное и показывать это смешное другим. Люди не жалеть меня должны, а гордиться мной, радоваться за меня, любить меня за то, что я ловкий и стою за правду, за то, что я сильнее подлости и коварства, что у меня есть достоинство и я умею его защищать». Это Ветров размышляет наедине с собой.

А вот он делится сокровенными мыслями, «верованиями» с первыми встречными: «...я должен ежедневно доставлять радость детям. Смех — это радость. Я даю его двумя руками. Карманы моих клоунских штанов набиты смехом. Я выхожу на утренник, я иду в манеж, как идут на пост. Ни одного дня без работы для детей. Ни одного ребенка без радости, это понимаю не только я. Слушайте, люди, кто чем может — заслужайте детей...» и т. д. и т. п.

Одним словом, Николай Ветров много говорит о «самом главном» и сокровенном: о задачах своего искусства, о своей любви к цирку, к детям, о том, что прежде всего им нужно приносить радость и их защищать, — говорит обо всем этом «заветном» с друзьями, со случайными собутыльниками, сам с собой. Можно не соглашаться со взглядами Ветрова на задачи советской клоунады, можно даже считать, что перед нами литературный герой, в этом вопросе заблуждающийся, но ведь нам важно не это, а что он за человек? Если он в этом и не прав, то говорит, видимо, то, что думает, в чем убежден, от чистого сердца. Человек любит детей, готов их защищать, приносить им радость — чудесный, милый, трогательный человек!

И все же эта словесная несдержанность нашего героя невольно настораживает. Автор уверял, что перед нами сильный, твердый, скромный человек, а герой демонстрирует крайнюю душевную распахнутость, не чуждую самолюбования. Когда человек бесконечно клянется в том, что само собой разумеется, когда он продолжает уверять нас в верности своим клятвам, хотя никто в них не сомневается, когда наконец завет-

ные слова, мысли и верования эксплуатируются по любому ничтожному поводу и совсем без него — закрадывается подозрение: так ли это? Кого хочет герой убедить во что бы то ни стало? Полбеда, если только читателя — а если самого себя?

Но слова словами. А как герой проявляется, что вообще происходит в повести В. Драгунского?

Николай Ветров приезжает в Москву, в цирк, после долгого отсутствия: он работал в Ташкенте. Его радостно встречают друзья и коллеги. Он шутит, острит, сразу же выходит на манеж — и публика ему рада. Потом Ветров встречается с красавицей буфетчицей Таей. У них сложные отношения: они любят друг друга не первый год, но Ветров два года отсутствовал, а не успел приехать, как в первый же вечер, в душе, мальчишка-акробат наболтал ему, что за Таей приезжает теперь майор на голубой «волге». Это сообщение заставляет Ветрова еще до встречи с Таей пересмотреть все их отношения. Но он покуда ничем себя не выдает, подходит к буфетной стойке, «срежет» одного из Таинных поклонников, требует рюмку коньяку, великолепно говорит: «За мной» — и добавляет: «Я сегодня у тебя ночью, Тая».

Как и обещал, он поздно вечером приходит к Тае и здесь, по-прежнему много и красиво, размышляет и о том, что вот он вернулся в родимый дом, «где долго и верно ждет... прекрасная женщина», что он «вернулся к ней через годы и грозы», и о том, как ему хорошо идти за ней по уснувшей квартире и «знать, что она в одной рубашке и что... сейчас обнимешь ее и поцелуешь, и хорошо было думать, что ты долго ждал ее и дождался». Все бы, мол, хорошо, «если бы не было на свете реального живого мальчишки и его беспощадной трепотни сегодня в душе, трепотни, открывшей мне правду и перевернувшей жизнь».

И дальше этот благородный, сильный, умный человек, который бесконечно твердит о любви к детям и к людям вообще, а к этой прекрасной женщине в частности, не желая видеть, как она рада ему, как он важен для нее и для ее четырехлетнего сына, как она заждались его и готова на все, лишь бы ему было хорошо и он с ней остался, — этот благородный и сильный человек говорит на рассвете: «Выходи, Тая, за майора». Он оставляет спящему ребенку игрушку (выясняется, что он, в сущности, и

не знает мальчика — видел его всегда только спящим) и трогательно размышляет: «Что ему снилось сейчас? Кто ему снился?» Ветров уходит, утешив Таю: «Характер очень у меня тяжелый, не годится никуда».

С Таяй он встретится в повести еще только однажды: он будет уезжать, Тая придет на вокзал, он предложит деньги, чтобы купить ее сыну коня «в яблоках, и из ушей дым валит», оскорбленная Тая от денег откажется. «Ты что, Тая... Я ведь хотел хорошего. Только хорошего, что поделаться — не вышло, не моя вина». И наконец с площадки уходящего поезда он крикнет бегущей за поездом, истерзанной всей этой «мужской» игрой женщине реплику из старой-престарой клоунской репризы: «А собачка дальше полетела!»

А как же любовь к детям, которых нужно во что бы то ни стало сегодня и ежедневно защищать и приносить им радость? Как же это так: сильно и глубоко любить женщину, но ни разу не посмотреть на ее ребенка, трусливо ночью, уходя от матери, оставлять на подушке подарки, предлагать деньги на дорогие игрушки? Любовь слепа, ревность не поддается ни логике, ни здравому рассудку, но стоит ли всерьез говорить о любви, которая исчезла сразу же от болтовни мальчишки о майоре с голубой «волгой»?

А что еще происходит в повести В. Драгунского? Да почти ничего. Ветров едет в такси с откровенным негодяем шофером, который беззастенчиво делится с пассажиром своим цинизмом, потребительским отношением к жизни. Возмущенный Ветров демонстрирует свою силу — сжимает шоферу руку, а потом дает «на чаёк», как компенсацию за неприятные для того ощущения. Он впервые встречает молодую женщину — жену старого знакомого — талантливую, прелестную акробатку, смотрит на ее «нескончаемые эллиптические ноги, и гибкую талию, и втянутый мускулистый живот», «задыхается», глядя на нее, говорит ей, «краснея, как мальчик», что готов идти в коверные, надеть униформу, и когда она удивленно спрашивает: «А зачем?» — отвечает возвышенно, как всегда: «Чтобы защитить вас» А потом, узнав, что Ирина участвует в «смертельном трюке», в котором действительно есть доля риска — «миллионная», но есть, — Ветров ругательски ругает всех устроителей этого аттракциона («сукины вы дети, все вместе взятые, сволочи вы, рас-

проклятые вы собаки, дерьмо, негодья вы, мерзавцы и подлецы»), ругает, но ничего не делает, чтобы остановить, предотвратить, запретить номер. Кричит: «Да... мне больше всех надо!», в груди у него «что-то клокочет» от возмущения, он только что обещал Ирине, что ее защитит, — и ничего не делает. А на его глазах Ирина падает со страшной высоты: «Она вонзилась головой в пол».

После этой нелепой и ненужной смерти, в которой нет, кажется, даже сюжетного смысла, Ветров встречает возле цирка мальчика, который собирается завтра на цирковой утренник. «А клоун будет?» — спрашивает мальчик. «Я приду вовремя, — думает Ветров в своей обычной приподнятой манере. — Не беспокойся, не опоздаю. Можешь на меня положиться». И говорит вслух: «Конечцо. Клоун будет». Но тут же отправляется в Управление цирков и буквально силой вырывает разрешение уехать из Москвы («Хочешь бросить программу?» — «Нет, просто не могу. Нету сил».).

Вот так номер! Сегодня и ежедневно надо защищать детей, приносить им радость и т. д. и т. п. и другие самые возвышенные слова и мысли, которые так громко декларируются, а на деле — вроде бы непорядочность с женщиной и ее ребенком, высокопарное обещание помочь Ирине, которая погибает на его глазах, а он не ударяет пальцем о палец, торжественное обещание ребенку прийти в цирк, а потом: «Просто не могу. Нету сил». О чем же тогда эта повесть? О мелком, хвастливом, жалком фразере, который говорит одно, а делает другое, о человеке безответственном, на которого нельзя ни в чем положиться, о «настоящем» мужчине, умеющем красиво пить, красно говорить и жить в свое удовольствие?

Автор уверяет нас: нет, это повесть совсем о другом человеке — о талантливом артисте, хорошем товарище, чистом сердце, о человеке с незадавшейся личной жизнью, сознательно и самоотверженно отдающем всего себя искусству.

Как же совместить эти два лица — то, что было задумано, и то, что получилось? Да, видимо, никак это сделать нельзя. Это разные люди. Беда повести — в попытке совместить несовместимое, рисковать о жизни, воспользовавшись взятой напрокат интонацией, «литературной» стилистикой, чужим дыханием. Броский современный

диалог, завораживающая модная интонация — все это только, как говорят в цирке, эффектная «продажа».

Два примера. Диалог.

«Она сказала:

— Даже не поздоровались...

— Неважно, — сказал я, — хорошо, что увиделись.

— Два года прошло, — сказала она, — интересно как все на земле, два уже года... Большой срок. — Она поглядела куда-то вдаль и бросила: — Вы в Ташкенте долго как сидели. Что так? Там, говорят, девушки интересные...

— И в Свердловске тоже интересные, — сказал я, — и в Вологде...

— Нет, в Ташкенте всех лучше, — упрямо сказала она, — там наездницы красивые...

И снова она приблизила ко мне свои глаза. В них кипела злость, как лава в кратере вулкана. Брови у нее сошлись на переносице.

Я улыбнулся.

— В Риге, вот где девушки, — сказал я миролюбиво. — Ну да и в Таллине тоже.

Она ничего не ответила мне и отвернулась».

О чем говорят эти люди, впервые встретившиеся после двухлетней разлуки, так ждавшие этой встречи, которая для них так много значит? Откуда эта нарочитость, имитация сдержанности, страсти, глубокомысленные намеки, пресловутый «подтекст». Ветров, только что услышав о том, что у Таи есть какой-то майор, сразу же забыл и о своей любви, и о том, как ждал два года этой встречи... Он уже не может и не хочет прощать (впрочем, иначе не было бы и повести!). Ну, а предположим, майор любит ее, а она его нет, она только принимает его ухаживания от тоски, от неудовлетворенности (Ветров-то вот даже ребенка ее не видел!), оттого, что просто не знает, как убить время, и т. д. и т. п. Так почему же, встретившись, эти люди ведут такой бессмысленный разговор? Зачем эти «девушки в Ташкенте», «девушки в Свердловске», Риге, Таллине? Боюсь, что за этими пустыми, нарочито «загадочными» словами ничего нет, а ведь между этими людьми должно было происходить что-то серьезное! Но нет. Мужчина под сорок и женщина не первой молодости разговаривают, как мальчики и девочки из какой-нибудь «модной» повести.

Пример второй. Интонация. Детали.

«...Она села у стола, облокотилась и подперла маленьким кулачком свое сморщенное личико, и подведенные ее глазки прикрылись какой-то тонкой пленкой, как у старых птиц, она смотрела прямо перед собой, и я не знал, спит она или нет, старая эта куколка, тетя Нора, и я пил ее чай, и жевал ее черствый бублик, и вспоминал далекое время, когда я был маленьким и мы жили в Гюлтаве, были живы отец и мама, и тетя Нора приходила к нам в гардеробную в розовом трико, туго натянутом на точеные ее ножки, и вся она была осыпана цирковыми драгоценностями из стекла и фольги, блески сверкали на ее груди, тогда она была совсем еще молодая куколка, и они с моей мамой смеялись, и болтали, и грызли орехи, и орехи шелкали под их зубами, это были звонкие выстрелы, как из пистолета, и вырастали горки ореховой скорлупы...»

А дальше, так же не переводя дыхания, через бесконечные «и», на той же ноте рассказывается о том, как его отец косился на тетю Нору, а мама волновалась, как любил тетю Нору бесстрашный капитан Сантино — укротитель пантер, а тетя Нора не обращала на него внимания и вышла замуж за его ассистента Сашу Пермитина, как капитан страдал, плакал на ее свадьбе, уехал в Италию и его там растерзали эти самые «подлые» пантеры, Саша бросил тетю Нору, она полюбила красное вино, а во время войны тушила на крыше зажигалки и стреляла в немецкие самолеты из циркового ружья. «А сейчас я уже давным-давно взрослый, и скоро буду просто пожилой, и вот я сижу у нее в вахтерке, и я разбит сейчас душой, и Нора дремлет, и обута она в мужские ботинки, и какие-то кривые чулки сползают с ее высохших ног».

Тетя Нора — женщина с нелегкой судьбой. Но помогают ли увидеть, понять тетю Нору все эти детали ее экзотической биографии — розовое трико, фольга, орехи, капитан Сантино, пантеры? Нужен ли здесь весь этот ворох разнородных и только внешних примет, объединяемых союзом «и»? Их может быть вдвое больше и вдвое меньше, но среди них нет тех безошибочно точных, единственно верных деталей, которые показали бы внутреннюю сущность характера человека, сказали бы о нем просто, без пышности и мишуры.

Писать правду о жизни труднее, чем похоже изображать придуманную жизнь. Замысел, даже самый верный, не может быть

воплощен в чужих, взятых напрокат характерах, образах, интонации — герои не могут говорить чужими, даже хорошо поставленными голосами, и говорить при этом правду. В этом досадный просчет автора, который

не смогли, к сожалению, восполнить ни живая наблюдательность рассказчика, ни его искренняя любовь к своим героям

Ф. СВЕТОВ.

★

УСЛОВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

Л. Яновская. Почему вы пишете смешно? Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их юморе. Издательство Академии наук СССР. 1963. 182 стр.

Книга Л. Яновской вышла массовым тиражом (70 тысяч!) в научно-популярной серии. И если, по старой поговорке, положение обязывает, — то здесь есть все, что требуется от популяризатора. Это — и свободный, непринужденный разговор о жизни, творчестве, свойствах таланта замечательных советских сатириков. И нетрафаретные толкования образов их романов, повсеместно известных и любимых. И те драгоценные биографические подробности, которые нужны не для удовлетворения обывательского любопытства, а для нового, углубленного понимания творчества писателей. Словом, можно сразу сказать, что автор вполне справился с задачей, определенной жанром и целью его труда.

Но Л. Яновская этот самый жанр и цель понимает, пожалуй, шире, чем это принято для обычной — даже в лучшем смысле слова — популяризации. Название ее книги «Почему вы пишете смешно?» — отнюдь не шутливо-иронично. Оно — совершенно всерьез. Яновская хочет показать закономерности возникновения и необычайно быстрого развития творчества Ильфа и Петрова, стремится раскрыть связь его со временем, жизнью, литературой, то есть ставит перед собой задачи исследователя, потому что вопросы эти только голько начинают изучаться.

Разумеется, в книге «Почему вы пишете смешно?» научный аппарат, архивные разыскания занимают не главное место. Но именно эта исследовательская работа, ее результаты и способствуют тому, что книга не только информирует об известном, но во многом открывает нечто новое. Это и вынуждает, с другой стороны, судить о ней по более жестким нормам, чем прилагаются обычно к работам популяризаторским...

Пред нами действительно в большинстве случаев научно доказательная характеристика сложного пути писателей. Пусть не всег-

да бесспорная, порой излишне беглая (например, главы «Любовь должна быть обоюдною» и «За океаном»), но целеустремленная, не обходящая острых углов и спорных проблем. Опора на факты, а не на схемы, желание раскрыть глубинный смысл романов Ильфа и Петрова, освободить его от устаревших, однако живучих литературно-критических «наслоений» — вот что подготовило почву для выводов автора, имеющих принципиальное значение в решении проблем развития советской сатиры.

Сошлюсь хотя бы на два примера. Еще в 1957 году в статье, которая была едва ли не первой попыткой серьезного литературоведческого изучения сатиры Ильфа и Петрова («Вопросы литературы», № 4), Л. Яновская впервые сообщила о замысле третьего романа писателей («Подлец»), над которым они работали в тридцатые годы. Позднее другой исследователь творчества сатириков, А. Вулис, внеся некоторые уточнения в датировку, предложенную Л. Яновской, вместе с тем утверждал, будто Ильф и Петров потому оставили реализацию этого замысла, что осознали: сатирический роман принадлежит прошлому и нашей героической эпохе вроде бы и ни к чему. Л. Яновская в свое время на страницах «Нового мира» отвергла этот опасный для теории и практики сатиры тезис. В книге же она обосновала свою точку зрения и документальными данными и — главное — тщательным анализом тенденций творчества Ильфа и Петрова в тридцатые годы. Размышляя над эволюцией их манеры, жанровыми поисками, Л. Яновская показывает, что Ильф и Петров вовсе не собирались отказываться от сатиры, хотя сатиричность их образов в тридцатые годы несколько иная, чем в первое пятилетие творчества.

Проблема героя наряду с проблемой типического в советском сатирическом романе и по сей день вызывает ожесточенные

дискуссии. Анализируя образ Остапа Бендера, Л. Яновская раскрывает типичность этого героя как воплощение противоречия, существующего в самой жизни: противоречия между стремлением к золоту как символу счастья и власти — и невозможностью для их обладателя получить в нашей стране счастье, власть, даже элементарное уважение. И это правильный ответ тем, кто никак не может понять, как же это в центре романа о советской действительности оказался «великий комбинатор».

Упорно отстаивая своеобразие сатирического обобщения, специфику отображения жизни в сатире, Л. Яновская вместе с тем порой как бы отдает дань тем представлениям, с которыми по существу воюет. Дело не в силе литературоведческой «инерции» прежних лет (от нее автор почти свободен), а в недостатке доверия к богатству возможностей сатирической типизации. И когда исследователь вдруг пробует не столько защищать сатиру, анализируя жизненный смысл образов, сколько начинает ее «оправдывать» ссылками на особенности жанра, на сатирические приемы, — тогда в книге происходят странные смещения.

Вот, например, Л. Яновская считает типы Балаганова, Паниковского, Козлевича не «предметом сатиры», а «образами-шутками», чье «присутствие на первом плане как бы сдвигает действие романа в мир необычного, помогает сатирикам смелее применить выдумку, иронию, гротеск». Но разве Балаганов с его «Сухаревской конвенцией» — это не «упрощенный» Бендер, Бендер, так сказать, нижнего этажа мира тунеядцев и вымогателей? Разве хозяин «Антилопы» Козлевич не сатирическое развитие темы гибели «частника» в нашем обществе? Разве жизнь «человека без паспорта» Паниковского и его смерть на степном холме не своеобразный прогноз будущего его коллег? Конечно же, это отнюдь не «служебные» образы: стоит лишь попристальней взглянуть в их человеческое, жизненное содержание — и отпадет необходимость в ничего не объясняющих ссылках на «приемы».

Именно такие извиняюще-оправдательные интонации звучат и тогда, когда автор неожиданно начинает убеждать нас в том, что поскольку Ильф и Петров «по самому характеру их творческих индивидуально-стей... не были писателями героическими» (очевидно, имеется в виду — писателями героической темы), то они и не поставили в

центр «Золотого теленка» персонаж положительный. Разве дело было лишь в индивидуальном складе их дарований, а не в особенностях сатирического рода творчества?

И это тем более досадно, что конкретный анализ Л. Яновской раскрывает глубоко человеческое, утверждающее, воинственно оптимистическое содержание подлинной сатиры, не нуждающейся в оправдании своих особых объектов и приемов. Конечно же, любовь Ильфа и Петрова к «самым рядовым, самым обыкновенным людям» вовсе не обязательно должна была выражаться широким изображением их в сатирических произведениях. Как сильно, яростно (и — неожиданно — злободневно в масштабе международном!) выражена эта любовь в убийственном портрете «человека из комариной прослойки», который вещает «преданным голосом»: «Это все мелочи — замочки, детки, всякая ерунда. Надо смотреть шире, глубже, дальше, принципиальнее. Я люблю класс, весь класс в целом, а не каждого его представителя в отдельности. Интересы отдельных единиц не поколеблют веков истории».

Немало злоключений выпало на долю сатиры Ильфа и Петрова в тридцатые годы. Л. Яновская рассказывает о том, как Ильф, Петров, Катаев сняли свои фамилии с титров комедии «Цирк» (они были авторами сценария), почему оказался неудачным фильм «Однажды летом», сделанный по «Золотому теленку», не стал фильмом сценарий «Богатая невеста». Во всем этом она видит то ли прихоти режиссуры, то ли слабость техники съемок, то ли заблуждения критики, требовавшей комедии лирической и только лирической. А ведь все было проще и серьезнее: во второй половине тридцатых годов, в пору культа личности, сатира незаметно, но последовательно вытеснялась из нашего искусства. К чему это привело в сороковые годы — мы хорошо помним, хотя бы по той недоброй встрече, какая была оказана первому послевоенному изданию романов Ильфа и Петрова. А ведь в те же годы раздавались громкие призывы о необходимости «Гоголей и Щедриных»...

Кстати, Л. Яновская гораздо более детально, чем другие исследователи, занялась вопросом о традициях и новаторстве в творчестве Ильфа и Петрова. Убедительно показана их связь с Гоголем. Что же касается Щедрина, то многое в книге

осталось не проясненным, а кое-что кажется просто неверным.

Так, сопоставляя салтыковскую «Историю одного города» и «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», Л. Яновская пишет: «...ирония Щедрина глубока, подспудна, его внешний тон спокоен и серьезен, тогда как ирония Ильфа и Петрова видна, изыщна... тяготест к пародии — к пародии имен, языка, сюжетов, явлений». Но ведь нет у Салтыкова произведения — разве за исключением «Современной идиллии» — более открыто, демонстративно ироничного, с «самой дикой игрой воображения» (Тургенев), чем «История одного города». И где как не здесь искать пародирования имен (например, Угрюм-Бурчеев), языка (скажем, официальных документов), сюжетов (хотя бы летописных), событий (царствования разных императоров), явлений (либерализм, аракчеевщина и т. п.)!

Вообще Л. Яновская не раз касается пародийных элементов в произведениях Ильфа и Петрова. Однако пародия как средство сатирического иносказания, да и само иносказание, увы, не привлекли ее внимания. Думаю, когда наконец будут изучены многочисленные иносказательные образы «Двенадцати стульев», созданные, в частности, и средствами пародии (например, будет «расшифрована» глава «В театре Колумба»), то сильно изменятся существующие представления о «нотах благодушия» в этом романе, уточнится наше понимание эстетической и общественной позиции сатириков.

И достоинства, и упущения книги «Почему вы пишете смешно?» лишней раз убеждают: серьезный научный подход — не помеха, а обязательное условие и для издания популярного.

Л. ЛИВЩИЦ.

Харьков.

★

ХОРОШЕЕ — ТОЛЬКО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ!

Н. Мацуев. Советская художественная литература и критика. 1960—1961. Библиография. «Советский писатель». М. 1964.

Вряд ли можно добавить что-либо новое к тому хорошему, что уже неоднократно было сказано в печати о библиографических указателях Н. Мацуева. Они стали неотъемлемой частицей нашей литературной жизни. И без этой библиографической летописи, завоевавшей репутацию ценного издания, не могут обойтись не только критики и литературоведы, но и писатели, и библиотекари, и читатели. В немалую заслугу и автору, и издательству «Советский писатель» следует поставить то, что за последнее десятилетие издание очередных томов труда Мацуева приобрело более или менее периодический характер: они выходят через каждые два-три года и каждый из них охватывает литературную продукцию за двухлетний период. При большой трудоемкости работы над материалом и технической сложности издания, это определенное достижение, хотя двух-трехлетний разрыв между описываемым периодом и временем выхода тома — еще не идеал оперативности для библиографической книги, идущей по горячим следам живого литературного процесса.

С годами в указателе расширялся охват источников и совершенствовалась его струк-

тура. Были введены новые разделы и указатели (литератур, имен, названий), позволяющие быстро ориентироваться в материале и найти сведения о том, какие произведения интересующего вас советского прозаика, поэта, драматурга, очеркиста, критика или литературоведа появились в печати за освещаемый период и где напечатаны отзывы об этих произведениях.

В рецензируемом томе, охватывающем произведения советской художественной литературы и критики за 1960—1961 годы, количество источников по сравнению с предшествующим выпуском несколько сокращено — главным образом по объективной причине: в связи с ликвидацией и слиянием ряда областных и республиканских альманахов. Но вместе с сокращениями, вызванными изменениями в самой литературно-издательской жизни, в томе намечается обусловленная, по-видимому, стремлением издательства сжать листаж книги тенденция, которая не может не вызвать тревогу у всех пользующихся этим изданием.

Так, осталось неосуществленным уже давно высказанное в печати, в частности и автором этих строк (см «Труд библиографа» — «Новый мир», № 5, 1958), пожела-

ние, чтобы наряду со статьями и рецензиями, специально посвященными данному художественному произведению и перечисленными вслед за указанием на него, были бы указаны и проблемные статьи и обзоры, также содержащие характеристику этого произведения — иногда более существенную, чем в специальной рецензии. Эти статьи и обзоры не обойдены автором: они указаны в особом разделе: «Статьи о советской литературе». Но они не «раскрыты». И если сложно приводить название одной и той же проблемной и обзорной статьи при указании библиографии к каждому из характеризуемых в ней произведений, то задачу можно было бы экономно разрешить хотя бы кратким аннотированием самой этой статьи. Например, на странице 465 указана статья: Сурвилло В. Жизнь образа. «Вопросы литературы», 1960, № 10, стр. 13—31. Название статьи, отражая ее теоретическую тему, в то же время не раскрывает конкретно-аналитического материала, на котором она построена. Между тем в ней дана существенная характеристика сборников рассказов четырех молодых писателей и рецензий на эти сборники. А из данных указателя об этом не узнаешь. И как полезно было бы сопроводить указание этой статьи кратчайшей «аннотацией» (хотя бы непарелью!): «Рассказы Н. Воронова, С. Никитина, В. Ревунова и Н. Тарасенковой», а при упоминании этих писателей в указателе имен — обозначить и страницу, где касающаяся их статья указана.

Но где уж мечтать о дополнительном «расписывании» проблемных и обзорных статей по характеризуемым в них авторам (что, понятно, должно повлечь за собой и увеличение объема книги), если в рецензируемом томе, по-видимому, ради экономии бумаги снят целый вспомогательный раздел, имевшийся в трех предшествующих выпусках. Речь идет об «Алфавитном указателе названий книг и произведений», указателе весьма важном.

Такой указатель нужен не только библиотечарю, к которому читатель нередко обращается за книгой, зная только ее название и не зная фамилии автора (а для массовых библиотек это обычное явление). Материал такого указателя дает немало полезного и критику и писателю — и не только в справочно-библиографическом отношении. Так, по одним только названиям произведений,

зарегистрированным в предшествующем выпуске за 1958—1959 годы, можно судить о стремлении писателей выразить в заглавии и оптимистическую направленность нашей жизни (название десяти произведений начинается словом «счастье», столько же — эпитетом «хороший», а тридцать одно (!) — словами «солнце» и «солнечный»), и понимание, что путь к счастью не бывает гладким и легким (в двенадцати произведениях названия начинаются эпитетом «суровый», а в шестнадцати — «трудный»). По одному лишь перечню названий мы можем, например, судить и о том, как сильно развились за эти два года детективный и приключенческий жанры (словом «тайна» начинается название двадцати семи произведений!).

В то же время указатель наглядно показывает, насколько близки, трафаретны и эпидемически распространяются некоторые названия и приемы их конструирования. Достаточно, например, сказать, что всего лишь за два года появилось тридцать одно произведение под названием, начинающимся словом «человек». Этот человек оказывается «в беде», «в лопухах», «в мешке», «в отставке», «в степи», «в тумане», «в тундре», он «идет вперед», «идет по земле», «идет по степи», он «ищет счастья», «находит правду», «находит себя» и, в общем, «не сдается» — будь «человеку семнадцать лет» или будь «человеку 150 лет».

И если двадцать четыре названия начинаются словом «это» (з том числе десять в конструкции «это было в... на... под...», а также модное: «Это вам, романтики», «Это о тебе, Мария...» и т. п.), то писатель, давший своему детищу имя с двадцать пятым «это», вряд ли сможет утверждать, что «это очень хорошо» и — главное — что «это мое» (как предусмотрительно озаглавлено одно из произведений).

В заключение мне хотелось бы высказать надежду, что само издательство, которое наряду с автором приложило немало стараний к тому, чтобы библиографические сборники Н. Мацуева заслуженно заняли почетное место среди выпускаемых «Советским писателем» книг по литературоведению, не станет сводить на нет достигнутое и не пойдет на дальнейшее ухудшение структуры этого издания. Хорошее надо продолжать и совершенствовать!

В. ГОФФЕНШЕФЕР.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Турборг Недреос. Музыка голубого колодца. Роман. Перевод с Норвежского Л. Горлиной. «Прогресс». М. 1964. 250 стр.

Роман Турборг Недреос таит нечаянные открытия, как тот старый голубой колодец, в честь которого он назван. Поначалу кажется, что это одна из тех классических книг о детстве, каких немало в мировой литературе. Встреча с героиней — норвежской девочкой Хердис — приносит нам радость узнавания. Открытия начнутся позднее.

Детство Хердис — это «годы непостижимой вечности, которая и есть жизнь маленькой девочки». Вечность полна чудес, о которых не подозревают люди, живущие рядом с Хердис. Только для нее звучала музыка голубого колодца и в ручье, когда шел дождь, «пела дама». В самых обыкновенных событиях и вещах обнаруживался тайный смысл. Бабушкина открытка заворачивала Хердис своей непостижимой синевою, обещавшей счастье. Песня Грига, доносившаяся из соседнего класса, снимала с души Хердис груз нечистой совести. Кусочек стекла, спрятанный на чердаке, был волшебным: стоит приложить его к глазам — и мир предстанет певучим и странным. Стеклышко было чужое, она стащила его у одной девочки, «но все, что Хердис видела через него, принадлежало ей одной, так же как та музыка, которую она иногда слышала и источник которой был в ней самой».

Почти каждый день имел свое лицо, цвет, запах. Бывали дни, до самого края наполненные радостью. Бывали дни с привкусом тоски, но и в них было что-то хорошее. Дни, омраченные «злыми загадками» взрослых, Хердис старалась забросить в тот самый голубой колодец, куда она однажды едва не упала, — и забыть.

Потом на тихий Берген, где даже появление шарманщика считалось неслыханным скандалом, легла тень далекой войны. Хердис слушала споры о кайзере, Керенском и большевиках, но они скользили мимо ее сознания. И даже когда девочки сказали ей, что ее дедушка Керн — немецкий шпион, Хердис ничего не испытала, кроме недоверчивого удивления. Что такое война, она впервые почувствовала, когда увидела выброшенные на улицу игрушки Эвелин, с которой дружила: семью Эвелин вышвырнули из дома, как и многих дру-

гих, кому война принесла нищету. Но все же главное событие, перевернувшее жизнь Хердис, событие, после которого бабушка стала говорить ей вместо приветствия: «Ах ты мое бедное несчастное дитя!» — не имело отношения к общим большим бедам.

Если бы вы спросили бабушку, что случилось с Хердис, вы услышали бы трогательную и нравоучительную историю о хорошей маленькой девочке, которая жила безопасно и счастливо, пока ее родители не разошлись. Но с тех пор, как ее мать ушла из дому, оставив мужа и дочку, Хердис словно подменили: она стала плохо учиться, пропускать уроки, лгать и грубить. Вот что получается, когда родители... и так далее.

Бабушкину точку зрения Турборг Недреос не разделяет. «Музыка голубого колодца» меньше всего похожа на тривиальный рассказ о «бедном заброшенном ребенке». Хотя ребенок и в самом деле несколько заброшен. И действительно стал хуже учиться. И гажело переживает разрыв родителей. Словом, в бабушкином объяснении есть та доля истины, которая всегда содержится в любой прописной мудрости и нравственном шаблоне.

Как и всякая талантливая книга, «Музыка голубого колодца» отвергает шаблоны. Но Недреос не только отвергает шаблоны — она их опровергает. Идея книги находится в вызывающем противоречии с ее сюжетом. Однако полемика ведется не в открытую, а исподволь.

Непосредственность видения жизни, отличающая дарование писательницы, как бы снимает всякое предположение о тенденциозности. Книга берет вас в плен, вы идете за Хердис и постепенно обнаруживаете, что вступили в незнакомую область, где все похоже и не похоже на привычную, исследованную вдоль и поперек страну Детства.

В предисловии к взрослым читателям Януш Корчак, автор повести «Когда я снова стану маленьким», писал: «Вы говорите: «Дети нас утомляют». Вы правы. Вы поясняете: «Надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься». Ошибаетесь. Не от этого мы устаем. А от того, что надо подниматься

до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться».

В книгах о детях, написанных в прошлом веке, в основном сказывалась первая — дидактическая — тенденция, а для западной литературы XX века характерна вторая. Более того, ребенок все чаще выступает в роли судьи, которому дано выносить приговор миру взрослых. Потому что он чистый, а они нет («устаи младенцев глаголет истина»).

Роман Недреос стоит особняком. Писательница не «опускается до понятий» и не «поднимается до чувств» своей героини. Собственно говоря, эти две крайности, как это нередко бывает, в чем-то сходятся. И в том и другом случае в мир ребенка проецируются нравственные нормы, принятые взрослыми. Мы почти бессознательно приписываем ребенку наши реакции, и ему остается лишь принять установленные правила и подыгрывать.

Или не принять. Как Хердис.

Нет, это не бунт. Ничего похожего. Но Хердис постоянно дезориентирует нас. Существует, например, такая незыблемая психологическая догма. Если мама ушла от отца к другому мужчине, то ребенок, конечно же, должен испытывать к этому «другому» по меньшей мере неприязнь. И если отец в свою очередь полюбит другую женщину, то ребенок... и т. д. Но Хердис! Что делать, если Хердис очень нравится «дядя» Элиас — он большой, добродушный и веселый, и мать хорошеет от счастья в его присутствии. И Анна тоже нравится девочке, от нее веет безмятежным спокойствием и добротой, и только однажды, когда отец жестоко обидел Хердис, она решила, что больше Анна не будет ей нравиться.

Хердис не судит своих близких. И даже не осуждает, хотя ей вовсе не свойственна ангельская доброта. Но ее отношение к жизни отличается непосредственностью, то есть свободно от наслоений предрассудка. «взрослой» морали.

В «Музыке голубого колодца» есть глава, которую можно было бы назвать ключом к роману. Событие, о котором идет речь, произошло еще до развода родителей. Мать Хердис, веселая и нарядная, ушла в синематограф, где она играла по вечерам на рояле, но когда Хердис пришла туда, ей сказали, что фру Хауге сегодня не работает, так как она больна. Это был пе-

чальный и страшный день для Хердис, но закончился он неожиданно радостно. И вовсе не потому, что Хердис напрасно подозревала мать. Совсем наоборот.

Но... «мать вернулась домой со сверкающими, как золото, глазами и нежным румянцем на щеках. И пришла она из синематографа, она сама так сказала. А Хердис не сказала ничего, что могло бы вызвать сомнение в этом. Мать... была доброй, теплой и близкой. Ее радость, как летний дождь, наполнила все.

А то, другое?

Радость наполнила весь дом, все вещи, она сияла на лицах людей, которых Хердис любила, звучала в голосах вокруг нее, и в ней больше не было места злым загадкам. А непонятную сегодняшнюю историю она бросила в красивый голубой колодец... Когда Хердис заглянула в колодец, ища ее там, она увидела только свое собственное отражение. И пока она не уснула, в музыке, поднимавшейся из колодца, звучал нежный счастливый смех матери».

Счастливый смех Франциски, матери Хердис, настойчивым лейтмотивом звучит в романе. Он отзывается в душе Хердис радостью и тревожным предчувствием. Девочка приглядывается к матери с пристальной, влюбленной нежностью. Никто не излучает такого удивительного тепла, ни у кого так не искрится улыбка, не сияют глаза, никто не умеет так радоваться, как Франциска. То добрая и близкая, то вдруг чужая и даже жестокая, то подобная «жаркой буре», мать Хердис проходит по границам романа как воплощение земного счастья, любви и страдания.

На языке бабушки Хердис это называется Грех, Франциска — «рабыня Греха», а Хердис — «жертва Греха». Впрочем, и для людей, не пользующихся этой старомодной терминологией, между невинной Хердис и грешной Франциской существует, так сказать, непроходимая пропасть. Хердис чувствует себя на одном берегу с матерью. Она не понимает, что счастье может быть безнравственным. Моральные критерии, которым подчиняется Хердис, продиктованы гем инстинктом жизни, который ей, как и всякому, дан от рождения.

С удивительной проникновенностью передает Недреос то состояние души, когда «вне все впечатленья бытия». История детства — это всегда рассказ об открытии мира. И о столкновении с ним. Известно,

что первые радости и разочарования, вынесенные человеком из этого столкновения, нередко на всю жизнь определяют его отношение к действительности. Короткий опыт Хердис включает семейную драму, разрушившую ее дом, и войну. А радости?.. Кажется, нетрудно угадать, какая чаша весов перетянет. Но в формировании характера Хердис обиды, выпавшие на ее долю, не играют решающей роли. (Не потому, что это «детские» обиды, которые принято считать несерьезными.) Больше всего ранит Хердис равнодушие, но даже несправедливость не разрушает ее души, упрямо сопротивляющейся горю. Как бы жестоко ни обходилась с ней судьба, ни люди, ни мир не кажутся Хердис враждебными.

Чем объяснить зашищенность этой девочки, в высшей степени наделенной способностью глубоко и тонко чувствовать? Возможно, той естественной, почти биологической близостью природе, которой отмечено детство Хердис. Земля и море, солнце и дождь, ветер и облака — все это не фон жизни, а владения Хердис и принадлежит ей, как воздух, которым она дышит. Тут один из источников силы Хердис, ее жизненной устойчивости. Это устойчивое растение, уходящего корнями в землю. И люди, окружающие Хердис, — той же «породы». Быть может, в этом сказывается своеобразие «духовного климата» Нор-

вегии, а может быть, это индивидуальная особенность таланта Недреос, но, как бы то ни было, почти во всех героях романа чувствуется эта устойчивость, эта добрая жизненная сила. Она — и в беспечной и нежной тете Фанни, и в прекрасной и величественной, как «царица», тете Ракель, в добродушном, покладистом и почти всегда пьяном дяде Элиасе, в ворчливом и взбалмошном дедушке Керне, которого за глаза называют «Симоном-драконом», в безмятежно спокойной Анне. И даже бабушка, так много рассуждающая о боге и грехе, не составляет исключения, и в ее «языческом», по-детски заразительном смехе звенит все та же радость бытия...

Мы оставляем Хердис на пороге взрослого мира. Детство кончилось, и вместе с ним ушли чудеса, населявшие ее жизнь. Давно утратило свою тайную силу волшебное стеклышко, и заветная синяя-синяя открытка ничего уже не говорит Хердис. Но ей некогда жалеть о потерях. Жизнь манит ее новыми обещаниями...

Что касается морали... Турборг Недреос как-то сказала: «У нас у всех есть склонность падать в колодезь. Но мы обладаем и огромной волей к жизни, способностью вылезти из него...» Хердис вступает в мир, готовая к горю, но с надеждой на радость, с уверенностью, что человек рождается для счастья.

М. ЗЛОБИНА.

★

Политика и наука

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТЯСЛИ ВОЛГУ

М и х. Ц у н ц. Рассказ о Большой Волге. «Советская Россия». М. 1964. 158 стр.

Немало написано о Волге, и все же перед нами книга, которая содержит много нового по сравнению с работами, увидевшими свет, скажем, десять—пятнадцать лет назад. В ней говорится о том, что произошло и происходит на великой реке в последние годы, о перспективе полного осуществления огромного комплекса гидротехнических работ, которые вошли в историю под названием плана «Большой Волги». Книга раскрывает содержание и значение плана, согласно которому в ближайшие годы будет завершено Волжско-Камский

каскад гидроэлектростанций и будет решена проблема Большой Волги.

Когда три десятилетия назад на своей специальной сессии Академия наук СССР рассматривала эту проблему, буржуазная пресса твердила, что создание мощного гидроэнергетического каскада с крупнейшими «фабриками электричества» и уникальными плотинами — не больше, чем пропагандистский прием, что плотины будут «бумажными», а станции «мифическими».

Русская Волга — и это хорошо показано в книге — отняла пальму первенства в об-

ласти крупного гидроэнергетического строительства у американских рек. И когда у президента «Детройт Эдисон компани» г-на Сислера, посетившего не так давно Волжскую ГЭС имени В. И. Ленина, спросили о его впечатлении, он снял шляпу и поклонился гудящей турбине. Это была крупнейшая в мире турбина, установленная на гидростанции, равной которой по мощности нет ни в одной стране мира,—станции, передающей свою энергию по сверхдальней высоковольтной трассе рекордного напряжения.

Да, прошли времена, когда вести о «гидротехнических уникалах» приходили с берегов американских рек. Пресса всех стран расписывала чудо-плотины на Теннесси, Колорадо, Колумбии. Теперь первенство в области сооружения мощных гидроэлектростанций прочно перешло к Советскому Союзу. Славу крупнейшей американской плотины Грэнд-Кули затмила обновленная Волга. После пуска гиганта в Жигулях Грэнд-Кули оказалась на втором месте, после ввода в строй второго волжского гиганта — у Волгограда — на третьем. Далее, как говорится в книге, эстафету приняли сибирские реки Ангара и Енисей.

Работы на Волге длятся более четверти века — участок за участком человек покрывает энергию реки. Но решающими явились пятидесятые годы.

С Волги автор переносит нас на ее уральский приток. Это о Кама Д. М. Мамин-Сибиряк говорил: «Какая сильная и могучая река и как напрасно пропадает ее великая даровая сила...» Теперь Кама вращает турбины двух гидроэлектростанций: у Перми и на родине П. И. Чайковского — у Воткинска, в Удмуртии. «Я родился в глуши», — писал когда-то великий композитор. Теперь нет воткинской глуши, здесь создана гидроэлектростанция, которая по мощности не уступит Днепрогэсу. Предстоит еще построить Верхне-Камскую плотину. Кама, как и Волга, на наших глазах превращается в цепочку морей-водохранилищ, гидроэлектростанций и судоходных шлюзов.

В книге раскрывается весь комплекс того эффекта, который дает народному хозяйству преобразование Волги. Читатель воочию видит, какое большое значение имеет перестройка великой реки не только для энергетики, но и для водного транспорта, для орошения засушливых земель Заволжья и

Прикаспийской низменности. Большая Волга теперь не упирается, как это было до соединения ее с Доном, в «яму Каспия» — она получила выход в южные моря, связанные с мировыми водными путями. Наряду с созданием Единой энергетической системы становится явью Единая система водных дорог Европейской части Советского Союза. Стали возможными такие в прошлом фантастические речные рейсы, как Архангельск — Баку или Мурманск — Ялта.

«Большой Волге, — пишет автор, — предстоит выполнить еще одну, может быть, самую важную и благородную миссию — принести вечное плодородие и приволжским и прикаспийским землям». Ирригация и химизация — вот путь к стабильной урожайности.

Так как нуждающиеся в орошении заволжские земли значительно возвышаются над уровнем Волги, подача воды на поля потребует подкачки. Но рентабельно ли ведение орошаемого земледелия с затратой значительного количества электроэнергии для подъема воды мощными насосными станциями? Да, такое орошение будет весьма экономичным. Если даже воду поднимать на стометровую высоту, затраты на полив одного гектара технических культур составят менее двух процентов себестоимости урожая.

Таким образом, Большая Волга даст сельскому хозяйству не только воду, но и дешевую электроэнергию для доставки влаги на поля.

Чтобы полностью осуществить план создания Большой Волги, надо не только преобразовать реку и ее главные притоки, но и пополнить ее водные запасы ресурсами северных рек Печоры и Вычегды. Автор подробно рассказывает, как много благ принесет северная вода, которая пройдет через турбины камских и волжских гидроэлектростанций. Печора, впадающая в Каспий, не географический парадокс — это план Большой Волги в действии. На Печоре уже работают партии изыскателей. Буровые станки действуют в северной глухомани. Безвестные поселки Усть-Воя и Усть-Кулома скоро станут такими же всемирно знаменитыми, как Братск и Дивногорск.

Все, что происходит и должно еще произойти на Волге, автор рассматривает как часть грандиозного наступления на реки, которое ведется в нашей стране. Полное

овладение силами природы немисливо без укрощения водной стихии. В книге справедливо подчеркивается, что для Советской страны, почти сорок пять процентов территории которой страдает либо от недостатка, либо от избытка влаги, управление водой — важное условие дальнейшего ускоренного развития производительных сил, умножения общественных богатств. Перераспределение водных ресурсов в масштабе страны — величественная задача. Большая Волга, переброска на юг печорско-вычегодских вод, проложит путь новым, еще более грандиозным гидротехническим операциям, которые преобразят облик и экономическую структуру многих районов страны и на юге и на севере.

Рецензируемая книга не могла быть написана несколько лет назад. В книге хорошо отражена стремительность перемен на «главной водной дороге России», темп и величие наших строительных работ. По сути это рассказ о советском человеке-преобразователе, героический труд которого делает великую реку все полноводнее.

Много интересного найдет читатель в этой книге, но жизнь идет вперед. И я не сомневаюсь, что немного времени пройдет — и заново будет написан «Рассказ о Большой Волге», и в нем опять будет много нового, рожденного нашей действительностью.

Академик Д. ЩЕРБАКОВ.

★

ПИСЬМА С ВОЙНЫ

...Сражалась за родину. Письма и документы героинь Великой Отечественной войны. «Мысль», М. 1964. 367 стр.

Здесь собраны письма, дневниковые записи, воспоминания, документы и фотографии девушек и женщин — участниц Отечественной войны. Иногда это даже не письма, а только короткая предсмертная записка на клочке бумаги или на тюремной стене, чужое стихотворение, запавшее в память и нацарапанное на камнях темницы в ожидании казни, надпись к портрету Зои Космодемьянской. От иных и фотографий не осталось. Так, спустя много лет после войны в развалинах Гомеля была найдена дамская сумочка и в ней записка за подписью Марии Евдокимовой, из которой стало понятно, кто же здесь осенью 1941 года взорвал ресторан, в котором немецкие офицеры праздновали «победу», и уничтожил при этом восемьдесят шесть офицеров противника (и так как другой возможности не было — то и себя самого).

Книга открывает новые, совершенно неизвестные — во всяком случае широкому читателю — имена, рассказывает о подвигах, достойных бессмертной общенародной славы, и если каждый из этих подвигов не стал достоянием действительно общенародной славы, то лишь потому, что это, очевидно, физически невозможно во времена, когда героизм становится явлением почти массовым.

Одни из тех, кто писал эти письма, погибли в фашистских застенках: им вырва-

ли глаза, обрубили руки, но они до последнего мгновения сохраняли в себе стойкость и верность; другие приняли на себя огонь, дав возможность товарищам уйти от противника, третьи взорвали или застрелили себя, чтобы не даться живым врагу; наиболее счастливые погибли в бою, на глазах у товарищей: кто-то нашел свой конец после долгих страданий на госпитальной койке; а кто-то по прихоти случая остался в живых, пусть без рук, без ног, но в живых, и, выйдя из госпиталя, прочел свое имя среди имен боевых друзей на обелиске, наскоро поставленном над братской могилой.

По-разному сложились солдатские судьбы авторов этих писем. Одни неоднократно получали тяжелые ранения и, будучи отчисленными из армии по физической непригодности, обманывали командование, и снова уходили на фронт навстречу новым опасностям, и так дошли до Берлина. Боевой путь других оборвался при первой встрече с врагом. Послужной список одних включает в себя большее количество реальных солдатских дел. Полvig других — только в героической смерти. Одни удостоены высших наград, память о других хранят лишь их навсегда одинокие матери.

Но как не существенны эти различия перед тем, что объединяет всех, чьи имена собраны в этой книжке, так или иначе все они отдали или готовы были отдать свою

жизнь во имя победы над фашизмом. И все они были людьми очень счастливыми. Очень счастливыми и гордыми своей судьбой. Пусть где-то прорвался смертный стон и сквозь какой-то листок слышишь тоску, боль, сожаление об утраченном. Очень хорошо, что составители не опустили этого живого вздоха, изданного в последнее мгновение. И все же через всю книгу лейтмотивом пробивается ощущение истинного счастья.

«Какое счастье! Как я рада, как рада, рада, рада! Никогда не было так хорошо. Сегодня меня взяли на работу в тыл к немцам. Ой, как я счастлива!.. Ну, рада же я!!! ...Я чувствую себя замечательно. Ведь я же в сто раз счастливее всех Ниночек, Клар и прочих девчат, находящихся дома, танцующих, развлекающихся, тем, что в наше время и я значу что-то для Родины, что я нужна ей и не зря ношу звание советского человека. Пусть мне придется быть голодной, сидеть по фашистским тюрьмам, ходить босиком сотни километров, — у меня есть огромное богатство — чувство удовлетворенности своей жизнью...» (Ина Константинова). «Я чувствую себя счастливой, я всей душой ощущаю необъятную красоту нашей жизни... Хорошо, несмотря ни на что, потому что... самое главное хорошо — это борьба и победа... ...ты... конечно, разделяешь мою какую-то особенную, торжественную радость» (Вера Хоружая). «Я счастлива, что влилась в эти дни в народную гущу... Иногда мне хочется обнять всех сразу...» (Анна Жидкова). «Вчера в полетах все время думала о постороннем. Я стою перед жизнью огромной и сложной. Сколько радостных чувств и огромного счастья в этом маленьком слове — жизнь!..» (Галина Докутович). «Нет, не будучи в боях, не испытав на собственных плечах всех трудностей, невозможно почувствовать до конца радость победы» (Гуля Королева). «...если бы мне и всем нашим девочкам... предложили сейчас вернуться... никто бы не согласился» (Валерия Патковская).

Таковы были нормы и идеалы, таковы были представления о счастье, о жизни, о смысле жизни того поколения советских людей, которое выросло на традициях революции и гражданской войны и приняло на свои плечи тяжесть Отечественной войны.

Авторы писем — вчерашние школьницы, студентки, работницы — это дочери крестьян,

рабочих, врачей, педагогов, инженеров, партийных работников и тех из них в том числе, кто тогда был репрессирован. Это решительно ничего не меняло. Дочь репрессированного — Валерия Патковская, девушка редкой красоты, изящества, душевной тонкости и подлинной внутренней интеллигентности, пишет матери: «Родина, Москва и комсомол воспитывали нас, помогали нам расти, разбираться в своих мечтах и осуществлять их. Теперь настало время, когда Родина ждет нашей помощи...» Ее письма никак не дают почувствовать особенностей ее судьбы. И это — не скрытность, не осторожность, нет, это нечто совсем иное... Над этим еще будут ломать себе голову будущие историки.

С разным душевным грузом пришли на войну авторы этих писем. На фотографии чудесная девочка в пионерском галстуке, с бантиками в косичках. Зина Портнова перед войной успела окончить только седьмой класс. Доктору Сербиновой, когда она приняла участие в партизанской борьбе, было уже сорок шесть лет.

Разным содержанием наполнено для них емкое слово Родина.

Но большинству авторов этой книги от восемнадцати до двадцати двух лет.

Здесь письма друзьям, подругам, родным, матерям, больше всего матерям. Большинство этих девушек не успело испытать в жизни чувства более сильного, чем чувство дочери к матери. Желание отдать себя целиком борьбе за победу многих из них, как щитом, заграживало от иного личного чувства. «...Мне прислали письмо, что почти все вышли замуж. Меня это немного удивляет, что они находят время думать об этом», — недоуменно пишет Лена Некрасова.

А к тем из них, кто успел полюбить и даже построить свою семью, война была беспощадна. Лиде Худяковой, медсестре полевого госпиталя, полюбившей одного из раненых, уже никогда не удалось увидеть его после того, как он вернулся на передний край. Мария Октябрьская потеряла на войне мужа и двух сыновей. Иные сами были беспощадны к себе. Наташа Качуевская пришла на фронт почти сразу после того, как вышла замуж. Гуля Королева оставила в тылу грудного ребенка. Так же поступила Вера Хоружая.

С фотографий смотрят красивые и некрасивые лица, чаще — красивые; нежные, женственные и суровые, строгие, исполненные солдатского долга; веселые и печальные, беспечные и озабоченные — смотря по тому, к какому времени относятся снимки; не ведающие о том, что их ждет впереди, и полные предчувствия предстоящей судьбы и готовности к ней. Нет, дело тут не только в датах, дело — в характерах.

Эти письма и дневники донесли до нас характеры тех, кто их писал. Галя Докучович — человек напряженной интеллектуальной жизни, высоких нравственных норм. Лида Худякова проста и бесхитростна, в чем-то по-женски очень слаба, но она мучается от записи к записи, она хочет стать человеком, и она становится им. Наташа Ковшова всегда полна неистощимой бодрости, жизнелюбия, желания и умения пошутить. Клава Дарзимонова — застенчивая, замкнутая девушка; как видно, ей трудно давалось общение, но как много у нее за душой было такого, чем ей хотелось поделиться с другим человеком, как велика в ее письмах к учителю потребность раскрыть себя, преодолеть свое одиночество...

Подлинные человеческие документы, как бы ни были они написаны, всегда все же выражают характер.

Письма эти написаны, конечно, по-разному, хотя говорить об этом, может быть, и не стоило бы. Авторы этих писем не претендовали на их публикацию, они вовсе не обязаны «хорошо писать», и заслуга их совсем не в том, как написаны их письма.

И все же хочется сказать о том, что здесь есть письма, авторы которых умели найти слова, адекватные своим чувствам и мыслям. Другие, не менее замечательные письма написаны неумелой рукой. Авторы их не могут найти верный тон письму, сбиваются с одной тональности на другую. И в этих поисках тоже чувствуешь неповторимое, личное. Но есть в этих письмах одна общая особенность. Нередко живое, непосредственное чувство вынуждено в них пробиваться сквозь набор стандартных, обязательных слов и готовых формул, призванных стирать живое разнообразие индивидуальностей. В данном случае им это не

удается: живое, индивидуальное имеет здесь ту силу, которая заставляет траву пробиваться сквозь камни. И все же как досадно видеть здесь этот балласт...

Откуда он?

Когда начинаешь читать текст, который сопровождает письма, текст, идущий от составителей сборника, рассказывающий о жизни и о подвиге каждой из девушек, чьи документы представлены здесь, понимаешь, откуда этот железный негибкий стандарт. Да, мы часто писали и пишем так. В своих рассказах о себе девушки нередко прибегали к тому языку, которым мы писали о них и об их подругах, к языку, который ничего не раскрывает, а служит лишь очень приблизительным условным кодом, сводящим все разнообразие жизни к одному знаменателю. Мы не понимаем, что делаем, вводя этот код. Мы сами лишаем языка не только своих читателей, но и своих героев, подрубая этим тот сук, который является живой основой литературы. При всем при этом книга бесконечно волнует. Но как хотелось бы услышать эти прекрасные голоса освобожденными от того, что их порой заглушает!..

Я думаю, этот сборник, изданный пока слишком скромным тиражом, нужно переиздать, значительно расширив его: сохранились, например, очень интересные письма участниц Отечественной войны Лии Канторович и Гали Хромушиной, известны дневники штурмана Евгении Рудневой. Документы должны оставаться такими, какими они были в подлиннике (если кое-где они слишком сглажены редактированием, лучше вернуть их к оригиналу). А вот многие страницы сопровождающего текста хорошо было бы написать заново. Пусть только составители сборника поймут меня верно. Кое-где, чувствуя унылое однообразие своего языка, они прибегают к украшательству, к беллетристической необязательности. Это еще хуже, чем железный стандарт. Если бы сопровождающий текст был написан тем простым, ни на что не претендующим, но точным и гибким языком, каким написаны, скажем, письма Гали Докучович, это больше бы соответствовало духу представленных документов.

Ю. КАПУСТО.

ИДЕИ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ...

«Э в р и к а». Сборник. «Молодая гвардия». М. 1963. 352 стр.

Книжка называется «Эврика». Ничто не добавлено к этому слову. Нигде не сказано, что это сборник статей, очерков, заметок о науке и технике сегодняшнего и завтрашнего дня. Коллективного автора тоже найдешь не сразу — имена обозначены на обратной стороне титула. Но и без краткого введения, которое все же поставлено перед текстом, читатель невольно потянется к этому несколько, может быть, пестрому и шумливому, но привлекательному источнику научных новостей. Впрочем, слово «новость» здесь может быть употреблено лишь условно: книга, датированная 1963 годом, появилась в продаже лишь летом 1964-го.

Поток информации, вызываемый техническим прогрессом и всем движением нашей жизни, проникает сегодня не только в специальную литературу. Научная литература для массового читателя — а им становится передовой рабочий, колхозник, завтрашний студент — тоже отражает по-своему это движение жизни, отражает время стремительных перемен: освоения космоса, покорения атома, преобразования природы в таких масштабах, о каких и думать не доводилось подавляющему большинству людей какой-нибудь десяток лет тому назад.

Именно эти требования времени вызывают растущий интерес к тем книгам, где ученые, писатели, журналисты общими усилиями помогают нам отобрать самое нужное в том порою беспорядочном потоке сведений, который поступает из жизни, из газет, по радио и телевидению.

Книга, озаглавленная словом «Эврика», представляет собою первый выпуск нового альманаха. Замысел же этого альманаха состоит в том, что он популяризирует не основы наук, а современные научные идеи, рассказывает об исследовательском поиске и решениях. Это информация с воспитательной целью: альманах не только сообщает сведения, но и помогает понимать метод. Кое-что из того, о чем рассказывают авторы, на первый взгляд может показаться сенсацией. Но сенсационность здесь чаще дело формы, чем содержания. Ведь книга написана для молодежи, ее первая задача — зажечь интерес. За каждым фактом, как бы завлекательно он ни был изложен, чувствуется направляющая рука.

Из обширного мира современных научно-технических идей выбраны идеи, ошеломляюще смелые. Если коэффициент полезного действия человеческой мышцы составляет огромную цифру — до девяноста пяти процентов, почему бы не создать искусственную мышцу из пластмассы? Электронные вычислительные машины, оснащенные последним достижением квантовой радиофизики — световыми усилителями, — будут производить миллиарды операций в секунду. Нужно взвешивать эту чудовищную величину, чтобы оценить ее значение. Вполне возможно, что земное ядро представляет сжатую электронную плазму, в которой исчезли химические свойства атомов — все превратилось в некий «универсальный металл». Легенда об Атлантиде отражает, может быть, память человечества о гигантском потоке, вызванном тем, что Земля в своем движении захватила из мирового пространства Луну и сделала ее своим спутником, что могло произойти десять — пятнадцать тысяч лет тому назад. Это все идеи, так сказать, космического плана. Но вот мысли и планы, от которых не так уж далеко до инженерных решений, проникающих в нашу повседневную действительность. На десятки и сотни километров тянутся под дном Каспия еще не обследованные месторождения нефти. На таких глубинах не везде поставишь «искусственные острова», которые уже сейчас позволяют добывать горючее со дна моря. По-видимому, в будущем здесь создадут подводные основания с буровым залом и понтовыми лифтами — прообразы подводных городов, неизбежных спутников освоения морских глубин. Идея антенного отбора электричества (правда, требующая трехкратного увеличения частоты тока) сулит перспективу отказа от трансформаторов и окажет этим громадную услугу электрификации сельского хозяйства.

В науке не только возникают идеи, но и делаются первые шаги к реализации на практике выводов, подсказанных теоретически. Неожиданное часто встречается и здесь.

Мечта физиков, осаждающих крепость термоядерной реакции, — создать в своих установках шнур не светящейся, а абсолют-

но черной плазмы: сегодня там светит не сама плазма, а примеси. Поиск, который ведется биологами, изучающими строение и жизнь нервной и мозговой ткани, привел к выводу: белковые молекулы способны хранить и передавать сведения. В перспективе это обещает, создавая синтетические белки с записанной в них информацией, облегчить процесс обучения, избавить учащегося от притупляющего воздействия зубрежки. Ходячее выражение «железные нервы» перестает быть только образным: советские хирурги впервые в медицинской практике заменили нерв металлическим протезом...

Характерно, что свои научные и технические идеи ученые не отчуждают от общества, наука все теснее связывает прогресс с заботой о человеке будущего, хорошо защищенном от болезней и травм, освободившем себя от механических и нудных, нетворческих операций. Эта мысль последовательно проводится и составителями сборника.

Она отчасти определяет и тематику заключительного отдела («Решения»), где рассматриваются интересные проблемы, уже решенные с помощью остроумной исследовательской догадки или конструкторской выдумки. Пулковский астрофизик использовал телевизионную аппаратуру, чтобы преобразовать невидимые инфракрасные лучи в видимые — и таким путем раскрыл загадку светлых лучей, расходящихся от лунного кратера Тихо. Радиоастрономы сумели отфильтровать радиоизлучение Крабовидной туманности от радиоизлучения Солнца и попутно сделали замечательное открытие — обнаружили солнечную «сверхкорону». Изменяя не только состав, но и структуру гигантских молекул и их взаимное расположение, химики делают нас обладателями необычайного: создают искусственный каучук, по своим свойствам совпадающий с природным продуктом, добывают неизвестную в природе силиконовую пленку, защищающую металл от коррозии. Машиностроители научились использовать взрыв для штамповки изделий. Архитекторы в содружестве с физиками создали в Кремлевском дворце съездов огромный зал с египетской повсеместной безукоризненной слышимостью...

«Эврика» обогащает читателя новыми знаниями, она занята и доходчива. А это уже немало. Художники Б. Диадоров и Г. Калиновский удачно схватили стиль книги, их рисунки забавны и симпатичны. Иногда они по-своему интерпретируют рассказ, метко выделяя в нем существенное и переводя его на графический язык. Разнообразие информации, содержащейся в книге, присутствие разных «малых форм», коротких рассказов и заметок вызвали и применение некоторых принципов журнальной верстки. Прием этот уместен, хотя использован здесь менее продуманно, чем в ранее вышедшей в том же издательстве книге «Машина, ее прошлое, настоящее и будущее».

Первая книга «Эврики» — хорошее начало. Не все еще в ней стало на место, а доброе намерение — дать читателю занимательный и современный материал — иногда приводит к излишней погоне за эффектами. Сборнику не хватает боевитости в выступлениях против идеалистических, реакционных взглядов, общественные науки и их перспективы пока еще затронуты слабо, а там, где речь идет, например, о приложении кибернетики к изучению искусства, чрезмерно пропагандируются крайние взгляды некоторых ученых, забывающих о том, что познание законов искусства невозможно в отрыве от жизни общества.

В то же время нельзя не отметить, что выход такой книги — еще одно, пусть не столь уж значительное, свидетельство роста нашего читателя, в особенности молодого. Появление «Эврики» было бы невозможно без накопленного опыта, без ценной практики таких изданий, как «Наука и человечество», где отбор ведущих направлений в современной науке с природе и обществе ведется виднейшими деятелями науки и культуры.

В нашей стране складывается новый тип научно-популярных изданий, отражающих передовые взгляды, несущих в массы свежую и многоаспектную информацию. И этим еще раз утверждается народность нашей науки, ее гуманистические цели и высокие идеалы.

И. ИНОЗЕМЦЕВ.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Рассказы вают ученые-химики (Научно-популярная серия). «Наука», М. 1964. 255 стр.

В народном университете при МГУ был прочитан цикл лекций о современной химии. Еще не так давно таким лекциям суждено было оставаться достоянием слушателей, находившихся в четырех стенах лекционного зала. Сегодня эти сложные, насыщенные фактами, рассуждениями, диаграммами лекции раздвинули стены аудитории и разошлись тиражом в тридцать две тысячи экземпляров. Не так давно они могли стать учебным пособием для студентов химических техникумов и вузов; сегодня они оказались на книжной полке тех, кто внимательно следит за новейшими достижениями химической науки. Технический и научный прогресс общества, творцом которого в какой-то мере становится каждый человек, предопределил появление нового отношения к научно-популярной литературе — со стороны читателей, ученых и издательств.

О чем же рассказывают своим читателям ученые-химики?

Академик С. И. Вольфович — о роли химии в сельском хозяйстве, член-корреспондент АН СССР А. В. Новоселова и кандидат химических наук А. С. Пашинкин — о неорганических полупроводниках, профессор Ан. Н. Несмеянов — об успехах радиохимии, профессор А. В. Лапицкий — о цисурановых и трансураниевых элементах, профессор А. И. Бусев — об аналитической химии, профессор П. В. Козлов — о новом в полимерной химии, доцент Ю. П. Швачкин — о химических аспектах изучения основ жизни.

Круг тем, как видим, очень широк. Здесь представлены важнейшие направления современной химии, ее передний край.

Рассказывают об этом ученые, внесшие немалый вклад в развитие отечественной химии; а получение информации из первых рук делает ее еще более привлекательной. Но эта книга — отнюдь не легкое чтение. «Рассказывают ученые-химики» — книга, требующая серьезного к себе отношения. Но сколько бы времени ни потратил на нее читатель, оно с лихвой окупится тем, что он получит: тут и экскурсы в историю химии, и самое современное представление о ее сегодняшнем дне, и смелые, но обоснованные прогнозы.

Книга написана на том научном уровне, который избавляет любого рецензента от необходимости анализировать ее научное содержание, с точки зрения возможных ошибок речь может идти лишь о том, в какую форму это содержание воплощено.

В книге семь статей и восемь авторов. У каждого своя манера изложения, но у всех есть и общее — никаких искусственных «заходов», проблема берется сразу «за рога». Одни авторы, как, например, С. И. Вольфович, излагают материал более сухо; другие, как, скажем, Ан. Н. Несмеянов, более эмоционально, но принцип у всех одинаков — минимум слов, максимум информации.

Очерки обильно иллюстрированы схемами, графиками, фотографиями, таблицами. Иногда они носят не только вспомогательный характер, облегчая понимание того, что написано, но и вполне самостоятельны. Например, таблица, приведенная А. И. Бусевым, показывающая, какую физическую величину какими методами и с какой точностью можно измерить, представляет несомненный интерес сама по себе.

Как уже говорилось, в основу книги положены лекции, и это во многом определило характер изложения. Лекции — форма изустная — при втором, уже письменном, рождении потребовали известных коррективов. И здесь неизбежными стали потери и находки. Можно было предположить, что письменное изложение лекций будет сохранять характер разговорной речи. Этого не произошло. Случилось даже обратное: лекции превратились в излишне суховатые очерки, словно авторы боялись, что их упрекнут в легковесности. Там, где эта суховатость от экономии слов, ради нового интересного факта, читатель готов смириться с этим; но нередко сухость незаметно для автора и очевидно, для редактора переходит в «наукообразие» — и тогда книга, изданная в научно-популярной серии, начинает походить на свою «коллегую», изданную в серии монографий. Я не привожу здесь примеров, потому что читатель волей-неволей встретит их почти в каждой статье.

Науку делают люди. Это даже не аксиома — это трюизм. И все же некоторые авторы забывают об этом. Ю. П. Швачкин.

рассказывая в своем очень интересном очерке о том, как ученые разгадали строение и функции вещества наследственности — ДНК, пишет об этом: «На основе изложенных выше представлений... была сформулирована гипотеза...» Или: «На основании накопленных данных биологи... сформулировали гипотезу...» А кем была она сформулирована? Кто они — эти таинственные биологи? Может быть, они не столь известны и о них и говорить не стоит? Да нет. Расшировка структуры ДНК принадлежит Ф. Крику, Д. Уотсону и М. Уилкинсу — ученым, которых теперь знает весь мир. Знают о них и наши читатели: их открытие, удостоенное в позапрошлом году Нобелевской премии, широко освещалось в печати. Разве не выиграл бы рассказ Швачкина, если бы читатели узнали в нем, что первое экстраординарное сообщение о разгадке кода наследственности было сделано в Москве, в стенах того самого университета, где читал свою лекцию автор летом 1961 года на V Международном биохимическом конгрессе?

Этот упрек относится не ко всем статьям; у Ан. Н. Несмеянова история открытия радиоактивности написана с завидной четкостью: дата — ученый — что сделал. Правда, автор ничего не говорит о самих ученых, кто они такие. В одном месте на четырех строках упомянуты четыре фамилии — Резерфорд, Дорн, Дебьерн, Гизель, — а известна широкому читателю только одна — Резерфорда. А остальные? В какой стране они работали, в какие годы?

Прекрасно изложена эволюция представлений в полимерной химии профессором П. В. Козловым. И здесь вклад ученых также персонафицирован. Но было бы еще лучше, если автор не остановился бы на полдороге и рассказал о том, что, скажем, «блестящие экспериментальные работы Карозерса» привели не только к важным теоретическим выводам, но и — совершенно случайно — к открытию первого в мире синтетического волокна — нейлона. Почему бы,

говоря о «недавно открытом методе межфазной поликонденсации», не рассказать, потратив еще пять строк, о том, как этот метод был изыщно — с помощью стакана и палочки — продемонстрирован профессором Г. Марком (кстати, а он кто?) в актовом зале МГУ несколько лет назад на симпозиуме по макромолекулярным соединениям. Разве это не сделало бы рассказ о полимерной химии более интересным?

От крупных ученых обычно не ждут изящества стиля; его отсутствие компенсируется глубиной изложения, авторитетностью суждений. Но читатель от любого автора вправе требовать точности и ясности изложения. Такие выражения, как: «В простейшем случае действие последних сводится к следующему» (в статье А. В. Новоселовой и А. С. Пашинкина) или: «...благодаря вложенным усилиям ...химии смогли расшифровать...» (статья Ю. П. Швачкина), вряд ли могут служить украшением. Очевидно, этот упрек относится и к редактору книги.

Мне приходится обращать внимание на некоторые мелкие недостатки книги по трем причинам. Во-первых, потому, что, на мой взгляд, в ней нет крупных. Во-вторых, они в какой-то мере снижают впечатление от книги, в целом очень хорошее. А главное, потому, что книга эта — первая в серии подобных сборников, которые собирается выпускать издательство «Наука». В предисловии составитель книги, общественный декан химического факультета народного университета при МГУ Г. П. Хомченко пишет: «Наш сборник — первое пробное издание лекций Народного университета... Уже прочитаны новые интересные лекции о строении атома, цепных реакциях, полимерах, химии нефти и т. д. Стоит ли издавать их в виде второго сборника — решат читатели».

По-моему, стоит.

Химия — интересная наука. Особенно, когда рассказывают о ней сами ученые-химики.

В. АЗЕРНИКОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ. С востока свет! Избранное. «Советский писатель». М. 1964. 436 стр. Цена 83 к.

Полвека назад в майском номере за 1914 год журнала «Просвещение» (редакцию которого возглавлял В. И. Ленин, а художественный отдел вел М. Горький) был опубликован первый рассказ Льва Ивановича Гумилевского. С той поры писатель немало поработал в области массовой, детской, очерковой литературы, выпустил к концу двадцатых годов четырехтомное собрание сочинений. С начала тридцатых годов Л. Гумилевский обращается к научно-популярной литературе.

«Избранное» Л. Гумилевского содержит прозу разных лет: рассказ «Без мандата» помечен 1920 годом; центральный роман, давший название всей книге и посвященный великому русскому химику Бутлерову, написан в 1956 году. Между этими двумя датами написаны остальные художественные произведения — рассказы «Баба выдумка» (1921), «Фанатики» (1923), «Лед и люди» (1938). Однако есть в сборнике труд, резко отличный от всего остального по своему жанру. Это обширные «Заметки к Павловскому учению о слове», посвященные физиологическим основам художественного творчества.

Почему в одних случаях, читая книгу, мы говорим об «удачных», «убеждающих», «ярких» выражениях и образах, а в других — о словах «серых», «шаблонных», «неудачных»? Нельзя ли и здесь, в оценке искусства, руководствоваться объективными, строго научными критериями? Такими вопросами задается исследователь, высказывая попутно немало остроумных, глубоких и оригинальных наблюдений Павловское учение о двух сигнальных системах помогает Л. Гумилевскому в общих чертах воссоздать механизм психологического воздействия художественного слова на читателя. Понятна дискуссионность многих положений, выдвинутых Л. Гумилевским (например, категорического утверждения: «Писателями и художниками не рождаются, а становятся, хотя и незаметно для посторонних»), но ведь он отважился углубиться в ту таинственную область творчества, коготорой почти не касалось перо исследователя.

Появление в ряду беллетристических про-

изведений специального трактата, каким являются «Заметки к Павловскому учению о слове», не покажется столь уж неожиданным, если учесть более чем тридцатилетний опыт Л. Гумилевского в области научно-популярной литературы. Что такое роман «С востока свет!»? Только художественная биография Бутлерова? Нет, это и страничка из биографии науки — в данном случае органической химии. Но где здесь кончается «человек» как цель изображения для писателя и где начинается «наука»? Надобно сказать, что и в этой области Л. Гумилевский вносит нечто новое, о чем еще в 1937 году, откликаясь на его первые книги о великих открывателях, писал Андрей Платонов: «Гумилевский удачно пытается создать принципиально новый литературный образ творческого, деятельного, технического человека, занятого иногда счастливым, а чаще мучительным борением с природой... он начал энергично осваивать еще необжитые места человеческой души: инстинкты технического творчества, профессиональное чувство, технологическое ощущение природы...»

Книга избранных произведений Л. Гумилевского подыживает большой и плодотворный путь старейшего советского писателя. Накануне своего семидесятилетия Л. Гумилевский по-прежнему полон энергии, творческих сил и, верится, новых замыслов.

О. Михайлов.

★

В. ТОМИН, А. СИНЕЛЬНИКОВ. Возвращение нежелательно. Документальная повесть. «Молодая гвардия». М. 1964. 208 стр. Цена 45 к.

«Возвращение нежелательно» С таким грифом гитлеровские варвары направляли в лагеря уничтожения сотни и тысячи невинных людей, откуда, по циничному выражению эсэсовцев, «выход был только через грубу крематория». Но люди, о которых написана повесть, возвратились. Вернулись вопреки всем смертям.

В основу книги легло событие, действительно происшедшее осенью 1943 года в Восточной Польше. Там, недалеко от Буга, был расположен один из крупнейших гитлеровских лагерей смерти — «тяжелый пункт уничтожения Собибор». Он мало чем отличался

от печально знаменитых Освенцима, Майданека и Трехлиники. Та же колючая проволока, те же газовые камеры и печи и сотни тысяч жертв. Более полумиллиона человек нашли свою смерть за оградками Собибора

Вывезенные из городов Польши, Голландии, Франции, Австрии и других оккупированных гитлеровцами стран, измученные постоянным ожиданием смерти, узники Собибора потеряли всякую надежду на освобождение. Нужна была новая сила, которая вырвала бы их из состояния покорности и повела на бой. И эту силу узники нашли в советских военнопленных, оказавшихся в Собиборе в сентябре 1943 года.

Книга рассказывает, как постепенно советские люди во главе с лейтенантом Александром Печерским готовят отчаявшихся узников к решительной схватке, как страх и покорность уступают место ненависти, как убежденность и мужество советских воинов вселяют в обесиленных, измученных лагерников надежду и стойкость.

Четырнадцатого октября 1943 года в лагере вспыхнуло восстание, организованное советскими военнопленными и польскими антифашистами. Подготовленное с невероятным трудом и риском, оно окончилось победой узников. После побега нескольких сотен заключенных существование лагеря не могло больше оставаться тайной, и гитлеровцы вынуждены были его ликвидировать.

Таково вкратце содержание книги, открывающей еще одну героическую страницу борьбы народов против фашистских изуверов. Главным ее достоинством является достоверность, опора на документы. Авторам удалось отыскать интересные материалы, хранящиеся в советских и польских архивах. Читателям, несомненно, приятно будет узнать, что многие бывшие узники Собибора — и среди них организатор и руководитель восстания Александр Печерский — живы.

Книга не лишена недостатков. Основной из них тот, что, повествуя о героических и трагических событиях, авторы иногда сбиваются на неуместную здесь беллетристику, как бы не доверяя силе конкретных фактов.

А. Иглицкий.

★

И. ОСИПОВ. О тех, кто в пути. Очерки. «Советский писатель». М. 1964. 304 стр. Цена 42 к.

Читателям нашего журнала знакомо имя писателя И. Осипова, на протяжении многих лет выступающего в жанре очерка. Обычно очерки И. Осипова посвящены важным и актуальным проблемам народного хозяйства. Читая их, всегда можно узнать что-то новое.

В книге, изданной «Советским писателем», собраны очерки, посвященные людям трудных и славных профессий, добрым знакомым автора — нефтяникам, геологам, летчикам, водолазам. Рассказ о их героическом труде запоминается благодаря простоте, без при-

крас, манере, спокойной интонации, удачно найденным деталям.

Вот на одной из страниц очерка «Спасатели» И. Осипов рассказывает, как он сам решил побыть «в шкуре» водолаза: «Я не опускался в машинный трюм затопленного парохода через разбитые палубные надстройки, где можно продырявить шлем. Я нырял туннель под днищем корабля, рискуя задохнуться под обвалившимся грунтом. Меня лишь опустили на дно и через пятнадцать минут заставили вернуться. Я не работал под водой. Но эти минуты, прожитые в скафандре, убедили меня, что профессия водолаза относится, несомненно, к числу таких, которые требуют очень высокого напряжения физических и душевных сил».

Откровенность автора вызывает доверие, и потому нельзя без волнения читать другие эпизоды очерка, в которых говорится, с какой отвагой выполняют свой ежедневный будничнейший труд люди спасательных флотилий.

Впрочем, это же чувство возникает и при чтении очерков «За Уралом» — о геологах, бурильщиках скважин в труднопроходимых местах Сибири, об искателях нефти — «В степях Татарии», разведчиках Туркмении — «вот где, казалось, самые трудные маршруты из всех, какие проходят искатели сокровищ. Сейчас, поднимаясь на вышку Агойли Едыева, я подумал, что никто из сибиряков, сахалинцев или полярников, наверно, не захотел бы поменяться с ним местами...»

Наблюдательность автора, знание им своих героев и дела, которым они занимаются, вызывают интерес к книге, чувство уважения к героям очерков — мужественным, неутомимым людям, посвятившим себя опасной и трудной профессии.

Г. Койранская.

★

Б. КИСЕЛЕВ. Рассказы о Куприне. «Советский писатель». М. 1964. 202 стр. Цена 30 к.

Материал для этих рассказов, написанных непритязательно и задумчиво, дали как давние встречи Б. Киселева с Куприным, так и свидетельства родных и друзей писателя. Автор книги, сын киевского журналиста М. Киселева, друга молодого Куприна, воскрешает эпизоды девяностых и начала девятисотых годов, воссоздает в подробностях обстановку, быт, общественные и литературные споры той поры. Вот разгорелся спор марксистов с народником Зданским. Ну, а присутствующий тут же Куприн, на чьей он стороне? Бесспорно, отвечает автор, он симпатизирует марксистам. Вот бабушка Киселевых Ульяна Лаврентьевна, большой знаток народных поверий и обычаев, объясняет Куприну, «что такое воробьиная ночь», а затем рассказывает о необыкновенно умном кабане (этот рассказ был использован Куприным в «Поединке»). Вот появляется добродушный Никита Барвинский, по прозвищу Философ, послужив-

ший прототипом героя в купринском рассказе «Черный туман». Во всех этих небольших эпизодах — главная ценность книги Б. Киселева, благодаря которой отдаленная пора как бы интимно приближена к читателю.

Мы узнаем неизвестные или забытые подробности: например, каким неожиданным путем явилась на свет первая книжка Куприна «Миниатюры» (средства на ее издание тайком от самолюбивого писателя дала Анна Георгиевна Карышева, высоко ценившая его талант). Или как Куприн и Киселев прочли через посредство генерала Драгомирова наглого вымогателя, члена киевской управы Снежко. Или как они же совершили поездку на «дачу» некоего Редькина, который обосновался в деревенском ветряке со слугой Двоеносом, не расставшимся с французской грамматикой, и дочкой Галей, «степной королевой», твердо решившей поступить на курсы в Питере (здесь автор как бы продолжает неоконченный купринский рассказ «Двоенос»).

Живо и непосредственно передан облик молодого Куприна, любимца детей и друга животных — сеттера Джека и жеребенка Конька-Горбунка (их обоих писатель спасает от смерти). Вообще самые яркие страницы рассказов Б. Киселева те, где показан Куприн, каким его сохранила память автора. Во второй половине книга несколько мелет, начинают попадаться известные факты, заимствованные из печатных источников.

«Рассказы о Куприне», восполняющие черточки его биографии, проникнуты горячей любовью к замечательному русскому реалисту. Б. Киселеву удалось в форме непринужденного повествования передать облик молодого Куприна.

Н. Аладьин.

★

А. АНИКСТ. Творчество Шекспира. «Художественная литература». 1963. 615 стр. Цена I р. 52 к.

Книга А. Аникста написана языком доступным и с явным стремлением ни в коем случае не подавлять читателя тяжеловесной премудростью. Уже с первых глав доходчиво, ярко описывается путь актера и писателя — от неизвестности к мировой славе, его среда, люди, с которыми он дружил или соревновался на поприще драматургии и лирики. Не как сочинитель пьес, которые то ли будут приняты к постановке, то ли окажутся вне воплощения на сцене, выступает перед нами Шекспир, а как «один из участников создания спектакля», и для него желание иметь успех у разнообразной театральной публики — решающий стимул. Этот теснейший союз драматурга с театром, к тому же общественным театром XVI века, объясняет многое в тех «сценических условиях», которыми пользовался Шекспир.

Причину творческих успехов Шекспира А. Аникст объясняет не тем, что драматург с высоты поэтического Олимпа взирал на кипящую внизу жизнь, а тем, что он был самым человеческим из окружающих его людей, что жил, как все, «занимался всевоз-

можными житейскими делами, радовался, страдал». И в то же время «речь идет о сложнейшей и исключительно богатой душевной организации, о сознании, которое, подчиняясь общим законам психологии, представляет собой единственное и неповторимое сочетание высоко развитых способностей, свойств, стремлений, воли, понятий, вкусов, что и дает в итоге гениальное произведение искусства». Да, гений не укладывается ни в какие логические схемы, и тем не менее в «этом нет ничего иррационального».

Книга Аникста — плод тридцатилетнего изучения Шекспира и на сцене, и по текстам его пьес; изучения опыта режиссеров и актеров, исследований и комментариев, которых, если бы собрать все, что есть на всех языках нашей планеты, хватило бы для целой библиотеки. Сегодня, говорит Аникст, и с ним нельзя не согласиться, «Шекспир немалым сам по себе, без всей той философской, эстетической и критической мысли, которую он возбудил и питал». Поэтому Аникст далеко не безразличен к вопросу об изучении Шекспира в России, о том, почему передовая общественная мысль, начиная с Пушкина и Белинского, сумела открыть в Шекспире новые глубины, сделать его неотъемлемой частью русской духовной культуры, без чего непонятны были бы достижения и советской шекспирологии, как и советского театра.

В книге Аникста Шекспир предстает как великий мастер изображения характеров, всеобъемлющий ум, поразительный сердцевед, за образами которого запас неисчислимых наблюдений над всеми сторонами действительности, культура самоучки, превосходшего своей образованностью тогдашних университетских магистров.

В маленькой рецензии невозможно перечислить и сотую долю проблем, затронутых и решаемых Аникстом в его книге. Не исключено, что некоторые толкования отдельных пьес и персонажей, какие предлагает нам Аникст, вызовут возражения. И очень хороши. Мы не должны отвыкать от споров, если не хотим того величественного на вид, на самом же деле мертвого единообразия мнений, которое некогда называли «византизмом».

И. Верцман.

★

М. ВАЙНЕР. Солнце на лето. Повесть. Пензенское книжное издательство. 1964. 224 стр. Цена 52 к.

Повесть молодого писателя М. Вайнера посвящена судьбе студента-филолога Феликса Постоева и двух его друзей, живущих в одной комнате студенческого общежития: филолога Сергея Шахова и биолога Дода Крейнеса. Друзья с увлечением занимаются своим делом и не унывают, если перед стипендией приходится поработать грузчиками на товарной станции.

Главный же герой — Феликс Постоев, проучившись в университете почти три года и прочтя гору книг, пришел к горькому вы-

воду: «Я не умею думать. Сам. То, что я до них пор принимал за мышление — всего лишь отблеск огня в ночной реке, а не сам огонь». Честность и искренность заставляют Феликса бросить университет и, чтобы узнать истинную цену вещей и человеческих отношений, пойти на завод: «Там, где настоящая жизнь. Не книжная, я пойду за ней!».

Сюжет, как видим, напоминает некоторые студенческие и «молодежные» повести последних лет. Но искренность повествования, его достоверность, хороший профессиональный уровень делают книгу достойной внимания.

Автор точно и живо передает атмосферу молодости, студенческой неприязнительности, юмора, веселого отношения к трудностям. Феликс и его друзья верят в людей, но хотят сами разобраться во всем, что их окружает. У них верное и острое чутье на всякую фальшь, пошлость, даже прикрытую красивыми фразами.

Они ненавидят приспособленца и карьериста Рюрика (преподавателя университета), привычно произносящего гладкие фразы об общественном благе, а по существу одержимого только желанием продвигаться по служебной лестнице. Брезгливое отвращение вызывает и карикатурная фигура комеданта общежития — Протеза. Для Протеза идеал человеческого общества — солдатская казарма. Он считает, что все отношения между людьми должны сводиться к тому, что одни приказывают, а другие подчиняются. Недаром излюбленные выражения Протеза: «Об этим вы бросьте» и «Чтоб был порядок».

Если образ Протеза дан в плане злой сатиры, то другим юмором — мягким и добродушным — овеяны быговые сцены, сцены с матерью и сестрой Феликса.

Автор нашел верный тон в изображении детской психологии, сумел воссоздать чистоту восприятия ребенка, не навязывая ему «взрослой» логики. И недаром Феликс, беседа с сестрой, приходит к выводу, что в семье Тата «самая маленькая, а думает интереснее всех».

К сожалению, книга написана неровно. Автору часто не хватает ярких красок для изображения главных героев повести — их образы расплывчаты. Слишком много места занимает банальный роман студентки Светы и доцента Поволоцкого.

Избавленная от украшений дурной литературы, книга только выиграла бы, и рассказ о становлении характера молодого человека нашего времени, который думает, размышляет, ищет свой путь в жизни, стал бы более значительным.

Н. Долотова.

★

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XI—XVII ВЕКОВ. Труды отдела древнерусской литературы. Том XX. «Наука». М.—Л. 1964. 452 стр. Цена 1 р. 86 к.

Двадцатый (и, следовательно, юбилейный) том этих «Трудов» содержит, как и всегда,

много богатого и разнообразного материала, посвященного древнерусской литературе.

Открывающая сборник статья его редактора — Д. С. Лихачева — касается литературных жанров и художественного метода в древнерусской литературе. Исследователь отмечает, что «система литературных жанров Древней Руси тесно соприкасалась с системой жанров фольклорных» и что именно фольклор восполнял, в значительной мере, потребность читателя (слушателя) в таких отсутствовавших в тогдашней литературе жанрах, как любовная лирика, сюжетно-занимательное повествование и т. п. Д. С. Лихачев горячо ратует за изучение всей древнерусской литературы, во всех ее разветвлениях, включая и агнографические и переводные произведения.

Некоторые из тех же мыслей подробно и углубленно развиваются в статье В. П. Адриановой-Перетц «Задачи изучения «агнографического стиля» Древней Руси».

Характеризуя те или иные жития святых, рассказы из Киево-Печерского патерика и из патериков переводных, автор приходит к выводу, что и в этом специфическом жанре показываются те или иные стороны реальной действительности и что изучение его «углубит наше представление о той литературной почве, на которой выросла в XVII веке так называемая «бытовая» повесть...»

Близко соприкасаются со статьями Д. С. Лихачева и В. П. Адриановой-Перетц статьи О. В. Творогова — «Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси», А. С. Демина — «Вопросы изучения русских письменников XV—XVII вв.», Н. А. Мещерского — «Проблемы изучения славяно-русской переводной литературы XI—XV вв.» и некоторые другие.

Интересны также статьи Я. С. Лурье «К изучению классового характера древнерусской литературы», А. М. Панченко «Перспективы исследования истории древнерусского стихотворства».

Как и всегда, в сборнике имеются специальные исследования о «Слове о полку Игореве».

В статье Л. А. Дмитриева «Важнейшие проблемы исследования «Слова о полку Игореве» выдвигается пожелание создать «словарь» «Слова» и на его основе составить комментарий-справочник, которым можно будет руководствоваться в дальнейшей исследовательской работе.

В сборнике впервые напечатано новонайденное произведение русской публицистики XVI века — «Слово иное» (о попытке Ивана III секуляризовать церковное землевладение).

Большое место отведено, как и обычно, работе по собиранию древних рукописей. Статья В. И. Малышева «Задачи собирания древнерусских рукописей», написанная легко, живо и содержательно, обобщает опыт подобного собирания и содержит много полезных советов и наблюдений.

Рецензируемый сборник нельзя оценивать изолированно, в отрыве от предыдущих: он

является органической составной частью той огромной культурной работы, которую произвел за двадцать лет коллектив ученых, сгруппировавшихся вокруг «Трудов». Напечатанные двадцать выпусков «Трудов» исследования этих ученых показали литературу XI—XVII веков во всей ее оригинальности, самобытности и красоте.

Ник. Смирнов.

★

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО 70-х ГОДОВ XIX ВЕКА. Сборник документов и материалов. Том I. 1870—1875 гг. Составитель В. Ф. Захарина. «Наука». М. 1964. 530 стр. Цена 1 р. 50 к.

«Вы будете говорить о порядках на Руси, о безграничном произволе царя, о льстецах-министрах, о раболепстве придворных, о грабежах чиновников, о неправде в судах, о бесправии русских, о том, как дошла Русь до настоящего положения и что сделали с русским народом московские цари и петербургские императоры, хищные бояре и тупые попы, хапуны-подьячие и тираны-губернаторы».

Этот отрывок взят из вошедшей в сборник статьи неизвестного автора «О чем и как должен говорить с народом революционер-пропагандист», датированной 15 марта 1874 года и хранящейся ныне в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. В сборнике представлены документы, вышедшие из самых недр движения, от самих революционеров, причем не только от таких видных идеологов движения, как П. Лавров, М. Бакунин, П. Кропоткин, но и от рядовых, безвестных его участников. По характеру своему они разнообразны: программы и прокламации, теоретические статьи и рефераты, письма и воспоминания революционеров, материалы следственных дел и судебных процессов. Это многообразие документов помогает лучше осмыслить революционное народничество как единое целое, глубже проникнуть в мировоззрение революционеров, в мотивы их деятельности. Вместе с тем общественно-политические документы являются зачастую яркими документами человеческой жизни, раскрывающими судьбы лучших людей того времени. И это, несомненно, расширяет круг читателей сборника, делая его интересным не только для историков-специалистов.

Сборник состоит из трех частей. В первую вошли документы, раскрывающие идеологию революционных народников, во вторую — характеризующие деятельность революционных кружков первой половины семидесятых годов и такую своеобразную форму движения этого периода, как «хождение в народ», в третью часть — материалы крупнейших политических процессов семидесятых годов — «процесса 50-ти» и «193-х».

Большинство документов ранее не публиковалось. Они впервые извлечены из архивов. В книгу включены и некоторые ранее

издававшиеся материалы, имеющие принципиальное значение и ставшие библиографической редкостью.

Это двухтомное издание (во второй том войдут документы конца семидесятых — начала восьмидесятых годов) поможет восполнить образовавшийся в период культа личности существенный пробел в исследовании важного этапа русского освободительного движения.

В. Твардовская.

★

В. И. ДМИТРИЕВ. Атакуют подводники. Воениздат. М. 1964. 342 стр. Цена 79 коп.

Подводники — один из самых мужественных, самых самоотверженных отрядов советского Военно-Морского Флота. В Великую Отечественную войну наши подводные лодки потопили в семь раз больше транспортных судов врага, чем надводные корабли. На долю советских подводников приходится почти треть транспортного тоннажа и значительная часть фашистских боевых кораблей, уничтоженных на Балтийском, Черноморском и Северном театрах.

Показу истории развития советского подводного флота, славных боевых дел и неустанной ратной учебы подводников посвящена книга кандидата исторических наук капитана 2-го ранга В. И. Дмитриева. Это первый труд, в котором широко и разносторонне показана история советского подводного флота, руководящая и вдохновляющая роль Коммунистической партии в его развитии.

Что ни страница в этой книге, то описание героического подвига экипажа той или иной лодки, соединения этих грозных кораблей. Ни исключительно тяжелые природные условия подводной стижки, ни трудности службы, ни упорное противодействие врага с его сетевыми и минными заграждениями, ни постоянная охота вражеских самолетов и кораблей — ничто не смогло остановить советских подводников при выполнении ими своего воинского долга.

Значительная часть книги посвящена послевоенному развитию нашего подводного флота, который в результате дальновидной политики Коммунистической партии об укреплении обороноспособности страны и огромных успехов советского народа в экономике, в развитии науки и техники стал основной ударной силой советского Военно-Морского Флота. Созданием нашего нового флота, основанного на ядерной энергетике, ракетной технике и радиоэлектронике, кладется конец безраздельному господству в океане традиционных морских держав.

Советский подводный флот с атомными двигателями, вооруженный баллистическими и самонаводящимися ракетами, зорко стоит на страже наших социалистических завоеваний.

С. Осокин,
капитан 2-го ранга.

В. ДОЛИНИН. Романтика научного поиска. История Писарева, искателя, а также селекционера и генетика. «Советская Россия». М. 1964. 223 стр. Цена 28 к.

Круг знаний и занятий В. Е. Писарева удивительно энциклопедичен. Он открыл новую звезду. И он же получил дотоле неизвестные химикам двойные азотнокислые соли. С его помощью в бактериологии разработана проблема, вошедшая в учебники. Значительны заслуги его как ботаника, земледельца, экономиста, путешественника.

И на девятом десятке жизни Герой Социалистического Труда В. Е. Писарев полон творческой энергии. Замыслы и свершения его велики и успешны. Созданный им новый сорт яровой пшеницы стал по урожайности «чемпионом» во многих районах страны. Старейший советский селекционер, в свое время работавший рука об руку с выдающимися генетиками Н. И. Вавиловым, В. В. Талановым, В. П. Кузьминым, — «живая история» нашей сельскохозяйственной науки.

Жизнь и деятельность Писарева дала В. Долинину благодарный материал для содержательной книги. Автор не ограничивается биографическими рамками и находит уместные поводы для рассказа о насущных проблемах биологии, для освещения ее теоретических и практических задач. Иногда даже разговор о герое книги как будто уходит в сторону, уступая место научной популяризации, однако это лишь удачно дополняет и обогащает взятую тему.

В книге наша страна справедливо называется «селекционной державой». Именно на русских полях старая уроженка Азии пшеница омолодилась и обрела качества, давшие ей добрую славу щедрой кормилицы. Пришелец из Америки — подсолнечник прежде был дичком, но русские селекционеры превратили его в высокоурожайную масличную культуру. Такие «иностранцы», как картофель, сахарная свекла, кукуруза, также получили новые полезные качества благодаря селекционерам нашей страны.

В. Долинин (кстати, он автор хорошей книги и о другом советском генетике — академике В. П. Кузьмине) ведет рассказ о сложных научных вещах доступно и увлекательно.

Издательство «Советская Россия» приступило к выпуску серии под девизом «Гордость сельскохозяйственной науки». Почин удачен...

А. Таланов.

★

СКУЛЬПТОР ИЛЬЯ ГИНЦБУРГ. Воспоминания, статьи, письма. «Художник РСФСР». Л. 1964. 280 стр. Цена 2 р. 15 к.

«...С редким воодушевлением и глубокою верностью говорите Вы о событиях, которые имели величайшее значение в искусстве и которые представляют собою поразительный пример в истории истинного движения вообще. Описывая историю этого события, этого замечательного обновления, Вы внут-

ренне ликуете, и на каждом шагу чувствуется это ликование о торжестве свободы и самостоятельности в искусстве». Так писал И. Я. Гинцбург В. В. Стасову в 1892 году.

Эти слова следует в полной мере отнести и к самому Гинцбургу — известному скульптору и писателю по вопросам искусства. Его книга охватывает период с 1870 по 1938 год. Оптимизмом, верой в искусство веет от его воспоминаний и отдельных очерков, посвященных замечательным деятелям русской культуры и искусства.

Общение с передовыми людьми своего времени способствовало выработке в нем демократических взглядов на искусство. Его воспитателями и близкими друзьями были В. В. Стасов, М. М. Антокольский, И. Е. Репин.

С первых дней Октября академик скульптуры Гинцбург принимает участие в становлении советского искусства, в реализации ленинского плана монументальной пропаганды, читает лекции, выступает в печати, преподает в Академии художеств. «Меня восхищает, — говорил он, — это великое стремление искусства помочь строителям новой жизни».

Большой известностью пользуются его жанровые сценки из жизни детей и портретная скульптура — статуэтки, запечатлевшие образы замечательных русских людей: писателей, художников, актеров, композиторов, ученых. Со многими из них Гинцбург был хорошо знаком, вел длительные беседы.

Так возникла эта книга, в которой представляют особый интерес главы, посвященные встречам с Л. Толстым («В Ясной Поляне»), «Радость жизни», «Стасов у Толстого», «Л. Н. Толстой и художники». В них приводятся суждения Толстого о скульптуре, художниках, сущности творческого процесса. Тепло написаны воспоминания о Паоло Трубецком, в которых рассказаны эпизоды из истории создания им знаменитого памятника-памфлета Александру III. С волнением прочитываешь страницы, посвященные встречам с Репиным в год смерти художника («Пенаты» и мои последние свидания с И. Е. Репиным»), повествующие о душевной драме великого мастера, оторванного от любимой родины.

Немало новых и ценных данных в воспоминаниях о В. В. Стасове, М. М. Антокольском, П. И. Чайковском, М. Г. Савиной, В. А. Серове, И. П. Павлове и А. М. Горьком. «Встречаясь с Алексеем Максимовичем, — пишет Гинцбург, — я каждый раз замечал, какой успех он делал в короткое время, изучая то, в чем он раньше был малосведущ. Эта постоянная самообразовательная работа над собой была едва ли не характернейшим свойством его натуры». Приехав к Горькому на Капри и посетив с ним Неаполиганский музей, Гинцбург был поражен большой осведомленностью писателя в античной скульптуре.

Рассказывая об отдельных явлениях из истории русского искусства, Гинцбург не связывает, однако, их с процессами, происходившими в общественной жизни. Это не-

достаток книги. Следует указать и на ошибочные оценки, данные: им барокко, классицизму, русской скульптуре первой половины XIX века. Наивна терминология автора: художников, пишущих на национальные темы, Гинцбург называет «националистами»; писателей, посвятивших свое творчество народу, «народниками»; революционных демократов — «либералами».

Эти замечания все же не умаляют значения издания, изобилующего фактами и новыми материалами.

Л. Варшавский.

★

СИД ЧАПЛИН. День сардины. Роман. Перевод с английского В. Хинкиса. «Молодая гвардия». М. 1964. 319 стр. Цена 77 к.

«Я смотрю, как сардины двигаются на узком конвейере — серебряный поток, текущий из моря; здесь их укладывают в жестянки голова к хвосту, хвост к голове. Так и я. Купаешься в масле, лежишь ровно и красиво, но это слабое утешение, когда запяляют крышку». Так кончает Артур Хэггерстон свой рассказ о том, как он пытался «плавать сам по себе» — он ведь не сардина, которой надо лишь «вовремя пожрать и выметать икру». Все равно над ним, как и над другими, захлопнулась крышка, он и оглянуться не успел, как его затанул конвейер и жизнь наложила на него клеймо неудачника.

Впрочем, если взглянуть на его историю глазами обывателя, то Артуру, право же, нечего огорчаться. Он наконец получил постоянную работу, у него есть своя комната, проигрыватель и красивый костюм. А главное, у него «вся жизнь вперед». Но Артуру порой кажется, что у него «окопная лихорадка, снарядный шок», называйте ее, как хотите, эту «болезнь века», которую нынешние юнцы унаследовали от своих отцов и старших братьев.

Артур — один из многих «трудных детей» эпохи, бесцельно слоняющихся по жизни. Трудные дети существовали, по-видимому, во все времена, но только во второй половине XX века они превратились в некое социальное явление или даже бедствие, о котором с тревогой и возмущением изо дня в день твердят газеты и радио. Подросток стал героем судебной хроники и «взрослой» литературы, вслед за поколением «потерянных» и «сердитых» пришли мальчишки («типпиджеры»), также во всем изверзившиеся и потерянные. Извержившиеся, так сказать, à priori. Но герой книги Чаплина — рабочий парнишка, которого никак не упрекнешь в том, что он «с жиру бесится». Что ему нужно? Если бы Артуру сказали об идеалах, он в лучшем случае передернул бы плечами — в его довлеюще богатом лексиконе это слово вообще отсутствует. Бог, вера? «Будешь молиться... услышишь звук своего голоса, и только. Односторонняя связь. Станция не отвечает.» Сам Артур думает, что ему нужно «выбиться в люди», то есть «разбогатеть, знаться с важными боссами, ездить в «ягуаре», иметь собственный бассейн для плава-

ния». Впрочем, он мечтает об этом скорее отвлеченно, как мечтают мальчишки полететь на Луну, как грезят девчонки о лаврах кинозвезды. Артур — грубиян, лгунишка и драчун, едва не угодивший в тюрьму, — отнюдь не принадлежит к породе хищников. «Выдержать удар всякий может, — рассуждает он, — а вот нанести его — это потрудней». Артур так и не научился бить слабых, каждый удар болью отдается в его душе.

Что с ним будет дальше? «Куда ты идешь?» — растерянно спрашивает он сам себя. Артур этого не знает, как, впрочем, не знает и автор книги.

«День сардины» принадлежит к числу тех книг, про которые принято говорить, что они лишь ставят проблему, но не решают ее. Добавлю: проблема эта не новая. В романе Чаплина нет открытий, и написан он в той сбивчивой и нарочито «нелитературной» манере, которая уже стала традиционной для такого рода книг. Но вряд ли это следует отнести за счет литературных влияний: в том, что судьба Артура Хэггерстона, бедной сардины, угодившей в банку, стала обыкновенной, даже банальной, виноват тот мир, в котором он живет. Сид Чаплин рассказал эту историю искренно и правдиво.

М. Л.

★

ПОЭТЫ ИЗРАИЛЯ. Перевод с иврит, идиш и арабского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 224 стр. Цена 48 к.

Древняя библейская земля... Сухой ветер каменистых пустынь, яростная синь раскаленного неба, пересохшие русла рек. Но это там, где нет влаги. Там же, где присутствует ее животворная сила, шелестят оливы, зреют крупные гроздья винограда, темнеют свежераспаханные пашни. У этой земли есть своя поэзия и свои поэты.

Первобытное утро!

Клубится земля.

Испаряя росу и запершую заваль.

И от края до края — человек и земля,

И от края до края — стадо и Авель,—

пишет старейший израильский поэт Авраам Шленский. Но современная израильская действительность жестоко обходится с нынешними авелями — патриархальное единство человека и земли разбивается в прах под натиском корысти и несправедливости.

Белье бедняков на веревочных струнах.

Взорвавшись гневом дизельных чугуныных.

Скрипя смывчком нужды и щеты,

Играет

На скрипке окраин

Марш безработицы и нищеты.

Это строки из стихотворения Натана Пощута, убедившегося, как и множество других иммигрантов, что окраины Тель-Авива ничуть не лучше тех трущоб, из которых они вырвались.

Горькая действительность неизбежно вызывает к жизни поэзию социального протеста, широко представленную стихами

А. Пэнна, М. Ави-Шаула, А. Гиллела, А. Нофа, Х. Кадмон, И. Любани, Т. Зайяда и других еврейских и арабских поэтов (кстати сказать, составители сборника поступили очень правильно, представив в книге творчество обеих национальных групп Израиля). Сильно звучит в книге антивоенная тема. В отлично задуманном стихотворении Авнера Трайнина «Карта» зримо рисуется, какие реальные человеческие ценности находятся под угрозой уничтожения.

Поэзия гражданских чувств пронизывает стихи книги. Сравнительно беднее выглядит в ней лирика. На земле, где создавалась «Песнь песней», она должна была бы звучать сильнее. Но главную задачу сборник выполняет — лучшие мысли и чаяния израильского народа его поэзия доносит до нас.

Переводы, как правило, исполнены хорошо. Многие израильские поэты знают русский язык и точно перевели ряд стихов своих товарищей по перу. Остальные переводы сделаны советскими поэтами. Осуществленные под общей редакцией Б. Слуцкого, они дают возможность в достаточной мере ощутить характер и дух подлинников. Думается, что книга «Поэты Израиля», восполнив существовавший пробел, станет заметным явлением среди новинок зарубежной поэзии.

Сергей Наровчатов.

★

ПЕРСИ ГАРРИСОН ФОСЕТТ. Неоконченное путешествие. Перевод с английского. «Мысль». 1964. 415 стр. Цена 1 р. 26 к.

Эта книга составлена по рукописям, письмам, полевым дневникам и официальным отчетам Перси Гаррисона Фосетта его сыном Брайном Фосеттом. Сам П. Г. Фосетт — офицер английской армии, топограф и неутомимый исследователь Южной Америки — ушел в свою последнюю экспедицию около сорока лет назад и бесследно исчез. Многие с тех пор изменилось и не соответствует современному уровню научных знаний. Некоторые идеи и взгляды П. Г. Фосетта оказались явно ошибочными, они давно опровергнуты. И все-таки издание этой книги правомерно, читатель многое узнает из нее.

Не жажда обогащения, не алчность были характерны для П. Г. Фосетта, а благородная жажда знания, страсть к географическим открытиям.

Охваченный идеей об открытии легендарных золотых городов, Фосетт отказывается от хорошо оплачиваемой работы по демаркации границ между Боливией, Перу и Бразилией и вступает на опасный путь исследователя. Вся книга овеяна духом научного героизма. Нельзя не преклоняться перед мужеством и неутомимостью этого человека, преодолевавшего поистине невероятные трудности и лишения. Ему не удалось найти легендарных центров древней южноамериканской цивилизации, но, исследуя Южную Америку, Фосетт многое увидел. Он с отвращением и негодованием рассказывает о

жестоким отношением американских капиталистов к индейцам, о звериной сущности колониализма.

Книга Фосетта, несмотря на устарелость отдельных ее страниц, остается замечательным памятником человеческому мужеству и духу исследования.

В. Шпринк.

★

В. В. БОГОСЛОВСКИЙ. Политика США в Африке. «Международные отношения». М. 1964. 271 стр. Цена 90 к.

В июне 1815 года Алжиру был навязан кабальный договор о торговле. Перед ратификацией договора алжирский бей Омар попросил представителя США У. Шейлера выдать ему формальное «свидетельство», удостоверяющее, что он «был вынужден принять это соглашение под дулами американских пушек».

Этот эпизод — один из многих в длинной цепи преступлений американского империализма. И хотя его апологеты и пытаются твердить о «незапятнанной репутации» США по отношению к Африке, факты говорят о другом. Как известно, одним из источников первоначального накопления, укреплявших американский империализм, было рабство, сохранившееся до сих пор в форме жестокой расовой дискриминации негритянского населения США. Работорговля, принесшая огромные прибыли американской буржуазии, велась с неимоверной жестокостью. Достаточно сказать, что удельный вес африканского континента в населении земного шара за период с XVI по XX век уменьшился с двадцати до восьми процентов.

Общезвестны войны, которые вели в Африке Англия, Франция и другие «традиционные» колониальные державы. Однако мы мало знаем о колониальных войнах США на этом континенте. Любую возможность использовали американские империалисты для того, чтобы закрепиться в Африке и извлечь оттуда как можно больше выгод. Даже участвуя в войне против фашистской Германии в составе антигитлеровской коалиции, США стремились не столько к разгрому фашистских армий, сколько к вытеснению своих французских союзников и захвату их позиций в Африке.

В книге В. В. Богословского рассказывает об истории американской экспансии и о нынешнем внешнеполитическом курсе США в Африке.

Автор убедительно показывает, каким путем монополии и правительство США используют всякого рода «помощь» для подорыва экономики молодых африканских государств, превращения их в рынки сбыта своих товаров, источники дешевого сырья, плацдармы для военных баз. Джавахарлал Неру писал по этому поводу: «Этот хитроумный метод именуется экономическим империализмом. На карте его не увидишь. Страна может показаться свободной, если судить о ней по учебнику географии или атласу. Но, заглянув поглубже, обнаружи-

ваешь, что она находится в когтях другой страны, или, вернее, ее банкиров и крупных предпринимателей. Вот этой невидимой империей и владеют Соединенные Штаты Америки».

Но усиливается борьба народов Африки против американского неокOLONиализма, крепнет дружба и сотрудничество африканских государств с социалистическими странами.

И. Дагалин.

★

АМИН САИД. Восстания арабов в XX веке. Перевод с арабского. «Прогресс». М. 1964. 347 стр. Цена 1 р. 27 к.

Вооруженные выступления арабов против иностранного вторжения начались в конце прошлого века. Еще более усилились они после первой мировой войны, когда многие арабские страны были оккупированы войсками Англии, Франции, Италии. Особенно же размах достигли в двадцатые годы под влиянием Октябрьской социалистической революции, показавшей угнетенным народам пример освобождения.

В книге египетского писателя Амина Саида изложены основные события национально-освободительного движения в Египте, Сирии, Ливане, Ираке, Аравии, Северной Африке. Автор приводит чрезвычайно богатый и ценный фактический материал. В ряде случаев — это подлинные документы (тексты договоров, донесения оккупационных властей), показывающие, что империалисты не останавливались ни перед чем для подавления сопротивления борющегося народа.

Особенно подробно и интересно написана глава о восстании рифов под руководством национального героя Абдалъ-Керима в Марокко, которое сыграло большую роль в ослаблении позиций французского империализма в арабских странах, показав, каких успехов могут добиться стойкие и решительные борцы за независимость против превосходящих сил противника.

Несмотря на яркую антиимпериалистическую направленность, книга Амина Саида содержит ряд существенных недостатков. Прежде всего автор, увлекаясь изложением событий политической борьбы, иногда ничего не говорит о ее сущности, классовом содержании. И потому читателю трудно представить себе, какие классовые силы осуществляли то или иное восстание, насколько активно участвовали в нем народные массы.

Известно, какое большое значение имела в освободительной борьбе арабского народа, особенно на ее первых этапах, деятельность прогрессивной интеллигенции, в частности писателей, публицистов, однако Амин Саид совершенно не затрагивает этого вопроса.

Советскому читателю, даже при беглом знакомстве с книгой, сразу же бросается в глаза, что автор не упоминает ни о влиянии русской революции 1905 года, ни о поддерж-

ке Советским Союзом национально-освободительной борьбы арабов, особенно после второй мировой войны.

Отзываясь достаточно резко о предательской политике британских империалистов, Амин Саид при этом не приводит чрезвычайно интересных и показательных фактов агентурной деятельности Англии в арабских странах, особенно на Аравийском полуострове, в Ираке и Иордании.

Вызывает удивление, что Амин Саид в главе об освободительном движении иракского народа не остановился на роли курдов в этой борьбе, хотя курдский народ составляет одну из важных сил, сражавшихся против империализма.

Однако, несмотря на эти недостатки, читатель с интересом познакомится с фактическим материалом книги, имеющей особую актуальность в наши дни, когда близится к концу борьба за полное освобождение от колониального гнета всех угнетенных и зависимых народов.

Б. Шидфар.

★

РАЛЬФ ЛЭПП. Убийство и сверхубийство. Перевод с английского. Воениздат. М. 1964. 143 стр. Цена 47 к.

Первого ноября 1952 года над коралловым рифом Элугелаб, затерявшимся в Тихом океане, взметнулся огромный огненный шар, осветив окрестности бело-голубыми вспышками на сотни километров. Был взорван пятидесятитонный куб размером с двухэтажный дом. Островок Элугелаб исчез с лица земли. Над образовавшейся воронкой диаметром более полутора километров и глубиной в пятьдесят восемь метров сомкнулись океанские волны.

Примерно через полтора года такой же огненный шар поднялся над аттолом Бикини. Но здесь уже было взорвано не водородное устройство, а водородная бомба. С этого момента, пишет Ральф Лэпп, «начался термоядерный век!» Он ознаменовался невиданным размахом производства атомного оружия.

Расширение гонки ядерных вооружений было вызвано стремлением американского империализма установить над миром свою гегемонию, а отнюдь не политикой Советского Союза, как это пытается представить американский ученый-физик Ральф Лэпп. Читатель встретится в книге и с некоторыми другими неверными утверждениями автора, в рассуждениях которого заметно влияние буржуазной пропаганды.

Но, несмотря на это, в целом книга «Убийство и сверхубийство» — яркий документ, разоблачающий американскую военщину и связанные с ней монополистические объединения, которые под лозунгом антикоммунизма ведут подготовку к ракетно-ядерной войне. Только на военные исследования министерства обороны США расходует ежегодно более десяти миллиардов долларов. В Окридже, Хэнфорде, Падуде, Портсмуте и на реке Саванна днем и ночью работают заводы, производящие расщепляю-

шие материалы; систематически проводятся подземные ядерные испытания. По мнению автора, при существующем темпе роста расщепляющих материалов запасы их к 1967 году составят тысячу тонн, что равнозначно двумстам тысячам таких бомб, какая была сброшена на Хиросиму. Ральф Лэпп считает, что уже сейчас США и СССР обладают такой силой ядерного оружия, с помощью которого каждая из стран может стереть с лица земли целые континенты. И «мало вероятно,— считает он,— чтобы Соединенные Штаты и Советский Союз вдруг «прозрели» и миролюбиво заключили какой-то договор».

Мы знаем, что жизнь уже опровергла этот вывод: заключен договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе, под водой; Советским Союзом, США и Англией приняты решения о сокращении производства расщепляющих материалов. Это немалая победа миролюбивых сил. Народы не «спят» и не впали в «отчаяние», как утверждает автор, а настойчиво борются за прекращение производства ядерного оружия, за его уничтожение. Что же касается его утверждения, что самое надежное средство атомного оружия — всеобщее разоружение, то тут он совершенно прав.

Г. Трофимов.

★

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ. Сборник статей. «Медицина». М. 1964. 254 стр. Цена 62 к.

Захарию Григорьевичу Френкелю, видному ученому-гигиенисту, действительному члену Академии медицинских наук СССР, недавно исполнилось девяносто четыре года. Почтен-

ный ученый сохранил бодрость духа, ясность ума и продолжает творческую работу. Вот поистине ярчайший пример того, как научный работник, посвятивший свою жизнь изучению долголетия, на собственном примере демонстрирует «тайну» активного долголетия.

Средняя продолжительность жизни в Советском Союзе — семьдесят лет. Но важно не только достигнуть долголетия, надо, чтобы старость была здоровой, деятельной.

Этой актуальной теме посвящен выпущенный недавно издательством «Медицина» сборник «Для пожилых».

В сборнике помещены статьи видных деятелей медицинской науки — профессоров В. Ф. Зеленина, И. М. Саркизова-Серазини, О. И. Сокольников, Л. Ф. Ларионова и других. Наряду с ними выступают и те, кто являет собой пример «цветущей старости», кто и в преклонные годы не утратил активного, творческого отношения к жизни.

Гигиена, питание, закаливание организма, гимнастика, режим труда и отдыха — вот далеко не полный перечень рассматриваемых в книге вопросов. В ней рассказывается о мерах предупреждения болезней в пожилом возрасте, о борьбе с ранним старением. Причем обо всем этом говорится живо, интересно, без прискучившей всем сухой дидактики.

Естественно, не все помещенные в сборнике статьи равноценны по содержанию и манере изложения, встречаются и стилистические «огрехи», но не в них суть дела. Главное — это очень интересная и полезная книга, особенно для тех, кому она адресована — для пожилых.

О. Димин.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Н. Бабляк, О. Кужелева. Соревнование двух миров. 64 стр. Цена 8 к.

Т. Живков. Избранные статьи и речи в 2-х томах. Том I (1942—1961 гг.). 832 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Кладт. Он землю родную пошел защищать. О герое гражданской войны С. С. Востречове. 96 стр. Цена 12 к.

Коммунизм — высшее воплощение гуманизма. 32 стр. Цена 3 к.

Ю. Мадер. Тайна Хантсвилла. Документальный рассказ о карьере «ракетного барона» Вернера фон Брауна. Перевод с немецкого. 184 стр. Цена 26 к.

Мелкобуржуазный социализм и руководители ИПК. 32 стр. Цена 3 к.

К. Микульский. Мировая система социализма. 80 стр. Цена 9 к.

Ю. Моралевич. Рассказы о большой химии. 144 стр. Цена 16 к.

М. Мчедлов. Под сводами собора св. Петра. 96 стр. Цена 15 к.

Письма славы и бессмертия (1905—1920 гг.). 192 стр. Цена 18 к.

Политэкономический словарь. 304 стр. Цена 85 к.

М. Сидоров. Философское учение о мире и его познании. 72 стр. Цена 9 к.

В. Томин, С. Грабовский. По следам героев берлинского подполья. 104 стр. Цена 13 к.

«МЫСЛЬ»

Вопросы формирования научно-атеистических взглядов. Сборник статей. 107 стр. Цена 34 к.

Ю. Гайдунов. Роль практики в процессе познания. 336 стр. Цена 1 р. 22 к.

Д. Даррелл. Земля шорохов. Перевод с английского. 190 стр. (Рассказы о природе.) Цена 50 к.

И. Денеш. Вперед Килиманджаро (Такой я видел Африку). 360 стр. Цена 1 р. 4 к.

Н. Жиров. Атлантида. Основные проблемы атлантологии. 431 стр. Цена 1 р. 70 к.

Первый Интернационал. Часть I. 1864—1870. 582 стр. Цена 2 р.

Б. Итенберг. Первый Интернационал и революционная Россия. 222 стр. Цена 66 к.

И. Кривогуз. Второй Интернационал. 1889—1914. 494 стр. Цена 1 р. 10 к.

Джемс Кун. Второе кругосветное плавание капитана Джемса Кука. Плавание к Южному полюсу и вокруг света в 1772—1775 гг. 624 стр. Цена 2 р. 38 к.

Н. Полетина. Возникновение первой мировой войны (Июльский кризис 1914 г.). 606 стр. Цена 2 р. 10 к.

Ю. Саушкин. Москва. Географическая характеристика. 240 стр. Цена 73 к.

А. Старков. От солнца к солнцу. 200 стр. Цена 45 к.

К. Тарасов. В интересах монополий. Империалистическая «помощь» США странам Латинской Америки. 142 стр. Цена 30 к.

В. Фураев. Советско-американские отношения 1917—1939. 319 стр. Цена 1 р. 2 к.

Г. Шульман. На траверзе — Дакар. 144 стр. Цена 23 к.

Экономическое районирование и народное хозяйство СССР. 230 стр. Цена 82 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ш. Абдыраманов. Мои знакомые. Рассказы, повесть. Перевод с киргизского. 184 стр. Цена 36 к.

А. Абсаямов. Вечный человек. Роман. Перевод с татарского. 404 стр. Цена 75 к.

В. Багрицкий. Дневники, письма, стихи. 128 стр. Цена 14 к.

Г. Березно. Любить и не любить. Повесть. 292 стр. Цена 40 к.

А. Борин. Час езды до горы Благодати. Рассказы. 208 стр. Цена 31 к.

Д. Дар. Богиня Дуня, и другие невероятные истории. 139 стр. Цена 15 к.

В. Добровольский. Август, падают звезды. Повесть. 344 стр. Цена 50 к.

И. Довидайтис. Секретная почта. Рассказы. Перевод с литовского. 192 стр. Цена 42 к.

Х. Ергалиев. Курмангазы. Поэма. Перевод с казахского. 152 стр. Цена 26 к.

И. Забелин. И не будет конца... Рассказы и повесть. 320 стр. Цена 54 к.

А. Костерин. По таежным тропам. Рассказы. 271 стр. Цена 41 к.

Н. Кузьмин. Когда человек прав. Рассказы и повести. 420 стр. Цена 56 к.

А. Меширов. Прощание со снегом. Стихи. 116 стр. Цена 14 к.

Мирмухсин. Вступление в жизнь. Повести и рассказы. Перевод с узбекского. 248 стр. Цена 46 к.

Ф. Пестран. Средиборье. Роман. Перевод с белорусского. 412 стр. Цена 68 к.

Поэты кружка Н. В. Станкевича. Сборник. 620 стр. Цена 1 р. 12 к.

Г. Семенов. Отпуск в сентябре. Поэма и стихи. 100 стр. Цена 15 к.

В. Скобелев. Александр Неверов. Критико-биографический очерк. 196 стр. Цена 42 к.

В. Цвелев. На берегу Москвы. Стихи. 84 стр. Цена 9 к.

М. Чарный. Направление таланта. Статьи и воспоминания. 412 стр. Цена 1 р.

С. Шляху. Нижняя окраина. Роман. Перевод с молдавского. 260 стр. Цена 46 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Аверченко. Юмористические рассказы. 288 стр. Цена 31 к.

Е. Баратынский. Лирика. 160 стр. Цена 25 к.

А. де Виньи. Сен-Мар, или Заговор во времена Людовика XIII. Роман. Перевод с французского. 414 стр. Цена 88 к.

С. Востокова. Ярослав Гашек. Критико-биографический очерк. 183 стр. Цена 49 к.

М. Инбал. Звон караванного колокольчика. Стихи. Перевод с урду и персидского. 208 стр. Цена 36 к.

А. Кадыри. Скорпион из алтаря. Роман. Перевод с узбекского. 272 стр. Цена 58 к.

Г. Караславов. Танго. Фома неверный. Отцовский грех. Повести. Перевод с болгарского. 288 стр. Цена 89 к.

П. Колесник. «Гата могодана» М. Коцюбинского. 128 стр. Цена 16 к.

А. Недогонов. Лирика. 288 стр. Цена 54 к.

И. Садофьев. Стихотворения. 208 стр. Цена 38 к.

Сатирические стихи. Сборник, 160 стр. Цена 1 р.

Д. Соломос. Песни свободы. Перевод с новогреческого и итальянского. 184 стр. Цена 29 к.

Я. Смеляков. Книга стихотворений. 384 стр. Цена 74 к.

У. Сонтани. Тамбера Роман. Перевод с индонезийского. 280 стр. Цена 95 к.

Д. Стэноу. Злоключения отца Гедеона. Выборы игуменьи. Повести. Перевод с румынского. 294 стр. Цена 78 к.

Л. Якименко. Герой и новаторство советской литературы. 320 стр. Цена 66 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Архангельский. Ногин. 432 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 81 к.

М. Беленький. Спиноза. 239 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 53 к.

М. Владимов. Совершенство. Стихи. 120 стр. Цена 12 к.

Т. Гнедина. Последний день туготронов. Повести, сказки. 176 стр. Цена 29 к.

День прибывает. Сборник. 192 стр. Цена 22 к.

Домовой мостильница Гоуски. Рассказы чешских писателей. 240 стр. Цена 45 к.

В. Елагин. Повесть о трех китах. 160 стр. Цена 23 к.

М. Емцев, Е. Парнов. Уравнение с Бледного Нептуна. Фантастические повести. 256 стр. Цена 53 к.

Земля Олонхо. Стихи поэтов Якутии. Перевод с якутского. 96 стр. Цена 17 к.

Ф. Искандер. Молодость моря. Стихи. 112 стр. Цена 14 к.

С. Кузнецова. Избранная лирика. 32 стр. Цена 4 к.

Т. Кузовлева. Волга. Стихи. 96 стр. Цена 12 к.

Н. Лысогоров. Когда отступает фантастика. Очерки. 192 стр. Цена 28 к.

Ю. Мишаткин. Письма без марок. Документальная повесть. 64 стр. Цена 12 к.

Д. Паттерсон. Россия. Африка. Стихи и поэма. 72 стр. Цена 11 к.

П. Прокопов. За Жар-птицей. Повесть. 223 стр. Цена 29 к.

Ю. Рытхэу. Голубые песцы. Повести и рассказы. 224 стр. Цена 57 к.

Д. Улзытуев. Избранная лирика. 32 стр. Цена 4 к.

Фантастика... Сборник. 1964. 368 стр. Цена 70 к.

Сюсакун Эндо. Море и яд. Повесть. Перевод с японского. 127 стр. Цена 25 к.

«НАУКА»

И. Андреев. О методах научного познания. 184 стр. Цена 27 к.

Архив А. М. Горького. Том X. М. Горький и советская печать. Книга I. 416 стр. Цена 1 р. 31 к.

Горький и наука. Статьи, речи, письма, воспоминания. 283 стр. Цена 1 р. 23 к.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Том II. (Ноябрь 1918 — апрель 1920 г.). 720 стр. Цена 1 р. 55 к.

И. Зильберфарб. Социальная философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX века. 556 стр. Цена 2 р. 54 к.

В. Коток. Референдум в системе социалистической демократии. 190 стр. Цена 60 к.

Методы изучения и использования водных ресурсов. 164 стр. Цена 89 к.

Д. Мочалин. Вена на баррикадах. 75 стр. Цена 11 к.

А. Молчанов. Научные основы ведения хозяйства в дубравах лесостепи. 256 стр. Цена 1 р. 31 к.

Правовые вопросы планирования промышленности в СССР. 286 стр. Цена 91 к.

М. Рабинович. О древней Москве. Очерки материальной культуры и быта горожан в XI—XVI вв. 354 стр. Цена 1 р. 59 к.

Развитие грамматики и лексики современного русского языка. 364 стр. Цена 1 р. 54 к.

Развитие современной физики. 329 стр. Цена 1 р. 24 к.

Современная философия и социология в странах Западной Европы и Америки (Историко-философские очерки). 475 стр. Цена 2 р. 5 к.

Средняя Сибирь. Природные условия и естественные ресурсы СССР. 480 стр. Цена 3 р. 20 к.

Теоретические проблемы современного советского языкознания. 160 стр. Цена 59 к.

Физика, химия, биология и минералогия почв СССР. 395 стр. Цена 1 р. 81 к.

Александр Евгеньевич Ферсман. 222 стр. Цена 46 к.

Г. Чистяков. Водные ресурсы рек Якутии. 255 стр. Цена 1 р. 65 к.

М. Шейнман. Современный клерикализм. 255 стр. Цена 95 к.

Л. Яковлев. Интернациональная солидарность трудящихся зарубежных стран с народами Советской России. 1917—1922. 264 стр. Цена 1 р. 6 к.

Артур Артурович Ячевский. 120 стр. Цена 25 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Аниязц. Ответственность за преступления против жизни по действующему законодательству союзных республик. 212 стр. Цена 34 к.

Н. Веденин. Закон — на страже природы. 64 стр. Цена 7 к.

П. Гришаев. Критика буржуазной правовой идеологии (Разоблачение буржуазных взглядов на советское право и законность). 208 стр. Цена 83 к.

Ю. Каленов, И. Перлов. Организация работы народного суда. 280 стр. Цена 54 к.

Н. Клейн. Встречный иск в суде и арбитраже. 132 стр. Цена 21 к.

П. Матышевский. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. 160 стр. Цена 26 к.

П. Михайленко, И. Гельфанд. Предупреждение преступлений — основа борьбы за искоренение преступности. 204 стр. Цена 64 к.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (НАЛЬЧИК)

А. Кешонов. Избранное в 2-х кн. Перевод с кабардинского. Кн. I. 259 стр. Цена 43 к.

С. Макитов. Зеница ока. Стихи. Перевод с балкарского. 151 стр. Цена 16 к.

КАРЕЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ПЕТРОЗАВОДСК)

П. Гулять. Здравствуй, люди! Документальная повесть. 81 стр. Цена 11 к.

Т. Гуттари. Когда озеро цветет. Рассказы и очерки. Перевод с финского. 111 стр. Цена 19 к.

К. Еремеев. Пережитое. Повести. Рассказы. 243 стр. Цена 57 к.



ОТ РЕДАКЦИИ

Близится к концу еще один журнальный год, для нашего журнала предъюбилейный. Почти сорок лет тому назад, в январе 1925 года, вышел первый номер «Нового мира», подписанный его первыми редакторами А. В. Луначарским, И. И. Скворцовым-Степановым и Ю. М. Стекловым. С тех пор наш журнал живет и здравствует в большой семье литературно-художественных журналов. С тех пор вышло без малого пятьсот книжек «Нового мира» — целая библиотека новинок литературы, многие из которых не только не преданы сегодня забвению, но, напротив, стали составной частью основного фонда советской литературы, ее гордостью и украшением.

Нет нужды перечислять эти произведения: пришлось бы назвать имена всем известные и книги, получившие широчайшее распространение в народе. Стремление к глубине художественного отображения жизни советских людей, к созданию характеров правдивых и жизненно-убедительных, желание по-настоящему помочь народу в его борьбе за создание нового общества всегда являлось главной побудительной причиной творческой активности советских писателей. Так, хотим мы надеяться, обстояло дело и в нашем журнале, готовом вступить на порог своего пятого десятилетия.

Не будем перечислять все, что было уже опубликовано в «Новом мире» и в этом году: окончательный итог будет подведен в традиционном годовом оглавлении заключительной двенадцатой книжки журнала. Упомянем лишь наиболее заметные произведения, вызвавшие приток читательских писем и отзывы в печати, — и самые доброжелательные и критические, полемические, а это тоже свидетельствует о том, что произведения не обойдены вниманием. Это повести С. Залыгина «На Иртыше», А. Кузнецова «У себя дома», Ю. Домбровского «Хранитель древностей», В. Липатова «Чужой», Е. Герасимова «Куда речка течет», вторая книга романа «Тишина» Ю. Бондарева «Двое», сценарий В. Пановой «Рабочий поселок», новые главы из «Деревенского дневника» Е. Дороша.

В чем смысл появления этих произведений? Мы полагаем, что они выражают характерные черты литературы нашего времени — литературы последнего десятилетия — и прежде всего стремление писателей к активному и смелому вмешательству в жизнь, ответственное понимание ими своего гражданского долга. А быть на высоте нынешних задач можно, лишь воплощая правду жизни во всей ее полноте и сложности. Именно это, а не модернистские ухищрения формы убедительнее всего свидетельствуют о современности того или иного произведения. Таким новым взглядом на события отличаются даже те произведения, в которых изображаются уже давние периоды истории советского общества (скажем, повесть С. Залыгина «На Иртыше»), что и было единодушно отмечено критикой.

Читатели не могли не заметить, что в последние годы на книжных прилавках появилось большое количество произведений мемуарного жанра, записок, воспоминаний, дневников. Это тоже доброе знамение наших лет, положивших конец той фальсификации истории, которая имела распространение в годы культа личности. Мемуарные свидетельства позволяют миллионам читателей лучше представить поистине героический путь, пройденный нашим народом. К тому же и по своим собственным художественным качествам они иногда успешно соревнуются с произведениями, выходящими из-под пера профессиональных писателей. Мы относим к такого рода интереснейшим человеческим документам, например, опубликованные в журнале воспоминания генерала армии А. Горбатов «Годы и войны», записки инженера-изыскателя А. Побожьего «Мертвая дорога», воспоминания О. Морозовой «Одна судьба». До конца года журнал намерен напечатать также воспоминания академика И. Майского, долгое время бывшего послом в Англии, о его дипломатической деятельности в первые месяцы второй мировой войны и записки генерал-лейтенанта Н. Антипенко о работе армейского тыла.

Почта «Нового мира» ежедневно приносит нам десятки рукописей со всех концов страны. Надо сказать, что содержание и качество так называемого рукописного «самотека» за последнее время стало иным. Еще несколько лет назад почта приносила нам по преимуществу робкие пробы пера людей, не имеющих представления о сложности литературного труда, или — что хуже — творения графоманов, людей, заблуждающихся относительно своих литературных возможностей. Такие рукописи встречаются, конечно, и сейчас. Их приходится отсеивать, возвращать. Но все чаще и чаще мы читаем рукописи неизвестных авторов, отмеченные печатью таланта, зрелого опыта и размышлений, в чем нельзя не увидеть примечательную и весьма обнадеживающую особенность современного литературного процесса. Этим произведениям мы открываем «зеленую улицу».

Из новых подающих надежду имен, появившихся на страницах «Нового мира» в этом году, нам хотелось бы прежде всего назвать бывшего директора совхоза, партийного работника Т. Борисова, выступающего в этом номере с произведением «Заботы и радости Тимофея Лунина», молодого поэта А. Прасолова, напечатавшего большой цикл стихотворений, учителя из Краснодарского края В. Лихоносова, опубликовавшего у нас свои первые рассказы, учительницу из казахского села Ново-Алексеевка Надежду Поведенок, напечатавшую пока единственный рассказ. По разделу публицистики многие читатели заметили очерк рабочего-монтажника А. Терентьева «На Встжинской ГЭС», показавшего труд современного советского рабочего, что называется, «изнутри», с таким обилием интересных деталей и подробностей, которые даже приметливый взгляд не подсмотрит со стороны.

Большое количество писем в редакцию позволило нам систематичнее и разнообразнее строить «Трибуну читателя». Выступая по разным вопросам, и в частности с оценкой книг, с анализом некоторых сторон литературной жизни, читатели делают немало глубоких и дельных замечаний. Сошлемся хотя бы на статью библиотекаря И. Травкиной «Гармония внешняя и внутренняя» в седьмом номере журнала. В будущем году редакция намерена публиковать «Трибуну читателя» еще чаще. При этом трибуна будет отдана не одним литературным темам, а самым разным проблемам нашей общественной жизни.

К сожалению, в журнале не так часто выступают ученые, работники промышленности, сельского хозяйства — все те, кто непосредственно творит материальную базу коммунизма, движет вперед науку. Редакция постарается выправить это положение. Для этого нам хотелось бы объ-

единить поиски редакции с инициативой известных и еще не известных нам друзей журнала.

Основная задача советской литературы — помогать партии в деле воспитания нового человека, человека коммунистического общества. Ответственность литературы в этом отношении становится все более значительной и серьезной. Залогом ее новых успехов является верность ленинским позициям партийности искусства, непримиримая борьба с чуждыми влияниями, с начетническим, догматическим образом мышления. Перед эстетикой и литературной критикой здесь обширное поле деятельности и, так же как у других видов литературы, благодарнейшая читательская аудитория. Мы с удовлетворением отмечаем, что некоторые критические работы, опубликованные в этом году в журнале, привлекли не меньшее внимание, чем иная повесть или роман. В критике это явление редкое, оно показывает, что и литературная критика может стать широко читаемой.

По-прежнему своей задачей отдел критики и библиографии «Нового мира» считает борьбу за глубокую идейность и высокое мастерство литературы. Мы приветствуем споры, дискуссии, как бы остры они ни были, принимаем обоснованную критику нашей работы и сами в свою очередь не будем уходить от острых вопросов. Особое значение мы придаем борьбе с серостью, холодным ремесленничеством, изготовлением на скорую руку поверхностных сочинений. Такие сочинения не только бесполезны — они наносят прямой вред, поддерживая иллюзию, что в сложном и трудном литературном деле можно обойтись без труда, без усилий мысли.

Некоторые читатели сетуют на то, что в «Новом мире» нет особого раздела сатиры и юмора, а «Литературная газета» недавно на этом основании заметила даже, что «Новый мир» вообще избегает сатиры, поскольку, мол, с ней и небезопасно и хлопотно. Но в таком случае у нас, видимо, разные представления о сатире. Мы думаем, что сатира не развлекательный довесок к журналу, а серьезное и ответственное дело. И вовсе не обязательно такой материал должен выноситься в отдельный «уголок сатиры и юмора». Такие произведения, как, например, статьи Н. Ильиной о жанре «дамской» повести или Мих. Лифшица «В мире эстетики» отнюдь не теряют своей сатирической остроты и силы, хотя и помещены не под специальной рубрикой.

Таковы предварительные итоги нашего нынешнего журнального года. Читатель вправе спросить, почему на страницах журнала появилось не все, что было обещано в прошлогоднем проспекте на 1964 год. В большинстве случаев это произошло просто по причине незавершения писателями обещанных произведений, их повышенной требовательности к себе. Думаем, что из-за такой задержки читатель пострадает лишь временно.

В новом, 1965 году мы надеемся опубликовать в «Новом мире» ряд произведений, достойных этого юбилейного для журнала года. Так, уже в первых номерах «Нового мира» начнется публикация второй книги романа **К. Федина** «Костер». К тому времени, по всей видимости, будет закончена необходимая работа над романом **А. Бека** «Мои знакомые». Близки к завершению работы: **Г. Владимова** над романом «Три минуты молчания», **А. Марьямова** над второй книгой путевых записок «Иду на восток», **О. Берггольц** над новыми главами «Дневных звезд». Над большим романом работает **А. Солженицын**. Продолжают трудиться над второй книгой романа «Память земли» **В. Фоменко** и **В. Дудинцев** над романом «Неизвестный солдат». Близится к концу работа **Е. Драб-**

киной над повестью о Ленине. Над продолжением своих воспоминаний работает генерал армии **А. В. Горбатов**.

На страницах «Нового мира» выступят также прозаики: **Ч. Айтматов, В. Аксенов, Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Войнович, Л. Волинский, И. Грекова, Ю. Домбровский, Н. Дубов, В. Каверин, Ю. Казаков, В. Липатов, В. Лихоносов, В. Некрасов, В. Овечкин, В. Росляков, В. Панова, К. Паустовский, И. Соколов-Микитов, В. Тендряков** и другие.

Со стихами и поэмами обещали выступить в журнале поэты: **М. Алигер, А. Ахматова, П. Бровка, К. Ваншенкин, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, Л. Завальнюк, А. Жигулин, Карло Каладзе, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, А. Кешоков, Р. Казакова, С. Капутикян, Н. Коржавин, В. Корнилов, Н. Королева, М. Квливидзе, А. Кулешов, М. Луконин, Н. Матвеева, Э. Межелайтис, Ю. Мориц, Н. Полякова, А. Прасолов, А. Прокофьев, Д. Самойлов, Я. Смеляков, В. Сергеев, Д. Сухарев, М. Танк, А. Твардовский, Я. Ухсай, В. Шефнер, С. Щипачев, Г. Эмин** и другие.

Наша литература движется общими усилиями не только писателей, но и миллионов читателей, требовательность которых к художественному слову постоянно растет. Редакция «Нового мира» надеется в новом году оправдать надежды, возлагаемые на наш журнал читателями.

Подписка на «Новый мир» принимается без ограничений городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учебных заведениях и учреждениях.

Подписная цена:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. К 5-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 7/IX 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/X 1964 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 08435. Зак. 1977. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Свирцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636